П. Н. МИЛЮКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

(1859-1917)

Под редакцией М. М. КАРПОВИЧА и Б. И. ЭЛЬКИНА

ТОМ ПЕРВЫЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1955

{3}

ОТ РЕДАКТОРОВ

Посмертное издание воспоминаний Павла Николаевича Милюкова едва ли нуждается в оправдании его необходимости.

Начиная с девятидесятых годов прошлого столетия и вплоть до октябрьского переворота 1917 года П. Н. Милюков занимал одно из самых видных мест в культурной и общественно-политической жизни России. Его научные работы выдвинули его в первый ряд русских историков. Как политический деятель, он принимал руководящее участие в сплочении и организации либерально-демократических течений в России, и с 1905 года он стал общепризнанным лидером образовавшейся тогда и быстро приобретшей большое влияние конституционно-демократической партии. Наконец, в образованном при его участии Временном правительстве первого состава он занимал пост министра иностранных дел.

Рассказ об этом периоде жизни и деятельности П. Н. Милюкова читатель найдет на страницах этой книги. До рассказа о его деятельности в последовавший затем период эмиграции воспоминания П. Н. Милюкова не доходят. В эмиграции П. Н. Милюков был редактором газеты «Последние Новости», в которой были помещены его многочисленные статьи по преимуществу политического содержания. Он напечатал несколько книг, как по-русски, так и на других языках. Не прекращал он и своей научной работы. Для предпринятого в 1930-х годах переработанного, т. н. юбилейного издания «Очерков по истории русской культуры», выдержавших раньше в России несколько изданий, П. Н. Милюков вслед за выпуском второго и третьего томов написал и издал новый полутом первого тома (свыше 300 стр.), посвященный доисторическим основам русского национального развития, и им оставлена подготовленною к печати вторая часть того же первого тома.

{4} Печатаемые теперь воспоминания П. Н. Милюкова писались им, с перерывами, в течение последних двух с половиною лет его жизни. Как видно из пометки на рукописи авторского предисловия («В защиту автора»), П. Н. приступил к этой работе в сентябре-ноябре 1940 г. Составленное им подробное оглавление показывает, что он ставил себе задачею довести воспоминания до большевистского переворота. Но смерть — П. Н. скончался 31 марта 1943 г., 84 лет от роду — не позволила исполнить этот план до конца, и воспоминания обрываются на Корниловском восстании.

Исключительный интерес, который представляют воспоминания П. Н. Милюкова, и их высокая ценность в качестве исторического документа — самоочевидны. Они вытекают из той выдающейся роли, которую П. Н. Милюков играл в один из самых критических периодов русской истории. Правда, о своей политической деятельности П. Н. Милюков писал и в некоторых своих прежних мемуарных или полумемуарных произведениях, напечатанных еще при его жизни (в статьях под общим заглавием «Роковые годы», покрывавших события 1902-1906 г.г. и напечатанных в «Русских Записках», и частью в «Истории второй русской революции», посвященной 1917 году).

Но в этих более ранних писаниях П. Н. Милюкова читатель не найдет ни многих существенных подробностей, введенных в воспоминания, ни главным образом имеющихся в воспоминаниях элементов «политической исповеди» — более свободных высказываний автора о его переживаниях, мотивах, целях, достижениях и неудачах. Что же касается первых частей воспоминаний, покрывающих детство, юность и начальные шаги П. Н. Милюкова на научном и политическом поприщах, то они впервые дают достаточно полную картину внутреннего развития и роста выдающегося русского ученого и политического деятеля.

———

Мы считаем нужным сказать несколько слов о встреченных нами в нашей редакторской работе проблемах и о тех принципах, которыми мы руководились при их решении.

В своем предисловии П. Н. Милюков пишет, что он приступил к писанию воспоминаний «при отсутствии всяких {5} материалов, кроме запаса моей памяти». П. Н. Милюков жил тогда в Монпеллье и, затем, в Экс-ле-Бэн, отрезанный от своей парижской библиотеки и архива, опечатанных немцами и затем вывезенных ими в Германию.

Достать нужный материал на месте было невозможно. Лишь с течением времени ему удалось, как видно из его писем того времени, получить от друзей небольшое число книг; но подбор их был в большей части случайный, состоявший притом из разрозненных томов, переводов и т. п. Для большей части воспоминаний П. Н. Милюкову приходилось полагаться на свою память. Память у него была

исключительная, но в некоторых случаях она ему всё же изменяла, а в тех условиях, в которых он работал, ему негде было навести нужные справки.

Иногда он оставлял в рукописи пустые места, очевидно надеясь заполнить их позднее; иногда он прямо указывал на то, что не помнит года или не уверен в правильности своей датировки. Нашей очевидной обязанностью было пополнить эти пробелы. Столь же очевидной нашей обязанностью было исправить допущенные автором ошибки в датах или именах и отчествах упоминаемых им лиц (таких ошибок было немного). Нами были проверены также цитаты автора и названия книг, на которые им сделаны ссылки, и встреченные в этих случаях неточности также были исправлены. Переводы с переводов (напр. в переписке русского и германского императоров) заменены нами более точными переводами с оригиналов. В рукописи оказались, наконец, очевидные описки и, в некоторых случаях, грамматические или стилистические неувязки. Если бы П. Н. Милюков сам подготовлял свою рукопись к печати, он при окончательном просмотре рукописи несомненно устранил бы все эти мелкие неточности. Мы считали себя обязанными сделать это за него.

После долгого обсуждения, мы пришли также к заключению о желательности опущения в настоящем издании небольших частей рукописи. В первом томе воспоминаний мы опустили в общем приблизительно 3 (из 276) страницы рукописи: две из них (в части, относящейся к юности автора) — ввиду их интимного характера и отсутствия у нас уверенности в том, что автор предназначал их для печати, и **{6}** остальное — как включенное в воспоминания по ошибке памяти автора (здесь говорится об имевшем место в более позднее время, выходящее за хронологические пределы воспоминаний). Во втором томе мы решили не воспроизводить последних 29 (из 277) страниц рукописи. В этом случае нами руководило соображение другого порядка.

За исключением этих опущенных нами 29 страниц, вся рукопись носит характер законченного литературного произведения (если не считать указанных выше относительно немногих, по большей части технических, недочетов). Эти же 29 страниц несомненно представляют лишь первоначальный набросок, не получивший окончательной отделки. Взять на себя литературную обработку этой части рукописи мы считали себя не в праве. Печатать же ее в том виде, в каком она имеется в рукописи, нам представлялось нежелательным. Помимо ее неотделанности, она осталась и незаконченною: последнюю, входящую в ее состав, главу автор дописать не успел. И с этой точки зрения мы также считали предпочтительным остановиться на той главе, которая в настоящем издании является последнею. В ней говорится об июльском восстании и его последствиях, и эти события автор трактует как завершение первого этапа революции и начало второго. Таким образом вся книга приобретает если не хронологическую, то по меньшей мере литературную законченность.

Наконец, последнее замечание. В немногих местах своих воспоминаний автор высказывает резкие суждения личного характера. Поскольку такие суждения носят политический характер, мы оставили их в неприкосновенности. Но мы опустили несколько резких суждений чисто личного свойства.

Во всей нашей редакторской работе мы руководились лишь одним желанием: обеспечить издание воспоминаний П. Н. Милюкова в достойном его памяти виде.

М. Карпович
Б. Элькин

{7}

В ЗАЩИТУ АВТОРА

Мне идет 82-й год. Писание моих воспоминаний, на котором часто настаивали друзья, я обыкновенно откладывал до конца жизни, «когда ни на что другое не буду способен». Но, с одной стороны, ряд признаков показывает, что этот конец приближается, а с другой, обстоятельства военного времени так сложились, что я оказался отрезанным от своей нормальной деятельности, как ученого, так и журналиста. В Виши я почти закончил обработку для печати второй части первого тома «Очерков» («Очерки по истории русской культуры».) — по заранее заготовленным материалам; с уходом редакции из Парижа оборвалось издание «Последних новостей», — и условия складываются всё более неблагоприятно для их возобновления — во всяком случае для продолжения моей публицистической линии. Усиленное внимание друзей к состоянию моего здоровья, особенно с последнего юбилея, показывает, что я в этом внимании всё более нуждаюсь. И докторские предписания уже в третий раз меня возвращают от попыток вернуться к нормальной деятельности — к сидячей, или даже полулежачей жизни. Ослабление сердечной деятельности всё настойчивее указывает место наименьшего сопротивления моего организма.

Итак, я оправдан с собственных глазах, если заполню свои невольные досуги воспоминаниями о моем собственном прошлом. Ничего и ни у кого я этим не отнимаю. Что из этого выйдет, не знаю. Я приступаю к писанию при отсутствии всяких материалов, кроме запаса моей памяти. Говорят, что в старости восстает в памяти особенно ярко и точно самое отдаленное прошлое. В своем случае я этого не нахожу. Слишком многое забыто, в том числе, вероятно, и много существенного. **{8}** Прошлое выплывает из памяти в разорванных обрывках, отдельных эпизодах, врезавшихся в память, и чтобы восстановить из этих обрывков какое-нибудь целое, нужно сразу перейти из годов младенчества к годам, когда возникает сознание о себе, как части этого целого. Это сознание начинается довольно поздно, а складывается в общую картину еще позднее — и уже тогда, когда к Wahrheit примешивается значительное количество Dichtung ("Wahrheit" — истина, "Dichtung" — вымысел.). Но тогда эта Dichtung ретроспективно вмешивается и в попытки описать прошлое, пережитое в состоянии неполного сознания. Отсюда, рядом с неполнотой, и неизбежная недостоверность воспоминаний. Не мне судить, насколько я смогу преодолеть эти пробелы памяти и ошибки субъективизма.

Монпелье.
Сентябрь—ноябрь, 1940.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ ДЕТСТВА К ЮНОСТИ (1859-1873)

1. РАННЕЕ ДЕТСТВО

Я родился в 1859 г. 15 (28) января и получил имя Павла не от апостола, а от пустынножителя, в пустыне Фиваиды, — в силу обета родителей назвать меня именем святого того дня, когда я появлюсь на свет. Мне было очень обидно впоследствии, что мое рождение и именины совпадали в один день: от этого естественно уменьшалось количество подарков от родных и знакомых. Мой брат Алексей, на год моложе меня, был в этом отношении лучше наделен судьбой. Но еще позже, гораздо позже, я всё же отдал предпочтение своему тихому источнику света перед «римским гражданином», мастером компромисса, прожившим под псевдонимом свою деятельную жизнь агитатора и организатора. Любители мистики могут найти в этом какое-то предзнаменование. Другие будут возражать. Можно примириться на том, что мне всю жизнь пришлось оставаться, так сказать, на «марже» событий и за то остаться себе верным.

Событие моего рождения, происшедшее в Москве, точно отмечено всеми словарями и не подлежит дальнейшему спору; но я не могу указать того участка и дома столицы, где я родился. Подлежит, напротив, сомнению проявление моего первого отношения к жизни: из океана забвения почему-то выплыл в памяти маленький эпизод. Меня только что выкупали в теплой ванне, одели в свежее белье и нянька кладет в теплую постельку. Я испытываю величайшее удовольствие и **{10}** блаженно дрыгаю ногами.

Очевидно, такое начало жизни готовило из меня оптимиста. Но дальше всё опять заволакивается туманом. Мое новое пробуждение застает меня на Лефортовской улице, прямо упиравшейся в здание, где потом находилось Техническое училище. Я уже не младенец, а вождь дикого племени ребят, наполнявших обширный двор одноэтажного дома, выходившего на улицу, где была наша квартира. Наш главный штаб находился на деревянном крыльце, куда выходила черная половина квартиры. Организованность нашей армии доказывалась тем, что мы раздавали ордена, вырезанные из бумаги и раскрашенные разными красками, смотря по иерархическому достоинству участников. Меня, как предводителя, отличала особая сабля, выделанная из похищенного из кухни сухого березового полена. Особенно помню эту саблю в связи со следующим происшествием.

В нашей армии не хватало дисциплины, и, не помню почему, произошло восстание. Помню себя на высоте крыльца, держащим благородную речь к бунтовщикам, которые всем кагалом шумели внизу, под крыльцом. Так как моя речь, очевидно, не произвела благоприятного впечатления, а меры репрессии у нас не были выработаны, то я, в приливе негодования, вытащил из-за пояса свою деревянную саблю, признанный символ моего звания, и отбросил ее в «толпу», слагая тем с себя свою роль. Кажется, на этом происшествии наша военная игра и оборвалась, без ран и смертных повреждений. Не могу, во всяком случае, отрицать, что все мы, ребята всех званий и положений, объединившиеся на заднем дворе, оказались самыми решительными «беллицистами» (Сторонники войны (по аналогии с пацифистами). (Прим. ред).). Желающие могут принять это за некоторого рода предсказание будущего.

В качестве поправки приведу еще одно уцелевшее в памяти воспоминание. В здании училища, в двух шагах от нас, была домовая церковь, и в торжественные дни Страстной недели и Воскресения Христова духовенство устраивало процессии, обходя с хоругвями и пением все помещения в здании училища. Один раз и нас, меня и брата, удостоили присутствовать при выносе **{11}** плащаницы. Долго мы готовились к этому таинственному для нас акту; наконец, вечером, нас повели по темному зданию училища и поместили на какой-то галерее. Мы были очень разочарованы, во-первых, долгим ожиданием в темноте, причем разговаривать не полагалось, а затем и краткостью момента между появлением и исчезновением процессии: мы слышали пение, видели двигающееся пламя свечей, оставлявших во тьме кучку участников процессии, — и этим всё кончилось: процессия скрылась в темноте, из которой вышла. Это было первое мое воспоминание, связанное с церковью. Но никакого

воспитательного влияния оно не имело. Почему и чем мы были связаны с училищем, мы, конечно, не понимали. Позднее мы узнали, что отец наш был преподавателем в этом «Архитектурном» училище и что, следовательно, он был архитектором; что кроме того, он был инспектором в Училище Ваяния и Зодчества. Значения этих званий мы всё же себе не представляли.

Наше пребывание в Лефортове кончилось довольно трагически. Летом, не помню, какого года, вся наша семья — родители, я с братом и прислуга — переехали в подгородную деревню Давыдково. Для нас это был целый, неизвестный до тех пор мир, — начиная с бревенчатой деревенской избы, в которой мы поселились, и кончая ближайшими окрестностями деревни. Много лет спустя я случайно попал в Давыдково — и был поражен: до такой степени всё тогдашнее царство, созданное нашим воображением, поместилось теперь в прозаические тесные рамки. Если можно малое сравнить с великим, я еще раз в жизни испытал подобное же впечатление.

При выезде из Дарданельского пролива, мне показали холм, поднимавшийся вдали над прибрежной равниной. «Это — Хиссарлык». — «Как?» — «Это древняя Троя!» И, значит, вот тут, на берегу, был расположен лагерь греков, а в этом самом красочном заливе стояли корабли, которых не мог перечислить Гомер!? И на этом самом блюдечке происходили знаменитые бои? Невозможно! Так же трудно казалось мне уместить на деревенской улице Давыдкова нашу детскую эпопею. Но всё, действительно, так, на своем месте! Вот, при въезде в деревню, опустевшая часовня, манившая нас **{12}** своим таинственным предназначением. От нее идет, между двумя рядами изб, пыльная дорога, по которой по вечерам мы провожали расходившееся по домам стадо. А вот — конец так близок, а он казался далеким — уже и опушка рощи, и выгон, за рядом изб, где помещалась наша квартира. Вот внизу крошечный ручей, дугой охвативший зады изб и отделивший их; от «того берега», сразу и круто поднимавшегося в какое-то другое неведомое царство: «Волынское»...

Для нас это была — таинственная граница наших похождений. Дальше идти не полагалось. Через хрупкий мостик из нескольких жердей, перекрытых двумя тонкими досками, тропинка шла вверх по скату, казавшемуся высокой горой, в это недоступное для нас царство. Да, так, всё стоит на своем месте — мостик и горка: только мы сами — не те. Между речкой, оказавшейся мелкодонным ручейком, и избами — расстояние всего в несколько десятков шагов.

Но эти несколько шагов — свидетели нашей драмы... Здесь мы сидели перед рассветом на кожаном диване и ревели; на нас ветер нес искры пожарища от ряда изб сразу загоревшейся ночью деревни. Теперь, позже, можно было понять, почему пламя разгорелось так близко, и кожаная обивка дивана раскалилась так, что сидеть на диване стало невозможно. А уйти — не ведено. Родители и прислуга оставили нас одних, чтобы спасти, что было можно. Но пламя распространялось с такой скоростью, что кроме дивана, кажется, и вынести ничего не удалось. Потом у нас долго шутили, что растерявшийся отец вынес из избы одно свое мыло. В устах матери это звучало упреком, и отец конфузился.

Утром деревня догорала. Нас увезли в Москву и поместили на время у знакомых отца, в большом барском доме на Сивцевом Вражке, александровской архитектуры, на самом верху, вроде чердака, за фронтоном. Помню, мы страшно стеснялись сделать шаг в чужом доме, и несколько дней, проведенных там, были для нас тяжелым испытанием. Не помню даже, жил ли кто-нибудь внизу, под нами, или дом оставался пустым на лето. Но осталось впечатление унижения, барской милости. Наконец за нами приехали и отвезли нас, тут же по **{13}** соседству, в найденную отцом квартиру — в Староконюшенном переулке, в большом каменном доме Спечинских.

Потрясение, произведенное на нас пожаром, было так сильно, что для меня пожар стал этапом, датой, с которой началась более сознательная жизнь. События с этих пор перестают выплывать из памяти островками, а тянутся длинной нитью. Пробелы, правда, остаются большие; общего смысла в цепи всё еще нет; но отдельные эпизоды уже получают какую-то связь и даже какое-то значение для будущего.

2. РАННИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Наше пребывание в доме Спечинских было непродолжительно. Но оно всё же оставило впечатления, от которых тянутся нити в последующие годы. Можно даже определить хронологию этого промежутка, послужившего как бы введением в более сознательную жизнь. Однажды к нам пришел полицейский с какой-то бумагой, на которой отец должен был расписаться. Появление полицейского само по себе было сенсацией. От нас, детей, не могло укрыться, что оно вызвало у родителей ощущение страха. Однако, от нас скрыли причину произведенного в доме переполоха. Мы всё-таки схватили одно

собственное имя: Каракозов — и приступили к расспросам. Нам объяснили, что Каракозов — важный государственный преступник, но не сказали, в кого он стрелял. Имени Комиссарова при этом, сколько помню, вовсе не было упомянуто, и никаких по этому поводу ликований мы не могли заметить.

Покушение Каракозова на Александра II произошло 10 апреля 1866 г. Следовательно, мне было тогда семь лет, брату шесть. Он проявлял больше живости, чем я.

На светлых обоях нашей детской, изображавших группы людей и сцен, он нашел подобие одной из Лефортовских товарок наших игр, которую мы прозвали Анной Головастой. Упоминаю об этом, потому что это название надолго утвердилось затем у нас за одной московской церковью на Лубянской площади, купол которой был непропорционально велик. Видимо, наши **{14}** экскурсии по улицам Москвы происходили довольно свободно. Но я предпочитал уединяться в тенистую липовую аллею сада Спечинских и подолгу засматривался на солнечную игру света и тени сквозь листву деревьев.

Хозяева дома, очень богатые люди, относились к нашим родителям любезно, но с оттенком покровительства, и я здесь впервые почувствовал отчетливое значение социальных различий. В торжественные дни хозяева иногда приглашали всю семью к столу; вероятно, от них же шло приглашение в ложу театра. Это первое впечатление надолго запечатлелось в моей памяти. Шел балет «Царь Кандавл». Музыкой я не заинтересовался; но сцены, декорации, костюмы и в особенности танцы отпечатлелись в сознании, как что-то из другого мира, желанного и недоступного. Долго театр представлялся мне в этом ореоле. Но повторить этого впечатления не пришлось: оно уступило место другому, более земному: святочным балаганам «под Новинским».

Отец был в эти годы городским архитектором и, по обязанности, должен был проверять прочность эфемерных досчатых построек с амфитеатрами для зрителей, которые возводились рядами на незастроенном полотне Новинского бульвара. Без такой проверки полиция не разрешала начинать представления. Естественно, что все содержатели балаганов считали долгом снабдить контрамарками детей архитектора. И тут начиналось наше торжество.

А. Н. Бенуа прекрасно описал эти самые впечатления в Петербурге, — источник его «Петрушки». Наша Москва Петербургу не уступала. Уже наружный вид балаганных построек производил на нас, детей, неотразимое впечатление. Невероятные приключения на разрисованных яркими красками полотнищах, плохо прибитых гвоздями и развевавшихся по ветру: крокодилы, пожиравшие людей, и атлеты, побеждавшие крокодилов; необыкновенной красоты царицы неведомых царств, покрытые драгоценными камнями; «битвы русских с кабардинцами», сопровождаемые настоящими холостыми ружейными выстрелами из пушек; факиры, упражнявшиеся со змеями; фокусники, глотавшие горящую паклю и сабли, — на всё это разбегались детские глаза. А к тому еще зазывания **{15}** исполнителей в костюмах с балконов, острые шутки паяцов в трико и клоунов, собиравшие кучи слушателей у входов и вызывавшие ответные реплики «из народа». И, наконец, самый этот таинственный вход в святилище: полутемные сидения амфитеатром для зрителей, грубо размалеванный занавес, и, наконец, вожделенный момент — начало пьесы, редко, впрочем, бравшей темы из репертуара итальянской Commedia dell' arte или французского гиньоля. Надо было оправдать — и еще пересолить — обещания намалеванных снаружи картин.

Трудно суммировать впечатление, производимое на нас этой мишурной роскошью. Желая исчерпать всё богатство контрамарок, переходя из балагана в балаган и возвращаясь домой уже в темноте по Арбату, мы приходили усталые и опаздывали к ужину. Но в такие дни всё терпелось и прощалось.

Была другая сторона этих зрелищ, более чинная; для нас она, конечно, была совсем не интересна. Кругом ограды всех этих балаганов, театров и иного рода народных развлечений происходило катание московского бомонда. Здесь купечество и дворянство Москвы щеголяло экипажами, богатой упряжкой и модными костюмами. И эту чашу мы должны были тоже испить, благодаря любезным приглашениям Спечинских. Социальная разница при переходе из демократических балаганов к рысакам, коляскам и роскошным саням чувствовалась особенно сильно; и Спечинские нам давали ее особенно чувствовать своим покровительственным обращением. Я не понимал еще, почему, но мне это обращение отравляло всё удовольствие и было особенно противно. Но это была процедура обязательная. Платить им нашими контрамарками мы, конечно, не могли, и мне было как-то обидно за родителей.

Приведу еще несколько воспоминаний, связанных с домом Спечинских. Это были годы освобождения крестьян путем перехода их на выкуп. У моей матери было именье в Ярославской губернии, на р. Которости, и крестьяне оставались на оброке. По старине они продолжали ездить с оброком к помещице в Москву, и мы, ребята, с большим интересом ждали, когда, поклонившись «барыне», они из грязных цветных платков **{16}** вывернут наше законное угощение: жирные, черные,

ржаные лепешки, которые мы ужасно любили. Таких в Москве не было, а когда их у нас пекли, выходило всё-таки не то. С этой вкусной стороны мы узнали крепостное право, когда оно кончалось; но посещения мужиков в тяжелых армяках и в лаптях, с их говором на о, крепко запомнились. В Давыдкове мы таких мужиков не видали. Это было первое соприкосновение городских баричей с настоящей «землей».

И еще другой контакт с прошлым. Почти против самого дома Спечинских стояла пятиглавая церковь во имя Иоанна Предтечи, — сколько помню, оштукатуренная в красный цвет. Туда нас водили по праздникам. Впервые после таинственной процессии в Архитектурном училище мы здесь входили в более близкое соприкосновение с церковью. Дальше церковного обряда, для нас непонятного, дело, конечно, не шло. Но я всё-таки помню наши первые исповеди у священника. Нас предупреждали, что надо вспомнить все наши детские грехи и рассказать о них священнику, чтобы получить отпущение, причаститься вина из чаши и получить вырезанную просвиру.

К этому действию мы добросовестно и со страхом готовились, — правда, не вполне доверяя угрозам прислуги, что священник, в наказание, будет на нас ездить верхом. Но всё же возможность какого-то наказания над нами висела. И не без разочарования мы отходили, когда священник, спешно спросивши, не обманывали ли мы папу и маму, покрывал нас епитрахилью, спешно бормотал какие-то слова отпущения и переходил к следующим грешникам. Обряд всё же нас привлекал — меня в особенности — и к церкви Иоанна Крестителя мне еще придется вернуться.

3. ДОМ АРБУЗОВА

Как я сказал, пребывание в доме Спечинских продолжалось недолго. Мы переселились в дом Арбузова, на той же улице, почти на углу Сивцева Вражка, против дома Медведева, известного общественного деятеля и благотворителя купеческой складки. С домом Арбузова у меня связывается целый период перехода от **{17}** детства к ранней юности. События идут здесь уже связными рядами; этих рядов становится все больше, и они переплетаются. Установить хронологию и внутреннее развитие в каждом становится все труднее; чем-нибудь надо жертвовать. Я прежде всего выделю ту часть периода, которая преимущественно связана именно с домом Арбузова. Эта часть начинается, приблизительно, с моего 8 — 9-летнего возраста и кончается с моим переходом в четвертый класс гимназии, т. е., — опять-таки приблизительно, — между 1869 и 1873 годом. Однако, и тут приходится сразу покинуть хронологию. Я разделю изложение на три части — не хронологически, а по их внутреннему содержанию. Первая будет касаться моей семьи и родных: она выйдет далеко за пределы описываемого периода. Вторая вернется к подготовке и к первым годам школьного учения. Третья, по-моему, самая важная, постарается охватить влияния жизни, которые, помимо семьи и школы, врывались через все поры и щели. Собственно они именно, эти влияния, помимо всякой педагогики (которой, как увидим, было очень мало в нашем случае), направляли чувство, воспитывали волю и создавали характер. Но об этом — потом.

Предварительно надо описать арену наших будущих детских приключений. Участок Арбузова представлял удлиненную четырехугольную площадь очень больших размеров, только отчасти застроенную. В Староконюшенный переулок выходила узкая сторона четырехугольника. Если разделить ее пополам, то левая половина (с улицы) была застроена обширным деревянным домом хозяина, где помещалась его квартира, а в западной части — флигель, в котором, наверху, жила семья Депельноров (о них в своем месте). Но весь этот блок вместе с палисадником занимал ничтожную часть двора. Правая половина уличного фасада занята была воротами, от которых широкая дорога вела к большому деревянному одноэтажному зданию, расположенному к правому краю участка. Слева этот дом был окружен палисадником, за которым расстилалось обширное пространство двора. Справа, между домом и забором соседнего участка, оставалось сравнительно небольшое **{18}** пространство, куда выходили черные ходы. Лицевая сторона дома (к воротам улицы) была занята обширной барской квартирой, в которой поместилась наша семья. Задняя часть дома была разделена на маленькие квартирки, где помещались ремесленники — и куда доступ нам строго запрещался. Но это еще не конец участка. За запретной черной половиной дома нам возвращалась — или мы сами себе возвращали — свободу. Здесь, на обширном заднем дворе, покрытом всякими отбросами, происходило объединение «классов». Детей той и другой половины дома привлекал, конечно, не задний двор сам по себе, а то, что было его последним пределом: обросший лопухами старый забор, наполовину развалившийся, а за ним — чужое царство, с аппетитными яблочными деревьями у самого забора, и с огородом, в котором всю детвору неотразимо притягивали стручья гороха. Для охоты за этой прелестью применялась целая

сложная стратегия, выработанная опытом: надо было выбрать время, когда на пустыре не было огородника, расставить своих сторожей наверху, на заборе для наблюдения, и затем уже целым скопом броситься на заранее намеченное место. Применение всей этой системы само по себе предполагало существование дружного коллектива, где царило полное равенство.

Такова была общая обстановка нашего пребывания в доме — можно сказать, в имении — Арбузова. Отсюда собственно и проникали ранние влияния житейской обстановки в замкнутую среду семьи Милюковых. К этой среде мы теперь и вернемся, и прежде всего к самому составу семьи, родителям и родным со стороны отца и матери. Надо оговориться, что мои знания родных, особенно отдаленных, довольно ограничены, и тут особенно возможны поправки и дополнения: наш родовой быт был, очевидно, в состоянии разложения и сделать эти поправки могут только оставшиеся в живых члены нашей широкой и, разросшейся семьи родственников.

4. СЕМЬЯ И РОДНЫЕ

О ближайших членах фамилии Милюковых мои сведения особенно ограничены. Я знаю, что отец **{19}** Николая Павловича, моего отца, — и, стало быть, мой дед назывался Павлом Алексеевичем. У нас в семье долго хранились документы XVII столетия — я особенно помню жалованную грамоту одному из Милюковых эпохи Алексея Михайловича, на шелковой подкладке и с висячей восковой печатью: она исчезла из моей библиотеки только во время войны 1914-18 г.г. Было немало других фамильных рукописей, в оригиналах (столбцах) и в копиях; была составлена по ним и по документам московского Разрядного Архива наша родословная, фамильный герб с толкованием его геральдических знаков и, наконец, фамильная печать из горного хрусталя. Я узнал, что весь этот материал был собран Павлом Алексеевичем на предмет представления в Тверское губернское дворянское собрание — для утверждения моего деда в дворянском звании, и занесения его в дворянскую книгу.

Не думаю, чтобы это собрание было искусственное, но оно оказалось неполным. Последних звеньев генеалогии не хватало, и ходатайство деда не увенчалось успехом; дворяне ему отказали, ввиду этого пробела в родословной, которую оказалось невозможным пополнить наличными данными. Я впоследствии проверил это через тверских друзей; оказалось верно: в дворянскую книгу линия деда не попала. Заинтересовавшись этим, я достал печатную брошюру о роде Милюковых, и прочел в ней, что, хотя род этот связан, действительно, с Тверской губернией, — но что имеется целых пять отраслей, которые уже не могут быть в настоящее время сведены к общему родоначальнику. Мало того, из этих пяти линий две — несомненно, не дворянские. У наших предков был обычай втираться или, как говорили, «вписываться», «влагаться» в ряды известных дворянских фамилий, что чрезвычайно запутало и смешало ряды дворян, записанных в Бархатную Книгу. Так я и остался в неведении, можем ли мы считать себя тверскими дворянами. Всё же Павел Алексеевич был, несомненно, из Твери и считал себя дворянином; пробел в его документах мог оказаться случайным, а самые документы, всего вероятнее, действительно хранились в роду. Потерять их суждено было именно моему поколению.

{20} Как бы то ни было, Павел Алексеевич, по-видимому, никакими имениями и крепостными крестьянами не владел, и занятие его было не дворянское. Вместе с известным золотопромышленником Асташевым он отправился искать счастья в Сибирь, на золотые прииски, но успеха там не имел. Асташевы разжились на своих приисках, тогда как Павел Алексеевич на своих потерпел неудачу. Вероятно, старые сибиряки слышали, как это случилось. Семья Милюковых после этого осталась в Сибири, в связи с Асташевыми, которые ей покровительствовали. Одна из дочерей, Екатерина Павловна, даже устроилась в семье Асташевых в роли компаньонки. Мы с братом, а потом и я один, по желанию нашей матери, посетили ее однажды в Петербурге в большом доме Асташевых против царской пристани; по-видимому, мать рассчитывала получить после нее наследство. Но в этом она ошиблась.

Екатерина Павловна, умирая, осталась верна своим покровителям и вернула им по завещанию подаренные ей средства, кажется очень небольшие. Тон этого дома и несколько неясное положение, которое занимала в нем наша тетка, сразу мне очень не понравились, и я не хотел поддерживать никаких семейных расчетов и укреплять наших родственных связей. Отталкивание, по-видимому, было взаимное.

С другими членами семьи отца мы познакомились, когда отец вывез их из Сибири в Москву. Во главе семьи, по смерти деда, осталась его жена, наша бабушка, Екатерина, сохранившая до конца жизни следы былой живости характера. Брюнетка, с большими черными глазами, она имела вид и осанку grande dame (Важная дама.), очень любила громко говорить и рассуждать и, видимо, играла в семье

главную роль. Кроме нее, семью составляли наши тетки, Софья Павловна и Елизавета Павловна; первая была очень замкнутая и нам казалась злой старой девой. Напротив, к Елизавете, бывшей учительницей средней школы в Сибири, я относился с большим почтением. Она рассказывала нам о своем знакомстве с ссыльным декабристом Батеньковым и в своих взглядах держалась этой традиции.

Я уже был приват-доцентом, когда она умерла — как-то тихо и жертвенно, пережив мать **{21}** и сестер. Когда я приходил ее навещать в последние дни, она всё извинялась, что отнимает у меня время. Был у бабушки еще брат, очень дряхлый, Петр (к удивлению, я не могу вспомнить их отчеств): мы, мальчишки, постоянно его дразнили и были очень довольны, когда, выйдя из себя, он бегал за нами, потрясая своей толстой палкой. Из Сибири вся эта семья, по-видимому, вывезла очень недостаточные средства, и отцу приходилось почти содержать ее, — что очень не нравилось моей матери, вообще смотревшей косо на родственников отца. Она считала свой брак с отцом мезальянсом и постоянно попрекала в этом отца, что было одной из причин их постоянных разногласий. Когда она была особенно раздражена, она презрительным тоном, громко и с подчеркиванием отчеканивала: «Ах вы, Азигильдовы!» Отсюда только я узнал, что Азигильдовы — это была не блиставшая происхождением фамилия бабушки и ее брата. А теперь задаю себе вопрос: не было ли у меня в роду еврейской бабушки? Вероятно, это было бы сенсационным открытием в глазах моих политических противников! Но только осанка, бюст, даже черты лица бабушки скорее напоминали Екатерину Великую, а ее брат, пожалуй, мог сойти скорее за армянина. Так я и не знаю, чем мне с этой стороны надо гордиться. В моей личной жизни, во всяком случае, вся эта семья никакой роли не сыграла.

Сам отец, очевидно, никакими наследственными средствами не обладал. Говорили, что был оставлен на произвол судьбы при переселении семьи в Сибирь с Асташевыми. Он пошел по художественной части; долго хранился в семье его премированный Академией этюд: Христос среди своих палачей (по-видимому копия). Я уже упоминал, что он имел скромный заработок, как преподаватель и инспектор двух художественных училищ. Затем он несколько поправил свои средства, получив место городского архитектора — и окончательно вышел в люди, устроившись оценщиком в одном из московских банков. Апогей его карьеры как раз и относился к годам нашего пребывания в доме Арбузова.

На свою профессию отец, несомненно, не смотрел только как на доходное ремесло. В его кабинете **{22}** Арбузовского дома — лицом к воротам — я привык видеть несколько полок книг в хороших переплетах. Здесь были тома «Русского Архива» за первые годы издания (1863-66), ставшие потом одной из баз моей библиотеки; тут же были два тома «Илиады» Гомера в переводе Гнедича с рисунками Флаксмана. Был затем многотомный словарь Виолле-ле-Дюка и новые выпуски другого архитектурного словаря Daremberg et Salio. Кроме того, были немецкие издания Любке по истории искусства и архитектуры, Лемке по эстетике и т. д. Кое-что из этого тоже перешло потом в мою библиотеку. Из построенных в Москве зданий отца я помню только одно небольшое: беседка в русском вкусе при въезде на дачу князя Меньшикова в Петровском парке.

Над этой работой он много возился, вычерчивал и перечерчивал детали чертежей из альбомов русских древностей. Беседка получила вид чего-то вроде крыльца собора Василия Блаженного, и мы все очень гордились этим произведением отца. Ему удалось шире развернуть свою фантазию при постройке собственной дачи на участке в Пушкине — между станцией и деревней этого имени. Участок был куплен в эти же годы финансового процветания. Дача тоже получила отдаленное сходство с мотивами деревянной русской архитектуры — по своей обильной орнаментировке, по особой вышке, куда вела во второй мансардный этаж-«терем» винтовая лестница.

Пушкинская дача сыграла большую роль в наших с братом детских приключениях и в юношеских увлечениях. Но об этом — дальше. Следя за подготовительными работами отца, я тоже попутно получил кое-какие элементарные знания в чертежничестве, потом мне очень пригодившиеся, и некоторое понятие об истории архитектурных форм.

Мои воспоминания о родных со стороны матери гораздо более многочисленны и красочны. Девичья фамилия матери — Султанова, как будто напоминает мне иное, скорее инородческое дворянское происхождение, нежели старинная московская фамилия Милюковых. Коренные дворянские и помещичьи привычки сохранились у матери гораздо ярче (они совсем не сохранились — и, вероятно, не имелись — у отца).

Первый муж **{23}** матери, Баранов, был к тому же настолько ярым крепостником, что он был убит своими крестьянами в поле во время работ, по сговору, всем скопом деревни, чтобы нельзя было найти виновного. В таких случаях наказывать приходилось всю деревню, и наказания были жестокие. От этого брака у матери был сын — гораздо старше нас. Он был гусарским корнетом, был, очевидно,

тесно связан с соответствующей обстановкой и ее военными нравами. Мы его видели очень редко: во время своих побывок в Москве он останавливался у нас в квартире, но исчезал из нее по целым дням. Едва ли бы вообще он остался у меня в памяти, если бы не печальное обстоятельство его смерти. Во время какой-то попойки, кончившейся выстрелами, пуля попала ему в лоб и прошла около виска. Он не сразу почувствовал рану и приехал в Москву бодрый. Врачи решили сделать операцию трепанации черепа и положили его в госпиталь. Помню, он имел бодрый вид — или бодрился — когда мать привела нас к нему за несколько дней до смерти. Операция не помогла и, кажется, даже ускорила развязку.

Нам сообщили о его кончине. Мы перенесли эту весть равнодушно; для нас — да, кажется, и для семьи — он был чужим человеком.

Другое дело — братья матери. Мы знали ближе двоих из них: Владимира и Александра, последнего, впрочем, сравнительно мало. Ему предшествовала репутация распущенной жизни; он у нас бывал редко, и нас к нему совсем не тянуло, — как и его к нам. Напротив, Владимир Аркадьевич вошел довольно близко в нашу семейную жизнь. Это был яркий тип годов дворянского «оскудения»: талантливый, предприимчивый, бросавшийся во все стороны и научившийся знать все входы и выходы жизни. Вечно в делах, окрыленный надеждами, жизнерадостный и вечный же неудачник, что его, однако, никогда не смущало. Он обладал теплым сердцем, был очень ласков и добр с детьми, и я его очень любил. Между двумя неудачами он иногда даже жил у нас в доме. Уже в глубокой старости женился на крестьянке и завел новую семью. С его сыном знаменитым архитектором Ник. Влад. Султановым, автором памятника Имп. Александру II в Кремле, я познакомился гораздо **{24}** позже. Он не признавал отца, даже стыдился его и давно порвал с ним всякие сношения. Несмотря на свои высокие связи при дворе и свой официальный национализм, Н. В. был человеком простым и добрым; он даже афишировал свое «русачество». Я с ним сошелся довольно хорошо — на основе нашего общего интереса к русской художественной старине.

Из сестер матери одна была особенно с ней близка; она вышла замуж за Гусева и сделалась родоначальницей многочисленной семьи Гусевых, за разрастанием которой мне уследить не удалось. Ближе ко мне были двое двоюродных братьев, Владимир и Сергей. Мы не были особенно близки, так как по роду их службы — военной — видались не часто. Я особенно симпатизировал Владимиру, и он отвечал мне тем же. Мне нравился его открытый, прямой характер, его благородство и неподкупная честность. С этой репутацией он дошел до высоких чинов по службе и умер в генеральских чинах в Сибири, любимый всеми, его знавшими. При свиданиях он мне много рассказывал о своей среде — и откровенно рисовал ее в непривлекательных красках. Младший, Сергей, более предприимчивый, не довольствовался военной службой, скоро покинул ее и занялся разного рода спекуляциями, часто удачными. Но прочного положения себе так и не составил.

Наши встречи с ним, как и со старшим братом, были всегда спорадическими; но встречались мы всегда дружно, и жизнь всегда давала очередные темы для поучительной беседы. Я любил эти встречи, вводившие меня путем рассказов, в области жизни, мне мало известные. Реже приходилось встречаться с третьим братом, Александром, — тоже не удержавшимся в рамках военной службы и тоже занявшимся способами улучшить свое состояние. Он не был так предприимчив, как Сергей, но зато его приобретения казались более прочными. По-видимому, только казались, так как по его смерти — всё пошло прахом.

У него была семья, с которой я познакомился только после его смерти: симпатичный сын, Даня, поэт и мечтатель, и прелестная девушка. Оба кончили трагически: Даня — самоубийством, девочку быстро свела в могилу болезнь, Александр познакомил меня еще с одной **{25}** кузиной из семьи Гусевых, Маней, вышедшей замуж за солидного англичанина Росса; в Лондоне они принимали меня по-родственному. Всех позднее я познакомился еще с одним членом материнской семьи, глубоким стариком Петром, героем походов времен завоевания Кавказа,
пережившим все трудности этих походов, тяжело раненым, но не взысканным милостями начальства. Он женился на грузинке, привез с собой миловидную дочь, с огромными нерусскими глазами, — потом скоро исчез с нашего горизонта. Младшее поколение семьи Гусевых уже выросло вне моего наблюдения, и я воздерживаюсь от описания его членов. Во всяком случае, из сказанного видно, как широко раскинулась наша родня с материнской стороны, разбросав свои щупальцы в самые разнообразные и отдаленные углы русской земли. Через них и мне приходилось участвовать урывками в их обильном жизненном опыте.

Наша мать сама про себя с гордостью повторяла, что она «султановской породы», и другие с этим соглашались. Она была женщина страстная и властная. В семье она играла первую роль. Отец, более мягкого характера и менее яркой индивидуальности, как-то перед ней стушевывался и ей

подчинялся. Мать не знала нашего дедушку, но, когда приехала из Сибири в Москву бабушка с тетками, то мать, недовольная, кажется, этим приездом, решительно противопоставила свою «султановскую породу» этой «азигильдовской», постоянно попрекая этим отца. Лада у нас в семье не было, — и это задолго до приезда «азигильдовской породы».

Из самой глубины младенческого мрака у меня навсегда запечатлелась (вероятно, еще из Лефортовских годов) такая картина. Мы сидим за ужином в слабо освещенной керосиновой лампой комнате. Между отцом и матерью ведется крупный разговор, для нас непонятный, и кончается тем, что в отца летит тарелка и разбивается о противоположную стену. Мы сидим — ни живы, ни мертвы и потихоньку хныкаем. В таких случаях на младенцев не обращают внимания — и напрасно. Эта сцена отложилась у меня в памяти на всю жизнь. Вероятно, на ней и на других подобных и сложилось наше отношение к родителям. Отец, занятый своими делами, вообще не обращал внимания **{26}** на детей и не занимался нашим воспитанием. Руководила нами мать; к ней мы были гораздо ближе — и ее по-своему любили, хотя и страдали по временам от припадков ее воли. Однако, ее заботы ограничивались преимущественно внешней стороной воспитания и, вероятно, немногими моральными внушениями общего характера. Дальше этого общего характера не шел и ее интерес к религии.

Сколько я себя помню, у нас, детей, помимо соблюдения обязательного обряда сыновнего повиновения, сложилась своя собственная внутренняя жизнь, забронированная от родительского внимания и наиболее для нас интересная. Пытаясь объяснить себе, как это могло случиться, я должен искать корней в области далекого подсознательного прошлого. Из глубины забвения всплывает мрачная картина — телесных наказаний — тоже восходящая к Лефортовскому периоду. Не помню, чтобы мы с братом совершали какие-нибудь преступления, которые должны были бы караться таким способом, но кара появлялась как-то внезапно и была неумолима. Слезы, вопли, просьбы о прощении — ничто не помогало. Решение, продиктованное, обычно, матерью, выполнялось отцом. Приготовления к экзекуции ощущались, кажется, еще страшнее самой экзекуции. Потом отчаяние, нечеловеческие крики, боль, злоба, непримиренный конец, чувство обиды, несправедливости.

В старые годы я перечитал «Исповедь» Ж. Ж. Руссо. Его анализ совершенно верен. Телесное наказание рвет моральную связь и уничтожает доверие к родителям.

Между детьми и ними становится стена; за невозможностью взаимного понимания, сговора и убеждения создается система укрывательства внутренних побуждений и, по необходимости, лукавства и лжи. Прослеженный Руссо процесс в нашем случае прошел не так ярко — и остался вне нашего внимания. Но плоды его были те же.

Не могу сказать, чтобы мы были предоставлены целиком самим себе; но свою внутреннюю жизнь и нам приходилось создавать в какой-то постоянной оппозиции родительским заботам. Характерно было то, что наша оппозиция вовсе не замечалась. Бороться за внутреннюю свободу нам почти совсем не приходилось. Но с **{27}** годами сфера этой свободы постепенно расширялась, не привлекая внимания семьи — ни в дурном, ни в хорошем. В более зрелом возрасте я мог сказать самому себе, — не очень преувеличивая, — что я сам всем себе обязан. Но характерно уже это самое самочувствие юноши.

Этой «своей жизнью» и «внутренней свободой», по-видимому, отчасти пользовался и наш отец, уступив жене жезл семейного управления. Более мягкая, менее отчеканенная индивидуально, его природа всё же не была безличной. И, при всей мягкости и внешней уступчивости, поводы для семейных столкновений были постоянно налицо, хотя с годами эти столкновения и приняли более сложный и менее для нас заметный характер. Что было в характере отца скрыто «милюковского» и что «азигильдовского», для меня так и осталось неизвестным. Семейной гармонии у нас в семье, во всяком случае, не было, — что и объясняет, в свою очередь, предоставленную нам, с ранних годов, свободу самовоспитания.

5. УЧЕНИЕ И ШКОЛА

Ученье и подготовка к школе принадлежат к самым запутанным и хорошо забытым отделам моих воспоминаний. Педагогические теории шестидесятых и семидесятых годов в нашу семью не проникали. Ранним обучением занималась мать; но у меня не осталось никаких воспоминаний о том, в чем выразились ее заботы. Не помню также, чтобы приглашались какие-нибудь посторонние преподаватели на дом, не говоря уже о воспитателях. И всё же как-то дело шло. Я решительно не могу вспомнить, как я научился читать и писать. Наверное, начало этому было положено еще в Лефортове. Первых книг или хрестоматий для детского чтения тоже не помню. Самой ранней книгой, которую мы

очень любили, были басни Крылова, в издании среднего формата, с рисунками, сохранившими следы наших первых упражнений в употреблении красок. Когда впоследствии я нашел эту книгу в библиотеке, то был удивлен ее малым форматом. Как в Давыдкове, размеры, казавшиеся большими, сократились с нашим собственным ростом. В этом признаке я вижу доказательство раннего влияния на нас **{28}** этой книги. Не всегда понимая текст — особенно нравоучений — мы всё же знали басни Крылова наизусть, и гораздо раньше Брема они ввели нас в мир животных.

Наступило время, когда родители сочли нашу подготовку достаточной, чтобы отдать нас для обучения наукам в пансион приходящими. Имя француза, содержателя пансиона я, к сожалению, забыл (что-то вроде Лételle). Не помню ни учителей, — ни даже того, были ли там вообще какие-либо учителя. Помню только большую, пыльную, неубранную комнату, заставленную скамьями и пюпитрами и представляющую единственный класс и чуть ли не единственное помещение пансиона. И то помню потому, что между уроками и по вечерам там происходили шумные игры учеников разных возрастов. Помню и нашу игру в «Лихо одноглазое», — след некоторого нашего знакомства с русским фольклором. Но эта игра состояла только в том, что победивший садился на спину побежденного и гонялся за другими участниками игры, пока ему не удавалось поймать своего заместителя на роль «Лиха». Еще помню, — и это уже ближе к ученью, — что из учебников мы особенно ненавидели элементарную «Географию» Корнеля, тощую книгу, в виде нотной тетради, в растрепанном переплете, всю исчерченную и измаранную нашими предшественниками. Такие же ненавистники «Географии», как они, мы решили с братом пойти дальше их и подвергнуть учебник окончательному истреблению.

Выбрав подходящий момент, мы опустили книгу в отхожее место и... с некоторой тревогой ждали последствий своего преступления. Но наше преступление сошло нам с рук, просто потому что исчезновение учебника не было никем замечено; никто нас по Корнелю не спрашивал, и «География» была упразднена сама собой, не только в качестве книги, но и в качестве учебного предмета.

Следы такой запущенности преподавания довольно скоро были замечены и нашими родителями. Нас решили взять из этого странного пансиона. Не знаю, по чьему совету, дальнейшее наше обучение было поручено бедному и больному старику — еврею Блонштейну. Дисциплинировать нас он не мог, но он брал нас именно каким-то своим пришибленным видом и своей человеческой лаской.

{29} Вместе с его двумя маленькими дочерьми, такими же испуганного вида девочками, как их отец, мы составили класс, — единственный, который свидетельствовал о педагогической профессии Блонштейна. Класс помещался в маленькой жилой комнате его крохотной квартирки. Бедность в ней видна была на каждом шагу. Но это внушало нам какое-то уважение, и кое-чему Блонштейну удалось нас обучить, — особенно арифметике, которая была, по-видимому, его главной специальностью. Вероятно, тут заложены были также основы немецкого языка. Как кончилось это учение, я не помню. Но раз, подходя к квартире Блонштейна, мы увидели нашего учителя распростертым на тротуаре, в бессознательном состоянии, с раскинутыми в стороны руками. Мы побежали сообщить в квартиру и общими силами с девочками подняли его и втащили в квартиру. В нас шевелилось чувство страшной жалости и какой-то привязанности к безответному нашему труженику, учителю. Понемногу он оправился, и преподавание, кажется, еще несколько времени продолжалось.

Наступило время отдать нас в гимназию. Первая гимназия помещалась недалеко от нас: через Сивцев Вражек, пересекая Пречистенский бульвар и церковь, мы выходили прямо в Знаменский переулок, откуда был боковой вход в параллельные классы гимназии. Вступительный экзамен мы выдержали легко и даже оказались хорошо подготовленными! Нас обоих с братом приняли в первый параллельный класс гимназии. Отсюда начался уже нормальный период нашей учебы.

Именно благодаря этой неожиданно хорошей подготовке — в которой я сам не могу отдать себе отчета, — я учился вначале хорошо и даже очутился четвертым на «золотой доске» класса. Брат, более подвижный и менее усидчивый, оказался к ученью несклонным. Не было удержу его шалостям, и у меня врезался в память один эпизод, произведший впечатление на весь класс. В перемену между уроками шалости брата достигли необычайных размеров. Я был как раз дежурным, отвечал за дисциплину в классе и страшно боялся, как бы Леша не подвел себя под серьезное наказание. Чтобы предупредить это, я решился сам пожаловаться на брата надзирателю, **{30}** т. е. на школьном жаргоне, «сфискалил». Класс как-то даже опешил; надзиратель ограничился тем, что поставил брата к стене, а я почувствовал себя ужасно скверно. Класс разделился: одни товарищи меня порицали, другие хвалили, а я не знал, куда деваться от похвал и порицаний. Этот моральный конфликт и до сих пор выплывает у меня в памяти из ряда забытых событий. Алексей в конце концов решительно не мог уложиться в рамки школьной дисциплины и школьного обучения, и из второго класса родители решили перевести его в Техническое Училище — назад в наше Лефортово. Его устроили в тех краях; но дружба между нами

сохранилась самая прочная, и праздники проводились вместе. Предваряя события, прибавлю, что в Техническом Училище брат привился и приготовил себе неплохое будущее. Но — об этом потом.

Другой, более сложный моральный конфликт из первых годов гимназии врезался мне в память, вопреки моему желанию поскорее забыть о нем. Как-то в воскресенье, уже один без брата, я накупил хлопушек и, к зависти встречных мальчишек, с шумом взрывал их о тротуар: производилось впечатление петарды. На мое несчастье, навстречу шел директор гимназии Малиновский, остановил меня, прочел строгий выговор и велел прийти в гимназию. В страхе я вернулся домой и рассказал о происшедшем родителям. Мать настояла на том, чтобы я принес письменное извинение директору, и притом в стихах (она знала, что я уже начал кропать стихи). Как сейчас помню этот тщательно перевязанный голубой ленточкой сверток белой бумаги с неуклюжими виршами, который, в присутствии матери, я вручил директору. Мне было стыдно и за стихи, и за самое извинение и за явно неискреннее обещание:

Буду я вперед ходить
Без покупок глупых.

Директор встретил нас величественно, — это вообще был его стиль, — удостоил снисхождением и всё же посадил меня, в виде наказания, на несколько часов в пустую аудиторию. Остатки раскаяния заменились у меня чувством обиды за испытанное унижение и досадой на родителей, подтолкнувших меня на этот шаг. Я **{31}** боялся и того, что о нем узнают ученики и высмеют меня по заслугам. Долго я не мог вспомнить об этом эпизоде без чувства стыда и горечи.

Понадеявшись на свою «хорошую» подготовку, я скоро начал запускать учение. Соперничать с постоянным «первым учеником», Стрельцовым, у меня не было никакой охоты, и скоро с четвертого места я опустился до двадцатого. Это меня нисколько не волновало. С одноклассниками я мало сходился, и никого из них не помню в эти первые годы — за исключением одного, с которым дружба, начавшаяся здесь, продолжалась до самой его смерти.

Это был Миша Зернов, сын протоиерея церкви Успения Василия Блаженного, как раз против выхода Староконюшенного переулка на Арбат. Помню, как мы с братом ходили по праздникам на широкий двор позади церкви, играть в бабки — и познакомились там с братом Миши, Митей, который шел классом ниже и был однолетком с Леней. Брат потом сошелся ближе со всей семьей Зерновых; но и мои отношения с ними постепенно укрепились и углубились.

Это, впрочем, уже относится к внегимназическим влияниям жизни, о которых идет речь в следующем отделе. К внешкольным впечатлениям, по-видимому, и перешел весь мой интерес в эти годы, тогда как гимназию первых трех классов мне нечем помянуть, ни дурным, ни хорошим: я относился к ней формально и небрежно. Припоминаются только два «события» этого времени: похороны историка Погодина, известного нам тогда только по его имени на «золотой доске» в актовом зале. Процессия остановилась перед главными воротами гимназии; с этим парадным входом мы не были знакомы. Другое событие: посещение гимназии императором Александром II. Он зашел на минуту и в наш параллельный класс в верхнем этаже, и оттуда нас повели, подвое в ряд, вниз по лестнице, вслед за царем. Но мы видели сверху только его светящуюся лысину. На парадной лестнице присоединились старшие ученики, и проводы приняли восторженный характер. С крыльца многие бросились бежать за царским экипажем. Помню, мне этот жест не понравился. Это был единственный раз, когда я близко видел Александра II-го.

{32} Третьим классом гимназии заканчивается этот период моих школьных воспоминаний. Одно обстоятельство сделало из этой случайной даты глубокую грань в моей жизни. Для перехода в четвертый класс нужно было выдержать экзамен за все три первые года. Моя гимназическая работа была порядочно запущена, и нужно было проявить особое усилие, чтобы привести себя в порядок и не провалиться на экзамене, — чего не допускало мое самолюбие. Я это усилие сделал, и оно не только дало мне возможность подтянуться внешним образом, но сообщило моральный толчок сознательным элементам моей натуры. Собственно, только с этого момента я могу считать начало своей вполне сознательной жизни. Это, впрочем, выяснится в дальнейшем.

Сейчас же я заговорил об этом, чтобы взять с собой дальше одно трогательное воспоминание. Со мной шел товарищ, очень меня полюбивший и мне поклонявшийся, Николай Николаевич Зилов, сын небогатого уездного помещика. За его преданность мне я чувствовал к нему благодарность и платил ему нежной дружбой. Его душевные качества были, однако, выше его интеллектуальных свойств, и наши отношения не были отношением равных. Переход в четвертый класс стал перед ним непреодолимой преградой; все надежды он возложил на мою помощь, и мы стали заниматься вместе для экзамена. Мое гимназическое прозвище было «Кенгуру» — вероятно подчеркнувшее особенности

моей фигуры, и товарищи шутили, что «кенгуру» перепрыгнет в четвертый класс, таща на себе и Зилова. Увы, это не удалось; мой нежный друг остался позади. Но дружба наша не прекратилась. Помню, он возил меня в маленькое поместье отца — и даже заставил меня научиться ездить верхом, посадив меня, для начала, без седла на смирную рабочую лошадь — и привязав к ногам тяжелые кирпичи. Эта примитивная выучка мне потом очень пригодилась. Мы нашли потом еще одну общую черту, протянувшую дальше наши отношения.

Зилов учился играть на кларнете, а я уже стал скрипачом. Он приносил мне переделку сонат Моцарта, и мы их разыгрывали вдвоем. И впоследствии он меня не оставлял. Он сделался земским деятелем, усердно и добросовестно **{33}** работал в комиссиях и заставил считаться с собой, как с полезным сотрудником. При свиданиях, всё более редких, он посвящал меня в мельчайшие подробности этой своей земской деятельности, говорил о либеральных тенденциях близкой к нему группы в своем уездном земстве и об упорном сопротивлении темных земских элементов всяким либеральным затеям. Я очень ценил эту общественную деятельность моего старого товарища и видел в ней оправдание нашей душевной дружбы. Он впервые ввел меня в понимание смысла земской работы.

6. ДОМА, В ЦЕРКВИ, НА УЛИЦЕ, НА ДВОРЕ И НА ЗАДВОРКАХ

Я уже указал на важность этой третьей части моих воспоминаний о периоде жизни, связанном с домом Арбузова. Именно там, в эти годы, под влияниями, проникавшими вне семьи и школы, ребенок превратился в юношу. Превращение было настолько быстрое и, скажу заранее, настолько преждевременное, что тут особенно трудно строго различать хронологию. Случайный эпизод, неожиданный внешний толчок, интересная встреча, сразу двигали вперед процесс, остановившийся на одной точке. Линии пересекались, то отставали, то забегали вперед. При невозможности уследить за целым, я рассеку эту пеструю картину на части, связанные с местом действия, как это обозначено в заглавии. Так, по крайней мере, сохранится, хотя и в разрозненном виде, возможно больше материала воспоминаний. Этот материал, всё равно, накоплялся обрывками, и общие выводы из накопленного можно было сделать только уже в следующем периоде жизни.

В доме, в семейной обстановке, конечно, всего естественнее и легче было бы наблюдать за нашим развитием и дать то или другое направление нашему росту. Но я говорил уже, что этого рода воздействие на нас было очень ограничено, никаких педагогических систем на нас не пробовали, душевная связь с родителями была порвана, нам была предоставлена большая свобода поведения, и мы этим пользовались в полной мере. Конечно, общий уровень культурного быта семьи не мог не **{34}** отразиться на нас: мы знали правила поведения, подчинялись им и вышли послушными, благонравными мальчиками, — даже мой непослушный брат, не укладывавшийся ни в какую, навязанную извне систему дисциплины. Но это был только внешний вид, соблюдение которого и давало нам свободу внутренней жизни. Плоды этой свободы только отчасти, и, я думаю, в меньшей части, были доступны домашнему наблюдению. Поэтому, к известному моменту, мы и вышли такие чужие: семья нам, и мы семье. Зато мое развитие пошло вперед быстрым ходом под влиянием внесемейных впечатлений.

Например, я очень рано почувствовал потребность писать стихи. Я говорил, как неосторожно воспользовалась мать первыми ростками этой моей склонности. Мое стихописание, в сознании его крайнего несовершенства, я долго скрывал от всех. У меня была толстая тетрадь, в черной полумягкой обложке, в которую, втайне от всех, я вносил свои первые детские опыты. Они, конечно, еще не касались личной жизни, лирики, которая в то время вообще отсутствовала. Я начал с подражаний. Я, например, вспоминаю одно из ранних стихотворных настроений. Поздняя осень, ненастный день, ни играть, ни гулять нельзя. Я лежу на животе, на большом ковре отцовского кабинета и пишу в своей тетради, сам определяя про себя, что это «по Никитину»:

Дождь стучит в окошко,
Скучно, холодно;
Видно, что ноябрь
К нам глядит в окно...

Тема готова: в заброшенной, занесенной снегом избе сидит девушка, поджидая жениха. Слышится звон колокольчика, приближается, вот уже совсем близко.

Девушка вскакивает, волнуется. Но колокольчик постепенно затихает, всё погружается в прежнюю тишину и сон. Задумано хорошо, но вот... рифмы никак не слушаются. Напрасно я грызу перо, прибегаю к звукоподражаниям «колокольчик динь-динь-динь», но рифмы нет, ничего не выходит... Стихотворение, после нескольких неудачных строф, так и остается незаконченным, Ну, как

это показать другим! Или вот другое **{35}** воспоминание. Начинается франко-прусская война. Мне тогда было одиннадцать лет, и настроение мое вполне определенное: пруссаки «режут, колют, как и чем попало». Читаю внимательно газеты. «Взяты форты Ванвр и Исси, взят Мон-Валериан, взят и Мон-Аврон, бомбардируют Париж»...; а французы ...«не кричат пардон», «а Вильгельм королеве все победы славит, и все «Божьим промыслом» он их всех заглавит». Но... работа не клеится. Поэмы не выходит. Замысел брошен. И опять из черной тетради нелепо торчат и укоризненно смотрят на меня бессильные и не вполне грамотные строфы.

И вот, всё-таки, к моему стыду, черная тетрадь попала в чужие руки! Слава о моем стихописании распространилась по двору, а на дворе жила семья Депельноров. В семье была милая девушка, к которой я был не равнодушен; милая девушка захотела прочесть мои стихи, — и стихи у меня украли. Я был заранее уничтожен. И уже не отчаяние, а скорее облегчение почувствовал, когда, наконец, тетрадь вернулась ко мне и поперек моих стихов красовалась бойкая надпись карандашом задорного брата девушки, Жени, — «Пашка — сволочь, не стоящая моего сапога». А в другом месте: «Всё это дрянь, и списано у Пушкина». Обиженный до глубины души и за себя, и за Пушкина, я написал стихотворный ответ обидчику, — как мне казалось, весьма язвительный. Но нахал, — а он таки был нахал, младший Депельнор, — свое дело сделал и ответом меня не удостоил. Тетрадь моя после этого перестала пополняться. Я писал отныне на отдельных листочках и тщательно их прятал от постороннего глаза.

От поэзии перейду к музыке. Как у меня зародилась любовь к ней, я не помню, но любовь была страстная, и я пристал к отцу, чтобы он купил мне скрипку и пригласил учителя. Я добился своего. Приглашен был солист Большого Театра Бармин и начал меня учить. Но — как он учил! От словесных внушений он перешел к ручным, и его уроки скоро мне опротивели. Жаловаться было нельзя, так как Бармин задумал важное Дело: к именинам отца он решил заставить меня сыграть перед спальней отца утреннюю серенаду. Он выбрал для этого дуэт Безекирского на тему двух русских **{36}** песен: адажио «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» и престо «Во поле березонька стояла». Вещь была слишком трудна для моей тогдашней техники: отсюда и неумолимое битье. Но надо было показать быстроту моих успехов под руководством Бармина. Я таки вызубрил пьесу, а Бармин, в день именин, дуэтом покрывал мои провалы и получил должную благодарность. Но чего мне это стоило!

Уроки прервало одно печальное обстоятельство. В классе сосед по парте резко сдвинул свою парту с моей в тот момент, когда указательный палец моей левой руки лежал между обоими; кончик пальца сломался и повис. Боли я не почувствовал сразу, но крови вышло много и лечение понадобилось продолжительное. От Бармина я таким образом освободился. Но вкуса к скрипке всё же не потерял. Как только палец зажил, правда, суженный к концу, так что двойные ноты было брать трудно, — я опять пристал к отцу о возобновлении уроков. На этот раз выбор оказался много удачнее. Моим учителем сделался Вильгельм Юльевич Виллуан, племянник знаменитого Виллуана, тогда доучивавшийся в московской консерватории, а впоследствии сделавшийся директором Нижегородской консерватории. Он понимал, что учиться музыке — не значит бренчать на скрипке, и начал понемногу знакомить меня с элементами музыкальной науки, задавал темы на ведение аккордов, выправил мою постановку пальцев, учил чтению партитуры и т. д. К сожалению только, это учение было непродолжительно, так как скоро Виллуан кончил консерваторию и уехал из Москвы. Впоследствии я пробовал продолжать сам, по книжкам. Но на первых порах, вместо теории, пристрастился к разыгрыванию нот, доставал их откуда мог, исчертил груды нотной бумаги на переписку скрипичных партий, и у меня накопилась целая библиотека увертюр, арий из опер, танцев, маршей и т. д.

Тут же я приобрел беглость и поднял свою технику: конечно, вместе с небрежностью исполнения. Мне потом было стыдно признаваться, что я ученик Виллуана; но я сохранил глубокую благодарность к нему за **{37}** поддержание и укрепление во мне серьезного интереса к музыке. Это, правда, развилось уже впоследствии.

Из опер я тогда особенно любил «Жизнь за Царя» и знал ее чуть не наизусть. Главные арии Глинки звучат до сих пор в моих ушах так, как я их слышал у тогдашних певцов. «Бедный конь в поле пал, я бегом добежал — отворите!» — торопливой женской скороговоркой, перед слабо освещенным лампадой входом в Ипатьевскую обитель. Или «Не томи, родимый» Антониды, с последующими руладами. Но сильнее всего действовала предсмертная песнь Сусанина:

Чуют правду!.. Ты ж заря,
Скорее заблести!.. скорее возвести
Спасенья весть — про — Цаа-ря-а-а!

И текст Розена мне нравился чрезвычайно; казалось, он так удачно сливался с музыкой. Я не знал, что рулады Антониды, да и самого Сусанина, это — «итальянщина». Первые впечатления юности, непотревоженные ученой критикой... Как будто в тех годах мы переживали тридцатые.

Интерес к литературе далеко не шел в ряд с интересом к поэзии и музыке. После басен Крылова нам не давали в руки никаких классиков. С русскими классиками мне пришлось знакомиться значительно позднее. И мы были предоставлены собственному выбору детского чтения. Любимыми нашими авторами (тоже несколько позднее) сделались Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер. Их мы читали взасос, получая их из гимназической ученической библиотеки. Кажется, единственными тогдашними любимцами из русских были Загоскин и Лажечников. Весь этот выбор чтения, конечно, происходил помимо всякого семейного руководства.

Заговорив о русских классиках, я, однако, забыл об одном эпизоде, к ним относящемся. Не помню, по чьему почину, — вероятно, старшего Депельнора, Александра, отличавшегося своей серьезностью, в противоположность младшему Жене, — мы в летние дни разыграли «Недоросля» Фонвизина в костюмах.

Сцену устроили на террасе хозяйского дома, на которой повесили занавес; костюмы сделали при дамской помощи, вызубрили роли и, после довольно многочисленных и **{38}** веселых репетиций, созвали старшую публику. Мне досталась ответственная роль г-жи Простаковой, и я старался подражать голосу старой барыни. Софью играл в соответственном белокуром парике из конопли и в светленьком ситцевом платьице мой брат. Роль Стародума досталась старшему Депельнору. Женя был самым подходящим актером для Митрофана. Он — единственный — не выучил, как следует, своей роли, да притом еще был заикой от природы. Но к Митрофану это как раз подошло, и игра вышла красочная. Словом, всё сошло благополучно, и нас всех очень хвалили. По общему приговору мне был присужден первый приз: он состоял из вырезной картинки, изображавшей вокзал и железнодорожные вагоны. Помню, я был очень доволен — и общим признанием, и призом. Мы тогда очень увлекались вырезными и сводными картинками, которые называли "calcomanie".

Я говорил о каком-то бессознательном чувстве неудовлетворенности, с которым я выходил, после первой исповеди, из церкви Иоанна Предтечи. Это чувство я перенес и в дом Арбузова. Оно особенно окрепло, когда, после поступления в гимназию, исповедь и причастие стали обязательным актом, о выполнении которого надо было представлять гимназическому начальству официальное удостоверение.

Я уже знал, что бесполезно припоминать перед исповедью все грехи года, что священнику всё равно их слушать некогда, и что он покроет меня епитрахилью, так сказать, в кредит. А между тем, грехи были налицо, и я чувствовал себя как бы не прощенным, а, следовательно, получал причастие «в суд и в осуждение». Как это примирить с высоким значением таинства, я, конечно, не знал, но чувствовал, что родители мне объяснить этого не смогут. Дома не имелось для этого никаких предпосылок. Не думаю, чтобы у нас была даже дома Библия или Новый Завет. Книги эти долго оставались мне неизвестными. Религия, как воспитательное средство, у нас отсутствовала: проявления домашней религиозности не шли дальше обязательного минимума. В определенные дни приходил в дом священник с крестом, кадил и кропил, сопровождаемый нестройным пением дьячка и причетника. После **{39}** обязательного обмена несколькими елейными фразами, надо было наделить каждого соответственно иерархии.

Этим кончалось домашнее соприкосновение с служителями церкви. Значение церковных обрядов, литургии и таинств, я мог узнать только из учебника «Богослужения» — но не в первых классах гимназии. А связь между догматами веры и их таинственный смысл оставались для меня неизвестными до университета.

Между тем, у меня росла несомненная потребность выразить как-то более лично, более интимно свое отношение к вере. Ходить чаще в церковь, соблюдать точнее обряды, выражать это в действиях, истово класть на себя крест, становиться на колени, ставить свечи перед образами... Церковь, та же самая красная церковь Иоанна Предтечи, была близко.

И в 10-12 лет я стал настоящим «девотом». Дома этого отнюдь не поощряли; но тем более я считал это своей личной заслугой. Не помню, как это пришло и как это кончилось. Но это было и доставляло мне внутреннее удовлетворение. Кругом не было никого, кто бы от этих начатков показал путь дальше... И традиция дома Спечинского не оборвалась. Но она как-то завяла сама собой.

Как я говорил, за нами не было никакого надзора. И мы этим пользовались в полной мере. Как только мы выходили за ворота дома, — на улице было так интересно! И вместо того, чтобы идти в школу к Блонштейну, мы подолгу и частенько задерживались на улице.

С гимназией так поступать было, конечно, нельзя, да и мы стали постарше. Наши прогулки приняли другой характер, благодаря завязавшейся дружбе с Зерновыми. Их отец взял в дом репетитора для сыновей, только что кончившего семинариста, которого рекомендовал ему архиерей. Рекомендация оказалась замечательно удачной. Молодой семинарист колебался, идти ли ему по духовной или по светской карьере. Вместо академии, он, наконец, решил готовиться к экзамену в университет. В конце концов, он не попал ни туда, ни сюда, прижился к семье Зерновых и остался там своим человеком до конца своих дней. Это было истинное благодеяние для них, а косвенно и для нас. Иван **{40}** Васильевич Неговоров оказался прирожденным педагогом и воспитателем. С большим лбом, продолженным ранней лысиной, с глазами немного на выкате, с расширенными ноздрями и окладистой бородой, — весь воплощенное спокойствие и какое-то внушающее равновесие, Иван Васильевич напоминал мне Сократа — или, может быть, бюст Сократа напоминал Ивана Васильевича.

От него исходила какая-то примиряющая сила. Я не представляю себе, чтобы он когда-нибудь выходил из себя и сердился — и уже наверное никогда не кричал. Он любил детей, и дети его любили. Не послушаться Ивана Васильевича было невозможно — уже потому, что он никогда не отдавал приказаний и не делал внушений. Всё шло как будто само собой. От него я впервые услыхал слово: «хвилософия» (он был малоросс; слова «украинец» мы тогда не знали; Иван Васильевич был далек от всякой политики). «Хвилософию» свою он преподавал и детям Зерновых, вероятно, разумея ее в самом широком смысле, и включая в нее больше этику, чем метафизику. Он любил книги и покупал их по дешевой цене на «толкучке»; так он составил себе небольшую библиотечку. Спрашивая себя теперь, откуда я заимствовал свою любовь к книгам и свое раннее знакомство с «толкучкой», я не нахожу другого источника, кроме Неговорова. Собственно, «толкучки» было две: одна, ближе к нам, «под Новинским», но хорошие книги там были редки, хотя, если попадались, стоили баснословно дешево. Другая, настоящая, с большим выбором книг, но по ценам не всегда мне доступным, называлась «Сухаревкой» (на площади у Сухаревой башни, теперь не существующей). Книги продавались на лотках по воскресеньям; но весь переулок рядом был занят книжными складами букинистов, и там можно было производить самые интересные раскопки. Впрочем, что касается меня, знакомство с «Сухаревкой» относится к более позднему времени.

Возвращаясь к ранним годам нашего общения с Зерновыми и с их воспитателем, я могу отметить новое направление наших прогулок, — которые, собственно, нас и сблизили. Иван Васильевич был страстным любителем рыбной ловли — и внушил нам эту свою любовь.

{41} Вспоминаю, что проф. Ключевский в частной беседе шутил, что рыбная ловля удочкой есть специальная привилегия духовного сословия, в противоположность привилегии дворянской — охоте на зверя и дичь с огнестрельным оружием. Там — простое, грубое убийство, говорил он, — здесь, напротив, жертве предлагается на выбор, брать или не брать приманку. Нужно искусство — склонить ее к выбору; если клюнет, сама виновата.

В этом искусстве четверо ребят — двое Зерновых и двое Милюковых, кажется, не достигли тогда высокой степени, и я не помню, чтобы мы возвращались домой с большими рыбинами и с тяжелыми кошелками. Но не в этом было дело. В чудесные летние воскресенья мы уходили с раннего утра до вечера на лоно природы, брали с собой на целый день съестные припасы и предавались полному безделью. Наш путь был не близок: цель была — низкий берег Москвы-реки, против крутого подъема Воробьевых гор. Надо было пройти от Арбата всю Москву с пригородом, потом пересечь всё Девичье поле, тогда совершенно пустое (клиники были построены много позже), обойти Ново-Девичий монастырь и обширными огородами выбраться на берег. Это была целая экспедиция; но мы не замечали расстояния за веселыми шутками нашего руководителя. На душе было как-то необыкновенно легко и дышалось свободно. Проведя так целый день, валяясь на песке и меньше всего думая о рыбе, в сумерках мы, утомленные ходьбой и воздухом, возвращались уже молча по домам — и крепко засыпали. Это был целый курс педагогии, который мы проходили незаметно. Я один из четырех пережил всех, и как мне дорог до сих пор, в ореоле распускающейся юной радости жизни, образ нашего учителя, похожего на Сократа.

Возвращаюсь к двору Арбузовского дома, грязному, неубранному и, увы, оставившему далеко не одни только чистые воспоминания. Двор, как я упоминал, разделялся нашим домом на две части. Передняя, вместе с домом хозяина и с двумя палисадниками, была предоставлена в распоряжение дворянских жильцов и их детей, т. е. нас и Депельноров. Тут происходило то общение, о котором говорилось выше. Но уже намечалась **{42}** грань между двумя половинами: с одной стороны, я, старший Депельнор и старшая сестра, к которой я питал рыцарские чувства; с другой — Женя и мой брат, хотя и не доходивший в своих резвостях до его пределов. Эти двое явились посредниками в общении «маль-

чиков» нашей половины с «мальчишками» задней половины — многочисленной детворой мещан и ремесленников, занимавших заднюю часть нашего дома. Собственно, общение с ними нам было запрещено. Но так как следить за этим было некому, то запрещение это скоро перестало соблюдаться, и родителям пришлось смотреть сквозь пальцы на совершившийся факт. Здесь шалости принимали уже, в виду количества участников, коллективный характер и вели к усвоению «дурных привычек». О набегах на соседний огород я уже упоминал. Но тут требовалось всё-таки молодечество, смелость, быстрота и натиск: словом, качества, вызывавшие коллективное одобрение. Тут был и риск.

Один раз садовник огорода, подвергавшегося разграблению, погнавшись за грабителями, оказался быстрее их и поймал одного из них, не успевшего перескочить через забор, содрал с него штаны и здорово его оттузил. Я благоразумно держался по сю сторону забора. Бессильна была попытка банды приобщить меня к общему курению. Табака я не выносил — ни тогда, ни после. Но так как всё-таки от товарищей отстать не хотелось, я нашел выход: я сушил листья бузины, крошил их и набивал ими свернутую из бумаги «сигарку». Едкий дым проникал в нос и в рот и быстро прекратил эти попытки. Но были шалости и похуже...

7. ДАЧА В ПУШКИНЕ

Этот отдел моих воспоминаний был бы неполон, если бы я не отметил, какую роль в нашей с братом эмансипации от семьи имели наши периодические наезды на дачу, построенную моим отцом на арендованном («на 99 лет») казенном участке между станцией и селом Пушкиным. Это была одна из первых построек в дачном месте Пушкино; недавно перед тем проложенное трехверстное шоссе окаймлял с обеих сторон нетронутый **{43}** еловый лес. Участки тянулись длинными полосами в глубь этого леса, местами очень густого; позади участков шла просека, за которой продолжался тот же лес — до неведомых для нас пределов; а направо от нас просека выходила к речке Серебрянке. Начало речки терялось в болоте; у просеки можно уже было поставить купальню, а дальше река быстро расширялась и превращалась в целое озеро, кончавшееся круто у села и у фабрики француза Рабенека. Все эти сокровища были в нашем единственном обладании, так как участки застраивались не сразу, кругом никого не было, лес по ночам пугал нас всякими страхами, и я помню, как раз ночью простоял очень долго против голого ствола, простиравшего ко мне руки, — приняв его по крайней мере за медведя, если не за что-то более неведомое и ужасное. По ночам в лесу сверкали светляки, еще усиливавшие оттенок таинственности. Днем все страхи рассеивались, и мы расширяли свою разведку все дальше и дальше, никем не тревожимые.

Пушкино сопровождает мои воспоминания во всех стадиях моего детства и молодости, вплоть до кончины матери. Это, так сказать, энциклопедия или сокращенный репертуар моих воспоминаний. Помню, как, еще во время постройки дачи, мы были свидетелями рубки девственного леса, чтобы очистить для постройки место. Мы были и тогда одни — и безнаказанно позволяли себе удовольствие участвовать в примитивном завтраке рабочих, отведывая их «мурцовку». Эта смесь чистой воды из колодца с накрошенным хлебом казалась нам необыкновенно вкусной. Потом дача была построена, но оказалась непригодной для зимы. Возле нее была пристроена, на коротком расстоянии, кухня и над нею комната — теплушка, обитая войлоком. Тогда наше пребывание в Пушкине стало более длительным: нас отпускали туда одних на целые праздники Рождества. Это были целые экспедиции: закутавшись в шубки, мы приезжали с съестными припасами. Но своей гордостью мы считали прокармливать самих себя. Для этого мы запасались своими монтекристо, но не такими, из которых стреляют в тирах, а несколько большего калибра: из них можно было стрелять не только пульками, но и **{44}** дробью.

Пульками мы стреляли белок, для чего требовалась большая меткость. Мы снимали с них шкурки и делали чучела: для этого тоже нужна была известная техника. А для обогащения нашего пищевого запаса, мы выходили с нашими монтекристо на шоссе, где слетались на лошадином помете целые стада овсянок. Мы выдерживали расстояние, делали залп, и несколько птичек оставалось на месте; мы их ощипывали и жарили. Это было превкусное кушанье. У брата здесь была заложена его страсть к охоте, широко развернувшаяся впоследствии. Так проводили мы Робинзонами, в глубоком снегу, целую неделю, и возвращались невредимыми, розовыми и пышащими здоровьем. Очевидно, это и оправдывало в глазах родителей наши бесконтрольные отпуски.

Весной и летом наши предприятия принимали иной характер.

В тенистых заводях Серебрянки мы ловили злодеев «щуренков» (маленьких щук), не брезговали и плотвой и всякой живностью и растительностью мелководья. Отсюда пошли наши познания во флоре и фауне. Появлялись бабочки, и мы собирали целую коллекцию — дневных, ночных и вечерних. Махаоны, трауермантели и мертвые головы пользовались особым вниманием. Но мы различали и многочисленную семью ванесс: собирали коконы, выводили из них бабочек, знали червей, соответствующих хризалиде, и т. д. На Серебрянке оказался маленький, плохо сколоченный плот; когда мы на него становились, он погружался под нами до колен. Тем не менее, мы запасались жердью, вместо весла, разъезжали по реке, приставали к противоположному Крестьянскому берегу и набивали чулки горохом. Да не перечислишь всех тех приманок, которые рассыпала перед нами природа. Мы тут научились знать и любить ее.

Шли годы; наши интересы быстро менялись. Прошел слух, что мимо нас гуляют барышни необыкновенной красоты. Мы их выследили — из детского любопытства: оказалось две сестры, Летковы — на возрасте; нам ни к чему. Одна вышла потом за художника Маковского и попала на его картину боярского пира; другая вышла за моего кузена, Николая Султанова — **{45}** и стала моей родственницей; потом она же пошла в литературу и подружилась с Н. К. Михайловским. Такой рой воспоминаний связывается с нашим Пушкиным. Через Пушкино прошла и моя первая — чувственная — любовь, оставила яркий след в памяти и ушла в прошлое. В Пушкине раскрылся было и новый цветок чувства, быстро поблекший. На самодельном балу в лесу собралась пушкинская молодежь; я заметил пухленькую блондинку-барышню, которую никто не приглашал на танцы. Я ее пригласил — и был позван к ним на дачу. Понемногу выяснилось, что это — незаконная семья богатого купца. Мамаша — бельфамистая дама, всегда молчавшая; при ней компаньонка, очень речистая, постоянно курившая и при этом приговаривавшая: «Папироска, друг мой милый». За мной очень ухаживали, вероятно, в расчете на будущее. Барышня перебирала пальцами на рояли; меня пригласили играть дуэты, и я добросовестно тянул голос старинного романса Титова «Ветка Палестины». Пригласили меня и на московскую квартиру — одну из Мещанских. Я, наконец, не мог вынести этого примитива — и сбежал. Это был экзамен степени моего вкуса и знания жизни и я его выдержал.

Здесь, на самой грани следующего периода, я должен был бы остановиться. Но пушкинские воспоминания ведут меня и за эту грань, составляя к ней одно из серьезных предисловий. Я перешел в четвертый класс гимназии. В Пушкино я приехал на лето, гордый только что одержанным успехом. В основе этого успеха лежало мое новое увлечение классической литературой (к этому вернусь). Я бредил Вергилием и привез с собой «Энеиду», которую решил прочесть (и прочел всю) в течение летних каникул. В Пушкине я встретил новых жильцов, нанявших третью дачу, построенную в конце нашего участка, специально для сдачи. Там поселилась семья г-жи Н., состоявшая из нее, сына и дочери. Дочь оказалась, к моему удовольствию, ученицей женской классической гимназии г-жи Фишер.

Это само по себе свидетельствовало в моих глазах о высоком культурном уровне возможной собеседницы. Наконец-то. Гимназистка, способная беседовать об интересующих меня научных предметах! Мы познакомились. Но о Вергилии **{46}** как-то беседа не завязывалась.

Мать ученицы, видимо, этой темы не одобряла. В ответ на мои подходы она выпалила в упор: «А вы Диккенса читали»? Я оторопел. Диккенса я, действительно, не только не читал, но даже и не знал, почему это нужно. Завязался спор о преимуществах Вергилия и Диккенса для, культурного развития современной молодежи. Я не уступал; тогда моя собеседница сказала: «А вот вы сперва прочтите Диккенса, а потом поговорим». И она мне вручила, один за другим, несколько томов его романов. Опять для меня открылся неведомый мир. Прочтя Диккенса, я понял огромные пробелы своего образования. Вергилия продолжал читать, но восторгался его знаменитой загадкой:
sic nos non vobis — уже наедине.

(О «загадке» Вергилия рассказано в его биографии, составленной около 400 года Тиберием Клавдием Донатом. Согласно этому рассказу, авторство написанного Вергилием стихотворения в честь Августа было приписано себе другим поэтом, который и получил за него награду.
Вергилий отозвался на это загадочными словами: — «Так вы не для себя».
По требованию Августа, он разъяснил загадку в следующем пятистишии:

Я написал стихи, а другой получил награду.
Так вы не для себя вьете гнезда, птицы.
Так вы не для себя отращиваете шерсть, овцы.
Так вы не для себя делаете мед, пчелы.
Так вы не для себя тянете плуг, волы. (Прим. ред.).)

А воспитанницей мадам Фишер заинтересовался на другом основании. Относилась она к моей латиномании довольно насмешливо и, несомненно, получила верх надо мною. Мое априорное уважение к девушке, знающей по-латыни, однако, от этого не пострадало, а только усилилось. В моей записной

книжке, вместо цитат из Вергилия и из книг о римской литературе, начиная с Энния, Катона и Плавта, появились коротенькие ежедневные заметки о том, как я провел день, умышленно законспирированные по-гречески.

Интерес дня сосредоточивался теперь на особе моей насмешницы, и я отмечал, когда интерес этот был «полон» или «неполон», или когда день проходил «пустой». Так как перемены эти шли в довольно капризном порядке, то... никакого вывода из них сделать было нельзя. Так прошло лето; я получил не то **{47}** приглашение, не то разрешение посещать московскую квартиру новых знакомых. Мать семьи содержала меблированные комнаты, наполнявшиеся преимущественно студентами. Здесь я пока останавливаюсь: дальнейшее принадлежит следующему периоду. Я, во всяком случае, возвращался с унизительным для себя выводом, что я не знаю не только иностранных классиков, но даже и русских.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГИМНАЗИИ. ПОЕЗДКИ.
(1873-1877).

1. МОИ УЧИТЕЛЯ

Последние четыре года гимназии (с осени 1873 г. — восьмого класса в гимназиях еще не было) составляют совершенно отдельный период в моей биографии. Между ним и предыдущим легла в моем воспоминании целая пропасть. Конечно, по внешности всё как будто осталось по-прежнему: семья, гимназия, даже дом Арбузова. Но отношение ко всему появилось другое: на все я стал смотреть другими глазами. Я не говорю здесь о несколько преждевременном ощущении возмужалости. Это — очень много; но это, конечно, не всё. Может быть, суть психической перемены можно определить так, что появилось целевое отношение к жизни. Это не значит, конечно, что появились вопросы о цели жизни, или что-нибудь вроде того, что принято называть «мировоззрением». Элементы того и другого, быть может, начали складываться в конце периода. Во всяком случае, достигнута была какая-то высшая степень сознательности в мыслях и в действиях. Примиримся с этим определением, за неимением лучшего.

———

Я очень смутно помню образы учителей из первых трех классов гимназии. Напротив, с четвертого класса образы эти начинают выделяться и дифференцироваться — и соответственно определяется отношение учеников к учителям и к разным предметам преподавания.

{49} Мы тогда не ясно понимали, конечно, что проходим гимназию в годы полного преобразования средней школы в охранительном духе, под управлением министра народного просвещения гр. Дм. Андр. Толстого. Против большинства Государственного Совета и вопреки протестам общественного мнения, он провел гимназический устав 1871 г., по которому центр преподавания сосредоточивался на латинском и греческом языках (с 1-го и 3-го класса, по два часа в день), тогда как история и литература, новые языки отодвигались на второй план, а естественные науки почти вовсе исключались из программы. С естественными науками соединялось у реакционеров представление о материализме и либерализме, тогда как классицизм обеспечивал формальную гимнастику ума и политическую благонадежность. Для этой цели преподавание должно было сосредоточиваться на формальной стороне изучения языка: на грамматике и письменных упражнениях в переводах (ненавистные для учеников «экстемпоралии»).

Я, однако же, помню толстый том «Физики» Краевича, который побывал у нас в руках в старших классах, но в который мы особенно не углублялись. Помню, что учитель нас водил в физический кабинет, помещавшийся в главном здании гимназии, снимал пыльные покрывала с чудодейственных аппаратов, вертел колесо электрической машины и высекал искры, чтобы доказать нам существование электричества. Он же пробовал показывать нам химические опыты, к которым заблаговременно готовился; но эти опыты, как на зло, ни разу не удавались. Я даже купил материалы и колбы и у себя дома добывал кислород. Этим, однако, и ограничились мои химические упражнения. Увлекал нас на этот путь, — по-видимому, контрабандный, — наш учитель математики, хорошо преподававший свой предмет и доведший нас от тройного правила до употребления таблицы логарифмов. До сферической геометрии и до понятия о высшей математике мы так и не дошли. Преподавание было солидное — и достигало результатов, но не увлекало и не соблазняло пойти дальше.

Хуже стояло дело с историей и историей литературы. Именно в этих предметах таились ядовитые свойства, **{50}** которые предстояло обезвредить. Наш учитель истории, Марконет, занялся этим вполне добросовестно, ограничив преподавание учебником Иловайского и задавая уроки «отсюда и досюда», без всяких комментариев и живого слова с своей стороны. Впоследствии я встретился с ним у его знакомых, Коваленских. Он был умнее своего преподавания и более сведущ, чем учебник. Но, соответственно своему месту в программе, держался в строгих рамках — и нас заинтересовать не мог.

Добросовестно мы зубрили, что «история мидян неизвестна», что Аристид сказал Фемистоклу: «Бей, но выслушай», и что трава не росла там, где ступал конь Аттилы. Новая история ограничивалась хронологией битв и государей, а новейшая совершенно исчезала. Цель была достигнута: полнейшее равнодушие у большинства, отвращение у лучших учеников к тому, что здесь называлось историей.

Несколько лучше было положение преподавателя истории литературы. За формой тут нельзя было скрыть существа дела, и сколько-нибудь талантливый преподаватель мог, при желании, провезти контрабанду. Наш преподаватель, Тверской, пользовался этой возможностью — умеренно. «Теорию словесности» он излагал сжато, но отчетливо, не останавливаясь на чтении образцов разных форм словесности, но, по крайней мере, называл авторов из области иностранной литературы и их главнейшие произведения. В области истории русской литературы до новейших времен доходить не полагалось; но нельзя было обойти ни Пушкина, ни Гоголя. Тут читались и образцы, учились наизусть поэтические отрывки — и даже задавались темы на характеры героев и на общее значение произведений. Не знаю, было ли это дозволено, — но учитель ссылался на Белинского и приводил его суждения. Словом, тут горизонт учеников действительно расширялся, и преподавание привлекало к дальнейшей работе. Чтобы написать, как следует, сочинение на заданную тему, нужно было прочесть кое-какие книжки, — рекомендованные и не рекомендованные учителем. Кажется, в старшем классе я уже достал и прочел «Очерки Гоголевского периода» Чернышевского. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в литературе стали для меня понятиями **{51}** доступными так же, как и борьба поколений за победу той или другой идеи. В порядке смены этих течений я уже стал искать какой-то закономерности (см. ниже).

Перехожу теперь к преподаванию латыни и греческого языка, на которых мне суждено было сосредоточиться, хотя и не в смысле программы графа Толстого. Преподавание это велось также умышленно формально. При крутом переходе к толстовской реформе гимназий нельзя было найти сразу подходящих учителей, и пришлось допустить случайный состав. Учителем латинского языка (и помощником директора) сделан был толстый и грубый немец, неважно говоривший по-русски, — кажется, Гертлинг по фамилии. Исполнение программы для него выразилось в пристрастии к мельчайшим «отступлениям» от грамматических правил, причем он требовал не только знания всех «отступлений» (редко применявшихся на практике), но и знания того параграфа, под которым они излагались в учебнике. С кафедры он величественным, командующим голосом восклицал: «ученик такой-то, — параграф такой-то»! И ставил скверную отметку за смущенное молчание или неправильное указание параграфа. Был один корректив, которым мы смягчали этот нелепый террор. Мы заметили, что он вызывает фамилии по алфавиту, и очередные кандидаты готовились назубок. Он это заметил и, придя раз в класс, заявил в том же весело-торжествующем тоне: «Вы думаете, что я спрошу такого-то? А я спрошу»..., следовала таинственная пауза, вытянутая рука с указательным пальцем — и громкий выкрик: «Такой-то, параграф такой-то!». Мы, однако, заметили, что наш повелитель спрашивает теперь от конца к началу списка, в обратном порядке, и опять как-то приспособились.

Желая улучшить состав педагогов-классиков, правительство обратилось за помощью к славянам, и преимущественно к чехам. Они приехали в большом количестве, — у каждого из гимназистов того времени найдутся соответственные воспоминания, — и все они были одинаковы. После нашего нелепого фельдфебеля, мы с интересом и надеждой ждали появления настоящего специалиста. На нашу долю пришелся молодой чех Млинарич, который в самом деле начал учить по-другому, — **{52}** но, увы, жестоко обманул наши ожидания. По-русски он только на нас начал учиться, и класс не мог не смеяться, когда, давая лингвистическое объяснение, он внушал нам, что «**а** слябит в **о**, **о** слябит в **и**». Он обещал нам и лекции по римской литературе; но когда до них дошла очередь, он стал диктовать нечто в роде словаря: «Vergilius (это было модное произношение вместо Virgilius), Publius V. Maro, родилься в 70 году, процветаль 40, умираль 19, написаль» — следовал перечень. В этих «процветаль, написаль» проходила перед нами скорым маршем вся литература. Когда как-то раз я подошел к нему, без всякой задней мысли, чтобы попросить помочь мне перевести трудное место в Горации (мы читали Энеиду), он замахал рукой. «Не, не, это потом, это потом». В сущности он, по-своему добросовестно, отбывал служебную обязанность, но не для этого приехал. Скоро он выгодно женился на богатой купчихе; говорят, занялся спекуляциями и «процветаль» далеко не плохо...

Правительство это видело — и считало свой «призыв славян» временной мерой. Когда я был в старшем классе, директор раз призвал меня и сделал следующее предложение: заграницу посылаются стипендиаты на два года для изучения классических языков, с обязательством прослужить за это преподавателями; согласитесь ли вы принять такое предложение? Я без всякого колебания отказался. Тогда директор откровенно сказал: я должен был предложить вам это, но я с вами согласен. Это не для

вас. Я поблагодарил за доброе отношение ко мне. Потом мы с этими стипендиатами гр. Толстого встречались...

Я оставил к концу одно блестящее исключение. Греческий язык преподавал русский — и не специалист, Петр Александрович Каленов. Если во мне разгорелась искра любви к классическому миру, то этим в значительной степени я обязан ему. Его преподавание стояло в полном контрасте с требованиями программы.

Он сам был влюблен в культуру древнего мира — и эту любовь передал своим ученикам. Он понимал, что знать грамматические исключения не значит знать язык, не говоря уже о том, для чего знание языка нужно. И он меня понял, когда обнаружил во мне, посредственном писателе **{53}** экстемпоралий и плохом знатоке «параграфов» с «исключениями», первые признаки интереса к древней литературе. Это была поэтическая натура; Каленов зажигался, комментируя классические произведения, и в его толковании греческие тексты оживали перед нами, становились нам близкими. Помню его объяснения к «Антигоне» Софокла: они поставили перед нами этическую проблему и подняли дочь Эдипа на недосягаемую моральную высоту. Помню сильное впечатление, произведенное в его толковании «Апологией Сократа». Трагедия глашатая новой истины, павшего жертвой старых суеверий толпы, осветила особым светом диалектику Сократа в диалогах Платона. Призыв: «познай самого себя» прозвучал не только как принцип критической мысли, но и как регулятив нравственного поведения человека. Этого рода «классицизм» выходил далеко за пределы полицейских предвидений его сиятельства графа Дмитрия Андреевича. Кстати, припоминаю о единственной в моей жизни встрече с этим гасильником знания и идеала.

Толстой как-то зашел в 1-ю гимназию посмотреть на плоды своей реформы. Директор, приведя его в наш класс, прямо показал на меня, как на образчик достигнутых успехов. «Вот, ваше сиятельство, ученик, который очень плохо учился раньше, а теперь, благодаря введенному вами классицизму, он у нас из первых». Его сиятельство, показавшийся мне расслабленным стариком, с как-то бессильно висящими усами, осклабился и отпустил, не очень удачно, евангельскую остроту: «Это, как говорится в Писании: первые будут последними, а последние — первыми». Мне стало очень обидно за нашего первого ученика Стрельцова, с которым я успел подружиться и который отнюдь не собирался спускаться в последние ряды; неловко было и перед товарищами заслужить подобное отличие.

П. А. Каленов не изменял своего внимания и доброго расположения ко мне не только до конца гимназического курса, но и за его пределами. Он, перед окончанием курса, заставил меня составить список всего, что я прочитал в оригиналах по-латыни и по-гречески, и выступил в совете на мою защиту против тех, кто выставлял мои пробелы в экстемпоралиях. Вероятно, его аргументы в пользу того, что значит пользоваться языком для **{54}** изучения культуры, оказались убедительными. Никто в классе не вышел из гимназии с высшей оценкой — золотой медалью; но я единственный получил серебряную. Я упомянул, что Каленов был поэтом и хорошим переводчиком. Он готовил к изданию свой перевод «Валленштейна» Шиллера и обратился ко мне — уже в послеуниверситетские годы, — чтобы я написал предисловие к книжке. Я был польщен и страшно обрадован возможностью хоть чем-нибудь отплатить за то многое, что я от него получил. Помню, я выбрал тему из самого Шиллера о «сентиментальной поэзии». П. А. Каленов печатал и другие свои переводы — и собственное стихотворное произведение на тему о Будде. Он умер в глубокой старости, и кончина его была для меня настоящим горем. Это был человек глубоко культурный, насквозь порядочный и чистый, который умел среди безвременья удержаться на высоте тех идей, которые защищал в течение всей жизни.

2. МОЙ «КЛАССИЦИЗМ»

Увлекаясь римскими и греческими классиками, я, конечно, не подозревал, что выполняю предначертания начальства. Неловкая похвала графа Толстого уже потому меня нисколько не порадовала, что я — правда, тоже не зная того, — выбрал уже то направление в изучении древнего мира, которое было прямо противоположно программе Толстого и враждебно ей. Понемногу я это осознал, приближаясь к последним классам гимназии. Но первый толчок дан был тем же побуждением, которое, в более ранние годы, вызвало мою попытку углубить свое отношение к христианству. Только там я запутался в мелочах церковного формализма и, не имея поддержки и совета, бросил начатое. Здесь, напротив, я нашел поддержку и совет в гимназическом окружении, и, хотя и ощупью, вышел на большую дорогу. Сопоставление Вергилия с Диккенсом было критическим моментом, в самом начале этих моих усилий; но оно меня не смутило, — особенно после того, как я ощутил на факте, что одно не исключает, а дополняет другое, сливая то и другое в некое высшее целое. Несколько позднее мой **{55}** знакомый Лудмер (о нем см. ниже) подписал под моим портретом фразу:

Strebe zum Ganzen, lebe im Ganzen,
Eigne das Ganze dir an.

(«Стремись к целому, живи в целом,
усваивай себе целое».)

Это изречение я избрал своим лозунгом, и в этом выходе от частного к целому древний мир послужил для меня незаменимой опорной точкой, откуда радиусы пошли в разнообразных направлениях. Все это я и называю моим «классицизмом» в кавычках.

Подпорой для такого моего энциклопедизма послужило совершенно механическое внешнее обстоятельство. Я уже говорил о развившейся у меня страсти собирать библиотеку на толкучке. Денег на покупки книг у меня было тогда очень мало; а тут в те времена можно было за бесценок купить хорошие вещи. В центре находок лежали, конечно, древние авторы. У меня мало-помалу собрался их большой подбор. Не всё купленное было, конечно, прочитано, но многое было. Я не могу теперь воспроизвести довольно полного списка, составленного по настоянию П. А. Каленова, как итог моего домашнего чтения классиков за гимназическое время. Я заучивал наизусть, немножко суеверно, отрывки поэзии Сафо и многое из приписывавшегося Анакреону с большим удовольствием; читал трагедии Эсхила, Софокла и особенно Эврипида, кое-что из Аристофана, имел, но не читал Ксенофонта и Фукидида, не добрался до Тацита, особенно же налег, под влиянием Каленова, на диалоги Платона, от которого перешел к более меня удовлетворившему сразу Аристотелю. Пользуясь старинным изданием сочинений Аристотеля, с латинским переводом en regard (Параллельный перевод.), я — не прочел, а проштудировал часть его «Метафизики» и перевел «Поэтику» по изданию Бернайса. С «Этикой» и особенно «Политикой» — я познакомился уже в студенческие годы. Упоминаю только главное. Из римлян было у меня французское издание (с переводом) комедий Плавта и Теренция (прочитано), Гораций — несколько старых изданий с комментарием; из него я много усвоил на память; Эльзевировские издания Овидия; позднее я открыл особенно мной любимого Тацита, Тибулла, **{56}** Катулла, Пропорция; как и всего Цицерона, Платона тоже пришлось купить в новом Тейбнеровском издании. Но всего не перечислишь. Быть может, это ядро моей юношеской библиотеки сохранилось в составе общей библиотеки, находящейся теперь в Калифорнии.

Но классиками и на этом начальном этапе дело не ограничилось. Заинтересовавшись греческой философией, я купил на толкучке немецкий учебник истории философии Швеглера. Выбор был неудачный. Я принялся читать эту книгу — и увидел, что ее надо зубрить, не останавливаясь перед трудностями сжатого изложения. Так я вызубрил все греческие философемы и часть римских; попробовал кое-кого и из новой философии. Три тома энциклопедии Гегеля в русском переводе Титова прочел позже. Немецкие классики в старых (полных) изданиях, напротив, были использованы тогда же: не говоря о Лессинге и Виланде, я читал Гете (в посмертном издании) и особенно Шиллера, которого я часто перечитывал. Не помню, как и когда, я приобрел Гейне. Но в последних классах, благодаря одной поддержке со стороны, он стал моей настольной книгой; "Buch der Lieder" и "Romanzero" я помнил чуть не наизусть.

С французскими классиками было много хуже. Я помню у себя в библиотеке только три томика Мольера, все прочтенные. Виктор Гюго — ранний — тоже был, но его риторика мне не нравилась. И ничего другого: пробел, плохо пополненный и впоследствии.

Немецкий и французский языки, начатые до гимназии, я гораздо лучше усвоил путем чтения. Но я решил присоединить сюда и английский. Соединившись с Стрельцовым, мы пригласили английскую учительницу, которая очень нас подвинула вперед. Помню, мы читали с нею "Jane Eyre" Шарлотты Бронте, но потом добились от нее даже чтения Байрона, — конечно, одним нам тогда недоступного.

Я говорил о французских классиках — и не упомянул о главном для меня, Вольтере. В мои руки попали — не помню, как — четыре великолепно переплетенных тома (из полного собрания), заключавших в себе «Философский Словарь» Вольтера. Ирония и сарказм Вольтера подействовали на меня неотразимо. Они осмыслили мое **{57}** отрицание формальной стороны религии. Насмешки над наивностями и примитивными добродетелями Библии разрушили традиционное отношение к библейским рассказам. Библия еще не встала для меня в ряд важных исторических памятников древнейшего быта, но потеряла свое учительное значение и свой ореол богодухновенности. Однако, этого было недостаточно, чтобы подорвать самые основы религиозности. Я почувствовал, что эти основы еще не тронуты во мне, по странному поводу. В последнем классе гимназии я познакомился с синтетической философией Спенсера. Кажется, это был первый том «Психологии», тогда только что

появившийся в русском переводе. Спенсер, как известно, очень осторожно относится к вопросам, выходящим за пределы опытного познания. Но мне, при моем тогдашнем настроении, он показался просто безбожником. И я исписал целую тетрадь полемическими возражениями, чуть не на каждую фразу относящихся сюда страниц книги. Очень жалею, что пропала эта моя гимназическая тетрадь: она установила бы этот переходный этап в развитии моего мировоззрения. Точнее говоря, я тут столкнулся с вопросами мировоззрения впервые, и как ни неохотно я расставался с остатками принятой на веру религиозной традиции, она явно отступала перед расширяющейся сферой научного познания. Заброшенные Спенсером искры сомнения, при всем желании, — скажу даже, при всем негодовании на автора, потревожившего мой покой, — затушить не удалось.

Последний год гимназии провожает меня в этом, колеблющемся настроении. Оно лучше всего выразилось в одном моем стихотворении того времени, которое, очевидно, не случайно, сохранилось в моей памяти. Форма навеяна знакомством с разными философемами в изложении, — раньше чем я познакомился с оригиналами; но тенденции — ясны.

Мне снилась звезда в беспредельном эфире,
Мне снилось, что к ней я летел от земли,
Земля потонула в глубокой дали,
И был я один в всеобъемлющем мире.

***

И вдруг она скрылась. Пространство и время,
И всё, что условленно здесь, на земле,
И всё, что предельно, заснуло во мне,
И спало бесплодного знания бремя.

***

Но ум мой наполнило знанье другое,
Мне стали понятны законы чудес,
И с выси далеких лазурных небес
Я сам засветил путеводной звездою.

{58} За «пространством и временем», «земными» формами познания есть еще другое, внепредельное, но и у «чудес» есть тоже свои «законы», доступные высшему познанию. Так мысль бродила между двумя исходами, не вверяясь ни тому, ни другому и стремясь взлететь выше обоих.

Не могу кончить этого отдела, не упомянув об одном гимназическом товарище, с которым мы сдружились именно на изучении древнего мира. Николай Николаевич Шамонин славился среди всех нас феноменальным даром памяти. Мы смотрели как на непонятное чудо, когда, задав ему помножить по памяти одно многозначное число на другое многозначное, получали верный результат раньше, чем проходила минута. Он запоминал целые страницы, раз прочтенные. В интересовавшей нас области он был превосходным знатоком библиографии. При этом, он отличался необыкновенной скромностью и никогда не выдавался вперед. Обратной стороной этих замечательных свойств была сравнительная неспособность к тому, что я называл «дискурсивным мышлением». Мне всегда казалось, что сила и ясность ассоциаций «по смежности» ощущений несовместимы с ассоциациями «по сходству», при сравнительно слабой памяти, какою я считал свою. Вдвоем мы отлично дополняли в этом отношении друг друга. Наша дружба продолжалась и после гимназии, и к личности Шамонина еще придется вернуться.

3. НАШ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Вне и помимо классических интересов в последние годы гимназии как-то сам собой сложился кружок **{59}** товарищей, объединенный более широкими и отдаленными общими стремлениями.

У кружка не было программы, не было статута и правил о принятии членов. О его существовании было известно, но, кроме сложившегося фактически постоянного состава, дальнейший доступ в него прекратился. Собирались мы у кого-нибудь из товарищей довольно часто; обыкновенно один из участников готовил вступительный доклад на какую угодно тему, после чего велась непринужденная беседа, не обязательно связанная с докладом. Здесь сказалась разница взглядов и интересов участников, но это не мешало общению. Не запомню всех членов кружка, но перечислю, по крайней мере, принимавших в нем наиболее активное участие. Назову, прежде всего, князя Николая Дмитриевича Долгорукова, внесшего в кружок свою особенную струю идей и настроений. Самое

пребывание Долгорукова, а потом и его младших братьев, в гимназии, было своего рода исключением.

Их мать, игравшая главную роль в семье, считала, что общение с более демократической молодежью, уже начиная со школы, совершенно необходимо в виду общего настроения эпохи. Кажется, не без сопротивления она отдала старшего сына в старшие классы гимназии. Николай Дмитриевич отличался общительностью, мягкостью и ровностью характера. Класс его принял как своего, и мы, более близкие друзья, искренно к нему привязались. Его взгляды, как и наши, еще не определились, но скоро стала заметна их общая славянофильская складка, наложившая на кружок особый оттенок. Сам он, впрочем, не поднимал вопросов и не читал докладов, но активно участвовал в прениях. Из докладов этого типа припоминаю доклад о Яне Гусе, прочтенный Константином Старынкевичем. Гус, конечно, изображался как представитель славянской идеи вообще. В связи с событиями в мире славянства — о которых дальше — тенденция эта не только не встретила возражений, но была принята кружком, как сама собой разумеющаяся. Сам Старынкевич не вызывал особых симпатий в кружке; впоследствии мы узнали, что он поступил на службу русским жандармом в Польше. Чтобы сразу указать противоположную тенденцию в кружке, назову Костю Икова, талантливого юношу, который в университет пошел **{60}** по естественному факультету и отличился серьезными работами по антропологии у проф. Богданова. В кружок он внес более свежую струю, принеся книгу Тибленовского издания — Льюиса о Конте и Милле. Об Огюсте Конте, учение которого он изложил подробно, я тут узнал впервые. Политические взгляды Икова, вероятно, сложились соответственно тогдашнему прогрессивному настроению общества; но об этом тоже особенных споров в кружке не велось; как-то и это воспринималось кружком как само собою разумеющееся.

Я тоже сделал в нашем кружке два доклада. Из них мне вспоминается теперь один, в котором смутно бродили мысли, выяснившиеся для меня самого в следующие годы. Доклад назывался: «Исключительность и подражательность». Под «исключительностью» разумелся нетерпимый идеологический национализм. Помнится, я видел в нем источник национальной оригинальности, но также и односторонности, — и защищал от него не то право на «подражательность», не то самый факт подражательности, как неизбежное и прогрессивное явление. Я доказывал эту неизбежность и прогрессивность на примере эволюции русской литературы, в которой различал стадии, соответствовавшие смене заграничных источников нашего подражания. Тут уже вырисовывались некоторые черты моего будущего социологического и политического мировоззрения.

Но, повторяю, всё это было еще очень смутно; характерен для меня был только выбор самой темы.

Был у нас в кружке присяжный скептик, Дмитрий Некрасов, болезненный и непрочный, сын приходского священника, более старший годами, чем все мы. Демократ по происхождению, очень вдумчивый и талантливый, к тому же остроумный полемист, он не щадил наших юных увлечений и снимал с них идеалистический покров с резкостью и бесцеремонностью, которые нам казались цинизмом. Циником он был и в частной жизни, раскрывая перед нами картины быта, возбуждавшие в нас одновременно и любопытство, и гадливость. При всем том Некрасов был необыкновенно добрым и хорошим человеком, что заставляло нас думать, что в его плебейских разоблачениях скрывается большая примесь **{61}** бравады. Мы все его очень любили и ценили его влияние в кружке: оно служило коррективом к нашей готовности подчиниться той или другой из ходячих доктрин.

Я нарисовал те пределы, в которых вращались идейные настроения кружка. За этими пределами, как мы смутно представляли себе тогда же, существовали более радикальные настроения; кое-кто из гимназистов уже стоял близко к революционным течениям и оказывал им те или другие фактические услуги. К этому неведомому нам кругу, очевидно, принадлежал — вне гимназического круга — товарищ моего брата по Техническому Училищу Яков Лудмер, с которым брат меня познакомил и который этим знакомством заинтересовался. В это время он часто заходил ко мне, и мы вели долгие и оживленные разговоры. Это он меня натолкнул на Гейне. Оба мы восхищались не только лирикой Гейне — в " Buch der Lieder", но и его политикой в "Deutschland ueber Deutschland", и "Franzoesische Zustaende". Лудмер был осторожен — или, быть может, сам еще не был вполне вовлечен в русскую политику. Не помню, беседовали ли мы с ним о ней вообще. Но ориентировка, во всяком случае, намечалась сама собой в этих разговорах, и известное влияние на меня она уже тогда могла оказать. Упоминаю об этом здесь, потому что дальше к этому придется вернуться. При том, и помимо беседы с Лудмером, мы не могли оставаться совершенно глухи к тому, что происходило кругом. Это были годы, когда политические течения в русской жизни быстро дифференцировались и выходили наружу. Исходя, в сущности, из одного источника, неприязненного правительству в общем, эти течения, уже после польского восстания 1863 г., резко разошлись в разные стороны, а при первых проявлениях правительственной реакции стали враждебными и непримиримыми. Не зная хорошенько происхож-

дения толстовского классицизма, мы всё же не могли не улавливать его общего политического смысла, — и чем дальше, тем он становился яснее. Наконец, произошло возле нас, тут же в Москве, событие, которое подействовало на нас, как громовой удар. В 1876 году московские мясники из Охотного Ряда избили студентов. «Охотнорядцев» тогда еще не называли «черной сотней»; **{62}** умиление по отношению к «народу» было в порядке дня в самых разнообразных лагерях и в самом различном понимании. Студенты считались «ходатаями за народ». Откуда же такое невероятное, такое бессмысленное недоразумение? Как могли друзья по идее оказаться ожесточенными врагами? И кто виноват в этом столкновении студентов с народом на улице?

Этот вопрос: «кто виноват» мы и поставили себе в нашем кружке. Не находя ответа, мы решили обратиться за ответом к самому Достоевскому. В сущности, мы не знали Достоевского. Мы не знали, что этот ответ, которого мы ждали с трепетом, был уже у него давно готов. Мы не знали ни всей досибирской деятельности Достоевского, ни его жизни на каторге, не читали «Записок из мертвого дома». Читать Достоевского мы стали лишь с «Преступления и наказания»; политической тенденции «Бесов» не заметили. В 1876 г., когда произошло побоище в Охотном Ряду, Достоевский был на высоте своей славы и только что начал издавать «Дневник писателя», за каждым номером которого мы следили с жадностью. К автору «Дневника» обращались все за советом и поучением. Кружок поручил мне написать ему письмо и поставить вопрос: «Чем мы виноваты в случившемся». Достоевский нам ответил — так, как и следовало ожидать, если бы мы его знали ближе. Вы не виноваты, но виновато общество, к которому вы принадлежите. Разрывая с «ложью» этого общества, вы обращаетесь не к русскому народу, в котором всё наше спасение, а к Европе. У меня к сожалению, нет под руками текста нашего письма и ответа (их через несколько времени, без нашего согласия, напечатал Долгоруков в «Руси» Аксакова, а ответ Достоевского стал печататься и в его сочинениях) (Кстати сказать, эта переписка велась не со «студентами», а с гимназистами. (Прим. ред.).).

Помню впечатление, произведенное ответом после его прочтения в кружке. Водворилось неловкое молчание. Мы не вполне разбирались в тогдашней борьбе западничества и славянофильства, но это резкое противопоставление народа Европе нас тем более поразило. Мы не знали, что Достоевский смирился перед тем народом, **{63}** который он узнал на каторге, признав его богоносцем, и что в бессознательном православии русского народа он видел его всемирную миссию. Как быть насчет православия, мы не решали, но Европы мы выдать не могли — и не только не видели никакого противоречия между народом и Европой, но, напротив, от Европы ждали поднятия народа на высший культурный уровень. А Достоевский призывал искать идеала в традициях Охотного Ряда и возвращаться к временам телесных наказаний и крепостного права, как к школе смирения русского народа перед Христом.

С такой антитезой к нашему настроению мы, конечно, согласиться не смели. Но не решались и протестовать. Молчание прервал, наконец, наш смелый «циник» Некрасов — короткой фразой: «Да ведь это то же самое, что пишет Катков в «Московских ведомостях»! Никто не возразил ему. При разнообразии настроений кружка входить в полемику никому не хотелось. Но для меня стало ясно: да, Некрасов прав: это — то же, что «Московские ведомости». И сама собой обозначилась граница, до сих пор неясная. Hic Rhodus, hic salta... («Здесь Родос, здесь и прыгай». Не совсем понятно, в каком смысле употреблена автором эта фраза. Она взята из распространенного в древнем мире анекдота о человеке, вернувшемся из путешествия, и хваставшемся, что на острове Родосе он победил всех в состязании на высоту прыжка. Один из его слушателей, которому это хвастовство надоело, предложил ему вообразить, что он на Родосе и показать свое искусство. (Прим. ред.).). Не могу сказать, чтобы у меня была уже наготове тогда ответная формула: Россия есть тоже Европа. Но все мысли шли в этом направлении. Так, как ставил вопрос Достоевский, иного выбора не было.

Мои сердечные дела в эти последние гимназические годы несколько отошли на второй план. Вероятно, отчасти это объяснялось приливом новых интересов и усиленной работой интеллекта, которые отвлекали внимание от внутренней жизни чувства.

Но к тому же приводил и самый характер моего увлечения. Я поставил предмет своего увлечения на высокий пьедестал и смотрел на него снизу вверх. Никакие эротические вожделения к этому культу не примешивались; я считал даже **{64}** оскорбительными кое-какие намеки в этом направлении моей матери, которая всячески хотела прекратить наше знакомство с семьей И. Она тут натолкнулась на решительное сопротивление и в первый раз почувствовала свой родительский авторитет поколебленным. В сущности, это был естественный результат всей прежней истории нашего воспитания. Мой брат, который давно жил отдельно от семьи, на этом эпизоде эмансипировался окончательно. Мне было жаль матери, я не решался рвать окончательно моральные узы с семьей. Но, по существу, и моя эмансипация была полная. Нежелание матери знакомиться с И. привело лишь к тому, что мы стали чувствовать себя там более дома, чем у себя.

Всё это, однако, не двигало вперед моих отношений знакомства с Фишеровской ученицей, вообще очень сдержанной и замкнутой. Я переживал свои внутренние волнения в секрете, и познал их остроту только тогда, когда на следующую вакацию семья И. поселилась в Сокольниках, а мне пришлось, не помню почему, остаться на московской квартире. Брат же поселился с ними в Сокольниках, ближе сойдясь с младшим сыном И., бойким и развязным мальчиком. Живая беседа и легкое остроумие брата — свойства, для меня оставшиеся навсегда недоступными, — делали общение с ним очень привлекательным. Когда я приезжал по воскресеньям в Сокольники, я заставал там сложившуюся атмосферу дружественного общения, чувствовал себя исключенным из нее — и не умел поддержать тона: у меня язык прилипал к гортани. К пренебреженному чувству присоединялось тут обиженное самолюбие, и я испытывал жестокие муки; давал себе слово не возвращаться — и возвращался со стесненным сердцем в ту же натянутую атмосферу. Вероятно, с той стороны тоже была замечена причина моей неловкости. Мне кстати рассказывали, как профессор Кареев влюбился безнадежно в предмет моего поклонения и как, после драматического объяснения, он получил отказ в руке и сердце. Я шутил над комизмом этой сцены вместе с другими, а про себя вспоминал то место из Гейне, где серьезному поклоннику был предпочтен арлекин... Конечно, ни мой брат, ни барышня вовсе не подходили к ролям Арлекина и Коломбины; подходил к своей роли только несчастный Пьерро...
{65}

4. ИЗ МОСКВЫ В КОСТРОМУ

Переверну еще один истлевший лист моих юношеских воспоминаний: мой первый выезд из Москвы в настоящую русскую провинциальную глушь. Этим выездом я обязан дяде Владимиру Султанову, который предложил мне сопровождать его в Костромскую губернию, где у него было какое-то земельное дело. У себя в библиотеке я нашел тогда единственную книгу, годившуюся для ознакомления с русской действительностью: два тома Маттеи о русской промышленности. Эти сведения мне пригодились, но только не для этой поездки, развернувшей передо мной, гимназистом старших классов, вместо мертвых цифр, живые картины провинциальной жизни.

До Ярославля мы доехали из Москвы по железной дороге; дальше Пушкинской дачи я по ней раньше не ездил. От Ярославля до Костромы надо было ехать на пароходе, и тут впервые развернулась передо мною Волга. А в качестве интродукции к самообразовательному путешествию припоминаю эпизод, ярко обрисовавший житейскую опытность моего руководителя. Мы сидели на берегу реки в каком-то кафе; за соседним столиком беседовала компания местных обывателей солидного типа. Дядя сказал мне: вот этот — в чуйке — скупщик хлеба, а тот, сбоку, трактирщик; его сосед слева — торгует скотом. Хочешь, проверим? Он подозвал полового и спросил его, кто эти люди. Половой буквально подтвердил показания дяди, и я получил наглядный урок закономерного влияния профессии на лицо, ею занимающееся.

От Костромы надо было ехать на север губернии на перекладных. Тут начиналась настоящая «вековая тишина» России: типы и люди прошлых исторических формаций. Несколько эпизодов осталось в памяти. Вот одна из остановок у очередного постоялого двора. Дворник в отсутствии, делом заведует молодая здоровая дворничиха. Привозят колоссальный воз сена, разгружать его некому; я иду помогать дворничихе. Дядя тотчас смекает, что я приглянулся бабе, и предлагает переночевать на постоялом дворе. Для меня это предложение — святотатство; я отказываюсь; едем дальше. Но потом я получаю доказательство серьезности начавшегося было **{66}** упрощенного флирта: дядя привозит мне от дворничихи символический деревенский подарок: вышитое полотенце.

Другая характерная остановка. Не доезжая до цели — уездного города Буя, останавливаемся в небольшом помещичьем имении, где доживает свои дни очень известная в свое время поэтесса Жадовская. Тема из «Трех сестер» Чехова. У хозяев живет воспитанница, барышня на возрасте. Прием московских гостей — самый радушный. Старики расспрашивают о московских новостях, вспоминают старину, показывают мне остатки небольшой помещичьей библиотеки конца XVIII и начала XIX столетия. Заметив проявленный мною большой интерес к этой живой иллюстрации прошлого, они дарят мне всю библиотеку и укладывают ее в ящик. Тут несколько томов «Вивлиофики» Новикова, переводы ходячих французских романов конца XVIII столетия, «Нума Помпилий» баснописца Флориана, племянника Вольтера; тут "Liaisons Dangereuses" и "Corinne" M-me de Staël. Для них куча мертвого хлама, для меня подлинные живые свидетели прошлого. Забираю всё: огромное обогащение моей библиотеки. Потом, после угощения, воспитанница ведет меня показывать сад при доме, обширный, те-

нистый и, конечно, запущенный. Приводит меня в поэтический уголок у разрушенного фонтана и начинает тоже забрасывать вопросами о Москве. Глаза — жадные глаза — говорят больше слов, и я в них читаю: возьмите меня в Москву, спасите из этой глуши. Вспоминаю Евгения Онегина: «Когда бы жизнь семейным кругом»... и т. д. Мимо, мимо... Дядя и здесь советует погостить, заночевать. Я опять убегаю от соблазна. Мимо, мимо... Прощаюсь, с чувством уважения к прошлому, с гостеприимными хозяевами, так щедро меня одарившими. Едем дальше...

«Буй да Кадуй чорт три года искал», говорит местная поговорка. Обстановка оправдывала поговорку. Ямщик вез нас густым еловым лесом, — вероятно, свидетелем в прошлом многочисленных разбойничьих похождений. Выехав на опушку из чахлой еловой поросли, мы оказались в самом центре города Буя.

Дела дяди Владимира заставляли его остаться в городе дольше, и наше совместное путешествие здесь кончалось. На этом **{67}** прерываются и мои воспоминания об этой поездке; я, во всяком случае, вернулся в Кострому какой-то другой дорогой.

5. ВОЙНА. КАВКАЗ

События, развернувшиеся на Балканах, несомненно, захватили значительную часть русского общественного мнения. Уже июльское восстание сербов в Герцеговине против турецкого ига в 1875 г. обратило внимание Европы на страдания христианской «райи» под властью турецкой администрации. Явное попустительство Англии и заинтересованность Австро-Венгрии помешали принятию решительных мер, и весной 1876 г. восстание вспыхнуло с новой силой. Дипломатическое вмешательство России и ее угроза, что восстание будет поддержано Сербией и Черногорией и распространится на все Балканы, вызвали только платоническое сотрудничество. Турецкие зверства в Болгарии летом 1876 г., вызвавшие известную полемику Гладстона против Дизраэли, заставили, наконец, Англию встрепенуться; Сербия и Черногория объявили войну Турции, и русский генерал Черняев принял начальство над войсками. Из России к нему потянулись добровольцы — далеко за пределами славянофильских настроений. Туда, например, отправился Родичев. Осенью 1876 Горчаков уже предлагает Англии совместную оккупацию славянских земель Россией и Австрией. Дело опять затягивается; между тем сербские войска терпят неудачи, и император Александр II решает действовать один, успокаивая заранее Англию, что он не думает оккупировать Константинополя. Зима проходит в бессильных совещаниях держав в Константинополе; русские делегаты всячески стараются втянуть державы в войну и сделать ее европейской. Новые неудачи дипломатов вызывают, наконец, решение царя выступить самому: 19 апреля 1877 Горчаков извещает державы, что Русские войска перешли оттоманские границы.

Мы, гимназисты последнего курса, конечно, не можем уследить за всеми этими подробностями, сделавшими русское выступление моральной необходимостью. Но мы все следили за русскими добровольцами в Сербии и **{68}** сокрушались их неудачами, негодовали на медлительность держав, с возраставшим нетерпением ждали русского выступления. Достоевский, наш оракул, в своем «Дневнике писателя» еще поджигал наше настроение. Освобождение славян без спора признавалось специальной русской задачей, своего рода нравственной обязанностью по отношению к «братьям». Не разделяла этих настроений только левая часть русской общественности. Но ее голос до нас тогда не доходил. И я был обрадован и польщен, когда Долгоруков обратился ко мне с предложением — принять участие, после окончания экзаменов, в экспедиции на театр войны русского санитарного отряда, организуемого московским дворянством. Наша дружба с Долгоруковым и мое авторство письма к Достоевскому, вероятно, содействовали этому приглашению. Оба мы не хотели, однако, жертвовать университетом, и поэтому поставили условие, что мы остаемся в отряде только до окончания летних каникул. Это ограничение было принято, и мы присоединились к отряду со званием «уполномоченных». Мы не опоздали, так как отряд только что формировался.

К моему огорчению, наш отряд был направлен не в Болгарию, куда я мечтал попасть, а на второстепенный театр войны в Закавказье, притом вдалеке от военных действий, так что войны мы собственно не видали. Мы поместились на так называемом Сурамском перевале, откуда железная дорога с одной стороны спускалась в цветущую долину Риона и доходила до Поти, а с другой стороны шла к Тифлису. От ближайшей станции, Михайловки, ветвь железной дороги шла по р. Куре к Боржому, резиденции вел. кн. Михаила Николаевича, наместника Кавказа. Не буду описывать впечатлений, испытанных в пути: картины степи, еще тогда непочатой и девственной, и изумительных красот Военно-грузинской дороги. Самый Сурам, где мы расположились, был захолустной деревней,

расположенной у подножия древней крепости, Сурамис-цыхе, развалины которой очень меня привлекали.

Большой барский дом, единственная культурная постройка в деревне, был занят под помещение нашего главного начальства, — графа Шереметева, предводителя **{69}** дворянства, и его супруги. В этом же доме собирались к обеду и ужину высшие чины отряда, «главноуправляющие»; мы с Долгоруковым также имели там место. Остальные члены отряда, доктора, фельдшера и т. д. занимали менее приспособленные помещения в деревне, столовались особо и жили отдельной жизнью, — что немало обижало некоторых из них. Нашим местом служения была маленькая хибарка туземного вида, почти против графского дома на другой стороне дороги, в узком переулке, кончавшемся отхожим местом, перед выходом на окраину деревни.

К нашему удивлению, мы призваны были, как оказалось, играть в этой хибарке весьма ответственную роль, которая, казалось, не подобала бы гимназистам. Хибарка была и канцелярией и конторой отряда. Почему так случилось, скажу дальше. Мы с Долгоруковым поделили наши функции так. Я изображал из себя казначея, сидел целый день за кассой, выплачивал расходы, вел счета (о, эти ужасные счета!) и составлял денежный отчет, мое главное несчастие: концы с концами свести было ужасно трудно, а о бухгалтерии я не имел никакого понятия. Долгоруков, напротив, целый день бегал по поручениям. Нашим начальством был Драшусов — фамилия когда-то переделанная, с разрешения Николая I, из фамилии французского эмигранта Suchard — путем перестановки букв наоборот. Но у себя в «конторе» я его никогда не видал — и вел непривычное для меня дело за своей личной ответственностью. Эта ответственность очень меня удручала.

Помню такой случай: у нас распаялась машина для стирки белья. Местный всех дел мастер, еврей, пришел и запросил за поправку цену, которая мне показалась чрезмерной. Я нашел в деревне грузина, обещавшего взять за починку гораздо дешевле. Машина была починена, установлена на свое место — и начала функционировать. Но, увы, при первых же оборотах оси она опять расклеилась. Я был страшно смущен, что ввел отряд в лишний расход: пришлось позвать еврея и дать ему просимую цену... Гораздо ответственнее была другая наша обязанность: следить за отпуском продовольствия на кухню. Каждый вечер являлся ко мне специально приставленный к этому делу человек со списком всего, что надо было купить на завтра. Я о съестных припасах и **{70}** ценах никакого понятия не имел, но должен был делать вид эксперта. Человек, как говорили, был плутоватый — и очень на этих покупках зарабатывал, стакнувшись с поставщиками. Мы с Долгоруковым решили, наконец, при самой сдаче на кухне, проверить количество купленного. На заре мы встали и нагрянули на кухню, велели вынуть из котла мясо, только что разрезанное на куски и туда погруженное, взвесить остальные продукты... Всё совпадало точно с цифрами, разрешенными накануне по счету. Мы были посрамлены, наш враг посмеивался, а никаких более тонких средств проверки у нас не было, хотя систематическое надувательство, в общем, было несомненно.

Почему всё это так выходило? Почему на нас — и, в частности, на меня легла такая непосильная ответственность? Пришлось признать, в конце концов, что это вышло потому, что никто другой черного дела в отряде делать не хотел.

На «верху» происходило то же самое. Собственно, всем делом отряда заведывала и трудилась за всех супруга предводителя, Наталия Афанасьевна Шереметева. Начиная с хлопот об устройстве привозимых к нам раненых и кончая последними мелочами санитарии, она во всё входила сама. Мы ее за это очень уважали, — чего не могли бы сказать о других. В отряде значились два «главноуполномоченных», носящие громкие фамилии. Один был — Николай Алексеевич Хомяков, сын знаменитого вождя славянофилов и будущий председатель Третьей Думы. Другой — тоже носил крупное славянофильское имя: Киреевский. Но Николай Алексеевич большую часть дня проводил на диване, спасаясь от несусветимой местной жары. Во «дворце» он ограничивался ленивым остроумием, которое я потом узнал в председателе Думы. О Киреевском и того сказать не могу. Я не знаю, что он делал. Мой ближайший начальник Драшусов был человек живой и очень милый. С ним у меня завязались кое-какие отношения, но отнюдь не деловые. Я взял с собой на Кавказ две книги Шиллера: «Трилогию Валленштейна» и «Дон-Карлоса». «Дон-Карлос» ему особенно не понравился. «Поль, — говорил он (он называл меня шутливо: «Поль»), — как вам не совестно было родиться **{71}** в 1859 году?» Я долго не понимал, почему это совестно. Позднее сообразил, что в 1859 г. был сделан первый приступ к крестьянскому освобождению. Вместо Шиллера, он посоветовал мне читать гораздо более современную книгу: «Россию и Европу» Данилевского.

Я не знал тогда, что это — «Библия» славянофильства. Но взял и начал читать. Книга оказалась для меня довольно трудной, и первое знакомство с ней вышло довольно приблизительным. Основной

политической тенденции книги я тогда не усвоил. Но меня заинтересовали в ней две вещи. Во-первых, естественноисторический подход к славянофильству. Во-вторых, крайнее сужение понятий славянства до православных славян, с устранением католических. Я заинтересовался теорией культурных типов и ее естественноисторическим обоснованием. Но никак не мог примирить этого подхода с всемирно-исторической миссией славянофильства. Однако, беседовать на эти темы с Драшусовым оказалось невозможно. Он удостоил меня своего доверия — и поверял мне свои нежные чувства к одной очень милой барышне — инфирмьерке, на которой, кажется, в отряде же и женился.

Единственным общим занятием нашего «верха» была верховая езда, в которой и меня приглашали участвовать. Я был в большом смущении. С казачьего седла я впервые пересел на кавалерийское. Подо мною оказался иноходец, и его рысь мне очень понравилась. Но когда кампания пускалась в галоп, а мой иноходец следовал за нею вскачь, то для меня наступало тяжелое испытание. Упираясь в стремена, я подскакивал на седле с ежеминутной опасностью вылететь. Всё это кончилось для меня довольно плачевно: как-то на повороте дороги на лошадь бросилась собака; лошадь отшатнулась круто в одну сторону, а я вылетел из седла в обратную — и порядочно расшибся на каменистом шоссе. После этого меня уже с собою не приглашали.

Но я заполнял свои досуги от конторских занятий Другими способами. Против «Дворца» и около моей «Конторы» находился просторный грузинский «духан», совершенно пустынный со времени нахождения нашего отряда в Сураме. В духане стоял бильярд, на котором я научился играть в пять шаров при участии молодого **{72}** духанщика Колы, который каждое утро приносил мне мой утренний чай или кофе, не помню. Но Кола знал по-русски только несколько слов, и нам приходилось объясняться жестами. Тогда мне пришла мысль — учиться по-грузински. Кола был совершенно невинен по части грамматики, но — со смелостью немецких путешественников в глубокой Сибири — я решил сам ее составить на пользу науки. До сих пор помню толстую книгу конторского типа, в которой я записывал свои русско-грузинские грамматические упражнения. Номер какой-то грузинской газеты (кажется, «Дроэба») послужил опорной точкой моих успехов. При помощи Колы я составил для себя грузинский алфавит, выучил его и начал читать, к удивлению духанщика, понятные ему слова. Но оставалась задача Шамполиона (Французский ученый, расшифровавший египетские иероглифы. (Прим. ред.).) — перевести эти слова по-русски. Я задался целью — составить теперь грузинское склонение и спряжение — и мучил своего приятеля, вымогая у него падежи существительных и времена глаголов. Список склонения и спряжения я таки составил; но дальше его мой немудрый учитель идти не мог; никакого словаря у меня не было, и дело изучения грузинского языка своими силами на этом остановилось.

К этому времени, впрочем, у меня нашлось другое занятие. Еще по дороге на Кавказ я познакомился с симпатичным студентом-фельдшером Яблоковым (я ехал в одном вагоне с низшим персоналом). Мы с ним продолжали знакомство и в отряде, отводя душу в откровенных разговорах. Он мне где-то достал скрипку и ноты. В их фельдшерском помещении, в просторном, но не меблированном доме на противоположном конце деревни, когда половина отряда работала в палатках для раненых, а другая спала мертвым сном, я разыгрывал — отчасти по нотам, а больше по памяти, — свои любимые мелодии, не боясь, что меня кто-нибудь услышит.

Было еще занятие, которое могло бы быть интересным, но вышло самым мучительным из всех. От времени до времени меня посылали в Тифлис — доставать очередной запас денег из банка. Конечно, это вызывалось не столько моим знакомством с банковскими операциями, **{73}** сколько общим нежеланием показать нос на улицу в июльскую и августовскую жару. Осмотреть Тифлис во время этих поездок я никак не мог, так как с ближайшим поездом должен был возвращаться. А служебные часы банка как раз приходились на самое жаркое время дня, когда раскаленные камни улиц обдавали жаром, как из печки, и обыватели закрывали плотно окна и ставни, чтобы как-нибудь спастись от невыносимой жары. Жизнь начиналась только к вечеру. Я узнал Тифлис только гораздо позже.

Другая половина отряда, доктора и санитары, обиженные иерархическим духом «Дворца», избегали сношений с «верхами», и нас обоих от «Дворца» не выделяли. Сколько я мог наблюдать, эта часть работы отряда велась в образцовом порядке, и постановка лечения в отряде московского дворянства вызывала невольное признание — и зависть — со стороны ближайших к нам казенных госпиталей. У нас всегда были на лицо и медикаменты, и перевязочные средства, которых у них не хватало, — и к нам стали посылать самых тяжелых больных и раненых — не без задней мысли, что статистика покажет у нас наибольшее количество смертных случаев. Мне пришлось участвовать в разгрузке вагонов с ранеными, присланными после боев под Зивином (это была вторая большая присылка), видеть, в каком ужасном виде они к нам доставлялись, и радоваться той обстановке чистоты и спокойствия, в которую они у нас попадали. Я не упускал случая ходить по палаткам и беседовать с

ранеными, читать письма от родных и писать их ответы. Особенно мы сблизились с офицерской палаткой, где настроение было критическое по отношению к ведению войны (Зивин был, как раз, нашей большой неудачей) — и офицеры этого не скрывали. Помню, как, при посещении великого князя, один из них, черный кавказец, заговорил с посетителем совсем неуважительным тоном: он был тяжело ранен, и терять ему было нечего. Это было воспринято как большой скандал, и сцену постарались поскорее прекратить. На этом основании и наши беседы с офицерами отнюдь не поощрялись со стороны «Дворца» с солдатами говорить было безопаснее. Помню наши долгие беседы с казаком-пластуном, в которых ярко **{74}** обрисовывался быт донского казачества, и его рассказы — конечно, не без примеси хвастовства — о военных подвигах пластунского отряда.

Наступила осень. Война на Кавказе явно затягивалась. Решение «Дворца» склонялось к тому, чтобы перевести отряд на зиму в Тифлис. Наши «главноуправляющие» спешили воспользоваться остатком времени для экскурсий, более или менее отдаленных, по Закавказью, и надолго исчезали из отряда, где им, в сущности, нечего было делать. Благовидным предлогом было — приблизиться к театру военных действий и проверить на месте доходившие до нас неприятные слухи.

Я тоже воспользовался этим настроением — и добыл себе отпуск. Молодой офицер — остзейский немец Эргарт — предложил мне быть его попутчиком в поездке к турецкой границе, и я охотно ухватился за это предложение. Я кое-как справлялся с немецким разговором, а мой веселый спутник был рад говорить со мной на родном языке. По дороге он учил меня немецким песням и с особенным воодушевлением распевал Wacht am Rhein («Стража на Рейне».). Германский гимн мне очень понравился своим твердым, уверенным тоном:

Es braust ein Ruf, wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall"
(«Гремит призыв, как отзвук грома,
Как звон мечей, как волн прибой».)

Так и слышится мне голос Эргарта:

Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
Wer will des Stromes Hueter sein!)
(На Рейн, на наш немецкий Рейн, —
Кто хочет стражем быть реки!)

Политический смысл этих восторгов мне был тогда непонятен. Мы поехали вверх по Куре, мимо великокняжеских имений Боржома и Ахалцыха; доехали до Ахалкалаки; оттуда повернули к близкой турецкой границе у Абас-Тумана, с его знаменитыми минеральными водами.

После Военно-грузинской дороги меня эти горные виды поразить не могли; но я обратил внимание на высоты, кажущиеся неприступными, на которых были **{75}** расположены русские крепости, унаследовавшие эти места от старинных горных гнезд, откуда турецкие беги командовали населением. В Абас-Тумане, где потом лечился и умер от чахотки наследник престола Георгий, младший брат Николая II, мы взяли ванны; но какое же жалкое было тогда устройство этого курорта! Зато мы были вознаграждены тем, что в нашу честь на следующий день была устроена охота на горных баранов. Эту форму охоты — облаву — я тогда видел впервые. До рассвета мы должны были взобраться на горный хребет, под которым, в глубоком овраге, водились эти грациозные животные.

Но взобрались мы туда, когда уже солнце сияло над горизонтом. Мне дали ружье и поставили на номере, куда, по наибольшей вероятности, должен был выйти баран. Снизу уже была запущена свора собак; их отрывистое тявканье в глубине оврага доказывало, что они уже гнались по найденному следу за зверем. Я стоял в напряженном ожидании, боясь не прозевать момента, и держал ружье наготове. Тявканье как будто приближалось. Вот зашевелились передо мной ветки кустарника, откуда должен был выскочить баран. Я прицелился, но, по счастью, не успел выстрелить. Передо мною выбежала из-под кустов... собака. За ней другая, третья — и вся стая, поднявшаяся по нашей же тропинке. Охота была сорвана... Однако же, баран вышел на другой номер, и был застрелен. Когда охотники собрались, я увидел наш трофей. Двое туземцев несли его на перекладине, ногами вверх; голова с высунутым языком болталась внизу. Я был доволен, что это сделал не я. Наше путешествие на этом эпизоде и закончилось.

Наступала осень — и время для нас с Долгоруковым вернуться к началу университетских занятий. Возвращение в Москву ознаменовалось для меня одним эпизодом, твердо оставшимся в

памяти. Военно-грузинская дорога уже не представляла тех величественных красот, какие развернулись перед нами весною. Время было ненастное; на перевальных станциях бушевали снежные бури и было очень холодно. У меня теплого платья не было; пришлось накрутить на себя плед по-студенчески и голову прикрыть легкой кепкой. В таком пролетарском виде я с нашей компанией ввалился в зал для проезжих, чтобы **{76}** обогреться и позавтракать. За другими столами уже сидела публика. А вслед за нами вошел какой-то офицер со своим сопровождением. Едва расположившись, он громко заметил, что некоторые невежи позволяют себе сидеть в шапке. Я понял, что дело идет обо мне, но не подал вида, что это меня касается. Тогда офицер вскочил с места и, обращаясь прямо ко мне, закричал: как смею я, не зная, кто он, в его присутствии не снимать шапки. И он двинулся ко мне, как бы желая сорвать с меня кепку. Тогда и я вскочил, схватил свой ветхий стул за спинку и, потрясая им, закричал в ответ не своим голосом, что он тоже не знает, кто я, и не смеет ко мне обращаться с такими требованиями. В условиях военного времени схватка с офицером, да еще какого-то высокого положения, грозила кончиться весьма плохо. Но мне на выручку подоспели Долгоруков и другие наши спутники, а офицера оттащили и увели из комнаты его товарищи. Я тогда снял кепку и извинился перед присутствующими за свою забывчивость.

Это было, своего рода, мое гражданское крещенье.

Начинался новый этап моей жизни.

{77}

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
(1877-1882)

1. ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА

Мы вернулись с Кавказа, когда занятия в университете уже начались, и прежде всего повидали гимназических товарищей, которые уже перешагнули порог священных врат познания. Увы, их первые впечатления уже успели их несколько расхолодить. Шамонин с сокрушением говорил о казенной постановке классического преподавания, которое на первых порах нас особенно интересовало. Профессор Иванов читал Марциала и смаковал описания римских вин, уподобляя их современным. Этого рода гастрономия нам совсем не понравилась, и самый профессор, казалось нам, смахивал на какого-то приказного старых времен. Это было, конечно, несправедливо; но оно характеризовало смену наших настроений. Для меня это был холодный душ, который сразу отбил у меня интерес продолжать свою гимназическую линию увлечения классиками. Зато внимание мое обратилось к тому новому, с чем мы встретились на первом же курсе филологического факультета. Вместо «филологии» — старый термин Вольфа — здесь мы услышали о новой науке, «лингвистике» и «сравнительном языкознании». Ей предшествовала репутация «самой точной из наук после Математики». В это, при тогдашнем увлечении «точными» науками, хотелось верить; этим как бы оправдывалось самое наше вступление на филологический, а не на естественный факультет. Преподавал тогда **{78}** сравнительное языковедение Филипп Федорович Фортунатов, — знаменитость, привлекавшая учеников из-за границы.

Я очень добросовестно записал за ним его курс литовской фонетики: литовский язык тогда был признан древнейшим из сохранившихся и перенял эту славу у санскрита. Вместе с этим последним он открывал древнейшую страницу культурной истории индоевропейской семьи народов.

Сопоставление звуков речи и их перемен вводило в историю языка, то есть орудия, которым человек пользовался с тех пор, как стал человеком. История звуков, которую своим глухим голосом нам раскрывал Фортунатов, была, конечно, очень поучительна; но она утомляла, и слушатель спешил перейти к живым выводам: от Боппа к Гейгеру, а немного позднее — к Шрадеру. А тут, рядом, нас вводил в тайны примитивного человечества молодой и живой преподаватель Всеволод Миллер. Мы слушали у него санскритский язык, переводили «Наля и Дамаянти» и дошли даже до гимнов Ригведы. Но комментарий к последним расширял и углублял исторические горизонты при помощи фольклора, преданий, легенд, мифов народной словесности. Миллер был жестоким противником «солнечной» теории происхождения мифов, которую широко применял русский собиратель и толкователь фольклора

Афанасьев.

Это было новым этапом в истории науки, и мы с увлечением пошли по указанной тропе. Помню, я написал у Миллера большой доклад о роли огня в развитии понятий о загробной жизни у примитивных народов — и уже считал себя оригинальным исследователем. Всё это страшно увлекало и, несомненно, положило основу для моих позднейших занятий пре-историей.

Проф. Троицкий читал на первом курсе историю греческой философии. После моего Швеглера и аристотелевской «Метафизики» это было для меня уже не ново. Но лекции Троицкого дали мне возможность понять и усвоить многое, остававшееся в тумане. У него был талант ясного изложения сложных вещей; он разжевывал предмет для самых неподготовленных. Правда, эта простота достигалась подчас за счет глубины мысли. У Троицкого была привычка трактовать греческих философов как-то свысока, точно он говорил: **{79}** смотрите, какие глупости они проповедовали. При этом он с сожалением разводил руками и подчеркивал интонациями голоса превосходство собственной мысли. Студенты мне поручили издание лекций Троицкого, и так как в моей записи за профессором упрощенное выходило часто чересчур уже элементарным, я решил обратиться к пособиям. Я достал двухтомного Целлера и к каждой лекции прочитывал соответствующую часть книги. При помощи Целлера я возвращал лекциям их серьезность, а иногда и подбавлял по Целлеру немножко деталей. Я показывал затем текст профессору. Думаю, что он его не читал; но никаких поправок он не делал и оставался доволен. Мне самому эта работа над лекциями принесла большую пользу. Между прочим, у меня укрепился в мысли — не новый, конечно — параллелизм между ролью Сократа на повороте от метафизики к критическому методу «самопознания» — и эволюцией новой философии. Его gnoti seauton — «познай самого себя» — так наглядно соответствовало роли Канта на таком же повороте к философии нашего времени. В теоретико-познавательной школе я усмотрел выход из своих колебаний между научным познанием и ощущением сверхчувственного мира. Критицизм проводил между тем и другим твердую и непроходимую границу — и я за нее ухватился. Я достал немецкий текст «Критики чистого разума» и — с большим трудом — принялся одолевать кантовские «паралогизмы» и «антиномии». Кант сам ссылался на своих предшественников — Юма, Локка. Я достал Локка; читать его было много легче. Критическая философия сделалась одной из границ моей мысли против потусторонних вторжений «сверхопытного» познания.

История меня заинтересовала в университете не сразу. Профессором всеобщей истории был В. И. Герье, — уже тогда не молодой. Самая его внешность не располагала в его пользу. Сухой и длинный, с вытянутым строением нижней части лица, производившей впечатление лошадиной челюсти, с пергаментной, морщинистой кожей, всегда застегнутый на все пуговицы, с неподвижным, каким-то стеклянным выражением глаз, с тонкими губами, иногда растягивавшимися в **{80}** пренебрежительно-насмешливую улыбку, он как будто боялся уронить свое достоинство и отделял себя от слушателей неприступной чертой. Первая же встреча с ним в аудитории сразу оставила резко отрицательное впечатление. Он точно задался целью прежде всего унизить нас, доказав нам самим, что мы дураки и невежды. Совсем по-гимназически он задал всей аудитории вопрос: сколько было членов в римском сенате? Водворилось молчание.

Он пожевал губами и задал еще такого же рода вопрос. Доказав нам, что мы не знаем азбуки, он задал урок: к следующему разу прочесть такую-то главу Тита Ливия и из нее выписать: сколько раз упоминается слово plebs и сколько раз слово populus. Таков был приступ к семинарию по римской истории. Лекции Герье состояли из подробного конспекта взглядов Нибура, Рубино, Ланге на древнейший период римской истории. Я как раз читал Ланге и, сравнивая лекции с книгой, убедился, до какой степени добросовестно, но и бесталанно — переданы все подробности содержания книги.

На дальнейших курсах Герье перешел к истории французской революции по Тэну, с определенной целью внушить нам его отрицательный взгляд. Когда он замечал отклонение (я читал потихоньку Мишле, — запрещенное тогда в России сочинение), профессор начинал издеваться над жертвой. Я писал ему сочинение о Токвилле, — и тоже испытал его скрытый гнев. Вообще, он боялся, чтобы кто-нибудь не узнал того, чего он не рекомендовал — и не знает. В последнем многие из нас убедились, когда, уже будучи оставлены при университете, готовились к магистерскому экзамену. Помню случай, произошедший с одним из магистрантов. У него была тема об итальянском Возрождении, и он пришел к Герье, на дом — посоветоваться о книгах. Профессор отличался отсутствием памяти и слабостью сведений по части библиографии. Он забыл имя автора книги, которую собирался рекомендовать. «Этот — ну, как его», — имя не подвертывалось. Тогда Герье начал чертить пальцем по воздуху, вставши в то же время со стула и удаляясь к двери кабинета, за которой и скрылся. Впоследствии Герье написал, с научной добросовестностью, злобный памфлет по поводу речей **{81}**

ораторов в Первой Государственной Думе. Тема была благодарная: сколько глупостей было там наговорено! И мне вспомнилась профессорская критика Тэна... Должен все-таки оговориться. Выбор семинарских занятий по "Contrat Social" («Общественный договор».) Руссо, по книге Токвилля, по Тэну, по книге Benlé об Августе, оказали несомненное влияние на нас, научили объективизму в трактовании истории и застраховали от радикального догматизма.

По русской истории заканчивал свою профессорскую карьеру С. М. Соловьев, читавший для старших курсов. Я раз пошел на его лекцию. Профессор импровизировал, очень обобщая факты. Он говорил утомленным голосом о «жидком элементе» в русской истории. В который раз приходилось ему выжимать смысл из 28 томов его «Истории»! Но «жидкие элементы» проходили отвлеченными призраками и внимания слушателей не задерживали. В следующем году Соловьев умер. Заместителем его кафедры явился, по старинной привычке, его зять, Нил Ал. Попов. Преподавание в университете было его синекурой, чего он в сущности и не скрывал. Помню, читал он нам о крестьянском освобождении. Посещали его лекции студенты по очереди, по наряду. Но надо было всё-таки иметь материал для экзамена. Я пришел, в свою очередь, на лекцию с книгой Иванюкова, и к своему удивлению заметил, что лекция целиком списана с этой книги. Я стал следить, заметил, что пропущено «отсюда и досюда», начал отмечать. Мы решили, что составлять лекцию не к чему; надо только знать, откуда что взято. Затем, мы еще упростили технику подготовки. Перед экзаменом товарищи меня посылали к профессору, которого я просил дать свои записки для исправления наших лекций. Получив тетрадь, мы ее делили на части по числу слушателей, и каждый избирал себе «специальность», готовясь по тому же оригиналу профессорских записок. На экзамене профессор, отлично видевший наш трюк, спрашивал каждого: «У вас о чем?» Тот говорил, «о чем», и отвечал по своей части записок. После экзамена записки складывались и с благодарностью возвращались профессору. А на выпускном экзамене мы так **{82}** обнаглели, что растеряли части записок, и я не мог вовсе вернуть ему его рукописи (списанной, очевидно, с книг переписчицей). Он о ней и не спрашивал. Мы подводили его пребывание в университете под формулу: «живи — и жить давай другим». Благодушный вид и полная фигура профессора совершенно соответствовали смыслу этого стиха Жуковского.

По счастью, этим не ограничилось то, что дал нам университет по всеобщей и русской истории. На той и другой кафедре появились настоящие светила учености и таланта: молодой доцент П. Г. Виноградов, только что приехавший из-за границы с репутацией представителя нового взгляда на историю и нового исторического метода, — и В. О. Ключевский, затмивший всех остальных блеском своих лекций и глубиной перестройки всего схематизма русской истории. С обоими я был одно время очень близок и обоим многим обязан. Я не хочу останавливаться на их характеристике здесь, так как и преподавательская деятельность их, и мое сближение с ними относится уже ко второй половине моего пребывания в университете.

2. СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА. «КОНДИЦИИ» И МОЯ «ФИЛОСОФИЯ»

Апогей нашего семейного благосостояния закончился в арбузовском доме. Дела отца расстроились, — я не мог знать, почему, — и поместительную квартиру в Староконюшенном переулке, пришлось оставить. Мы переехали к Чистым Прудам, — где зимой можно было кататься на коньках, а летом скрываться от жары на тенистом бульваре. Брат не жил с нами, а у меня была маленькая комната в задней части квартиры, достаточная для моей кровати, стола и маленькой моей библиотеки. В виду нашего обеднения я уже в конце гимназического курса стал давать частные уроки; но мои маленькие доходы шли на покупку книг. Так прошел первый год университета. Во второй год произошло событие, резко изменившее все наше семейное положение. Я уже с некоторого времени замечал, что работа становится для отца непосильной. По вечерам я замечал, что **{83}** он засыпает над бумагами, не выдерживая напряжения. Никаких медицинских мер он не принимал. И зимой 1878-1879 г. произошла катастрофа. Рано утром прислуга пришла мне сказать, что с отцом неладно. Войдя в его кабинет-спальню, соседнюю с моей, я увидел, что отец лежит на постели, раскинув руки, в неестественном положении и странно храпит. Ясно было сразу, что это не сон, а бессознательное состояние, вызванное кровоизлиянием в мозг. Приехавший доктор подтвердил это предположение и принял немедленно меры, чтобы привести отца в сознание. Минутами казалось, что это почти достигнуто: как будто есть движение век..., но медицинские меры только продлили агонию на сутки. Отец умер — не старым, — если не ошибаюсь, 59 лет от роду. Я себе, по наследственности, назначал тот же срок жизни.

Ни на мать, ни на меня эта смерть не произвела сильного впечатления: так мы были далеки от отца — или он от нас. Семья осталась без всяких средств, и нужно было что-нибудь придумывать.

Прежде всего мать пригласила жильцов и сдала опустевшую комнату отца. Нашими постояльцами на эту зиму оказались два студента-медика, Шарый и Гиммельфарб, представлявшие два разные типа русского социализма. Шарый, по внешности добродушный хохол, был непримиримым украинским националистом и народником. Гиммельфарб, социал-демократ en germe (В зародыше.), представлял тип митингового оратора. Бойкий на язык, уверенный в себе и в непререкаемой истине своего катехизиса, ничем не смущавшийся. У нас на филологическом факультете таких типов не было: это были естественники, будущие доктора. Познакомиться с ними для меня было очень полезно.

Наступала весна. Держать за собой квартиру было явно невозможно. Прежде всего, надо было озаботиться относительно средств существования на лето. У меня были уже довольно доходные уроки, и я мог до весны помогать матери и брату. Но летом эти уроки прекращались. У матери открывался свой доход — от сдачи наших дач; кроме главной дачи и «теплушки» с кухней при ней, была построена, специально для сдачи в наем, **{84}** еще третья дача в Пушкине. Но надо было содержать брата, который еще не кончил училища, и жить самому. Я решил поехать на лето на «кондиции», как тогда говорили, и взял первую попавшуюся. Это был мой первый выход «в люди», — не совсем удачный, как оказалось.

Я очутился в большом барском имении княгини Долгорукой (отличать от линии Долгоруковых, к которой принадлежал мой друг). Престарелая владелица имения была вдовой кн. Василия Долгорукого, бывшего министром юстиции при Александре Первом. Она сохраняла все традиции и права кавалерственной дамы и у себя дома держала соответственный этикет. Если я не знал — и не понял — этого сразу, то мог сделать вывод о моем собственном положении из того, что многочисленные слуги дома считали меня «своим», в отличие от господ. Я и это не сразу заметил, так как привык обращаться запросто со всеми. Кроме того, действительно, положение несколько маскировалось присутствием в имении семьи Левашевых, к которой я и был собственно приглашен в качестве учителя их сына, мальчика лет девяти, очень милого и мягкого по натуре. С ним мы быстро сдружились, и он очень привязался ко мне. Помимо уроков мы постоянно с ним гуляли — это уже не входило в мои обязанности — и вели самые разнообразные беседы. Его мать была тоже очень мила со мной; на меня производило впечатление, что она была несколько придавлена суровым характером мужа, военного, человека очень жестокого в обращении. Кроме меня в семье были две компаньонки-учительницы: дебелая француженка, приживалка по типу, и аккуратная немка, с которой мы часто играли в шахматы. Маленькую девочку, сестру моего ученика, тщательно оберегали от всякого соприкосновения со мной; это, очевидно, входило в этикет дома.

Все шло, таким образом, благополучно — до одного случая. Обедали и пили чай Левашовы и я наверху, в апартаментах княгини. Там этикет выдерживался особенно строго. По утрам туда привозили со станции московские газеты. Долго не думая, я как-то за чаем взял и развернул одну из газет. Княгиня вскипела, вырвала **{85}** у меня листок и закричала, что никто не имеет права трогать газеты раньше нее. Я промолчал, допил свою чашку, встал и ушел. В нижнем этаже мне была отведена большая проходная комната, которая считалась моею. Я не только отказался вернуться наверх, но заявил, что впредь уроки, так же как и мой завтрак и обед, должны быть перенесены ко мне вниз, иначе я немедленно уезжаю. Княгиня должна была переломить свой гнев, — вероятно, не без участия Левашевых; мои уроки и прогулки с мальчиком продолжались до конца сезона. Мать мальчика и компаньонки, ко мне благоволившие, рассчитывали, что наши занятия будут продолжаться и в Москве. Но тут, очевидно, княгиня настояла на своем, и после переезда семьи (я уехал вперед) мне был объявлен «расчет». Надо сказать, что, вопреки пышному tenue (Этикет.) фамилии, он выразился в очень скромной цифре. Я не протестовал, но помочь своим из этих денег не мог, и главная цель моей первой и единственной «кондиции» не осуществилась.

Я, однако, никак не могу пожаловаться на проведенное лето 1879 года. Не говоря уже о дружеских отношениях с мальчиком, который, лет двадцать спустя, отыскал меня и пришел, в военной форме, благодарить за прошлое, — я воспользовался досугами, чтобы привести в порядок свои мысли на главную интересовавшую меня тему. Я написал там целую тетрадь, посвященную моей собственной конструкции исторического процесса, и считал свои выводы важным и оригинальным шагом вперед в «философии истории». Во всяком случае, это был важный шаг в развитии моего собственного взгляда на историю человеческой культуры. Теперь, задним числом, я вижу, что это был вывод из всех предыдущих размышлений, изложенных кусками, с их внутренними противоречиями, в предыдущих частях этих воспоминаний. К сожалению, и эта тетрадь потеряна.

Я должен здесь вернуться к последнему из впечатлений, — не изложенному выше, — которое дало толчок к созданию моей собственной конструкции. Это было за год перед тем, летом 1878 года. Я

уже говорил о моих посещениях семьи Вс. Ф. Миллера и его друзей.
{86} Из них самым выдающимся и знаменитым был Максим Максимович Ковалевский, сдружившийся с Миллером на их общей работе над кавказским материалом, собранным, главным образом, среди осетин. На долю Миллера здесь выпала часть лингвистическая, на долю М. М. Ковалевского — часть социологическая. У М. М. Ковалевского была огромная библиотека, и когда проф. Виноградов рекомендовал нам на лето книги для чтения по средневековой истории, я обратился за этими книгами к Ковалевскому. Он снял с полок том Waitz'a и книгу Sohm'a, а потом спросил: «А читали ли вы Огюста Конта?» Я ответил, что знаю Конта только по изложениям и охотно познакомился бы с оригиналом «Позитивной философии». Он тогда вручил мне толстый третий том «Курса», в котором Конт переходит от математической и натуралистической части к исторической и развивает свое учение о трех стадиях всемирной истории, теологической, метафизической и позитивной. Добросовестность требует признать, что Вайц и Зом так и остались у меня нечитанными, но в Конта я вцепился и не только прочел весь толстый том, но и подробно сконспектировал интересовавшую меня часть. Этот конспект я и взял с собой на «кондицию» вместе с несколькими другими книгами, нужными для изложения своей теории.

Едва ли я усвоил себе на Кавказе книгу Данилевского, чтобы опираться на нее, но, при всем моем преклонении перед Контом, мое основное возражение против него совпало с позицией Данилевского, и в последнем издании «Очерков» я признал это. Я принял прохождение истории через три стадии за доказанное, но каждой национальной истории, а не истории всего человечества.
Другими словами, у меня каждый отдельный национальный организм (я ввел в свою теорию и понятие «организма») проходил в своем развитии все три стадии. Не помню, прочел ли я уже тогда (по книге Стасюлевича) изложение теории Вико с его тремя стадиями — богов, героев и людей — деление, так напоминающее основную идею трилогии Вагнера. Но этот же смысл тройного деления я положил в основу своей теории. Только тогда, во-первых, становилось возможным сравнение историй нескольких национальных **{87}** организмов и, следовательно, выведение из этого сравнения общего социологического закона. Теория Конта, суженная до этих пределов, допускала научное обоснование. Во-вторых, однако, надо было допустить, вопреки общепринятой теории бесконечно поднимающегося вверх прогресса, понятия чередования наций: начало, середину и конец истории каждой из них. Всемирно-историческая точка зрения, как недоказуемая, отодвигалась при этом на второй план и отходила в «теологический» период науки.

Не в этом, однако, состояло то, что я считал оригинальным в своей теории. Тогда ведь бредили точными науками, предпочитая естественные науки гуманитарным. Я упоминал, что даже лингвистику хотели возвеличить, переводя ее из второго отдела в первый. И я стал искать для теории трех стадий естественнонаучного обоснования. Я находил его в смене не только идеологий, но самых человеческих типов в процессе их развития. Ходячая терминология говорила же о детстве, зрелости и старости народов. Я хотел обосновать эти стадии картиной физиологической и психологической смены человеческого организма. Мне помог тут Рибо, книги которого я взял с собой. Человеческая психика представлялась ему в виде тройного спектра воли, чувства и мыслей, — всегда единого, но с преобладанием той или другой части спектра. Если можно было отсюда перейти к объяснению разных темпераментов у людей, то отчего не объяснить тем же преобладанием то того, то другого психологического элемента разные стадии исторического процесса? И я решил, что психология дикаря должна отличаться стадией преобладания воли, вследствие немедленной передачи ощущений вазочувствительного нерва в вазомоторный. Рефлекс должен был быть немедленный: отсюда отсутствие влияния задерживающего центра в психологии дикаря. Затем, по моей схеме, наступал период, когда реакция воли задерживалась окраской чувства: этого рода психологию я находил соответствующей среднему веку, — Преобладания чувства, через который проходил каждый народ. Наконец, максимум влияния задерживающего центра, при ослаблении элемента воли и чувства, **{88}** должен был выражаться в действии мысли, «убивающей действие», по Гамлету. Это — период старости нации.

Затем я начинаю искать подтверждений в эволюции типов культуры, литературы, искусства у каждого народа. Древнейшую стадию преобладания двигательных центров и немедленной реакции вовне я находил в психологии действия, в фольклоре, в эпосе; вторую стадию изображал средневековый романтизм; третью — развитие науки и философии. На этом отделе работа остановилась — не только с окончанием моих вакационных досугов, но и потому, что для изложения этой последней части, особенно стадий искусства, я находил себя недостаточно подготовленным. И всю свою попытку социологической конструкции исторического процесса я решил оставить про себя, сознавая не только ее незаконченность, но и ее противоречие с общепринятыми представлениями.

Особенно это касалось учения о циклах, о corsi e ricorsi (Вечный круговорот в истории человеческих обществ.) Вико, которое в моей теории неизбежно противопоставлялось ходячей аксиоме бесконечного прогресса. Самая идея прогресса в моей концепции как-то стушевывалась, уступая место социологическому закону; с другой стороны, она оставляла совершенно в стороне объяснение филиации народных организмов во всемирно-историческом процессе. Самое понятие «всемирно-исторического» некуда было поместить, раз для каждого отдельного национального организма наступал конец, и другому организму надо было начинать весь процесс сначала. Всё это меня чрезвычайно смущало, заставляло признавать пробелы в схеме и считать самую схему — не окончательно доказанной. Затруднение еще увеличивалось тем, что мое увлечение Контом стало известно, и меня стали считать — иные, быть может, и до сих пор считают — присяжным «контистом». Название «позитивиста» подходило бы больше, так как у Конта я взял не столько его схему, сколько его научное направление. Я уже и тут внес оговорку, упомянув о моих занятиях «критической философией» и теоретико-познавательными вопросами. Но эта оговорка для большинства осталась незамеченной, тем более, что в дальнейшем мне пришлось защищать **{89}** позицию «позитивизма» против «метафизики». Но об этом придется говорить потом.

Так, не с пустыми руками я возвращался с своих «кондиций». Но, увы, возвращался с пустым карманом. Между тем, надо было устраиваться на зиму. Мать сдала удачно дачи и, при небольшой помощи от меня, могла просуществовать до следующей весны. Но брат, кончавший Техническое Училище, еще нуждался в поддержке. Решено было разделиться. Мать взяла комнату недалеко от покинутой квартиры, в номерах на Бронной, заселенных, обыкновенно, студентами. Мы с братом должны были поселиться вместе поблизости к Училищу. Мы нашли довольно просторную и недорогую квартиру в одном из переулков (или дворов дома) на Маросейке. Я сохранил свои прежние уроки и набрал новых, так что материальная основа существования всех нас была вполне обеспечена. Когда мой брат закончил учение в Училище и перебрался к своим друзьям, наше общежитие расстроилось. Я переехал к матери в номера на Малой Бронной.

3. МОИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Только что сказанное выше о моей «философско-исторической» схеме уже показывает, что, несмотря на отрицательные впечатления первых двух лет, мой интерес начал сосредоточиваться на истории. Но какой истории? Слова «философия» я сам никогда не прилагал к истории, опасаясь, что под этим словом кроются пережитки «метафизической» эпохи. В этом смысле понятие истории скорее противополагалось понятию философии. Но и к понятию истории я не присоединял обычного представления о ее содержании. Наше поколение отбрасывало a limine (До конца.) представление об истории, как повествовании о фактах. Гимназическое преподавание нас достаточно отучило считать генеалогии государей, даты их царствований, побед и поражений в войнах и т. д. за настоящую историю. Отвергая всякое научное значение истории повествовательной, как бы красиво **{90}** она ни была изложена, мы ждали от истории чего-то другого, что приближало бы ее к экспериментальной науке.

Это требование, как мы уже знали относительно заграницы, удовлетворялось до известной степени переходом от истории событий к истории быта. Какого именно? Прежде всего, наиболее доступного наблюдению и учету. Таким был быт экономический. «Экономический материализм» был в моде на западе раньше и независимо от Маркса. Теоретические сочинения об этом и образцы научных работ до нас уже доходили (Лориа, Торольд Роджерс). Несколько позднее мы познакомились и с первым томом «Капитала» Маркса в переводе Бакунина и во французском сокращенном изложении Малона. Но понятие «экономического материализма» у нас не смешивалось с марксизмом. Во второй очереди после экономической истории стояла история учреждений. От молодого приват-доцента, только что вернувшегося из-за границы, мы ждали последних слов европейской исторической науки именно в этих, намеченных нами направлениях.

П. Г. Виноградов, может быть, не удовлетворял нас, как теоретик. Но он импонировал нам своей серьезной работой над интересовавшими нас сторонами истории на основании архивного материала. А кроме того он сразу привлек нас к себе тем, что в противоположность Герье, не отгораживался от нас и не снисходил к нам, не приходил в затруднение от наших вопросов, а, наоборот, вызывал их и трактовал нас, как таких же работников над историческим материалом, как и он сам. Он приехал с готовой работой о Лангобардах в Италии, составленной на месте по архивам и на деле показывавшей, чего можно от него ожидать. Я не помню точно последовательности его университетских курсов: была ли

это римская империя или начало средних веков. Но еще важнее, чем его лекции, был его семинарий.

Только у Виноградова мы поняли, что значит настоящая научная работа, и до некоторой степени ей научились. Для сравнения с семинарием Герье приведу один пример. Проф. Герье, параллельно с преподаванием Виноградова, устроил свой семинарий по германским «Правдам», древнейшим памятникам средневекового **{91}** законодательства. Он принес нам маленькую книжку избранных мест из «Правд» и мы должны были вместе с ним читать текст. Он приходил, не подготовившись, и мы этим пользовались. У меня в библиотеке оказался толстый том варварских «Правд» и папских декреталий; я мог сличать тексты и, по указаниям Виноградова, разбираться в трудных местах. На этих трудных местах я и ловил профессора. Когда он давал свой ходячий перевод, я предлагал свой вариант, более или менее правдоподобный. Герье терялся и не знал, как выйти из положения, — что нам и было нужно. С Виноградовым, конечно, не могло случиться ничего подобного, так как разночтения текста он знал, что называется, на зубок. Но мы и не думали смущать Виноградова, сразу убедившись в глубине и солидности его знаний. Он мог задавать нам работы по первоисточникам, не боясь остаться позади нас, а, напротив, с удовольствием приветствуя всякие новые выводы. Помню свою работу, основанную на римской эпиграфике. Я тщательно проштудировал сборники надписей и пришел, по этому богатейшему первоисточнику, к определенным выводам на поставленные профессором вопросы. Выводы были для него так же новы, как для меня: это его не смутило, а, напротив, заинтересовало. Это был кусок настоящей научной работы. Так он ставил нас сразу на собственные ноги в избранной им области. И мы сами чувствовали, что растем и не могли не испытывать величайшего удовлетворения, а к виновнику его — глубочайшей благодарности.

Чем дальше, тем семинарий Виноградова становился всё более серьезным, а участники семинария сближались на общей работе и составили, в конце концов, дружную семью, с которой встретимся дальше.

Мне нет надобности говорить подробно о тех новых выводах по русской истории, с которыми знакомил нас проф. Ключевский. Об этом мне приходилось неоднократно говорить печатно. Но влияние Ключевского на нас носило иной характер, чем влияние Виноградова. Он нас подавлял своим талантом и научной проницательностью. Проницательность его была изумительна, но источник ее был не всем доступен. Ключевский вычитывал смысл русской истории, так сказать, **{92}** внутренним глазом, сам переживая психологию прошлого, как член духовного сословия, наиболее сохранившего связь со старой исторической традицией. Его отношение к мертвому материалу было иное, чем у Виноградова: он его оживлял своим прожектором и сам говорил, что материал надо спрашивать, чтобы он давал ответы, и эти ответы надо уметь предрешить, чтобы иметь возможность их проверить исследованием. Этого рода «интуиция» нам была недоступна и идти по следам профессора мы не могли.

К этой черте присоединялась другая: то обаяние, которое производила, художественная сторона лекций Ключевского, его искрящееся остроумие, отточенность формы, неожиданные сопоставления и антитезы, наконец, готовые схемы, укладывавшие в одну отточенную фразу смысл целых периодов истории. Всё это было слишком далеко и стояло слишком высоко над тем, к чему нас приучило предыдущее преподавание русской истории. Свое стройное здание профессор выводил в готовом стиле на нашей tabula rasa (Белый лист, чистая страница.). Мы видели на его примере, что и русская история может быть предметом научного изучения; но дверь в это здание оставалась для нас запертой.

Студенты моего курса были первыми слушателями Ключевского, после того как он из Духовной Академии и Александровского военного училища стал, наконец, университетским преподавателем. Это заметно отразилось на характере наших отношений. Мы имели возможность подойти к профессору ближе, чем студенты следующих выпусков. И всё же эта большая близость не приняла характера совместной работы, как это было у Виноградова. В. О. Ключевский вел свой семинарий с нами у себя на дому. Разбиралась «Русская Правда», текст которой еще более темен и труден, чем текст и терминология германских «Правд». Среди этих почтенных развалин древности Ключевский производил свои изумительные раскопки — и возвращался с ценными находками. Но, повторяю, мы за ним следовать его путем не могли. Мы оставались ждать у входа. Собственной научной работе в этом семинарии научиться было **{93}** нельзя: оставалось записывать за профессором его личный комментарий. Но вот час семинария кончался, а мы не уходили. Наш выпуск присвоил себе, после семинария, привилегию непринужденной личной беседы. Анисья Михайловна, жена Ключевского, приносила чай, мы поднимали политические вопросы (а их было так много в эти годы) и осаждали Василия Осиповича, желая знать его мнение. Он отделывался шутками, сыпал парадоксами, с которыми согласиться было трудно, а не согласиться неделикатно, — и так проходил вечер, — вероятно, к большому неудовольствию профессора.

С обоими профессорами и с их семьями у меня создались личные отношения, начала которых я не помню, но которые углубились и укрепились далеко за пределами описываемого периода. С П. Г. Виноградовым это было легче — уже по меньшей разнице возраста и по близости общих взглядов на историю и ее задачи. С В. О. Ключевским было труднее: разделяла и социальная среда, из которой мы вышли, и, при всей модернизации Ключевского, разница взглядов и общественных настроений, а кроме того и причудливый, неровный характер учителя и его усиливавшаяся с годами замкнутость и нервность. Всё же были счастливые годы, когда мы с ним сходились очень близко. Но об этом потом, — так же как и о наших расхождениях.

Известное равновесие между моими отношениями к преподавателям иностранной и русской истории устанавливалось уже тем фактом, что я долго не хотел окончательно останавливаться на выборе какой-нибудь одной из этих двух специальностей. Работал я, как видно из предыдущего, больше с П. Г. Виноградовым; с В. О. Ключевским работать было невозможно. Но про себя я решил, что моей специальностью будет русская история, тогда как занятия по иностранной дадут мне хорошую школу. Моим главным мотивом при этом выборе было то, что работать в России по истории иностранных государств значило «таскать воду в колодезь», тем более что диссертации на ученую степень писались по-русски и до иностранцев не доходили; а дальнейшая работа, после получения степени, поневоле тормозилась за недостатком материала и трудностью сноситься с **{94}** заграницей. П. Г. Виноградов представлял в этом отношении блестящее исключение: он и сделался в конце концов иностранным профессором на кафедре Оксфордского университета. Напротив, русская история, плохо разработанная и нуждающаяся в работниках, только и могла изучаться русским, на месте нахождения источников. Независимо от патриотической точки зрения, даже с точки зрения международной науки, русские вклады профессоров русских университетов для нее были необходимы и неизбежно должны были войти в общий научный оборот. Итак я избирал русскую историю, но ею в университете почти не занимался, посвящая всё время истории всеобщей и считая, что русский материал от меня всё равно не уйдет.

4. ПОЛИТИКА ОБЩАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ (1879-1881)

В годы моего пребывания в университете Россия, несомненно, вступала в свой революционный период. И если в последних классах гимназии мы могли только догадываться, что за доступными нам пределами что-то происходит для нас непонятное, а в первые два года университета могли лишь урывками и без достаточного внимания следить за фактами, доходившими до нас больше в форме судебных процессов, то вторые два года, 1879-80 и 1880-1881, составили в этом отношении решительный перелом. Несколько фактических справок покажут, в чем было дело. Мы, конечно, не знали внутренней истории революционной борьбы, не знали и того, что в июне 1879 года съезд революционеров в Липецке привел к разделению революционной партии «Земля и Воля» на две части: «Черный Передел» Плеханова и будущих социал-демократов — и «Народная Воля» (октябрь, 1879). Сторонники Плеханова эмигрировали, уйдя на время с поля зрения русской общественности. Напротив, «народовольцы» (будущие «народники»), по настоянию Желябова, восстановили открытую борьбу с правительством посредством террора. Они начали свою деятельность с обращения к Александру II с требованием дать России политическую свободу и парламентарный **{95}** режим. Это — по форме — совпадало с умеренной программой либеральных земцев; но мы не знали о неудавшейся попытке И. И. Петрункевича убедить революционеров приостановить террор, чтобы дать время правительству откликнуться на требования земств. Самое имя Петрункевича едва ли в нашей среде было тогда известно.

Во всяком случае, правительство не только не пошло на уступки, но усилило репрессии — и Петрункевич был сослан. Со своей стороны народовольцы начали форменную охоту на царя. С сентября 1879 до 1 марта 1881 г. она длилась непрерывно два с половиной года — и не могла не привлечь к себе общего внимания. Какой-то фантастический и всемогущий «центральный комитет» (в котором потом оказалось не больше 30 членов) успешно боролся с могущественным государственным аппаратом; значительная часть общества и всё либеральное общественное мнение втайне сочувствовали революционерам. Не могло такое настроение не задеть и университета, этого «барометра общества», как выразился Пирогов.

После взрыва в Зимнем Дворце (февраль 1880) поднимается, наконец, в среде самого правительства вопрос о каком-то шаге навстречу умеренной части общества. Создается Верховный комитет и во главе его ставится харьковский генерал-губернатор, граф Лорис-Меликов с

чрезвычайными полномочиями. Одной из первых мер этой «диктатуры сердца» является удаление гр. Д. А. Толстого с поста министра народного просвещения и назначение на его место Сабурова. Толстой перед самой отставкой готовил реформу Устава 1863, дававшего университетам некоторую автономию. Но он не успел провести ее, а Сабуров проектировал расширение автономии на студентов, путем легализации студенческих организаций. Около этого вопроса и разгорелось в 1880 г. очень сложное студенческое движение, в которое и наш курс был непосредственно втянут.

Легализовать приходилось, прежде всего, студенческие учреждения, уже существовавшие фактически. Мы издавна имели свою общестуденческую организацию для помощи бедным товарищам. Наша касса пополнялась не только взносами, но и доходами с **{96}** устройства студенческих балов, на которые очень охотно отзывались артистические силы Москвы. Я сам был представителем этого учреждения по выбору курса, — и не могу сказать, что эта должность была синекурой. Главная трудность состояла не столько в собирании, сколько в распределении денег. Кандидатов на получение пособий было очень много, а средств — очень мало. Приходилось ходить по студенческим квартирам для собирания самых подробных сведений о положении просителя. Задача была очень тягостная, но необходимая. Собрав все данные, каждый из нас являлся адвокатом просителя на общем собрании, чтобы вырвать пособие своему клиенту. Не обходилось без обид и без тяжелых разговоров. У центральной организации, ведавшей этой раздачей, было еще другое дело: студенческая столовая, требовавшая больших забот и знания дела. Но после назначения Сабурова у студентов явились и более широкие требования. Они хотели легального представительства всего студенчества по всем делам, касающимся студенчества.

Первые шаги в этом направлении, на которые начальство смотрело сквозь пальцы, прошли благополучно. Сам Сабуров хотел услышать организованное мнение студенчества о предполагаемой автономии.

По курсам начались выборы, как бы предрешавшие создание центрального выборного органа студенчества. В день выборов меня не было в университете, и представителем курса был выбран мой гимназический приятель Н. Н. Шамонин. Он оказался очень хорошим председателем курсовых собраний, но мало интересовался политической стороной дела, и вся «политика» перешла в мое заведывание. А «политики» было сколько угодно. На общих собраниях мы натолкнулись на самые разнообразные мнения. Левые течения, представленные преимущественно студентами-медиками, преобладали и по численности, и по настойчивости своей тактики. Тут я встретился с нашими постояльцами, с Шарым и Гиммельфарбом. Но были люди много сильнее и влиятельнее их. Юристы приняли мало участия в общем деле; их у нас считали будущими карьеристами и дельцами. Мы, филологи, представляли среднее мнение. Проводить его **{97}** в студенческой массе было очень трудно. Наша цель состояла в том, чтобы, пользуясь благоприятной минутой правительственного либерализма, вести подготовительные собрания студентов к созданию признанной правительством системы студенческих учреждений. Левые, при их настроении, напротив, вносили политику в университет и добивались фактического признания за студенчеством политической роли. Это, конечно, не говорилось прямо; но к этому вело, прежде всего, непризнание того организованного общего представительства, которым мы уже владели. Нам, «конституционалистам», как нас тогда уже называли, противопоставлялась идея «суверенитета народа», в виде верховной власти студенческой сходки. «Общая сходка» или «парламент» — так формулировалось наше основное «политическое» разногласие. А на общих сходках, как только они собирались, уже говорили открыто не о студенческих учреждениях, а о вопросах общей политики, и студенческая сходка превращалась в политический митинг.

Наша борьба с этим направлением вначале шла довольно успешно под защитой легальности. Мы пошли на уступки: согласились, например, на создание студенческого суда, в котором меня выбрали председателем. Над этим «судом» много потешались потом реакционеры. По несчастию, первым «процессом», который и оказался последним, было личное семейное дело между студентами С. и М., полное самых интимных подробностей. В роли председателя я вел к тому, чтобы вынести решение, что подобные дела студенческому суду неподсудны. Доклад был готов, но как раз в эти дни последовал крах всей «левой» политики, а с нею и всего студенческого движения.

Охота террористов на царя продолжалась. После новых неудачных покушений наступило 1-е марта 1881 г. Университет, избалованный невмешательством властей, забушевал. Помню маленький эпизод, в котором мне тоже пришлось играть роль. Правые элементы открыли подписку на венок на могилу Государя. Их было мало, сбор шел вяло, и один студент, вместо денег, бросил в шапку пуговицу. Нашелся другой студент, некто Зайончковский, который донес об этом начальству. Над **{98}** Зайончковским потребовали студенческого суда, который и состоялся — опять-таки под моим

председательством. Мне подсказывали со стороны, что ректор согласен даже на увольнение Зайончковского из университета, если суд вынесет такое решение. Но оно мне казалось юридически спорным и политически опасным. И я убедил собрание ограничиться порицанием и запрещением Зайончковскому впредь принимать участие в студенческих делах.

Но это были уже последние дни Лорис-Меликовского либерализма. Как известно, правительство Александра III, под влиянием Победоносцева, повернуло очень быстро в сторону реакции. Сабуров, оскорбленный одним студентом из левых, принужден был уйти; его место занял Николаи. Студенчество всё еще не понимало, что его дело было проиграно. Студенческие сходки были запрещены. Но левые настаивали, чтобы была назначена еще одна, последняя общая сходка, на которой само студенчество постановит свои решения. Было ясно, что сходка будет разогнана властями. Тем не менее, я пошел на нее, чтобы убедить сходку разойтись по собственному почину. Произошло всё, как по писаному. В самый разгар горячих речей вошла полиция, а ораторы всё говорили и говорили, пока всех нас не окружили жандармы и не отвели в манеж, против университета. А оттуда, в поздний час, нас отвели, под конвоем конных жандармов, в Бутырскую тюрьму и оставили всех вместе в общей обширной камере. Ночь прошла очень весело: даже появился самодельный сатирический листок. Политические речи продолжались, но уже никого не интересовали. Кое-кто расположился спать на партах; успевшие закупить по дороге продукты принялись ужинать. Всё, наконец, замолкло. Уже на рассвете стали вызывать студентов с протекцией; их родственники убедили начальство, что они присутствовали на сходке «по ошибке» или «по неведению». Конечно, имена освобождаемых сопровождались шумными выражениями негодования. Утром, переписав всех, нас отпустили.

По списку полиции мы были преданы профессорскому суду. До меня дошло, что ректор призывает к себе отдельных студентов и требует от них заявления, что они не знали о запрещении сходок и не знали цели **{99}** данной сходки. Это заявление освобождало от наказания. Между прочим, Шамонин просил у меня совета, как ему поступить. Я посоветовал ему, как мало прикосновенному к политике, сделать требуемое заявление. Сам я чувствовал себя в ином положении. Я был слишком ангажирован перед всем студенчеством, и мой отвод был бы равносилен тому, который предъявляли в тюрьме родственники освобождаемых. Я решил не уклоняться от правды. По вызову ректора я пошел к нему на квартиру.

Ректором был Николай Саввич Тихонравов, профессор русской литературы. Я забыл упомянуть его в числе профессоров, оказавших на меня влияние. Он читал по старым запискам, довольно монотонно, и шепелявил. Но его лекции были истинным вкладом в науку (впоследствии они были напечатаны). Меня он знал по большой работе (обязательной), которую я сделал на данную им тему о литературных течениях в Москве XV-XVI в. Я много читал для этой работы; общие черты ее и выводы вошли впоследствии в мои «Очерки». Я знал, что Тихонравов благоволит ко мне, и тем более неловко было идти к нему с заранее принятым решением. Он встретил меня вопросом: вы, конечно, не знали, для чего собирается сходка? Я ответил: к сожалению, должен признать, что знал это и шел сознательно. Он посмотрел на меня с удивлением, помолчал, потом предложил тот же вопрос в другой форме. Волнуясь, я отвечал то же. Он повернулся и ушел. В результате, я был исключен из университета, с разрешением подать прошение на тот же курс — то есть до осени.

Каково было мое отношение к общей политике? Я боюсь точно определить его, чтобы не заменить бессознательно тогдашнее настроение позднейшим. Но все же думаю, что в общем я разбирался в событиях.
В эти годы (1880-81) у меня шла переписка с Лудмером, высланным в Архангельск и очень хорошо устроившимся при губернаторе Баранове. Я помню, что резко осуждал в письмах попытку правительства примирить общество на диктатуре Лорис-Меликова и предсказывал, что ничего из этого не выйдет. Земство я осуждал за слабость, левых — за непримиримость. Сам пытался, как изложено, провести в университете среднюю линию. Жалею, что эта **{100}** переписка исчезла, как сказал мне через несколько лет сам Лудмер при встрече.

5. БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОЕЙ «ПОЛИТИКИ»

Исключение из университета и, следовательно, отсрочка на год окончания университета были не единственным последствием моего первого дебюта в политике. Этот дебют резко оборвал мои отношения с семьей И. Перед этим наши отношения как будто налаживались благоприятно. Мне разрешались долгие tête-à-tête'ы с предметом моего увлечения — «у рояли». Я не помню, о чем мы говорили — оба мы были неразговорчивы — но только не о моих чувствах. Как-то раз она меня

спросила, могу ли я рассчитывать приобрести такую же «славу», как приобрел Кареев. Вопрос меня обидел; он как будто ставил какое-то условие. Я ответил, что никак поручиться за это не могу. В номерах И. жил очень симпатичный студент-медик Б., стипендиат, который готовился, по окончании курса, уехать на службу в Сибирь. Мы все очень жалели о предстоящем его отъезде. После одного из общих сердечных разговоров с ним, дочь И. меня спросила, с очевидным огорчением: «Отчего у вас нет такой непослушной пряди волос, как у Б.?»

Тут я как будто что-то понял. У меня волосы были гладкие, зачесанные назад, а «непослушной пряди», спускающейся на лоб, не было. Очевидно, эта прядь есть тоже условие, и притом гораздо более важное, нежели слава Кареева. Нет пряди — нет и соответственной сердечной эмоции. Мой случай, с эмоциональной точки зрения, безнадежен... Наконец, произошел случай, которым я очень бестактно воспользовался для окончательной проверки. Одна знакомая барышня призналась мне в своих тайных сношениях с каким-то профессором и попросила, чтобы предупредить позор последствия, — жениться на ней фиктивным браком. Тогда, в духе традиции шестидесятых годов и Чернышевского, такое предложение не было неправдоподобно. Я ответил, что люблю девушку, на которой собираюсь жениться. Но потом мне стало совестно за такой полуобман. И я решил рассказать об этом самой дочери И., чтобы этим побудить ее высказать определенно свое **{101}** отношение ко мне. Я никогда не видал ее такой взволнованной. Она отошла к хвосту рояля и после долгой паузы выговорила: «Вы не должны были говорить мне этого». Я уже понял, что поступил нехорошо... Но в то же время почувствовал, что на мой прозрачный вопрос ответа у нее не было.

Всё это не обещало мне хорошего исхода. Но вопрос всё-таки решила не романтика, а... политика. В самый день убийства Александра II я пришел к И. Конечно, все были в страшном волнении, не исключая и меня. Но причины волнения были неодинаковы. И когда г-жа И. почувствовала в моих словах эту разницу настроений, она буквально набросилась на меня с самым жестоким осуждением моей безнравственности, беспринципности, бесчувствия и т. д. Словом, это была страница из «Бесов».

Я знал, что И. и ее покойный муж были поклонниками Достоевского еще со времени сибирской ссылки, что он иногда останавливался у них. Она находилась под свежим впечатлением его смерти и знала о моем недружественном отношении к его идеям. Незадолго до этих событий состоялось то чествование памяти Пушкина, которое разделило общество на два лагеря — сторонников Тургенева и сторонников Достоевского. Я был в эти дни в Пушкине и намеренно не поехал на празднество. Я знал по «Дневнику писателя», что может сказать о Пушкине Достоевский (за исключением «всечеловечности» Пушкина), и не хотел присутствовать при его вероятном торжестве над Тургеневым (после того, как Тургенев только что подвергся разносу со стороны левых из ложи актового зала Университета, в импровизированной речи студента Викторова).

Всё это отразилось на приподнятом нервном настроении г-жи И., в котором, однако, мне слышалось ее настоящее откровенное мнение обо мне. Я слушал молча, понурив голову, а когда она кончила, встал, простился и ушел. Я как-то чувствовал, что больше прийти в этот дом не могу. Это не значило, что я вдруг излечился от своего чувства. Я уносил его с собой, — но с сознанием, что и тут надо мной произнесен обвинительный приговор.

Большое утешение неожиданно пришло с другой бороны. У брата был приятель по Училищу Кречетов, с **{102}** обличьем и привычками молодого купчика. Узнав, что я на вакации свободен, он предложил мне сопровождать его в путешествии по Италии. Я не очень доверял серьезности его намерения и не собирался быть его гидом. Я поэтому предложил сделать у него заем в три тысячи на три месяца — и путешествовать вместе, но сохраняя полную самостоятельность. Предложение было принято, и я усердно принялся готовиться к поездке.

Здесь я должен с благодарностью вспомнить о еще одном, не упомянутом мной профессоре, престарелом Ф. И. Буслаеве. Подобно Соловьеву, он кончал свое преподавательское и жизненное поприще, часто манкировал, приходил неподготовленным и бормотал про себя свою лекцию, точно вовсе не замечая аудитории. Но среди этого бормотания можно было услышать преинтереснейшие вещи, — и как раз профессор постоянно возвращался к своим воспоминаниям об Италии. Помню, раз он вдруг заговорил о картине Мантенья, как образце раннего итальянского реализма. Другой раз он движениями рук объяснял, как он научился одним осязанием различать настоящую греческую скульптурную работу от римской. Такие проблески запоминались, возбуждали любопытство и будили настоящий интерес.

Я как раз и поставил своей исключительной задачей знакомство с греко-римской скульптурой и с живописью раннего Возрождения. Я не обещал себе наслаждения природой или наблюдений над

обществом недавно объединенной Италии; не обещал даже непосредственного наслаждения искусством. Я почему-то считал себя на это решительно неспособным. Суровой и единственной целью должно было быть изучение. У меня в библиотеке стоял толстый том произведений Винкельмана: я решил взять его с собой, несмотря на специальность трактовки. На месте я потом увидел, что изучение, например, складок платья на классических статуях было бы для меня бесполезной тратой времени. Целесообразнее был выбор в руководители Буркгардта. Я очень ценил Буркгардта по его работе о «Ренессансе в Италии», — и выбор меня не обманул.

Но помимо того я запасся двумя томиками «Путешествия в Италию» Тэна и его книжками по философии искусства — и на месте мог различить его **{103}** «философствование» от действительности. Особенную же услугу мне оказал только что вышедший томик Гастона Буассье: "Promenades archéologiques". Наконец, четыре тома Rio, "L'art chrétien", завершали мою дорожную коллекцию.

Соответственно цели я выработал себе маршрут, которого строго держался. После остановки в Венеции я должен был заехать в Падую — для фресок Джотто в Arena, потом в Болонью — для Святой Цецилии Рафаэля и в Пизу — не столько для падающей башни, сколько для Campo Santo с знаменитой фреской Орканья. Оттуда мой путь лежал во Флоренцию, на которую, по ее значению для раннего Возрождения и для его расцвета, я полагал от одной до двух недель, затем, с заездом в Сиену, где меня интересовал собор и особая школа живописи, я должен был направиться прямо в Рим, минуя Перуджу, для которой уже не хватало времени. На Рим — на Палатин и Ватикан — я назначил себе целый месяц. Оттуда остаток времени предназначался для Неаполя и Помпеи, а в качестве баловства — для поездки в Неаполитанский залив и на Капри. План был обширный — и требовал строгого выполнения.

Что касается языка, я считал, что справлюсь с ним довольно свободно. Я учился по-итальянски у нашего милого университетского лектора Мальма, шведа, гримировавшегося не то под итальянца, не то под испанца, — с длинными белыми волосами и эспаньолкой. Проведя слушателей через "Promessi Sposi" Манцони, он довел нас до Данте и прочел с нами несколько песен "Divina Commedia". Меня сближал с ним, помимо итальянского, также интерес к музыке. Он был известным альтистом и, узнав о моих упражнениях в квартете, который составился у меня в университетские годы, подарил мне хороший альт Клотца.

Кстати, о моем квартете. С самого начала университетского курса ко мне подошел молодой студент Даль и, зная о моих упражнениях на скрипке, предложил мне играть в квартете с его старшим братом. Это был известный невропатолог, сторонник Нансийсой школы и гипнотизер, Николай Владимирович Даль. Он играл первую скрипку, вторую изображал я, а младший брат был виолончелистом. Тут я впервые **{104}** познакомился с квартетной литературой и признал квартет высочайшей формой музыкального искусства. Наш состав несколько изменялся, совершенствуясь в силе. Первая скрипка менялась; на вторую тогда садился Николай Владимирович, меняясь с д-ром Воробьевым; я к тому времени подучился на альте, а партию виолончели играл брат Даля. Партнеры не только спелись, но и сблизились: все были — хорошие люди, и эти музыкальные вечера остались навсегда для меня драгоценным воспоминанием. Много времени спустя доктор Даль от большевиков перебрался в Бейрут, где также не забывал своего искусства, и я имел радость, перед его смертью, еще раз встретить его в Париже, где мы, конечно, тотчас ввели его в наш парижский квартет.

Но возвращаюсь к итальянской поездке. Для нее назначены были летние месяцы: часть мая, июнь, июль и часть августа. Время было неудобное для путешествия по Италии. Но выбирать было не из чего; тем более, что я ехал не для удовольствия, а для работы. Еще не поладив со своим чувством после разрыва с И., я уезжал в Италию с тяжелым настроением. В кармане я увозил с собой свое стихотворение, из которого запомнились первые строфы, свидетельствующие о моей внутренней драме:

Ты не простишь, я знаю, гордая богиня,
И обмануть нельзя ничем твой чистый взор:
Я в нем давно прочел, навеки и отныне,
Свой грозный приговор.

***

Ты, как всегда, права. «Пусть сердце будет строго
Чтоб хлева не завесть, где прежде храм стоял»;
(Это перевод изречения из Гейне, которое как-то процитировала мне «у рояли» дочь И. (Прим. авт.).)
И чудно чист твой храм, служительница Бога,
Мой вечный идеал.

Из следующей строфы помню только два стиха:

Я не прошу тебя смиренно о прощеньи,

Я не коснусь тебя нечистою рукой.

Они делают вывод из настроения.
Итак, я оставался «один в пространстве».

{105}

6. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

Мне было 22 года, когда я впервые выехал за границу. До тех пор я (за исключением поездки в Костромскую губернию) ни разу не покидал Москвы. Естественно, что заграничные впечатления переживались с особенной силой. Путь наш лежал через Варшаву и Вену. Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, при сравнении с Москвой, настоящим европейским городом, — первым, который я видел. Что же сказать о впечатлении, произведенном Веной! Я потом много раз бывал в этой красивой столице. Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле «Метрополь». Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши.

А венское кофе с нетонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременным стаканом ледяной воды! Я еще не касался культурной Вены. Кроме Ринга не успел побывать ни в картинных галереях, ни в музеях; только с завистью смотрел на богатые новинками витрины книжных магазинов. Время было точно размерено; надо было спешить дальше. Мой спутник, однако, больше меня поддался приманкам Вены — и имел другие позывы и ресурсы, чтобы ими воспользоваться. Он решил остаться в Вене и обещал потом меня нагнать в Венеции. Но окончательно исчез из вида, и путешествовать по Италии, к моему великому удовольствию, мне пришлось одному. Не знаю, что вышло бы из моего плана, если бы мы поехали вместе дальше. Но тут я был всецело предоставлен себе самому.

На вокзале в Венеции меня ожидало большое разочарование. Носильщик понимал мой итальянский язык, но я, из его ответов и вопросов, не понял ни слова! Он говорил на венецианском наречии, а я — на lingua toscana in bocca romana! («Тосканский язык в римских устах».) Я назвал ему отель на "Canal Grande", где рассчитывал поселиться; он снес мой багаж не на извозчика, а на гондолу, и по узким каналам, вместо улиц, я выехал на главную артерию чудного города.

Отель выходил прямо на канал, уже освещенный огнями гондол, дрожавшими в водной ряби. Налево вода **{106}** уходила в темное пространство лагуны; почти прямо вырисовывался в вечернем сумраке силуэт Сан-Джорджо, а направо — феерия лодочных флотилий уходила вверх по каналу. И я тут сразу вспомнил описания Тэна, которые раньше считал чересчур красочными. Да, это город колористов, город искусства, родившегося на месте и не допускавшего повторения!

Я, однако, не хотел поддаваться первому впечатлению. Мой план был не любоваться, не восторгаться, а учиться. Здесь, как и в других городах, куда предстояло поехать, я решил начинать с гиератического искусства ранних примитивов, чтобы проследить переход византийского образа в итальянскую картину. Венеция для этого перехода была самым подходящим местом, где Византия и Рим соприкасались. И прежде, чем пойти в Академию Искусств, я на следующий же день отправился в Мурано, — в окрестностях Венеции. Конечно, это была ошибка невежды. В Мурано можно было изучать превосходное стеклянное производство, а для Муранской школы надо было идти в венецианские собрания. Я пошел — и для начала тщательно избегал комнат с Тицианом, Тинторетто и Веронезом. Пошел на площадь св. Марка, покормил голубей, зашел в византийский собор и в Дворец Дожей — и там наткнулся на того же Веронеза с его стенными полотнами живописи, с пышными белокурыми венецианскими красавицами и кавалерами в фижмах — для изображения библейских сюжетов. Ничего нельзя было поделать: венецианские краски совсем забили примитивы и бесстыдно совались вперед повсюду. Опять Тэн был прав; но пришлось сразу свернуть с избранной заранее дороги.

Должен признаться: в этом настроении я не рассмаковал сразу венецианского Возрождения, прочел в Рио, что полагалось, и поехал дальше, заглянув только в Лидо с его громадным отелем на самом пляже и с его туристикой, совершенно не подходившей к тому, для чего я приехал в Италию.

Я спешил дальше, в Падую, где ждали меня ранние фрески Джотто в Arena, — целые стены, разрисованные — больше чем раскрашенные — библейскими сюжетами. Обязательный византийский рисунок здесь впервые зажил жизнью живого чувства. Это было для меня **{107}** настоящее пиршество. От квадрата к квадрату я переходил, сличая описание с фреской и выслеживая штрихи новизны в

рамках строгой традиции. Джотто — но это уже ранняя Флоренция! Джотто — современник Данте! Но подождем. Надо не умиляться, а учиться!

На следующем этапе, в Болонье, я уже системы не выдержал. Перед святой Цецилией Рафаэля я долго стоял, забыв о всех своих планах. По своей неподготовленности я не видел раньше репродукций этой картины в красках — и очутился сразу перед оригиналом.

Своего впечатления я не могу передать. От картины веяло поистине неземной гармонией (и музыкой, моей милой музыкой). Гармония в диспозиции рисунка, в повышающейся градации настроений окружающих персонажей, и, после Венеции, — в такой бережливой сдержанности красок! Но — дальше, дальше... Я затаил в себе это впечатление — и устремился дальше, в Пизу, к Андреа Орканья. Об Орканья упоминал еще Буслаев, сравнивая впечатление тления на его фреске «Торжество Смерти» и на ракурсе тела Христа Мантеньи. Но фреска плохо сохранилась и я уже знал ее по снимкам; может быть, поэтому она не произвела на меня ожидаемого впечатления. Кажется, теперь сомневаются даже в ее принадлежности Орканья.

Падающая башня Пизы произвела впечатление больше тем, что с ее верхней площадки я наблюдал сменяющиеся краски солнечного заката в море.

От Флоренции я ожидал больше, чем получил. Это и понятно. Флоренция дается не легко; в ней надо жить, чтобы полюбить ее и ее скрытые сокровища. Не говорю уже о флорентийской общественности. Я пошел с визитом к престарелому Губернатису, единственному выдающемуся итальянцу, к которому я мог иметь отношение (через Миллера) в Италии. Губернатис был женат на русской, мне был известен по некоторым работам и по словарю писателей, им изданному. Но почтенный писатель привык к паломничеству русских, может быть, и тяготился им — и, во всяком случае, на недоучившегося студента не обратил никакого внимания. Я ушел от него с обостренным чувством собственного одиночества.

Конечно, я мог наслаждаться произведениями искусства, окружающими Mercato Vecchio, заглянул в Uffizi, но слишком бегло, чтобы изучить собранные там **{108}** сокровища; был в Santa Croce, наконец, обратил особое внимание на собор, который тогда только начали облицовывать мрамором, изучил на месте и по снимкам знаменитые бронзовые ворота Донателло с изумительной перспективой его барельефов. Наибольшее впечатление произвел на меня доминиканский монастырь Сан Марко, где Фра Беато Анджелико разрисовал своими фресками каждую монашескую келью, и где подвизался Саванарола. Эти фрески подействовали на меня, как совершенное воплощение христианского искусства, его высшая точка между не обладавшими техникой примитивами — и его неизбежным закатом после приобретения техники.

Из Флоренции на Рим вели два пути: через Сиену (Тоскана) и через Перуджу (Умбрия). Я выбрал путь на Сиену, — имея в виду, во-первых, познакомиться с Сиенской школой живописи и, во-вторых, взглянуть на одну из средневековых итальянских республик, лучше других сохранивших на высокой горе свои старые укрепления. Я, таким образом, пропускал гораздо более богатые коллекции города учителя Рафаэля — и возможность увидеть в Ассизи фрески Джотто. С этими двумя городами мне пришлось познакомиться уже в эмиграции. В Ассизи я даже прожил несколько времени, благодаря любезному приглашению художника Лохова, известного копииста, влюбленного в Ассизи. На этот раз, остановившись на несколько дней в Сиене, я познакомился с сиенской школой, сохранившей — от Маттео до Содомы — свою независимость и свой органический рост, побывал в знаменитом соборе, походил по скалистым переулкам — и, наконец, сел в вагон, чтобы добраться до центра всего моего путешествия, до «вечного» Рима.

Однако, и в этом вечном Риме я не мог оставаться вечно. На Рим у меня был положен целый месяц, но и при таком сроке надо было точно ограничить работу. Из трех Римов, языческого, папского и нового, я выбрал первый и последний, выделив притом из последнего одну лишь эпоху раннего Возрождения. Затем, нужно было организовать занятия. Я прежде всего снял за сорок лир комнату на месяц в конце Via Sistina. Дешево тогда жилось бедному студенту. Надо мною был Monte Pincio с своими виллами и пиниями, подо мной — знаменитая лестница, спускавшаяся на Piazza di Spagna. **{109}** Несмотря на эти прелести, выбор места в северной части Рима оказался, однако, неудачным. Развалины языческого мира, начиная с форума, были расположены в южной половине города. Они оставались в том же заброшенном, нетронутом виде, как были в папское время. Раскопки в этой части, предпринятые правительством объединенной Италии, продолжались еще и в годы управления Муссолини. Тогда это были пустыри с жалкими хибарками беднейшего населения, засыпанные песком. Ходить в июльскую жару в эту часть Рима было настоящим подвигом. Местные жители говорили, что в такое время года, когда асфальт мнется под ногами, как глина, по улицам ходят только inglesi e cani — англичане и

собаки. Это была, действительно, собачья работа — добираться до базилики Сан Паоло, fuori le muro (За городскими стенами.), в южные христианские катакомбы, или выходить на Аппиеву дорогу. Один раз, зайдя довольно далеко по аллее гробниц, я чуть не схватил солнечный удар. Помню, как в каком-то полусознательном состоянии я опустился у дерева при дороге, и так, в полусне, пролежал без движения, очнувшись только, когда солнце стояло низко над горизонтом и веял с Кампаньи прохладный ветерок. Кое-как, пешком же, я добрался к ночи до своей квартиры.

Далеко оказалось и до Ватикана, которому я решил посвятить главное внимание. Перейдя через Тибр и крепость св. Ангела и пройдя огромную площадь перед св. Петром, я с ужасом думал, что пройдена только половина пути, а дальше, минуя главный вход, охраняемый швейцарской гвардией в живописных костюмах, я должен был обойти кругом весь собор и все огромные пристройки. Вход в галереи был позади, и я таким образом каждый день обходил чуть не всё теперешнее Ватиканское государство.

Я, тем не менее, не унывал. Я точно распределил работу между часами дня. Вставал рано и один из первых приходил к открытию намеченного музея. В час завтрака шел в ближайшую тратторию народного типа и там завтракал за 60 чентезими, избегая, по возможности, специфических итальянских блюд, к которым трудно приучиться. После завтрака шел опять в музей **{110}** с книжками под мышкой. Меня всегда сопровождал мой любимый «Чичероне» Буркхардта, устранявший всех других гидов. Я смотрел свысока на толпы «Куков», спешно пробегавших комнаты и не успевавших заглянуть в свои Бедекеры. Я усаживался на стул или диван и медленно переходил от одного предмета к другому. Уходил я после звонка к закрытию, и один раз случилась даже со мной по этому поводу забавная история в Капитолийском музее.

Я углубился, в амбразуре окна, в рассмотрение tabula ilica (Небольшая каменная доска (вероятно 1-го века) с барельефным изображением отдельных эпизодов Троянской войны, (Прим. ред.).), звонка не заметил, сторожа прошли мимо меня и заперли музей на ключ. Я продолжал свою работу, пока не заметил, что всё стихло и никого нет в музее. Я толкнулся во двор; ворота заперты. Я обошел музей с другого конца, открыл окно на спуске тротуара от Araceli, и стал ждать прохожих. Остановил одного, рассказал ему свою историю; тот побежал звать другого, более посвященного. Но другой сказал, что сторожа ушли в Ватикан и что на вызов их потребуется время. Комната была интересная, и я вернулся к созерцанию Амазонки и Амура. Прибежали, наконец, испуганные сторожа, но, прежде чем выпустить, попросили разрешения меня обыскать, на что я охотно согласился. Извинились и ушли, а я пропустил свой завтрак, который большею частью был и обедом.

После послеобеденного закрытия музеев я возвращался домой и принимался готовиться к следующему дню. Тут прочитывалась соответственная глава Гастона Буассье; для Рима я приобрел еще шесть томов Ампера, построенных на изучении топографии Рима в связи с его историей. Ампер необыкновенно оживлял мои прогулки по Риму. На одном перекрестке я видел Горация, на другом встречался с Цицероном, а вот та низина, в которой римляне похитили сабинянок. Так проштудировал я, следуя Гастону Буассье, Форум, ходил по Аппиевой дороге, съездил с ним в виллу Адриана, суммировавшего там память о своих путешествиях, ходил и в Латеран, где подробно знакомился с символикой первых веков христианства, при помощи еще одной прекрасной **{111}** книги, словаря христианских древностей Мартиньи.

От виллы Адриана я пробрался пешком к котловине озера Неми, из которого недавно напрасно вылавливали римскую трирему. Потом решил подняться на гору Monte Cavo по дороге, которая вилась кругом и служила в древности для триумфального восхождения римских генералов, которым сенат не присуждал настоящего, нормального триумфа. На вершине горы стоял небольшой монастырь, куда меня, измученного восхождением, пустили переночевать. После скромной трапезы, состоявшей из неперевариваемых незрелых фиг собственного произрастания, монах повел меня посидеть на лавочке, и первым делом спросил, по Гомеру, из каких я стран. Я ответил: un russo. Монах отпрянул: nihilista? Я его успокоил, и мы начали мирную беседу о том, как испортилось время, как девицы забросили домодельные костюмы и стали одеваться в ситцы и т. д. Пока мы беседовали, солнце склонилось к закату, и мой монах оказался поэтом. Действительно, картина была очаровательная. Перед нами открывался весь Лациум, видно было всё течение Тибра вплоть до моря, которое сияло последними солнечными лучами. А что делалось на небе! Закатываясь в облаках, солнце постоянно меняло форму; краски, от красной до фиолетовой, оживали по очереди вслед солнцу — и вслед за ним умирали. Но надо было слышать при этом воодушевленный комментарий монаха... Когда стемнело, он повел меня в предназначенную для меня келью. Стена против узенькой кровати была заставлена полкой с книгами в старинных переплетах: тут были мои любимые классики. Я выбрал Горация с комментарием XVIII в.,

но читать не мог, страшно уморившись за этот поистине трудовой день. Я открыл на« удачу книгу — и прочел известный мне стих:

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
Finem Di dederint, Leuconoe; nec babylonios
Temptaris numeros . . .
т. е. «ты не гадай, — знать грешно, — что за конец
боги дадут мне и тебе, Левконоя, — и не пытай
вавилонских таблиц»...

Я мирно заснул и снов не видал. Рано утром монах проводил меня по кратчайшей дороге. Это была одна **{112}** из самых приятных прогулок — и так она хорошо запомнилась.

Главное внимание и большая часть времени были однако посвящены Ватикану. Прежде всего я занялся скульптурными собраниями. В то время слепков в Москве не было, — музей Александра III *(Музей изящных искусств имени Императора Александра III в Москве, см. также http://history.mtu.ru/biblio/047/), задуманный проф. И. В. Цветаевым (отцом Марины Цветаевой – ldn-knigi)* на месте Колымажного двора, еще и не строился, — и, вместо слепков, мне пришлось сразу увидеть оригиналы. Правда, щупать мрамор, чтобы различить подлинные греческие статуи от римских копий, как учил Буслаев, мне не пришлось; да это всё было и в каталоге. Но общее впечатление было потрясающее. Я подолгу выстаивал перед каждым из шедевров Ротонды.

Вот Лаокоон и его сыновья, переплетенные змеями: каждая часть группы напоминала мне комментарий Лессинга... Но и тут я помнил о своей задаче: изучить историческую эволюцию искусства. Мне не нужно было для этого ни насиловать фактов, ни открывать что-либо новое. Моя схема деления на периоды была тут совсем готова. Вот раннее гиератическое искусство — примитива: застывшие позы, угловатые движения, неподвижные лица, костюмы, спускающиеся вдоль фигуры ровными, точно гофрированными складками. Особенно меня поразила сходством с средневековьем закутанная фигура Пенелопы (это — моя теория). А вот в статуях проявляется жизнь, дифференцируются выражения лиц, все еще строгие, как на византийских иконах, затем фигуры начинают двигаться, движения становятся естественными, сочетаются в группы, наконец, в движениях и выражениях лиц начинает проявляться утрировка, искусственность, в жестах и позах — преувеличенное выражение страсти; самые темы перестают браться из мифологии, появляется портрет и пейзаж, сложные сцены изображаются в мозаике. К какому периоду принадлежит мой несравненный Лаокоон? Очевидно, к позднему! Этим масштабом можно мерить скульпторов классической эпохи, где техника становится свободной от гиератической схемы, но статуя сохраняет важность и серьезность божества. Древность, средние века, возрождение, упадок — все тут налицо: но какой красивый упадок!

От скульптур Ватикана я перешел к живописи, — **{113}** чтобы найти там те же самые деления! Знакомство с гиератическими примитивами и с переходом от них к Джотто, к Анджелико, к прерафаэлитам меня уже приготовило к пониманию классиков; но тут со мной произошло то, что началось в Болонье, перед св. Цецилией Рафаэля:
я начал не только понимать, но и наслаждаться. Я откладывал до Рима окончательное знакомство с Рафаэлем и с Микель-Анджело. Здесь открылись передо мной Станцы и Лоджии Рафаэля, Сикстинская капелла Микель-Анджело. По правде сказать, я тут почувствовал, что моя граница классической гармонии, равновесия и спокойствия уже перейдена, и с Микель-Анджело — перейдена далеко. Спаситель, бросающий громы с верха картины на выходящих из гробов грешников, слишком напоминает скульптурного Юпитера. И Рафаэль уже переживает свой последний, римский период. То, что за этим следует, уже вызывало во мне определенно отрицательное отношение, как всё более яркое выражение упадка. Должен сказать, что тогда это оправдывало в моих глазах небрежное отношение к XVII веку. Я отчасти поэтому освободил себя от систематического посещения римских церквей. Во всяком случае, живописный материал для моей схемы, как и скульптурный, был в моей голове готов. Поправки пришлось внести уже гораздо позднее.

Вместе с тем кончилась главная цель моего путешествия. Приходили к концу и мои капиталы. Конец поездки я решил посвятить баловству, — под чем разумелось беглое посещение юга Италии: Неаполь (с Помпеями, которые, конечно, не были баловством) и Капри.

В Неаполе мое пребывание было кратко. Музеи не были так полны, как теперь, статуэтками и мозаиками из Помпеи и Геркуланума. Я поселился, из экономии, в самом южном и (тогда) демократическом квартале Неаполя, на Via Margellina, откуда ходить в центральные части города было

не близко. Зато я выиграл по части живописности положения. Надо мной высился Castel St. Ehno, где скрывался замученный Петром его сын Алексей; отсюда крепость была особенно хорошо видна. Подо мной открывалось, особенно к вечеру, веселое зрелище: на песчаной отмели берега копошились ладзарони и рыбаки, слышались неаполитанские песни, включая ходячую во всей Италии Santa Lucia. Я жалел только об **{114}** одном. После месячного пребывания в Риме я уже считал, что свободно владею итальянским языком. Приехав в Неаполь, я опять увидал, что здешнего народного языка я совершенно не понимаю. Купил себе текст таких милых неаполитанских песен — и тоже в нем с трудом разбирался. За пределами Марджеллины, в двух шагах, находится знаменитый грот Позиллипо, с предполагаемой могилой Вергилия. Но я так «избаловался», что за все дни пребывания в Неаполе не успел даже туда зайти, — несмотря даже на то, что дальше шел залив Байи, а около него классическое сошествие в ад. Я предпочитал в сумерках спускаться к морю и, качаясь на волнах, созерцать прямо перед собой силуэт Везувия с шапкой красноватого облака над ним, всегда напоминающего о катастрофе с лежащими под ним Геркуланом и Помпеями.

На подземные раскопки Геркуланума я не польстился, а проехал кругом залива прямо в Помпеи. Излишне повторять, какое впечатление производит этот застывший вид римского города с его колеями на улицах, водопроводами, обстановкой домов, избирательными плакатами на стенах и всеми подробностями ежедневной жизни. Но тогда из девяти кварталов города были раскопаны только три, и внутреннюю обстановку домов только что перестали вывозить в Неаполитанский музей. Мне пришлось посетить Помпеи много позднее, когда в них работала милая Т. Варшер, дочь той самой барышни из арбузовского дома, о которой я упоминал выше. Она составляла подробное, многотомное описание всякой вновь находимой частности для проф. М. И. Ростовцева; и когда в моих руках всякие гиды видели описание Помпеи, ею составленное, они уже не приставали с предложениями и говорили: это — наша principessa! (Принцесса.) В 1881 году я, конечно, не мог получить такого полного впечатления и после беглого дневного осмотра поехал дальше по берегу вплоть до Сорренто. Это чудесное место я тоже оценил много позднее; в то время я на него смотрел, как на самый дешевый способ переправиться на Капри.

Увы, этот дешевый способ оказался довольно предательским. Путеводитель говорил, что надо найти в **{115}** Сорренто рыбака, который ежедневно перевозит на Капри почту, и что он берет пассажиров за ничтожную плату. Я нашел рыбака и поехал на его лодке. Но в этот день разыгралась буря. Я потом много ездил по океанам, и в тишь, и в бурю, но такого переезда не запомню. Перед лодкой волны вздымались стеной и круто падали водопадами брызг. Впереди, — как казалось, на самом близком расстоянии, — высился перед лодкой утес, на который ветер гнал нашу парусную лодку как будто неудержимо, и вот-вот лодка грозила разбиться. В конце концов все пассажиры переболели морской болезнью. Я был последний. Нечего и говорить, что въезд в Лазоревый грот был закрыт волнами. Я высадился на берег, совершенно изнеможенный, и целый день пролежал без движения в каком-то ближайшем отеле. К вечеру я поднялся и пошел по дороге, ведущей к крутому обрыву — Salto di Tiberio (Буквально — «прыжок Тиберия».), — с которого, по преданию, Тиберий сбрасывал свои жертвы. По дороге, на высшей точке горы, было для иностранцев выбрано место, с которого открывался вид на Неаполь, с одной стороны, и на острова Иския и Прочида — с другой. Вид, действительно, был грандиозный. За осмотр взималась плата, и туристам подносилась книга для увековечения своей подписью испытанных здесь впечатлений. Поднесли ее и мне. Помню свою подпись, потому что в ней отразилось не впечатление туриста, а ощущение одиночества, которое я носил в себе в течение всего путешествия. В качестве латиниста, я выразил это настроение двустишием:

Quid notum nemini totis scribam litteris nomen?
Ignotus ut maneam, hae solae sufficiunt.
P. M. Mosquensis.

(«К чему писать всеми буквами никому неизвестное имя?
Чтобы мне остаться неизвестным, достаточно и этих одних (то есть инициалов)
П. М. Москвич».).

На этой высшей точке мое путешествие заканчивалось. Вернувшись на пароходе в Неаполь, я уже проделал весь обратный путь, нигде не останавливаясь: средств едва хватило на этот кратчайший способ возвращения.

{116}

7. ПОСЛЕДНИЙ ГОД В УНИВЕРСИТЕТЕ (1881 — 1882)

Лекции в университете уже начались, когда я вернулся из Италии. Но я мало заботился о лекциях. Мне казалось, как будто я уже окончил университет, и отсрочка на год есть простая формальность. К тому же и состав моих новых однокурсников был мне совершенно неизвестен. Среди них у меня не было ни товарищей, ни близких друзей. Те, с которыми мы четыре года назад вместе вошли в стены университета, ушли в жизнь. Я остался один, и охоты сближаться вновь у меня не было. К этому присоединилась традиционная привычка старших смотреть на студентов младших курсов как-то свысока и снисходительно. Так на наш курс смотрели студенты старшего курса, например, Карелин или Якушкин, о которых речь будет дальше. Так и я склонен был смотреть на догнавших меня студентов. Это было, конечно, неправильно и среди них было немало интересных людей. Я сразу могу назвать двоих: Матвея Кузьмича Любавского, которому суждено было впоследствии занять кафедру Ключевского, Василия Вас. Розанова, прославившегося потом в роли писателя-философа определенного направления.

Оба в университете были мало заметны. С некоторыми другими я ближе сошелся по работе в семинарии П. Г. Виноградова, единственно меня интересовавшем на этом курсе. Я не могу точно вспомнить, какая именно тема трактовалась участниками семинария в этом году: кажется, это был разбор, очень строгий, первого тома Фюстель-де-Куланжа, посвященного концу римской империи. Может быть, тогда же, а может быть и несколько позже, я встретился там с некоторыми участниками общей работы, которые стали моими друзьями. Украинец Петрушевский, талантливый исследователь средневековья — в том духе, как мы понимали историю, то есть, главным образом, как историю социальную и историю учреждений; Моравский, след которого я потом потерял; А. И. Гучков, явившийся к нам из Берлина с репутацией бреттера и выбравший себе тему о происхождении гомеровского цикла; так и не докончив этой работы, он отправился помогать бурам. Предвестником **{117}** возвращения Гучкова из Берлина явился его друг, молодой француз Жюль Легрá, бывший секундантом Гучкова на одной из его «мензур» (студенческих дуэлей) в Берлине. Он привез с собой живую и остроумную книгу берлинских наблюдений: «Афины на Шпрее», которая очень выгодно его характеризовала. Чтобы подчеркнуть его наблюдательность, припомню один эпизод: мы шли вместе из моей квартиры на Плющихе к Арбату; на углу Арбата и Новинского бульвара тянулась полукругом линия низеньких мясных и бакалейных лавок; над ними стоял молодой месяц. Легрá остановился перед этой картиной, как вкопанный. «Tiens, да ведь это — Азия!» Я был поражен: никогда я не думал, что Азия начинается так близко от моей квартиры. Потом, путешествуя по караван-сараям настоящей Азии, я всегда вспоминал это восклицание Легрá. С этого времени мы с ним подружились.

Остается упомянуть еще об одном, довольно пассивном участнике семинария П. Г. Виноградова, о М. Н. Покровском. Покровский прогремел при большевиках своим квази-марксистским построением русской истории. Ими же он был и развенчан. У нас он держался скромно, большею частью молчал и имел вид вечно обиженного и не оцененного по достоинству.

Центром притяжения для этого небольшого кружка был сам руководитель семинария. О его достоинствах я уже говорил выше. Мое личное сближение с ним продолжалось; не помню, тогда ли или немного позднее он ввел меня в свою семью. Отец его был директором женских гимназий; семья состояла, кроме П. Г., из четырех дочерей разных возрастов. Старшая, Елизавета, очень культурная и умная, вышла замуж за начальника отца П. Г., Соколова, две следующие, Наталья и Александра, были несколько моложе меня. Младшая, Серафима, была еще цыпленком. Отношения со всеми ними были у меня самые дружественные.

Общественные ожидания, возбужденные первыми неделями царствования Александра III, быстро рассеялись, когда Лорис-Меликова сменил Игнатьев, а Игнатьева вытеснил Победоносцев. Революционная борьба была подавлена крутыми репрессиями, и в политической жизни наступило затишье, продолжавшееся в течение **{118}** почти тринадцати лет царствования Александра III. Для научной деятельности, в частности для моей, это затишье оказалось чрезвычайно полезным. Я мог отныне, после неудачного политического опыта, всецело погрузиться в научную работу. Начало этой работы я и должен вести с последнего университетского года.

Не ожидая ничего для себя нового, я очень манкировал университетскими лекциями (за исключением лекций проф. Виноградова). Но освободившийся таким образом досуг я употреблял на серьезное чтение социологического, политико-экономического и исторического содержания. Русская история, в частности, продолжала стоять у меня на первом плане. Центром внимания в этом отношении

стала, конечно, диссертация В. О. Ключевского на тему о «Боярской Думе», начавшая печататься отдельными статьями в «Русской мысли». Построение киевского периода сразу показалось мне в ней, при всем остроумии автора, искусственным и спорным.

Напротив, объяснение частно-хозяйственного происхождения государственных учреждений Московской Руси увлекло меня своей глубиной и основательностью. Мысль начала сосредоточиваться в этом направлении.

Приближалось время выпускных экзаменов, и я — слишком поздно — заметил многочисленные пробелы, образовавшиеся у меня в результате непосещения лекций. Старый гимназический способ покрыть эти пробелы состоял из нескольких бессонных ночей, проведенных над лекциями при помощи крепкого чая. В университете этот способ облегчался снисходительностью профессоров. Я уже говорил о том, как упрощенно мы сдавали экзамены у Нила Попова. На экзамене у проф. Дювернуа, по курсу о древнеславянском языке, которого никто не слушал, дело обходилось несколько сложнее. Брали билеты три студента подряд, и пока отвечал первый, два другие отходили от экзаменационного стола к скамьям, где уже был заготовлен конспект лекций, и прочитывали конспект, соответствовавший вынутому билету. Не помню, как сходило у меня с рук такое незнание по другим предметам, но на экзамене у Виноградова у меня случился неприятный казус, тем более неожиданный и для меня, и для профессора, что я сам **{119}** и издавал его лекции. Положившись на свое знание их, я только накануне экзамена, перебирая лекции, заметил, что нескольких листов в моем экземпляре недостает вовсе. Просидев ночь, чтобы освежить в памяти курс, я пошел на экзамен, положившись на случай. Можно себе представить мое крайнее смущение, когда я вынул билет, как раз соответствовавший недостававшим листам — о германской исторической школе. Делать было нечего, я стал вспоминать читанное на эту тему в толстом Handbuch'е о немецкой историографии — и начал ответ. Виноградов сперва пришел в недоумение: того, что я говорил, не было в курсе. Потом догадался, усмехнулся и, не прерывая меня, поставил удовлетворительную отметку. Потом уже я объяснил ему, в чем было дело. По счастью, наша дружба от этого нисколько не пострадала. Виноградов выступил главным моим защитником в вопросе о моем оставлении при университете. Он знал от меня, что я хочу специализироваться на русской истории. Тем не менее, и он, и проф. Герье — последний в особенности — стали настойчиво убеждать меня остаться при университете по кафедре всеобщей истории.

Я отказался, не понимая, в чем дело и откуда идет сопротивление моему оставлению по русской истории. Только позднее я начал, к своему глубокому огорчению, догадываться об этом. Сопротивление, конечно, могло идти только от В. О. Ключевского. Возможно, что он был недоволен моим политическим направлением или моим малым вниманием к его предмету. Возможно, что он уже тогда считал более подходящим для занятия кафедры более послушного М. К. Любавского и смотрел косо на мое увлечение всеобщей историей. Возможно и то, что общее происхождение из духовного звания более сближало его с духовным обликом Любавского. В дальнейшем, как будет сказано, открылись и наши различия во взглядах, как частных, так и общих, на русскую историю и на способы ее изучения. Возможно, что они почувствовались уже тогда, и В. О. не доверял моим стремлениям к самостоятельности, предпочитая более надежного в этом отношении М. **{120}** Любавского. Как бы то ни было, все эти догадки возникли у меня позднее. В них не было и надобности тогда, так как в конце концов факультет, очевидно с согласия или даже по предложению В. О., всё же оставил меня при университете по кафедре русской истории.
{121}

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОТ СТУДЕНТА К УЧИТЕЛЮ И К УЧЕНОМУ. (1882-1894)

1. НАСТРОЕНИЕ

От годов учения входил в действительную жизнь. С каким настроением? Пусть свидетельствует об этом «Гимн Жизни», переведенный мной в те времена, довольно неуклюже, из Лонгфелло. Я прибавил его к старому лозунгу из Шиллера: «Стремись к целому, живи в целом, усваивай себе целое».

Вот запомнившиеся строфы из этого «Гимна»:

Не тверди в унылом тоне:
«Жизнь есть только сон пустой»;
Умерла душа, коль снится
Ей не то, что пред тобой.

***

Жизнь реальна, жизнь серьезна,
И не гроб ее конец.
«Тлен ты был — и тленом станешь»
Не про дух сказал певец.

***

Не печаль, не наслажденье
Нам даны, как цель пути,
И текущее мгновенье
Нас должно вперед вести.

***

Жизнь великих нам покажет,
Как возвысить жизни тон
И, покинув мир, оставить
Долгий след в песке времен.

{122} После тяжких испытаний жизни это может показаться пресной моралью. Но мне было 23 года. В прошлом у меня не было неудач и тяжелых потерь. Напротив, всё мне благоприятствовало. Меня отличали и в гимназии и в университете. Передо мной открывалась безоблачная будущность; я не встретил препятствий на том пути, который сам себе наметил. Я не был высокого мнения о себе и поставил перед собой осуществимые цели. Мои сердечные волнения остались позади и мало-помалу перестали меня тревожить.
Из биографий «великих людей» меня больше всего привлекала автобиография Стюарта Милля. Но она лишь указывала направление, не предрешая высшей точки, о которой я и не думал.

Tu ne quaesieris, scire nefas,
quem mihi, quem tibi finem Di dederint . . .
«Ты не гадай, — знать грешно, — что за конец боги дадут мне и тебе».

2. УЧИТЕЛЬСТВО

Оставление при университете налагало обязанность подвергнуться магистерскому экзамену, открывавшему путь к профессуре. Но оно давало и новые возможности для устройства жизни: в том числе и преподавательскую деятельность. Преподавание было живое дело, и оно меня очень заинтересовало. Конечно, педагогика была специальной профессией, и я к ней не готовился. Вероятно, с точки зрения профессионалов, я и был плохим педагогом. Но «своим умом» я дошел до известной системы и видел ее результаты. Они были удовлетворительны и, вдобавок, создали мне многих, друзей, в том числе и личных, из состава моих учеников и учениц.

Мне посчастливилось сразу, со студенческой скамьи, получить несколько преподавательских мест. Я получил класс истории в четвертой женской гимназии — и сохранял его в течение одиннадцати лет, отделявших окончание университета от высылки из Москвы (1883-1894). Затем я взял уроки истории в Земледельческом училище на Смоленском бульваре. Наконец, временно мне передали уроки по истории литературы в одной **{123}** частной женской школе, в которой взрослые ученицы взбунтовались против своего преподавателя и не хотели у него учиться. Кроме одной, самой непослушной, я с ними всё-таки поладил.

Работы со всем этим было много, так как я решил попутно пополнить свои собственные пробелы и выработать общие курсы. Вероятно, этим и объяснялась и известная живость и интерес, внесенные в преподавание. Я сразу упразднил «зубрежку» по учебнику и свел половину урока к собственному рассказу. Меня упрекали, что это сводит уроки к преподаванию нескольким лучшим ученикам и ученицам, которые за мною записывали, и оставляет класс незанятым. Этот упрек был несправедлив. Мое основное правило было — заставить работать вместе со мной весь класс. Учебник оставался обязательным минимумом; но из своих рассказов я выводил схемы, знание которых, конечно, с пониманием их смысла, становилось настолько же обязательным, сколько неизбежным. Я требовал не только знания очередной части учебника, но спрашивал каждый урок весь класс по всему пройденному курсу. Поневоле, основные черты запоминались от частого повторения, и мой класс всегда был готов к экзамену. Вначале это казалось трудным, но вскоре класс начинал понимать удобства этого приема и охотно участвовал в общей работе усвоения минимума необходимого материала — с моим схематическими толкованиями. Я при этом обращал главное внимание не столько на биографии лиц, сколько на схемы исторических процессов. Тот же прием я применял и в Земледельческой школе, и ревизор, приехавший как-то невзначай для проверки хода преподавания, зайдя ко мне на случайный урок, благодарил меня, хотя и заметил, что ученики знают историю гораздо лучше, чем полагается для специального назначения школы.

Моим старшим товарищем по преподаванию в женской гимназии был милейший и оригинальнейший Степан Федорович Фортунатов, брат лингвиста. Долго спустя нельзя было упомянуть его имени, чтобы лицо собеседницы (или собеседника) не расплылось в самую счастливую улыбку — с примесью некоторого элемента **{124}** шутки. Дело в том, что Степан Федорович, старый холостяк, совершенно пренебрегал своей внешностью. Старый, заношенный костюм был невероятно грязен, от бороды пахло на далекое расстояние, и ученицы ходили в грязные дни в переднюю на «поклонение калошам святого Степы», когда около этого допотопного предмета разливались целые озера грязной воды.

Но в преподавании Степан Федорович был неподражаем. Жестикулируя, потирая руки и разливаясь смехом, он увлекательно излагал свои любимые отделы истории, — преимущественно истории революций, а также историю Соединенных Штатов Америки; он славился тем, что мог перечислить подряд всех президентов, с годами их управления. Для меня он был интересен также тем, что представлял либеральную традицию, начало которой было положено покойным уже тогда талантливым преподавателем истории литературы Шаховым. Так называемый «Шаховский кружок» — существовавший до меня — оказывал свое влияние даже на такого недоступного человека, как В. О. Ключевский. Я, естественно, находил свое место в том же течении, хотя и не мог воспринять его во всей той непосредственности и целости, какую оно предоставляло в момент своего возникновения. Я был уже запоздалым, так сказать попорченным «семидесятником» и вносил в эту строгую политическую догму свое стремление к «целому», подкрепленное дисциплиной исторической науки. К тому же, и моя философская схема исторического процесса (corsi e ricorsi) (См. примечание 17 на стр. 88.) не умещалась в рамки чистой либеральной догмы. Естественно, что и в своем преподавании я несколько уравновешивал картины «революции» картинами языческого Возрождения и евангелической Реформы XVI столетия. Должен всё-таки признаться, что картины великой французской революции интересовали больше и запоминались крепче, нежели эти эпизоды более отдаленного прошлого. С Степаном Федоровичем я никоим образом соперничать не мог — уже потому, что на экзамене из истории Соединенных Штатов я у него наверное бы позорно провалился.

Своих строптивых учениц, дочерей богатых **{125}** купеческих семейств в Москве, я утихомирил, рассказав им подробно биографию Пушкина, с прочтением в классе соответственных стихотворений. Дело не обошлось без трудностей: раз, по недосмотру, я дал прочесть лучшей ученице одно из лицейских стихотворений с весьма опасными местами. Она прочла его, не сморгнув глазом, а другие не подали вида, что что-то вышло неладно. Дело обошлось без последствий.

3. МАГИСТЕРСКИЙ ЭКЗАМЕН

Главной моей задачей оставалась всё же подготовка к магистерскому экзамену. Обычным сроком для подготовки считались три года. Я поставил себе этот срок (1883-5) — и его выдержал. Очень трудно теперь припомнить последовательность и даже содержание этой подготовительной работы за трехлетие. Некоторым напоминанием об этом служат полученные результаты.

Исходным пунктом для подготовки должны были служить программы вопросов, составленные

по соглашению с экзаменаторами. Кроме программы по главному предмету, т. е. по русской истории, обнимавшей 12-15 вопросов, полагалось еще испытание по «второстепенным» для этой кафедры предметам — по всеобщей истории и по политической экономии. Каждая из этих дополнительных программ состояла из шести пунктов.

Таким образом, предстояло обработать для экзамена больше двух дюжин тем, более или менее самостоятельно овладев литературой предмета. Чтобы дать понятие о темах, приведу насколько из них, наиболее запомнившихся. П. Г. Виноградов дал тему, над которой сам работал, — о колонате в римской империи, и указал специальную литературу. Для А. И. Чупрова я сам выбрал одну из центральных тем, определивших весь ход истории политической экономии — о теориях ренты. Это дало повод специально ознакомиться с книгой Рикардо, Зибера о Рикардо, статьями Робертуса; я затем напал на книгу Тюнена об «изолированном государстве». Тюнен исходил из гипотезы государства, уединенного от всех внешних влияний (по теперешней терминологии: автаркического), и рассматривал, как **{126}** расположатся концентрическими кругами около центра различные отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности, в зависимости от возрастающих издержек производства по мере удаления от центра. Мысль Тюнена я применил отчасти к конструкции главы об истории экономического быта в своих «Очерках». Наконец, как пример программы по русской истории, приведу две темы, которыми я особенно интересовался: крестьянский вопрос от Екатерины до Николая I и освобождение крестьян при Александре II. Кажется, одна из этих тем мне досталась и на экзамене.

Разработка всего этого материала требовала сама по себе значительной затраты времени. Но у меня, помимо этого, была еще задача, выполнение которой уже заходило за пределы магистерского экзамена. После сдачи этого экзамена давалось право на прочтение пробных лекций, после чего факультет допускал к чтению лекций на положении приват-доцента. Приват-доцентура давала право на чтение необязательных для студентов курсов, но от факультета зависело ввести некоторые из них в обязательную университетскую программу.

Предполагалось, что темы для пробных лекций будут избраны лектором из области его специальных исследований, причем одна из них, по обычаю, должна была иметь общий характер, а другая — должна была представить оригинальную работу по первоисточникам. Так как я не думал надолго отлагать чтение лекций, то эти две темы мне пришлось ввести также в период подготовки к магистерскому экзамену.

Я избрал их по двум направлениям моей будущей научной работы над русской историей. С одной стороны, я считал необходимым подготовиться к чтению общего курса ознакомлением с предшественниками по изучению русской истории. Отсюда выросла работа по русской историографии. С другой стороны, весь смысл нового исторического направления, усвоенного нами от проф. Виноградова, направлял исследователя в область архивного материала по истории учреждений и быта, — материала, почти не затронутого русскими учеными и чрезвычайно богатого. Именно в эту область я считал необходимым углубиться сам и направить наших молодых исследователей. Эта миссия облегчалась тем, что все **{127}** мы находились под одним и тем же влиянием — Виноградовского семинария. С этого времени заговорили о «московской школе» историков. Конечно, В. О. Ключевскому принадлежало в ней первое и руководящее место. Но среди его преподавательской деятельности у него самого оставалось очень мало времени для кропотливой и тягучей работы в архивах; к тому же, как указано выше, его руководство носило особый, слишком индивидуальный характер. Мне, по крайней мере, пришлось работать совершенно самостоятельно, хотя я и считался обыкновенно первым (хронологически) учеником Ключевского.

«Общую» тему для пробной лекции я избрал из области историографии. Я сопоставил трех юристов-историков, Чичерина, Кавелина и Сергеевича, предпослав им Соловьева. Я только в это время серьезно познакомился с ранними работами Соловьева и увидел в нем настоящего предшественника Ключевского. Соловьев мне был нужен, чтобы противопоставить схему историка, считающегося с внешней обстановкой исторического процесса, схемам юристов, постепенно устраняющим этот элемент среды и сводящим конкретный исторический процесс к всё более отвлеченным юридическим формулам. Идеализация гегелевского государства у Чичерина, докторально противопоставлявшего эту высшую ступень — низшей, частному быту; спасение от тисков государства свободной личности (с Петра) — у представителя прогрессивного лагеря, Кавелина; наконец окончательно опустошенная внутренне схема, с устранением элемента неюридических отношений и подчинения событий юридическим формулам у петербургского антагониста Ключевского, Сергеевича, — это сопоставление, вытянутое в логический ряд, представляло в оригинальном свете эволюцию одной из глав новой рус-

ской историографии. Тема была оправдана. Другую тему, «специальную» — и даже чересчур специальную — я взял из области своей архивной работы. Я выбрал для нее очень узкую, но важную задачу — осветить происхождение и степень достоверности древнейшей «Разрядной книги», первостепенного источника для истории русского служилого класса и для организации древнейшей **{128}** военной службы в Москве.

Списков частных — и недостоверных — этой древнейшей (конец XV — середина XVI столетий) книги было сколько угодно. Но в московском архиве мин. иностр. дел мне удалось найти правительственный текст и доказать его официальное происхождение. Эта тема давала образец сухой исследовательской работы, — конечно, понятный очень немногим. Сочетание обеих тем рекомендовало мою персону с разных сторон. Впечатление публики было благоприятное: dignus est intrare... («Достоин войти».) И я счастливо перешагнул границу от ученика к ученому. Этим было закреплено и мое социальное положение в московском обществе, где, в противоположность военному и чиновному Петербургу, университетский круг по традиции стоял на первом плане. Не могу определить точно, когда начались мои знакомства и связи с московскими литературными кругами; некоторые из них могли относиться к годам моей магистерской подготовки. Обе мои пробные лекции были напечатаны тогда же: «Юридическая школа в русской историографии» в «Русской мысли» (1886), а лекция о «Древнейшей Разрядной Книге» (позднее — и самый текст документа) в «Трудах Общества Истории и Древностей Российских», членом которого меня выбрали в 1887 г. Я также сделался членом других московских ученых обществ: «Московского Археологического», председательницей которого была вдова известного археолога, графа Уварова, и «Общества Естествознания, Географии и Археологии», которым руководил проф. Анучин, знавший меня еще через Всеволода Миллера.

4. ЖЕНИТЬБА

К концу этих годов относится и перемена в моей личной жизни, тоже связанная с расширением моих общественных отношений. В доме Ключевских я познакомился с ученицей Василия Осиповича по женским курсам проф. Герье, где он преподавал русскую историю, Анной Сергеевной Смирновой. Она только что окончила **{129}** курсы и готовила работу на указанную Ключевским тему. В. О. знал ее еще девочкой по своим отношениям к ее отцу, ученому протоиерею Сергею Константиновичу Смирнову, ректору Троицко-Сергиевской Академии, автору книг по истории Академии — Славяно-Греко-Латинской и Троицко-Сергиевской. В этой последней В. О. Ключевский был профессором и каждую неделю ездил на два дня читать лекции. Там он чувствовал себя в родной, духовной среде, и был принят, как свой человек, остроумный собеседник и мастер и поболтать по душе, запросто, и выпить в компании. Он был дружен и с семьей ректора, состоявшей из одного сына и шести дочерей. Сын был священником в Москве; три дочери также замужем за московскими священниками: одна — за преподавателем семинарии, одна за профессором Академии Каптеревым, известным своими учеными трудами по истории сношений Москвы с греческими патриархами и по истории отношений патр. Никона к царю Алексею Михайловичу.

Две были незамужние, Анна и самая младшая, Любовь, вышедшая потом замуж за молодого профессора Академии Голубцова. У всех была многочисленная родня. За Анной уже гонялись «бакалавры», но она их не поощряла, да и было нелегко студентам завязать знакомство с дочерью ректора. Притом же Анна Сергеевна была своего рода выродком в этой семье и в этой среде. В пансионе м-ме Дюмушель, куда ее отдали, она воспиталась на светский манер и особенного влечения к духовной среде не питала. Она представляла себе свое будущее, быть может, не вполне ясно; но первым шагом к этому будущему считала окончание образования в высшей школе. В Москве тогда открылись женские курсы Герье, где преподавали, в большинстве, профессора университета. Родные сопротивлялись этому шагу, считая ученье дочери законченным. Тогда она ушла из семьи и решила жить на свои средства, добываемые уроками. В пансионе была хорошо поставлена музыка, а у Анны Сергеевны был несомненный музыкальный талант. Она вышла из пансиона уже хорошей пианисткой и оказалась умелой преподавательницей: уроки музыки у ней не переводились. В. О. Ключевский, естественно, оказался ее пестуном в Москве, после того как отличил ее в **{130}** Сергиевом Посаде. Он всегда сравнивал ее голубые глаза с васильками, а золотистый отблеск пышных волос сравнивал с зрелыми колосьями ржи. На курсах она выбрала своим главным предметом русскую историю и привязалась к преподавателю, старому другу семьи.

Я познакомился с Анной Сергеевной у Ключевского, как с своего рода коллегой по занятиям русской историей; этой теме и были посвящены наши первые разговоры. Уже по своей привычке к

самостоятельной жизни и по своим стремлениям к научным занятиям А. С. менее всего была склонна думать о замужестве.

Именно поэтому наше знакомство носило товарищеский характер, свободный от всяких задних мыслей, и от всего, что придает отношениям между мужчиной и женщиной какой-то искусственный тон. И по той же причине, вероятно, я не могу припомнить — а вероятно не заметил и в то время — как эти отношения создали постепенно полное взаимное доверие и превратились в прочную привязанность. Помню только, что оба мы почувствовали потребность знать друг о друге больше, чем дозволяло простое знакомство, — так сказать, проэкзаменовать друг друга.

В то же время мы не хотели вводить в свои отношения третьих лиц, а она не желала принимать меня в своей скромной квартирке. И мы придумали такой исход. На плане Москвы я, наверное, и теперь нашел бы тот уединенный маленький сквер, где в вечерние часы можно было встречаться, не рискуя быть узнанными. Там мы назначали друг другу свидания, и в ряде встреч рассказали друг другу всё свое прошлое, без утайки. Утаивать приходилось бы, конечно, одному мне: жизнь молодой девушки была чиста, как белый лист бумаги. На моем листе было кое-что написано. Рассказав и про свои тайны, я почувствовал — да и она тоже — что взаимное ознакомление перешло границу, за которой начинается взаимность. Мне было дозволено, вместо сквера, продолжать наши беседы за чашкой чая на ее квартире. И тут было решено, что нам следует жениться. Однако, это решение мы согласились оставить между нами, в глубокой тайне, чтобы дать друг другу возможность проверить свое чувство без постороннего вмешательства. Мы выдержали это **{131}** испытание вплоть до последнего дня перед свадьбой. Это нам стоило потом больших неприятностей, о которых мы тогда не думали. Период испытания прошел, однако, не без колебаний с ее стороны. Это было летом; я жил в Пушкине, и наши беседы приняли характер оживленной переписки. В переписке оттенки мысли и чувства становятся тоньше и точнее. Вероятно, что-нибудь в письмах вызвало с ее стороны обратное движение. Она приехала в Пушкино, и сказала мне, что она боится потерять самостоятельность в замужестве и не может на него решиться. Она увидала страшное волнение, испытанное мною при этом разговоре, и я сам почувствовал, что дело идет о чем-то более глубоком, нежели простое увлечение. Она всё-таки потребовала времени для окончательного решения. Очень скоро из Москвы я получил письмо, в котором это решение было принято окончательно. Мы только тогда ознакомили с ним наших родителей — и только их. Мы поставили условием — устроить свадьбу в строжайшем секрете.

Венчание состоялось зимой в Хотьковом монастыре, куда мы, закутанные в шубах, по сугробам в санях приехали из Троицкой Лавры. В семье жены был обычай, в качестве приданого, дарить новому зятю скунсовую шубу. Таковую получил и я, — и она как раз пригодилась. Мы приехали из церкви в квартиру ректора, а оттуда, сопровождаемые всякими пожеланиями, вернулись в Москву — прямо в мой номер гостиницы на Козихе, где встретила нас моя мать, не очень дружелюбно относившаяся к моему выбору. Свадебные впечатления были затемнены и тем, что в номере того же коридора умирал от паралича мой дядя, Александр Султанов, который непременно хотел видеть новобрачных. Мы увидели перекошенную улыбку полумертвого лица; улыбка выражала не одно родственное чувство и вызывала чувство какой-то гадливости. Подавляя в себе это чувство, мы вернулись в свой номер.

Недружественно складывались и дальнейшие отношения.

Моя жена и мать были совсем разные люди. Я уже говорил о деспотической складке характера матери; она, очевидно, не хотела терять влияние на сына, в сущности, давно потерянное. Анна Сергеевна встретила **{132}** нападение более спокойно, чем я опасался, и в ненужную борьбу не вступала. Тем сильнее было сдержанное недовольство матери. Когда, с наступлением лета, мы переехали на Пушкинскую дачу, оно проявилось в демонстративных выходках. Нам было отведено для спальни место под лестницей теплушки. Мы претерпели и это. Но затем последовало что-то, настолько невообразимое, что я потерял, наконец, терпение. Мы забрали наши скудные пожитки и ушли на железнодорожную станцию, откуда с ближайшим поездом поехали наудачу на соседнюю станцию. В ближайшем расстоянии от нее оказался постоялый двор с номерами для приезжающих. Весь верхний этаж постройки был пуст — и поступил в наше распоряжение за очень дешевую цену. Там мы и провели, в счастливом уединении, остаток лета.

Возвращаться на старую квартиру, очевидно, не было никакой возможности, ни надобности. Стесненные средствами, мы нашли, на одной из улиц, возле Зубовского бульвара, очень скромную, но зато дешевую квартирку в полуподвальном этаже. Не помню, содействовал ли этому выбору наш сосед в бельэтаже над нами, которым оказался профессор иностранной литературы, Николай Ильич Стороженко. Это соседство оказало очень большое влияние на расширение моих литературных, а затем и политических связей.

После нашей «тайной» свадьбы мы не делали и обычных свадебных визитов. Оба мы вообще были очень наивны и несведущи по части общественных конвенансов. Мой лучший друг, П. Г. Виноградов, а с ним и его семья, узнав о моей женитьбе не от меня, были страшно обижены моим укрывательством — и выразили это довольно демонстративно. П. Г. сохранил наши добрые отношения, но дружба с семьей разладилась, так как моя жена там не была «принята». Напротив, В. О. Ключевский отнесся к свадьбе своей любимой ученицы очень сердечно, распространив и на меня свою благосклонность: это было время, когда отношения наших семейств, подкрепленные связью с Троицкой Лаврой, стали самыми интимными. Но в общественном смысле это был тупик, из которого дальнейшего выхода не было. Из **{133}** этого тупика и вывело нас соседство с гостеприимной семьей Стороженок, введя в более широкий круг университетских либеральных профессоров — в качестве самых младших его членов. Мы сделались постоянными участниками довольно многолюдных журфиксов и обедов, у соседей сверху, а отсюда вели пути общения в разнообразных направлениях. У себя принимать мы, во всяком случае, не могли — по скромности нашей квартиры и заработка. У меня не оставалось времени для частных уроков, дававших довольно приличный доход. Скудное учительское содержание в женской гимназии и Земледельческой школе и частные уроки жены и составляли весь наш бюджет.

Профессорский круг, в который мы входили, был впоследствии изображен в комическом и злобном освещении сыном одного из профессоров, известного математика и шахматиста Бугаева. В те годы Андрей Белый еще сидел на коленях матери и был многообещающим ребенком. Он вырос в оппозиции к «старшим», и его талант наблюдателя дал ему возможность отметить многое, действительно смешное в этом маленьком мирке. Таковы уже обычные антагонизмы между «детьми и отцами».

Но было бы очень жаль, если бы это тенденциозное и капризное освещение московского университетского либерального кружка конца века перешло в историю.

5. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И СВЯЗИ

После разгрома остатков революционного движения (народовольцев 1884 года), восьмидесятые годы представляли унылую картину победившей реакции. В кругах интеллигенции это отразилось появлением типа «восьмидесятников», — преходящего, но очень характерного. Это были «непротивленцы» по Толстому, устроители культурных «скитов», проповедники «малых дел», дезертиры политики, укрывшиеся под знаменем аполитизма, вернувшиеся к проповеди религии и личной морали. С ними я вел борьбу, возвращаясь нарочито под знамя «семидесятничества». За нами, «семидесятниками», уже стучалось в двери истории поколение **{134}** «девятидесятников» — декадентов и символистов, тогда еще не успевшее обозначиться публично и мне лично неизвестное. У Стороженок приходилось встречать молодого Бальмонта, но он был тогда известен, как большой мастер стиха и удачный переводчик, и не превратился еще в любимца молодежи, «солнечного» поэта. Среди этих сменяющихся волн поколений позиция «умирающего» либерализма была для меня единственно приемлемой, и я естественно стал в ряды, ее представлявшие в Москве. Меня там приняли, как желательного союзника и быстро выдвинули вперед. В этом состояла сущность моего общения с кругом, который считался сливками московской интеллигенции. Именно ввиду необходимости обороны против победившей реакции и водворившегося аполитизма деятельность этого круга была успешна и плодотворна. Вторая половина восьмидесятых годов уже была переходом от застоя к новому движению, и в этом переходе московская либеральная профессура, сплотившаяся в тесную семью, несмотря на устав 1884 г., таки проведенный гр. Д. Толстым, сыграла видную роль.

Одним из кружков, представлявших это движение, с которым я сблизился благодаря Стороженкам, был кружок профессоров-юристов, собиравшийся у И. И. Янжула. Тяжеловатый на подъем, слегка глуховатый, Иван Иванович с своей культурной супругой, Екатериной Николаевной, представительницей женского эмансипационного движения, были хлебосольными хозяевами, серьезно обижавшимися, если гости не используют всех пределов их гостеприимства. Там постоянно бывали А. И. Чупров, популярнейший в молодом поколении профессор политической экономии — и жертва своей готовности помочь каждому; И. И. Иванюков, В. А. Гольцев, — да всех и не перечислишь, потому что бывали и заходили все. Меня особенно интересовал стоявший в стороне стол, на котором каждую неделю раскладывались последние новинки английской и американской литературы по социальным и политическим вопросам. От журфиксов Янжула шли разветвления в разные стороны, связанные с общим настроением круга; заходили Максим Ковалевский, Муромцев, Владимир Соловьев, **{135}** даже появлялся Н. П. Боголепов, застреленный впоследствии (1901) П. Карповичем: но это было уже исклю-

чение. Отсюда пошло мое знакомство с Л. Н. Толстым и сближение с редакцией нового журнала «Русская мысль» и т. д. Но тут я захожу уже за пределы описываемого периода.

Пределы эти — неопределенные; за ними начинается полоса моего приват-доцентства.

6. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛЕКЦИИ

Я, конечно, как младший преподаватель, не мог посягать на чтение общего курса русской истории, который безраздельно оставался в ведении В. О. Ключевского. Я не посягнул бы на него и сам, не считая себя достаточно подготовленным для этого. Я выбрал поэтому курсы на специальные темы, не входившие прямо в факультетскую программу и для студентов необязательные. Эта свобода в сношениях со студентами меня даже очень привлекала. Мои аудитории были немногочисленны; но они состояли из слушателей, действительно заинтересованных и желавших работать; таким образом, я даже мог раздавать отдельным слушателям специальные темы и выслушивать результаты их работы в некоторого рода семинарии. И тут я хотел, чтобы работа была общей: единственное условие, чтобы она была живой. Сближаясь таким образом со слушателями и младшими товарищами, приходившими меня слушать, я устроил для нашего общения журфиксы у нас на дому. В эти годы мы переехали из сырой подвальной квартиры в более поместительную, поблизости на Плющихе, где я мог расставить по полкам свою разросшуюся библиотеку. О результатах заведенного общения я позволю себе сообщить свидетельство со стороны, страничку из воспоминаний А. А. Кизеветтера, чересчур для меня лестную и по-кизеветтеровски красочную, — но, сколько знаю, единственную, сохранившую живую память о начале моей профессорской карьеры:

«Лекции Милюкова производили на тех студентов, которые уже готовились посвятить себя изучению русской истории, сильное впечатление именно тем, что перед нами был лектор, вводивший нас в текущую **{136}** работу своей лаборатории, и кипучесть этой исследовательской работы заражала и одушевляла внимательных слушателей. Лектор был молод и еще далеко не был искушен в публичных выступлениях всякого рода. Даже небольшая аудитория специального состава волновала его, и не раз во время лекции его лицо вспыхивало густым румянцем. А нам это было симпатично. Молодой лектор сумел сблизиться с нами, и скоро мы стали посещать его на дому. Эти посещения были не только приятны по непринужденности завязывавшихся приятельских отношений, но и весьма поучительны. Тут уже воочию развертывалась перед нами картина кипучей работы ученого, с головой ушедшего в свою науку. Его скромная квартира походила на лавочку букиниста. Там нельзя было сделать ни одного движения, не задев за какую-нибудь книгу. Письменный стол был завален всевозможными специальными изданиями и документами. В этой обстановке мы просиживали вечера за приятными и интересными беседами» (А. А. Кизеветтер, «На рубеже двух столетий» (Прага, 1929) стр. 87. (Прим. ред.).).

Таким образом у меня с молодым поколением московских историков завязывалась связь, основанная на живой работе в одинаковом направлении. На старшее поколение мои университетские лекции действовали иначе. С курсом, казалось бы, невинным, об истории русской колонизации, произошла для меня большая неприятность. Я тщательно готовил этот курс, опираясь на двоякий источник: топографическую номенклатуру и археологические раскопки.

Первая была собрана отчасти уже в книге варшавского профессора Барсова, и я перевел на топографическую карту России генерального штаба показания летописи о топографических данных, свидетельствовавших о расселении племен. По археологии не было так много сделано, как позднее, но в библиотеке археологического общества имелась вся наличная литература, и ее показания близко совпадали с показаниями топографической номенклатуры. Эта основная работа давала картину, совершенно несовместимую с теорией массового передвижения русских племен с юга на север, — теорией, которой, следуя Погодину, **{137}** держался В. О. Ключевский. Он вообще не благоволил к «украинскому» движению и противопоставлял его увлечениям другую крайность полного отрицания. Попутно мне приходилось коснуться и довольно искусственной конструкции начала русской истории, как она была изложена в первом издании его «Боярской Думы» (во втором эта часть была сильно сокращена). Нашлись ревнители (и особенно ревнительницы), которые разгласили, что я в своих лекциях опровергаю Ключевского. Я с огорчением заметил после этого некоторое охлаждение ко мне моего учителя, к которому относился с любовью и безусловным почтением. Такая реакция слишком отзывала старыми университетскими нравами. Пожертвовать свободой собственной исследовательской мысли я, конечно, не мог.

Другого рода неприятность причинил мне мой курс русской историографии (в значительно переработанном виде первая часть его была напечатана в «Русской мысли» и отдельной книгой). Я

построил эту часть на контрасте старой, официальной идеологии Карамзина и его предшественников с новой, стремившейся положить в основу изучения идею исторической закономерности, перенесенную к нам под влиянием немецкой философской романтики. Я, собственно, не был первым, «развенчавшим» «историографа». Уже Соловьев до меня указал на зависимость Карамзина от исторической сводки XVIII в.— кн. М. Щербатова. Но моя трактовка вызвала протест — на этот раз в Петербурге. Тревожить лавры историографа там считалось настоящей изменой традиции, и особенного противника я встретил в престарелом К. Н. Бестужеве-Рюмине, которому не решались открыто противоречить и младшие. Впрочем, о моих отношениях с петербургскими историками мне придется говорить позднее.

Для меня, конечно, гораздо важнее было охлаждение ко мне Ключевского. К несчастию, это настроение не только не проходило, но заметно усиливалось. Первым отражением его было то, что факультет не давал мне обязательного курса — за одним исключением — в конце этого периода, когда понадобилось заместить оказавшиеся свободными часы. Я, правда, не обращал на это **{138}** обстоятельство никакого внимания, вполне удовлетворенный своими свободными отношениями со слушателями. Но вскоре стало изменяться и личное обращение со мной В. О. Ключевского. Вместе с моей женой мы часто бывали у Ключевских и в летнее время даже гостили у них на даче под Подольском. И вот тут отношения становились явно натянутыми. Я даже помню случай, когда, во время одного tête-à-tête'a (Свидание с глазу на глаз.), обычно заполнявшегося оживленной беседой, В. О. не произнес ни слова, явно показывая тем, что мое посещение ему — в тягость. Я после того перестал бывать там. Но окончательно дело пошло к разрыву в связи с вопросом о моей диссертации. Этот эпизод нужно рассказать особо.

7. МОЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Начиная с 1886 года я принялся за работу над магистерской диссертацией. Я закончил эту работу через шесть лет и представил ее к защите в 1892 году. Такая необычная продолжительность подготовки была вызвана самым характером выбранной мною темы. Она носила двойной характер. С одной стороны, это была работа, построенная на громоздком и обширном архивном материале, до тех пор никем не тронутом, и касалась истории учреждений и финансов в связи с государственной экономикой Петра Великого. Тема подсказывалась новыми взглядами на задачи исторической науки, усвоенными нами под влиянием П. Г. Виноградова. С другой стороны, работа имела известный политический оттенок, так как врывалась в самую гущу споров между западниками и славянофилами. Моя задача была — объяснить значение Петровской реформы. Но я отвергал старую постановку спора, как он велся в поколениях 40-х — 70-х годов. Славянофилы стояли на принципе русской самобытности, западники — на принципе заимствования западной культуры.

Мой тезис был, что европеизация России не есть продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый в принципе у России с Европой, но лишь задержанный условиями **{139}** среды. При таком понимании происхождения реформы надо было связать ее с предыдущим процессом внутреннего развития. Собственно говоря, эта идея о подготовленности Петровской реформы предыдущим развитием, — о ее, так сказать, органичности, была уже в то время более или менее общепризнанной. Личность Петра при этом отодвигалась на второй план. Славянофилы имели возможность даже представлять действие этой личности, как элемент насилия над нормальным ходом русской истории. Элемент насилия, конечно, был, и нельзя было отрицать, что он ускорил реформу. Но, с точки зрения органичности русского развития — в направлении, общем с европейским, — задача представлялась сложнее. Надо было выделить элемент органичности реформы и элемент насилия — и определить степень влияния последнего, разделив при этом элемент необходимого и элемент случайного. Меня потом упрекали в умалении роли Петра, не понимая моей основной цели — стать при оценке реформы над упрощенным, ставшим банальным, противопоставлением неподвижной самобытности — и насильственной ломки.

Мне посчастливилось провести эту идею, не только не ломая материала, но и найдя в нем обильные и неопровержимые доказательства правоты моей постановки. Истина выходила как-то сама собой из ряда сопоставлений вновь найденного материала, — сопоставлений, совершенно неожиданных для меня самого — и тем более объективных. Мне пришлось работать не только над материалом Петровского времени, но — проводя идею органичности развития, — и над данными предыдущих веков, начиная с XVI-го, главным образом, в московских архивах. Чтобы овладеть собственно петровскими материалами, пришлось расширить занятия на Петербург, где ожидали меня богатейшие

данные в толстейших томах Петровского «Кабинета». Я провел в этой работе два летних сезона подряд, не выходя из состояния постоянного напряжения и восторга по поводу почти ежедневных важных открытий, которые складывались как-то сами собою в общую, поистине грандиозную картину.

Я вообще был склонен к схематизму и к стройности построений. Но тут стройность давалась не мною, а **{140}** вытекала непосредственно из сопоставления архивных, до сих пор неизданных и неведомых данных. Помню, когда печаталась моя диссертация отдельными частями в «Журнале министерства народного просвещения», брат Филиппа Федоровича Фортунатова, Алексей Ф. говорил мне о своем опасении, как я сведу эту груду цифр и обилие частностей к общему результату. Но, по его же признанию, этот общий результат получился: частности и цифры слились в одно целое. Я сам был под впечатлением, что у меня выходит что-то большое — и что обрывать эту увлекательную работу на середине совершенно невозможно.

И вот, я припоминаю свое тяжелое разочарование. Вернувшись из первой поездки в Петербург, всецело под впечатлением своих находок и намечавшихся выводов, я поспешил поделиться ходом своей работы с Ключевским. Он меня выслушал молча, не реагируя на мое увлечение, а потом, как-то недовольно и сухо, заметил: «Вы бы лучше взяли и разработали грамоты какого-нибудь из северных монастырей. Это было бы гораздо короче — и послужило бы для магистерской диссертации, а эту свою работу вы бы лучше отложили для докторской диссертации».

Я точно свалился с своих эмпиреев: так странно мне казалось перейти на почву узких практических соображений. Я не сомневался, что меня хватит на сколько угодно диссертаций, но я готовил вклад в науку, открывал новые пути — и вдруг, вместо того, мне предлагают ворох монастырских грамот и тощую книжонку в результате! От своего труда я не мог оторваться, каковы бы ни были практические последствия. Магистр, доктор, — не всё ли равно, когда я получу ту или другую ученую степень. И я продолжал работу, не послушавшись мнения Ключевского.

Но вот что вышло. Я работу кончил и напечатал. Перед факультетом лежала толстая книга, страниц в 600, с обильными оправдательными документами в приложениях, проникнутая одной мыслью, с строгой классификацией этих данных навстречу выводам, и с стройной конструкцией, совершенно новой в науке, в заключительной главе. Проф. Павлов, перед диспутом, мне сказал:

«Я держусь правила не врываться в дом через задние **{141}** двери. Но для вас, по вашему указанию, я сделал исключение и прочел прежде всего последнюю главу. Теперь я знаю, для чего вы написали эту книгу». Я думал, что и другие члены факультета получили такое же впечатление, — которым я собственно и дорожил. Незадолго перед тем факультет пропустил другую толстую диссертацию моего старшего товарища М. С. Карелина об эпохе Возрождения и, по предложению Герье и Виноградова, дал магистранту сразу докторскую степень. Виноградов сразу заключил из этого, что я заслуживаю такого же отличия. Герье и некоторые другие члены факультета к этому присоединились. Это мнение распространилось и стало общим. Запротестовал... Ключевский! Его пробовали уговаривать. Он остался непреклонен. Когда ему говорили, что книга выдающаяся, он отвечал: пусть напишет другую; наука от этого только выиграет. Члены факультета понимали, что речь идет не о продвижении науки, а о продвижении в университетской карьере. С сокрушением и с негодованием всё это мне рассказал и объяснил Виноградов.

Состоялась, наконец, защита диссертации (17 мая 1892 г.).

Бояться этой защиты мне было нечего, даже при таком сильном оппоненте, как Ключевский. Возражать мне можно было только на основании моих же данных. В своих выводах из этих данных я был безусловно уверен. Заменить их другими — значило проделать сызнова мою же работу. При всем моем почтении к Ключевскому я знал, что эта почва спора — для него не годится. Свои цели и выводы я разъяснил собравшейся публике во вступительной речи, потом опубликованной. Актовая зала была полна: публика собралась на диспут, как на борьбу чемпионов тяжелого веса. Мнения о том, кто победит, были различные...

Ключевский выбрал систему высмеивания. Он высмеивал мои статистические данные, — которыми сам потом пользовался. Других не было. Он ловил меня на словах и искал противоречий. Опровергнуть это было нетрудно: достаточно было сослаться на общие выводы. Я не припомню, чтобы хоть одно из его возражений было основательно, хотя часть публики, уверенная в авторитете профессора и подчинившаяся его менторскому тону, **{142}** наверное думала иначе. У меня росло только чувство оскорбления за эту профанацию, рассчитанную на внешнее впечатление. Диспут кончился. Профессор Троицкий, декан факультета, поднимаясь на кафедру с листком, для прочтения решения и встретив меня, спускающегося с кафедры, с соболезнованием сказал: «Что делать, вы рассчитывали на большее, ну, вы напишете другую диссертацию». А я тут же дал себе слово, которое сдержал: никогда

не писать и не защищать диссертации на доктора. Через короткое время мои петербургские друзья предлагали мне представить на доктора другую мою научную работу. Я отказался.

По обычаю, профессора, один за другим, меня приветствовали с поцелуями у кафедры. Ключевский, когда дошла до него очередь, неловко и поспешно пожал мне руку. А я, с своей стороны, нарушил другой университетский обычай. После диспута обыкновенно кандидат, удостоенный степени, устраивал пирушку. Я пригласил на нее к себе домой моих молодых друзей — и не пригласил Ключевского. Это был уже форменный разрыв. Но пирушка прошла дружно и весело.

8. ПЕТЕРБУРГ И ЗАГРАНИЦА

Я провел в Петербурге два летних сезона, как того требовала подготовка диссертации в петербургском Государственном архиве. В первый свой приезд я был в Петербурге один, без жены. Милейший и добрейший Е. Ф. Шмурло предложил мне, в свое отсутствие, поселиться в его квартире. Второе лето мы провели вместе с женой под Петербургом, в Стрельне, имении одного из великих князей. Благодаря Евгению Францевичу, я сразу попал к старейшему из петербургских историков. Он немедленно меня познакомил с маститым К. Н. Бестужевым-Рюминым, которого я знал только по его руководству русской истории, намеренно засушенному вплоть до библиографии нашей науки. В Петербурге вообще доживала точка зрения, установленная еще Шлецером: русскую историю нельзя писать, не изучив предварительно критически ее источников. Для древнейшей истории, с которой начал и на которой остановился Шлецер, это было, **{143}** конечно, вполне правильно — и знаменовало собой переход от компиляторов XVIII века к научному изучению. Но «московская школа», имевшая дело с историческим материалом более позднего времени, шагнула гораздо дальше. Во-первых, она не остановилась на изучении древнейшего периода, а включила в свою работу громадный архивный материал, из которого можно было непосредственно делать выводы для истории быта и учреждений — и для их эволюции. «Петербургская школа», даже после того, как подвергалась влиянию московской, сохранила связь с взглядами старшего поколения. В частности, и Е. Ф. Шмурло посвятил свои работы этому направлению, и его последняя предсмертная русская работа посвящена как бы обновлению руководства К. Н. Бестужева-Рюмина. Даже С. Ф. Платонов, идя на компромисс, блестяще разрешил его, посвятив первую часть работы по смуте XVII в. критике источников (они этого требовали по своему характеру), и лишь во второй части изложил историю смуты — по-московски.

При личном знакомстве, однако, оба старшие историка, учитель и ученик, оказались живыми и интересными людьми. Е. Ф. Шмурло был одарен несомненным поэтическим даром, который оживлял и его критические разыскания. А в К. Н. Бестужеве-Рюмине я встретил, несмотря на поклонение Шлецеру и защиту Карамзина, живое отношение ко всем научно-публицистическим трудам 60-х и 70-х годов. Беседы с ним были для меня очень поучительны именно ради этого живого свидетельства и связи с предпоследним периодом русской историографии. Он любил говорить — и говорил со следами былых увлечений, как бы продолжая свою старую борьбу.

Современное мне и несколько младшее поколение петербургских историков встретило мой приезд с понятным интересом и ожиданиями. Мне предшествовала репутация первого ученика Ключевского и представителя его направления. Молодые петербургские сторонники московского направления видели во мне поддержку взглядам, которые они еще не решались выговорить громко. Я говорил смелее и шел дальше, не будучи связан петербургской ученой традицией. Во главе петербургского кружка историков вполне заслуженно **{144}** стоял С. Ф. Платонов, женатый на сестре моего московского друга Шамонина. Умный и талантливый, он был в то же время достаточно осторожен, чтобы не порывать со старшими и сберечь шансы своей академической карьеры. Это мешало ему, даже в частных разговорах, высказываться вполне откровенно. Но он слушал москвича внимательно и установил дружественные отношения между мной и окружавшей его группой сверстников и аспирантов. Кружок собирался периодически у наиболее состоятельного из своих членов, В. М. Дружинина, сына богатого купца-старообрядца.

Он и специализировался на истории русского старообрядчества и сектантства. В нижнем этаже большого особняка, за чаем и хорошим угощением, молодые историки беседовали о новостях в области своей науки и обменивались мнениями. Я явился очередным докладчиком, привезшим из Москвы последние вести. Вероятно, я не ошибусь, если скажу, что эти доклады дали новый толчок уже намеченному здесь направлению, — конечно, с сохранением специфически петербургских оговорок. Здесь я познакомился с С. М. Середониным, старшим из них,
А. С. Лаппо-Данилевским, подходившим к вопросам истории более широко и отвлеченно, — как и

подобало юристу, с талантливым и, к сожалению, рано умершим Н. П. Павловым-Сильванским, будущим автором детально разработанной им теории феодального быта в России. Оба последние, впрочем, стояли несколько в стороне от кружка и проявили больше независимости от основного течения. К нему ближе подходили более молодые, как Пресняков, пересмотревший впоследствии построение древнейшей южно-русской истории в ее отношении к северо-восточной в духе, противоположном Ключевскому, Адрианов, Полиевктов и др.

Кроме описанного здесь круга историков, в Петербурге имелся и другой, стоявший совершенно отдельно. Тот, кто общался с первым, тем самым исключался из другого. В Петербурге политическая борьба велась гораздо острее, чем в Москве, и это отражалось на более резкой дифференциации общественных кругов. Университетскую группу никак нельзя назвать «правой». Но на нее смотрели сверху, как на достаточно благонадежную, чтобы давать отдельным ее членам поручения и **{145}** заказы на исторические темы для торжественных событий. Напротив, другая группа была определенно «левой», и, как таковая, подвергалась правительственным гонениям. Во главе ее стоял В. И. Семевский, историк крестьянского вопроса и русских общественных движений от декабристов до петрашевцев. Ему пришлось у нас, в Москве, защищать свою диссертацию. В университете он не был терпим, и его большое влияние на молодежь основывалось на преподавании у себя на дому. Он был женат на вдове педагога Водовозова, известной своими книгами для юношества; его старший пасынок, Николай Васильевич, рано умерший, был одним из ранних марксистов, и через него я узнал о деятельности Ленина до отъезда заграницу. Он был женат на моей ученице, М. П. Токмаковой. Другой пасынок, Василий Васильевич, стал специалистом по политической истории новой Европы и очень известным лексикографом. Он дожил до старости и, в тяжелых условиях эмиграции, кончил самоубийством в Праге. Единственным учеником В. И. Семевского по русской истории был В. А. Мякотин, неподкупный идеалист, стоявший тогда близко к народовольческому движению. Здесь я был принят в качестве московского либерала с левыми устремлениями — и вошел позднее в более широкую семью «Русского богатства», редактировавшегося Н. К. Михайловским. Мое первое знакомство с знаменитым критиком относится к тому же времени. В ином смысле, но в этом кругу я также был принят, как свой. Так, мое положение между двух лагерей мне самому казалось несколько странным; но москвичу прощалось то, чего нельзя было простить петербуржцу. К тому же, в университетском кругу не задевались те темы, которые исключительно интересовали петербургских радикалов, и, наоборот, радикальный круг (за исключением Мякотина) мало интересовался древней русской историей. С Мякотиным меня скоро соединила искренняя дружба, которую оба мы сохраняли до его случайной кончины в Праге, куда он приехал для занятий в качестве профессора Софийского университета в Болгарии.

Когда моя диссертация была закончена, С. Ф. Платонов оказал мне большую услугу, устроив ее печатание (с 1890 по 1892) в «Журнале министерства народного **{146}** просвещения», куда иначе я, конечно, никак не мог бы проникнуть. Отдельные оттиски этих статей и были сверстаны в книгу, ставшую первым изданием моего «Государственного хозяйства первой четверти XVIII столетия и реформ Петра Великого». Платонову же я обязан поручением Академии Наук рецензировать книгу А. С. Лаппо-Данилевского на близкую мне тему. Вместо рецензии вышло целое исследование о «Спорных вопросах финансовой истории Московского государства», и Платонов же, узнав об исходе моего московского диспута, сделал мне уже упомянутое предложение — принять эту работу в качестве докторской диссертации.
Не буду хвастаться, но она всё же была оригинальнее и важнее по выводам, нежели был бы пересказ нескольких монастырских грамот.

После шести лет напряженной работы я чувствовал себя вправе отдохнуть. Наши средства не позволяли поехать заграницу. Мы решили проехаться в Крым. Попутчиком с нами оказался В. А. Гольцев, живой человек и приятный собеседник. Он оказался большим знатоком вин — ив погребе удельного ведомства в Ялте удивил даже заведующего своим уменьем распознавать сорт и качество вина по запаху. Наши первые впечатления от южного берега были очень сильны; но были так перекрыты последующими поездками в Крым, что совершенно изгладились из памяти.

Между тем, на следующее лето (1893 г.) наши мечтания о загранице обратились в действительность. Моя диссертация была представлена на премию С. М. Соловьева, и премия была получена — в достаточном размере, чтобы, при тогдашних ценах, покрыть расходы по поездке. У нас тем временем завязалась дружба с французским славистом Полем Буайе, приехавшим в Москву, как и Жюль Легрá, доучиваться русскому языку для получения кафедры славянских языков. Дружба эта сохранилась до последнего времени. Буайе был женат на русской и имел сына Жоржа (впоследствии летчика, убитого в Салоникском походе), сверстника нашего сына Коли. Мы решили провести лето

вместе на бретонском берегу (Плугану, недалеко от Бреста), чтобы вместе купаться в бурных волнах, среди скал французского севера. За этот **{147}** сезон мы очень сблизились. Говорить о французских впечатлениях тоже не буду: все они касались только этого красивого уголка, и проникнуть во французскую жизнь в эту первую поездку не было времени. Впрочем, вспомню об одном впечатлении, не выходившем у меня из памяти. При отъезде в омнибусе я остановился на ночлег в ближайшем городе с знаменитым водопроводом (Morlaix), от которого шла железная дорога. Рано утром я спустился в ресторан отеля. В зале сидели поодаль и пили кофе два-три ранних посетителя. Я встретил тут и вчерашнего спутника по омнибусу и с ним разговорился.

Не помню, почему, разговор зашел о масонах. Он оказался сам масоном и заговорил о их всемогуществе во Франции. Чтобы доказать справедливость своих утверждений, он заметил: если бы мне сейчас здесь грозила опасность, мне было бы достаточно взять вот эту пепельницу и сделать условный жест. Я уверен, что кто-нибудь из присутствующих бросился бы мне на помощь. Проверить его слова не было повода, но они произвели на меня очень сильное впечатление. Мне неоднократно впоследствии предлагали вступить в масонскую ложу. Я думаю, что это впечатление было одним из мотивов моего упорного отказа. Такая сила коллектива мне казалась несовместимой с сохранением индивидуальной свободы.

Проездом через Париж у меня было, однако, несколько русских встреч, для меня памятных. Я, прежде всего, сделал визит Петру Лавровичу Лаврову в его квартире на Rue St. Jacques. Беседа с ним, однако, больше характеризовала то впечатление, какое он хотел, видимо, произвести на меня, чем обратно. Он говорил со мной не о политике, а о науке — очевидно в связи с той большой работой, которую он готовил. На столе у него лежала только что вышедшая книга Бедье о средневековых французских Fabliaux, сразу рекомендовавших превосходство его учености: я не знал тогда ни имени знаменитого ученого, ни даже названия этого жанра шуточной буржуазной поэзии, делавшей оппозицию поэзии трубадуров рыцарских замков. Другого рода была встреча с М. Драгомановым, знаменитым вождем украинофильства. Меня познакомил с ним молодой Гревс, — первый, **{148}** давший мне в руки запретного Герцена. Драгоманов мне понравился чрезвычайно. Он был в фазисе своего критического отношения к крайностям украинофильства и видел во мне проявление разумного протеста против шовинистического национализма. Он уже прочел и приветствовал мою лекцию о «Разложении славянофильства», сам оказавшись его ярым противником. Словом, мы сразу как-то близко сошлись на одних и тех же идеях, и я страшно жалел, что это знакомство не продолжилось дальше. Лавров и Драгоманов умерли в 1895 г., и я не мог ожидать, что буду произносить надгробное слово о Лаврове и окажусь преемником Драгоманова в Софийском университете.

9. СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА. «РУССКАЯ МЫСЛЬ» И «РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Рассказывая о своей университетской деятельности, я оставил позади другие стороны моей жизни, личной и общественной. Теперь к ним возвращаюсь. В области личной жизни прежде всего я должен отметить кончину моей матери. Я поддерживал сношения с ней: несколько летних сезонов (до женитьбы) провел с ней на даче в Пушкине. Но после рассказанного выше эпизода с нами — новобрачными — в Пушкине, отношения наши испортились, и зимние посещения мои в ее номере на Козихе становились всё более редкими. Во время одного такого перерыва я получил телеграмму, что мать моя находится при смерти в гор. Ярославле. Я немедленно выехал, но в живых ее уже не застал. Выяснилось, что она поехала в Ярославль, вызванная болезнью сестры Гусевой; но застала ее умирающей от простуды, сама простудилась на похоронах сестры и умерла в несколько дней. Мне она оставила перед смертью запечатанный пакет; я нашел в нем деньги «на похороны» и ни одного слова обращения ко мне.

Очевидно, она умирала непримиренной, и это легло на душу большой тяжестью. Проходя по улицам города, я заметил кучку старинных столбцов в лавке старьевщика — и купил их за бесценок. Оказалось, что это — грамоты двух северных монастырей, — может быть, те самые, на которые **{149}** намекал В. О. Ключевский по поводу моей диссертации. Я начал, — но не успел окончить разборку и описание этих документов и, покидая Москву, отдал их на хранение моему племяннику, Богоявленскому, который специализировался на русской истории. Надеюсь, они не пропали для науки.

Кончина матери поставила под вопрос судьбу пушкинских дач, принадлежавших формально мне и служивших источником ее средств существования. На дачах этих лежал долг в 3000 р., сделанный еще отцом. Семья Н., давшая деньги под вексель, заявила, что из уважения к матери отсрочивала уплату, но теперь подает вексель ко взысканию. Предстоял аукцион; но я считал тогда, что это наложит

какое-то пятно на память отца и матери, — и стал искать покупщика. Покупщик нашелся: ближайший сосед по даче, человек жесткий и прижимистый. Он давал за дачи эти три тысячи — цена не соответствовавшая их стоимости — и приговаривал при этом, что, собственно, дачи ему совсем не нужны, но полюбился ему наш огород. Так, попав в первый раз в положение собственника, я оказался в крепких руках настоящего русского кулака, угнетавшего меня своей издевкой. К моему удовольствию, в последнюю минуту нашелся новый покупатель, который предложил 4.000 р., и я поспешил вырваться из рук кулака, продав конкуренту дачи за эту цену. Ставши капиталистом, я получил возможность уплатить Кречетову свой долг по итальянскому путешествию. Пушкинские воспоминания отходили вместе с продажей дач в безвозвратное прошлое...

В семье моей произошло приращение: родился в 1889 г. мой первый сын, Николай. С страшным волнением я следил за актом рождения и с неизъяснимой родительской радостью приветствовал родившегося. По счастью, роды были нормальные, и ребенок родился здоровый; больших хлопот он нам не причинял. Брат мой за эти годы завел большие дружеские связи в Москве, особенно на почве своих охотничьих увлечений. В то же время, по своей профессии, он стал известен как талантливый архитектор. Он женился раньше меня, на одной из дочерей музыканта-флейтиста Блезе, в обрусевшей немецкой семье, и имел двух симпатичных детей, Леню и Олю. Дружба наша оставалась неприкосновенной, но **{150}** мы шли двумя разными путями. Большое удовольствие доставила мне совместная жизнь одним летом в деревне на Волге, у пристани Бобоши, на полупути между Ярославлем и Костромой. Здесь было такое изобилие дичи, что и я превратился в охотника. Мне дали ружье, я стрелял уток и зайцев, а в ближайшем болоте мне даже посчастливилось, после многих промахов, застрелить одного бекаса. Количество тетерек, уток и зайцев уже счету не поддавалось. Но для брата это были пустяки. Он уже гордился своими успехами в облавах с «псковичами» на «красного» зверя. До этой степени я не дошел, и вообще, этим летом начались и закончились мои охотничьи триумфы.

По мере роста моей известности расширялись мои знакомства и связи в литературном мире Москвы. Центром этих знакомств, помимо университетского круга, сделалась теперь редакция «Русской мысли», где я постепенно стал «своим человеком». В более скромных размерах, чем это было в Петербурге, журнал хлебосольной Москвы представлял собою левый лагерь общественной мысли. Начались мои связи с «Р. М.» писанием рецензий по русской истории в библиографическом отделе; потом вся библиография перешла в мое распоряжение. До тридцати лет я вообще не выступал в печати, — и этим гордился. Первая моя рецензия в «Р. М.» была, таким образом, первым моим печатным произведением. Я помню, как, получив книжку журнала летом на вокзале в Пушкине и не успев дойти до дачи, я поспешил разрезать лист журнала, чтобы посмотреть, как выглядит печатный текст моей статейки. И — о ужас! — Я нашел в тексте целых две опечатки! Я был ужасно огорчен. Потом, в «Русской мысли» печатались, как упомянуто выше, целые мои книги.

Издателем журнала был Вукол Михайлович Лавров: самое имя обличало купеческое происхождение. К литературе он был прикосновенен, как переводчик произведений видных польских романистов. Я не помню, чтобы он при мне вдавался в какие-нибудь теоретические рассуждения. Обыкновенно он молчал при «умных» разговорах. Но его с избытком замещал редактор, Виктор Александрович Гольцев, Гольцеву не повезло в **{151}** университетской карьере. Его диссертация о помещичьем быте и нравах XVIII столетия, основанная на мемуарах современников, была признана недостаточно ученой. Но у него были другие положительные качества, сделавшие его своего рода центром, к которому сходились нити московского либерализма в левой окраске.

Гольцев был недурным публицистом, но главную свою славу приобрел в роли застольного оратора. Тут он был действительно незаменим. Другого такого я не встречал на своем веку. Речь текла плавно, без «помарок», мысль излагалась гибко и четко, со всеми необходимыми публицистическими оттенками и намеками, дышала чувством, и всё построение речи вело к неизбежному логическому концу, который преподносился, даже если был довольно банален, в изящной форме, в виде неожиданного сюрприза. И это свойство Гольцева составляло основную сущность его общественной функции: смело выражать общественную мысль в те годы безвременья, когда другие пути выражения были для нее преграждены. От Гольцева исходил и самый выбор, или, точнее, подчеркивание моментов для очередной общественной демонстрации. Ему принадлежал подбор участников, устройство банкета, выбор других ораторов, даже иногда распределение тем. Центром торжества была всегда не столько отвлеченная идея, сколько чествование какого-нибудь живого ее представителя. Недостатка в таковых не было; кроме своих, москвичей, к нам постоянно наезжали петербургские и другие иногородние знаменитости.

Приезжие из столицы смотрели на нас немножко покровительственно, с сознанием собственного

первенства; провинциалы, напротив, считали за честь общение с центром русской мысли без кавычек. Так или иначе, всероссийское общение в Москве и через Москву поддерживало старую общественную традицию. В промежутках между торжественными банкетами помещение редакции служило для поддержания непрерывного общения с приезжими сотрудниками. Здесь, во второй комнате (первая была назначена для приема случайных посетителей), имелся прибитый к стене заветный шкапчик, в котором всегда стояла дежурная бутылка вина. Возлияния были специфической особенностью редакции, и Гольцев, сам к ним склонный, **{152}** успешно поддерживал эту традицию, которой не изменял и издатель.

Я не решился бы перечислить, сколько у нас перебывало за эти годы видных писателей и общественных деятелей. По этой же причине я не могу и вспомнить, тогда ли или позднее я познакомился с тем или другим из них.

Ежедневная московская газета «Русские ведомости» имела преимущество перед «Русской мыслью», прежде всего, своим старшинством. За нею была уже давняя традиция, сравнительно с которой «Русская мысль» была совсем новичком. Затем, в противоположность частному собственнику «Русской мысли», «Русские ведомости» были построены на общественном начале. Главнейшие сотрудники были соучастниками издательства. «Русские ведомости» отличались строго выдержанным направлением, вводили в состав сотрудников лиц испытанного образа мыслей, близких друг к другу по взглядам и по своей готовности вести общественную борьбу за определенные взгляды. Либерализм газеты имел социальную подкладку, и ее конституционно-демократическое направление носило явственный народнический оттенок. Все эти особенности заслужили «Русским ведомостям» прозвище «профессорской газеты», что для некоторых было синонимом «скучной». В противоположность шуму общественных банкетов Гольцева, газета жила довольно замкнутой жизнью. Во главе ее в те годы стоял заслуженный публицист В. М. Соболевский, объединявший сотрудников своим непререкаемым авторитетом.

Помогал ему экономист А. С. Посников. Я не был постоянным сотрудником газеты, но она открыла мне свои страницы и относилась ко мне очень дружественно.

Не могу умолчать еще о периодическом издании «Вопросы философии и психологии», издававшемся проф. Н. Я. Гротом. Несмотря на различие направлений, а может быть именно поэтому, меня привлекли и туда к сотрудничеству. Я выступил с публичной лекцией на боевую тему о «разложении славянофильства», открыв в ней свое идейное знамя (1893). Славянофильство еще не умерло в Москве; я доказывал, что оно «умерло и не воскреснет». Я основал свой вывод на том, что обе основные идеи старого славянофильства Хомякова, Аксакова, **{153}** Киреевских, Кошелева, — идея национальная и идея всемирной миссии разложились в среде эпигонов славянофильства, и это разложение завело славянофильство в тупик. Национальная идея привела у Данилевского и Константина Леонтьева к неподвижности и изуверству; мировая миссия в руках Владимира Соловьева привела к европеизации и к католицизму. В. С. Соловьев, вместе с братьями Трубецкими, его ближайшими друзьями, были гораздо ближе к журналу, нежели я, с своим отрицанием.

В. С. Соловьев ответил мне в том же журнале, и я там же возражал на его ответ. Позиции, таким образом, определились; но дружественные отношения с разрушителями славянофильства слева у нас остались взаимно. Н. Я. Грот даже пошел дальше и пригласил меня к Льву Толстому — выслушать чтение рукописной статьи Толстого о Кронштадте. Это была моя первая личная встреча с Толстым. Понятен интерес, с которым я шел на интимную беседу. Но меня расхолодило уже присутствие, кроме нас двоих, еще третьего собеседника, очевидно, тоже специально приглашенного, Н. Н. Страхова, полемика которого с левыми направлениями была мне известна. Я со страхом ожидал обмена мнений по поводу прочтенного. Всё же, по мере чтения, я заготовлял и собственные возражения на отдельные пункты статьи: недостатка в них не было. По счастью, дело обошлось гораздо проще. Только что Толстой закончил, Страхов вскочил с кресла и патетически воскликнул: «Прекрасно, великолепно»! На этом и закончилась беседа, в которой мне пришлось быть молчащим партнером.

Кстати, расскажу и о другой моей беседе с Толстым, в которой мне пришлось говорить много и долго. Толстой, в известный момент постройки своей теории, — вторая, в числе других отрицаний проявлений культуры, отрицала и науку, — заинтересовался послушать, что думают на эти темы «ученые» люди. Он обратился к некоторым профессорам университета, например, к Чупрову по политической экономии, затем к Степану Фед. Фортунатову, моему коллеге по 4-й гимназии, для проверки исторических фактов о Христе и о Будде, и ко мне — для обсуждения общего смысла истории. Я шел **{154}** к нему, уверенный, что это будет монолог. К удивлению, на этот раз я ошибся. Толстой захотел слушать и показал, что умеет это делать. Он поставил мне несколько вопросов и

терпеливо выслушал мои ответы, а затем и мои разъяснения. Я уже был почти побежден этим вниманием и как будто отсутствием возражений. Но в это время пришла графиня Софья Андреевна и прервала наш затянувшийся tête-à-tête приглашением сойти из аскетической каморки Толстого вниз, к чаю. Самовар стоял на столе, разлит был чай; Толстой взял тарелку с тортом и ножик и, прежде чем разрезать, обескуражил меня коротким замечанием: «Ну, что ваша наука! Захочу, разрежу так, а захочу — вот этак!»

Так пошла насмарку вся наша беседа, и было бы уже невежливо доказывать, что, в противоположность строению торта, у науки есть свое собственное внутреннее строение. Я только понял тут, что и мне никогда не понять Толстого.

Мне запомнился, в числе литературных эпизодов, еще один литературный банкет, данный нашими московскими профессорами знаменитому датскому критику Георгу Брандесу, приехавшему в Москву для прочтения лекций и для беглого ознакомления с Россией и с ее интеллигенцией. Четыре томика его лекций по литературе конца XVIII и начала XIX века (первое немецкое издание) были моим любимым чтением; я находил в нем что-то гейневское по искрящемуся остроумию и глубине. Я даже украл у Брандеса его заглавие «Главные течения» (Hauptstromungen) для одной из своих книг. Личное впечатление меня немножко разочаровало: лекции, прочтенные по бумажке по-французски и по-немецки, вышли скучноваты. На банкете, под председательством проф. Алексея Н. Веселовского, говорились речи, и было очень оживленно. Наш полиглот Ф. Е. Корш щегольнул даже знанием датского языка. Но конец банкета ознаменовался эпизодом, резнувшим меня по сердцу. На банкет пришел В. О. Ключевский, поместившийся поодаль от компании, в позе любопытствующего наблюдателя. Но он не мог, конечно, остаться незамеченным. Веселовский решил познакомить «знаменитого **{155}** критика с знаменитым историком» и повел его к концу стола, где сидел Ключевский. Все снялись с мест и толпой бросились туда же. Ключевский не владел иностранными языками. Он принял оборонительную позу и перед растерявшимся Брандесом обратился к Веселовскому со словами: «Скажите ему, что я не хочу начинать знакомства с рекламы». Веселовский перевел, Брандес недоуменно пожал плечами — и отошел. Мне было ужасно совестно за моего учителя...

Отмечу, наконец, в той же области и в том же десятилетии (1885-1894) начало моего участия в иностранной литературе. Участие это было, так сказать, символическим; но для меня оно имело большое значение. Н. И. Стороженко передал мне свое сотрудничество в английском журнале "Atheneum", заключавшееся в ежегодных обзорах русской литературы в номере журнала, где, раз в год, помещались такие же обзоры литературы всех культурных стран (Моим переводчиком был Brayley Hodgetts, знакомый с Россией и написавший несколько книг по русской истории (двухтомная история русского двора и др.). Серия этих статей охватила промежуток 1889-1890 до 1894-95 гг. (Прим. авт.).). Меня это поручение заставило следить внимательнее — не столько за новинками литературы, сколько за общественными настроениями, которые в них выражались. Напомню, что то были годы безвременья и перехода от наших классиков, кончавших свою жизненную карьеру, к веяниям fin de siècle (Конец века.) подросшего нового поколения. Недавно, в большой зале одной из европейских библиотек я снял с полки эти тома «Атенеума» и нашел там целую летопись литературно-политического десятилетия, как она мне тогда представлялась. Я говорю «политического», потому что политика просачивалась сквозь литературные формы — тем более, что только в них она тогда и могла выражаться.

Но надо было искать других форм, более широких, для открытой общественной деятельности. Наша, уже сложившаяся, московская группа нашла их в просветительной работе. К ней теперь и перехожу.

{156}

10. ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛЕКЦИИ. ИДЕЯ «ОЧЕРКОВ»

Не может быть сомнения, что политическая деятельность таких руководителей двух последних царей, как К. П. Победоносцев и Д. А. Толстой, была сознательно направлена к тому, чтобы задержать просвещение русского народа.

Они в точности выполняли лозунг Конст. Леонтьева: «Надо Россию подморозить, чтобы она не жила», — или прозябала в византийских рамках самодержавия и ритуализма. Против этой антиисторической и опасной, как можно было предвидеть, позиции выступила со всей энергией передовая часть русского культурного класса. Ее работа на поднятие знаний и самосознания в среде русского народа пошла в 80-х годах в двух направлениях. Лица, более близкие к народной массе,

организовали общественный поход в эту среду. Их деятельность сосредоточилась около прогрессивных элементов земства — главным образом в среде так называемого «третьего элемента»: учителей, агрономов, статистиков, врачей, словом, всех профессиональных кругов, прикосновенных к культуре. Но, чтобы нести просвещение в массы, надо было, прежде всего, самим просветиться. Эта часть задачи выпадала на долю университетской интеллигенции. Конечно, оба эти отряда «просветителей» были в постоянном контакте и действовали в одном направлении.

Переломной датой в этом отношении явилась середина 80-х годов. В 1884 г. начал работу по народной литературе петербургский кружок Ф. Ф. Ольденбурга, Д. И. Шаховского, Н. А. Рубакина; в 1885 г. появилась «программа» Шаховского, а 1889 программа Рубакина, с 1884 г. издатель И. Д. Сытин создал фирму «Посредника» (Инициатива создания «Посредника» принадлежала Л. Н. Толстому и его ближайшим последователям. (Прим. ред.).), поставившую целью влить в популярную брошюру для народа культурное содержание; в 1885 и 1889 годах на тот же путь вступили редакции «Русского богатства» и «Русской мысли».

Естественно, что и наши университетские круги заработали для той же цели. Справедливость требует упомянуть здесь имя **{157}** Елизаветы Николаевны Орловой, которая, благодаря своей энергии, может считаться пионером этого дела. Она обратила наше внимание на английские примеры помощи самообразованию: Home reading — руководство домашним чтением и University Extension (Чтение университетских курсов для посторонних слушателей. (Прим. ред.).) — гораздо более серьезное движение, которому предстояла большая будущность. Соединенные вместе, обе эти идеи были усвоены и нами. Один из летних досугов я посвятил поездке в Англию, специально для того, чтобы ознакомиться на месте с практическим применением той и другой идеи. Я присутствовал на очередном летнем съезде профессоров и слушателей University Extension в Кэмбридже и собрал относящуюся к движению литературу. В Москве наиболее знакомы были с этими видами просветительной деятельности супруги Янжулы, и я с ними очень сблизился на этом деле. Под нашей общей редакцией мы решили создать руководство для домашнего чтения по всем образовательным предметам. В Петербурге такое же издание было затеяно и исполнено В. И. Семевским и Н. А. Рубакиным при Соляном городке, центре популярных чтений. Московские профессора с охотой присоединились к нашему плану, и вскоре появилась первая книга «Программ домашнего чтения» с указанием книг и с постановкой проверочных вопросов для их изучения. На мою долю выпало руководство читателями по книге Ю. Липперта о «Первобытной культуре» — тема, интересовавшая меня со времени занятий у Всев. Миллера. Многочисленные письменные ответы, полученные мной от читателей, свидетельствовали о повсеместном интересе, вызванном нашим почином. Но наличной литературы на русском языке не хватало для поставленных нами целей. Каждый руководитель хотел иметь книгу, наиболее подходящую для выполнения его образовательной программы. Мы решили издать специальную «Библиотеку домашнего чтения». Тот же И. Д. Сытин пришел нам на помощь. Помню свой первый опыт. Я выбрал для перевода из популярной английской серии «Логику» Минто. Перевод был представлен неудачный: приходилось исправлять **{158}** каждую фразу. Но медлить с началом издания не хотелось. Я взялся сам за переделку текста, и Минто появился в моем собственном переводе, в изящном и прочном переплете, на прекрасной бумаге, — благодаря И. Д. Сытину. За ним последовала вся наша серия, растянувшаяся на несколько лет.

Но сущность University Extension состояла не столько в переписке с читателями по определенным «силлабусам» (подробным программам с соответственной библиографией), а также и в другой форме — приближения университета к среде, жаждущей серьезных знаний, но не могущей добраться до высшей школы: в форме выезда профессоров в провинцию для прочтения серии лекций. Публичные лекции в провинции были тогда обставлены всевозможными затруднениями. Мы попытались их преодолеть. Первым местом, избранным для пробы, был Нижний Новгород: там сосредоточился кружок местных и высланных туда интеллигентов, которые могли нам оказать помощь оттуда. Первую серию лекций по современной русской литературе должен был прочесть очень популярный тогда приват-доцент И. И. Иванов. Он выполнил свою задачу очень удачно. Вторым назначался я — с более опасной темой об «общественных движениях в России». Время было горячее, и тема как раз подходила ко времени. 20 октября 1894 года умер в Крыму имп. Александр III. Тяжелая плита, наложенная им на русскую общественную жизнь и культуру, казалось, должна была сдвинуться. Русское общество привыкло ждать облегчения от вступления на престол каждого нового императора.

Так было и при вступлении Александра II и при воцарении Александра III. Рост общественных ожиданий, переходивших в требования, выразился при вступлении Николая II целым рядом приветственных адресов земств и городских дум с недвусмысленными намеками на предстоящие

политические реформы и на наступление новой эры. Лектор на тему об «общественных движениях» не мог не отразить в своих лекциях, так или иначе, этого общего приподнятого настроения. Собравшаяся на лекции публика именно этого и ожидала от оратора, приехавшего из столицы и, следовательно, приносившего в провинцию благие вести.

{159} В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский, два главные выразителя прогрессивной общественности, не были в Нижнем. Но оставался на посту присяжный поверенный Лапин, — тот самый, который потом выдвинул Горького; около него группировались прогрессивные элементы, — и он позаботился подготовить нижегородскую публику к моему выступлению. Для лекций отвели огромную залу благородного дворянского собрания — такую же, как московская (теперь Дом Союзов). Меня приветствовала избранная публика, густо наполнившая это помещение. По английскому образцу я назначил солидный курс в шесть лекций, а здесь, очевидно, ожидалась общественная демонстрация. Однако, публика терпеливо ожидала конца, не уменьшаясь в числе и неизменно приветствуя меня оглушительными аплодисментами. Губернатора не было в городе; но в публике присутствовал вице-губернатор Чайковский, брат композитора, и даже местный архиерей: это был как бы знак поощрения со стороны местных властей. Настроение не ослабевало, а скорее усиливалось по мере того, как в моем изложении слабые ростки общественного движения времен Екатерины II росли, крепли, углублялись в почву и становились более острыми. Вывод логически вытекал сам собой, без того, чтобы я форсировал тон или сходил с почвы фактического рассказа. Конечно, последняя лекция содержала в себе прозрачные намеки на общие чаяния, и это было подчеркнуто прощальной овацией присутствующих. Я вернусь к тому, что для меня из всего этого произошло лично.

Остановлюсь теперь на том виде просветительной деятельности, который удалось осуществить мне самому и который я считал особенно важным. После защиты диссертации в 1892 г. ко мне обратились устроители Педагогических курсов в Москве с предложением прочесть для них лекции по истории русской культуры. Я с особенным удовольствием принял предложение — может быть, даже сам его и оформил. Это было как раз то, о чем я мечтал с некоторого времени: прочесть общий — т. е. общеобразовательный — курс по истории России, но прочесть его не так, как требовалось по университетской программе.

Я не был принципиальным **{160}** противником так называемой «повествовательной» истории, но мне давно уже начало казаться, что для истинного понимания истории России нужно нечто совсем другое. Прежде всего, я не разделял ученого предрассудка, что истинно научное изучение истории есть изучение древних периодов, — от которых осталось всего меньше материалов для изучения. Курсы новой, а особенно новейшей истории у нас казались почему-то обязательно ненаучными, и я помню наше общее неодобрение, когда такой курс (истории XIX в.) начал читать в Петербурге проф. Кареев. Уступая требованиям времени, приблизился к современности в своем курсе и В. О. Ключевский; но достаточно заглянуть в пятый том его курса, изданный посмертно по студенческим запискам, чтобы видеть, что из этого вышло.

Когда мне впоследствии пришлось издать (по-французски) «повествовательный» общий курс русской истории, я сосредоточил наибольшее внимание именно на новейшем периоде и лично довел рассказ до самого последнего времени. Но в данном случае речь шла не о «повествовательной» истории. На мысль, чем должна быть история, действительно объясняющая жизнь народов, наводило уже направление, данное П. Г. Виноградовым. Но по отношению к России передо мною были другие примеры, расширявшие это направление. Я должен признать, что сильнейшее впечатление на меня произвели в этом отношении два иностранные произведения, посвященные России: "Rus-sia" Маккензи Уоллеса и, особенно "L'Empire des Tsars" Анатоля Леруа-Болье. Они ставили вопрос: что нужно знать иностранцам наиболее важного о России, чтобы понять ее, ничего предварительно не зная.

Ту же педагогическую, так сказать, практическую задачу ставил себе и я, приступая к составлению курса по «Истории русской культуры» для Педагогических курсов. Что касается выбора и распределения задачи истории, я думаю, наиболее сильное влияние на построение моих лекций оказали четыре тома "Histoire de la civilisation en France" Гизо, — его лекции 1812-22 и 1828-30 гг. За обликом политика и доктринера как-то стушевалось у его современников значение Гизо, как историка, и Сент-Бев почтил его характеристикой, что Гизо пишет «шилом, а не кистью». Я всегда был против **{161}** «раскраски» исторических фактов; «шило» Гизо устраняло это посредничество между историей и читателем; он заставлял говорить факты их подбором и сопоставлением в их естественном порядке. Связь явлений и их внутренний смысл обнаруживались сами собою. В истории цивилизации группы фактов, конечно, должны были быть выбраны и поставлены в соответственные ряды. История учреждений и история идей: так формулировал их Гизо. Оба ряда развертывались параллельно,

раскрывая свою взаимозависимость; в каждом ряду явления эволюционировали в строгом логическом порядке, из самих себя, как бы без вмешательства историка. Это — то, к чему стремились впоследствии Тэн и Фюстель-де-Куланж. То же рисовалось и мне. Не события, — отнюдь не события! И не хронологический пересказ всего, что случилось в данном отрезке времени — с тем, чтобы опять возвращаться ко всему в следующем отрезке. А процессы в каждой отдельной области жизни, в их последовательном развитии, сохраняющем и объясняющем их внутреннюю связь, — их внутреннюю тенденцию. Только такая история могла претендовать на приближение к социологическому объяснению.

В течение трех лет (1892-1895) я этот свой план выполнил, стараясь соединить популяризацию с научностью. Непрекращавшийся до моей эмиграции успех «Очерков» показал, что это было именно то, что было нужно. Перед самым моим отъездом из Киева, в 1918 г., я еще получил предложение фирмы Сабашникова продать ей новое издание «Очерков» за 40.000 р. Это была уже четверть столетия. И я был прав, сказав в предисловии, что «постоянной целью» «Очерков» оставалось «дать читателю научно-обоснованное представление о связи настоящего с прошлым».

11. ПОЛИТИКА И ИЗГНАНИЕ ИЗ МОСКВЫ

В 1894 г. на одной студенческой вечеринке меня окружила группа студентов, добивавшаяся от меня объяснения современного положения. Я дал им объяснение, извлеченное из моего собственного жизненного опыта. Кончался тринадцатилетний период реакции, и **{161}** наступала новая волна общественного движения. Тринадцать лет я мог безмятежно заниматься наукой; теперь больше не могу: всё больше захлестывает политика. Политика и реакция, реакция и политика; размах политики всё шире и сильнее, отступления реакции, остановки культуры — внутренне всё слабее. Это была, в сущности, историческая тема моих нижегородских лекций, только откровеннее высказанная. Перспектива получалась, для студентов, самая оптимистическая. Куда она приведет, никто не подозревал, конечно. Но, помню, в переписке того времени я так представлял себе смысл последней перемены царствований.

Снята с России чугунная плита, новое царствование будет пестрое. Нужно будет пройти годам этого царствования, чтобы В. О. Ключевский мог высказаться в конце царствования более точно: «Николай II будет последним царем; Алексей царствовать не будет».

До этого было, конечно, еще далеко. Но признаки грядущих перемен, — несмотря на то, что реакция, в сущности, еще не прекратилась, — выползали из всех щелей. В университетской атмосфере, благодаря настроениям студенчества («барометр общества»), эти признаки были еще более ощутительны. Не только мне одному приходилось беседовать о политике со студентами. Популярных профессоров студенты вызывали, volens nolens (Волей-неволей), на откровенные беседы. Помню одно такое секретное собрание, на котором, кроме меня, присутствовал, по приглашению студентов, и «сам» П. Г. Виноградов.

Разливался соловьем прославившийся впоследствии студент Виктор Чернов, — и уже по одному этому можно предположить, о чем велась беседа. Меня впоследствии власти обвиняли в «дурном» влиянии на студенчество. Уж не знаю, кто на кого оказывал «дурное влияние».

1891-й год был переломным в смысле общественного настроения. Голод в Поволжье, разыгравшийся в этом году, заставил встрепенуться всё русское общество. Несмотря на препятствия правительства, опасавшегося контакта интеллигенции с народом, удалось довольно широко развернуть общественную помощь **{163}** голодающим. Известна инициатива Льва Толстого и В. Г. Короленки. Помню совещание, устроенное В. А. Гольцевым, на которое пришел и Толстой. Речь шла о воззвании к загранице о помощи голодающим. Толстой решительно отказался подписать такое воззвание, заявляя, что он обратится к загранице лично.

Другим взволновавшим общество событием в том же и следующем году было изгнание из Москвы 20.000 евреев, за которым следовал кишиневский погром евреев в 1893 г. (Кишиневский погром был не в 1893 г., а в 1903 г.) И по этому поводу мне вспоминается профессорский обед, периодически устраивавшийся и состоявший обычно из лиц, очень умеренно настроенных. На этот обед пришел Владимир Соловьев с определенной целью — заставить участников подписать протест против преследования евреев. Это было необычным для этого круга вмешательством в политику, и я с любопытством наблюдал, как поступят некоторые профессора. Все они подписали протест, — даже Герье. Таково было настроение момента, отразившееся, как сказано выше, и в настроении нижегородской публики, собравшейся на мои лекции.

Приподнятое еще переменой царствования, это настроение было непродолжительно. В конце

1894 г. я читал свои лекции, а 17 января 1895г. делегаты земских, дворянских собраний и городских дум, пришедшие поздравить Николая II с восшествием на престол, услышали от него памятные слова, выкрикнутые фальцетом, по бумажке: «Я узнал, что в последнее время в некоторых земствах поднялись голоса, увлекшиеся бессмысленными мечтаниями об участии представителей от земств во внутреннем управлении... Пусть каждый знает, что я... буду защищать начало самодержавия так же неизменно, как мой отец». Прокламация, приписываемая Ф. И. Родичеву («Прокламация» эта (в форме открытого письма к царю) была написана не Ф. И. Родичевым, а П. Б. Струве. (Прим. ред.).), отвечала на этот вызов: «Вы хотите борьбы? Вы ее получите».

В этом конфликте целей выразилась вся суть несчастного царствования. Не косвенно, а прямо — царский окрик ударил и по мне. В конце того же января или в начале февраля 1895 года **{164}** последовали мероприятия против меня со стороны двух министерств. Министерство народного просвещения послало приказ уволить меня из университета с запрещением преподавать где бы то ни было. А министерство внутренних дел начало следствие о моем преступлении в Нижнем Новгороде, распорядившись выслать меня из Москвы в административном порядке впредь до решения моей участи. В Москве обе меры, конечно, произвели сенсацию. Со всех сторон я получал выражения сочувствия — и больше того — предложения поддержки в критическую минуту. «Русские ведомости» предложили постоянное сотрудничество и фиксировали ежемесячный оклад. Из Петербурга пришло предложение напечатать мои лекции по истории культуры в «Мире Божьем». Гольцев устроил банкет и закончил свою речь пророческим пожеланием, чтобы я сделался историком падения русской монархии. Моя жена решила ехать в Петербург и хлопотать о смягчении моей участи. Она подняла на ноги либеральный Петербург, проникла в салон баронессы Икскуль, ведшей знакомство, с одной стороны, с корифеями петербургской литературы, Михайловским, Батюшковым, Андреевским, Спасовичем и т. д., а с другой — с высшими представителями всемогущего министерства внутренних дел: у нее бывали И. Н. Дурново, Горемыкин, Зволянский и др.

Она также добилась для жены свидания с министром народного просвещения Деляновым. Делянов сказал, что я страдаю за вредное влияние на молодежь. Министерство внутренних дел, в виде снисхождения, предоставило мне выбор места ссылки. Я было наметил Ярославль, но полиция возразила, что там имеется высшее учебное заведение. Тогда я остановился на Рязани, как самом близком к Москве губернском городе.

Был, наконец, назначен день моего отъезда, и меня просили держать его в секрете. Однако, как-то этот секрет обнаружился помимо меня и, приехав на вокзал, я увидел, что платформа полна провожающей молодежью. Пришли, обойдя строгое запрещение начальницы, и мои барышни из четвертой гимназии, — и это меня особенно тронуло. Проводы были шумные. Уже позднее, в Рязани, я узнал, в чем меня собственно **{165}** обвиняют: прочтение лекций преступного содержания перед аудиторией, не способной отнестись к ним критически.

Для расследования приехал товарищ прокурора Лопухин, впоследствии дослужившийся до директора департамента полиции и сосланный Столыпиным за открытие Бурцеву секрета Азефа. Либерализм Лопухина не помешал ему произвести расследование по всем правилам искусства. Он привез с собой стенографическую копию моих нижегородских лекций с подчеркнутыми красным карандашом криминальными местами и заставил меня раскрыть их смысл, — впрочем настолько прозрачный, что никакие перетолкования не были возможны. Затем дело пошло обычным административным порядком, а дожидаться результата я должен был в Рязани.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГОДЫ СКИТАНИЙ (1895-1905)

1. РЯЗАНСКАЯ ССЫЛКА (1895-97)

Прозвонил последний звонок. Поезд двинулся. Москва осталась позади. Я не мог тогда знать, что десять лет ее не увижу и никогда не вернусь в нее в качестве оседлого жителя. Меня несло куда-то вперед — куда именно? Мной овладело странное чувство. Друзья, меня провожавшие, видели в этом изгнании какую-то катастрофу. А я уезжал в неизвестную даль с чувством какого-то освобождения. Я сам тогда не понимал полного смысла этого чувства. Ясна была одна его часть. Мое положение в университете стало за два последние года невыносимым.

И даже не в том только было дело, что главный представитель кафедры, от которого зависело мое дальнейшее продвижение, как преподавателя, от меня отвернулся, и эта дорога была для меня закрыта — раньше, чем закрыло ее правительство. Университет мне всё равно до тех пор ничего не дал материально, и я не смотрел на него, как на доходную профессию. Невыносимо было другое: после диспута я тяжело переживал чувство нанесенной мне моральной обиды; с моим уходом из Москвы отходило в прошлое и это несносное чувство.

Один эпизод подчеркнул ненормальность сложившегося для меня положения. По смерти Александра III Ключевский прочел ему похвальное слово в Обществе Истории и Древностей и напечатал его в «Чтениях». Кто-то добыл оттиски этой речи, приложил к ним **{167}** гектографированную басню Крылова (что-то о «лисице, хвалящей льва») и распространил в публике. Этот пасквиль приписали в публике мне, и я не уверен, что сам Ключевский не был того же мнения. Нет, дальше, скорее дальше от этой загнившей атмосферы!

Но происходило ли только отсюда мое чувство освобождения? Была, конечно, в нем и другая сторона, мне самому тогда неясная. Всё, рассказанное выше, сводится к тому, что я давно уже перешагнул рамки университета, ибо они стали для меня тесны. Всё, что я приобретал в смысле связей вне университета, вся моя литературно-критическая, просветительная, публицистическая деятельность, мои новые взгляды на науку истории, — всё это не могло не привести к тому, что связи с университетом стали менее тесны. Иное в моей расширенной деятельности было с ним даже трудно совместимо. И, вероятно В. О. Ключевский был даже прав, пресекши мою академическую карьеру и предпочтя мне, не только из самолюбия, серьезного и добросовестного работника Любавского. Я тогда не мог дать себе ясного отчета, что меня удаляли из университета не в пустое пространство — и что это пространство было отчасти уже заполнено иным содержанием, которое судьбой нижегородских лекций было только подчеркнуто. «Историк падения самодержавия»? Да, конечно, — историк: но не участник же? Эти мысли для меня, скромного научного работника, как я продолжал о себе думать, — были слишком далеки.
Во всяком случае, чувство освобождения было налицо, и оно несло меня в неизвестную даль...

Я ехал в Рязань один; жена с детьми (у меня родился другой сын Сергей) осталась готовиться к полному переселению. В Рязани, конечно, нашлись идейные друзья: они уже знали о моем приезде и устроили меня временно в номере отеля на Дворянской улице. Я вспоминал «дворянское» собрание Нижнего. Потом нашли чудесное помещение на широкой церковной площади, с большим садом, полным плодовых деревьев — в нашем же распоряжении. Я перевез туда свою, уже значительную библиотеку. Обстановка намечалась удобная для работы. Здесь я должен был обработать «Очерки» для «Мира Божия»; отсюда же я посылал в «Русские ведомости» фельетоны **{168}** о русских интеллигентах 30-х и 40-х годов. Досуга было теперь достаточно.

Рязань не была, конечно, местом одиночного заключения. Здесь я нашел друзей по своему вкусу, и они нашли меня. Два года, проведенные в Рязани, оставили в моей памяти благодарное воспоминание. Особенно сблизился я с семьей видного земского деятеля Елагина, пронесшей сквозь годы реакции действенный идеализм эпохи реформ и непоколебимую веру в конечную победу русских культурных начинаний.

Такие люди составляли «соль» русской земли, хотя история и расправилась с ними немилостиво. Я встретил также самое дружеское отношение в патриархе здешних исторических разысканий, Алексее Ивановиче Черепнине, и его молодом помощнике, Приотцеве. Черепнин был настоящим специалистом по русской археологии; под его руководством я, наконец, научился правильному производству раскопок. Его раскопки в городище Старой, Рязани установили хронологию финского заселения края, и вместе с ним мы копали скудные славянские могильники, причем мне удалось установить некоторые границы колонизации русских племен; доклад об этом я представил Рижскому археологическому съезду. Местная архивная комиссия обладала недурной библиотекой, которую я использовал, вместе с моей, для обработки текста «Очерков» и для изучения рукописных грамот. Словом, я как будто не изменял порядка моей обычной научной работы. Я затем вернулся на свободе к моему любимому занятию музыкой.

В устроенном здесь квартете мне пришлось играть первую скрипку; вторую играл старый немец-учитель, Вернер, страстный и скромный любитель; партию виолончели исполнял Родзевич, брат видного местного адвоката, а альт играл молодой студент. Мы переиграли массу классической музыки. Но этим дело не ограничилось. При помощи военных здесь составился целый оркестр, и в первый раз я принял участие в этой форме музыкального исполнения в роли альтиста. Помню забавный случай: мне не разрешалось выезжать за пределы губернии. Но наш оркестр должен был участвовать в благотворительном концерте в Коломне. Без альтиста нельзя было обойтись. Но Коломна находилась за дозволенной **{169}** чертой, по ту сторону Оки, в Московской губернии. Губернатору пришлось дать мне особое разрешение на выезд, и Коломенское общество почтило своим вниманием странствующего музыканта. Предпринимал наш квартет и более отдаленные прогулки. Помню нашу поездку, под эгидой любителя музыки Оленина, родственника Олениной-Дальгейм, пропагандистки Мусоргского, вниз по Волге, до завода Гусь, где несколько дней подряд мы играли до полного изнеможения. Я забыл упомянуть, что на этих же берегах мы предпринимали с Черепниным экскурсии для нанесения на карту многочисленных прибрежных городищ. Много их я излазил, составляя планы и собирая случайные находки, подчас очень ценные. Так проходило мое время, в соединении приятного с полезным. Положительно, на эту ссылку мне нельзя было жаловаться, тем более, что меня приезжали навещать сюда мои любимые ученики и ученицы.

Но время шло. Расследование Лопухина должно было прийти к концу и закончиться обычным решением, когда состава преступления не находили: административной высылкой. Одно обстоятельство осложнило мое положение: мне была предложена, после смерти Драгоманова, его кафедра в Софийском Высшем Училище в Болгарии. Опять последовали хлопоты в Петербурге, в которых снова приняла участие моя жена. Результат получился благоприятный. Мне было предложено на выбор: или тюрьма на годичный срок в г. Уфе, или «высылка заграницу» на два года. Очевидно, это было замаскированное разрешение принять болгарское предложение, и в выборе не могло быть колебаний: я принял последнее. Таким образом, срок моего пребывания в Рязани ограничился двумя годами. С ранней весны 1897 года я был свободен. Лекции в Софии должны были начаться с осени. Доступ в Москву всё же был запрещен: мне разрешили лишь проехать с одного вокзала на другой, совсем анонимно, что я и сделал, захватив с собой лишь свой велосипед (я забыл упомянуть, что научился этому искусству в Рязани). Библиотека должна была последовать за мной в Софию.

Я не могу передать того чувства освобождения, которое я испытал, очутившись тотчас после рязанских **{170}** снегов в мягком климате Вены. Никакого начальства! Записавшись в члены клуба велосипедистов, я получил право свободно разъезжать на своем велосипеде — и воспользовался этим, чтобы обстоятельнее ознакомиться с топографией города и посетить главнейшие памятники. Я только теперь присмотрелся к красотам австрийской столицы, с которыми не мог познакомиться во время спешного переезда в Италию, в 1881 году. Город Гайдна, Моцарта, Бетховена! Город рококо, с которым я на этот раз примирился, после итальянской поездки. И — под покровом католического пресса — какая всё-таки легкость, изящество во всем в этом городе!

Но надо было всё-таки ехать дальше — не в Софию, а в Париж. Моей целью была подготовка к лекциям по всеобщей истории, и я выбрал тему, которая всегда меня привлекала и которую я лучше всего знал по занятиям у Виноградова: переход от падения римской империи к средним векам. Наш Герцен сделал из этой темы параллель между падением классической цивилизации и современным декадансом западного мира: это было для него способом быть зараз славянофилом и европейцем. Я этой точки зрения — грозящей западному миру катастрофы — не разделял и не строил на ней перспектив мирового катаклизма, какие строились также и впоследствии. Но конец римской империи и синкретизм остатков ее культуры с восточным и с германским миром и с моей старой точки зрения

представлял богатейший материал для социологических наблюдений между концом одного национального организма и началом другого.

Я, однако, не ожидал найти в Софии достаточного подбора книг на эту тему и рассчитывал воспользоваться библиотеками Парижа. Жюль Легра предоставил в мое распоряжение на время вакаций свою скромную квартиру на Boulevard Port Royal. Я прежде всего направился к патриарху французского славяноведения Луи Леже и получил через него часть нужных книг и дальнейшие указания.

Прием был очень любезный, но не поощрял к продолжению знакомства. Я не предвидел, что на вакациях Париж будет пуст, и я буду предоставлен самому себе. Затем, при первых же шагах, я увидел необозримость материала, меня ожидавшего, и остановился на мысли освежить **{171}** в голове хотя бы часть материала, мне уже более или менее знакомого. Чтобы выполнить по крайней мере эту задачу, я решил воспользоваться своим невольным одиночеством, не искать знакомств ни в русском, ни во французском Париже — и погрузился в подбор самого необходимого. В значительной степени меня тут выручили Фюстель-де-Куланж и Гастон Буассье, любимая моя книга («Религия в век Антонинов»), соединявшая строгую научность с яркими параллелями с современностью. Я должен был сократить это вакационное время, чтобы успеть до начала лекций ознакомиться с людьми и с обстановкой моей новой деятельности. Из Парижа я успел еще съездить в Швейцарию для свидания с семьей, которая жила в Бруннене, на Фирвальштеттском озере. Погуляв на Axenstrasse, в местах, ознаменованных преданиями о Телле, мы еще имели время съездить в Интерлакен, Мюррен и к леднику Юнгфрау, чтобы вкусить от горных красот Швейцарии, и затем, уже не останавливаясь нигде, я отправился на место своего служения.

2. БОЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ (1897 — 1899).

Министром народного просвещения, пригласившим меня на кафедру Высшего Училища, был тогда Константин Величков, человек культурный и обходительный, сыгравший известную роль в вопросе об объединении северной Болгарии с Румелией. Со мной был заключен контракт с содержанием 18.000 левов в год — то же, что получал и Драгоманов, — и с неустойкой в размере годичного содержания, если контракт будет нарушен. Это были условия, превышавшие обычные оклады собственных профессоров-болгар, и мне предстояло считаться с ревнивым отношением ко мне, как к чужеземцу, — к иностранной «знаменитости», даже не говорившей по-болгарски и вынужденной читать лекции по-русски, на языке, не вполне понятном для большей части студентов. Как сложатся мои отношения со студентами, я конечно, не знал. Но мне посчастливилось сразу войти в семью профессоров, так или иначе связанных с Россией. Самым близким ко мне — и одним из самых выдающихся оказался проф. Иван Шишманов, женатый на дочери **{172}** Драгоманова, Лидии Михайловне. Шишманов читал лекции по иностранной литературе, был широко образованным человеком, идеалистически настроенным и не чуждым политике. Жена его была писательницей и хранила традиции отца. Ко мне оба отнеслись чрезвычайно дружественно. Через Шишмановых я тотчас же познакомился с Малиновым, уроженцем Белграда, женатым на русской и в политике продолжавшим радикальные традиции Петки Каравелова. Познакомился я и с самим Каравеловым, братом писателя Любена, тогда уже покойного. Оба были окружены ореолом первоначальников болгарского освобождения и болгарской культуры; оба получили русское воспитание, но были противниками официального «руссофильства» русских генералов. Жена Каравелова, соединяющая любовь к России с горячим болгарским патриотизмом, умная и талантливая, считалась нимфой Эгерией мужа, уже престарелого и несколько отяжелевшего; она руководила также женским движением в Болгарии и пользовалась уважением и известным влиянием среди правящих кругов молодого государства. С Каравеловыми и с кругом их политических друзей меня соединяла самая искренняя дружба. Другим профессором, женатым на русской, с которым мы сблизились, был Иван Георгов, профессор философии, принимавший живое участие в македонском движении. Руководителем умеренного течения македонского движения был лингвист проф. Милетич, женатый на хорватке; он был выдающимся ученым и активным патриотом болгаро-македонского объединения. Моим коллегой по всеобщей истории был проф. Д. Агура, более ранний тип преподавателя, когда в Болгарии еще не было высшей школы. Он отнесся ко мне в высшей степени предупредительно и ласково; не было и следа какой-либо ревности в его отношении ко мне; мы познакомились и с его милой семьей. Преподавал болгарскую историю молодой В. Златарский, впоследствии прославившийся детальной научной разработкой своего предмета.

Я привожу здесь только имена профессорского круга, принявшего меня дружественно в свою

среду и облегчившего мои первые шаги. Я мог отблагодарить их только старанием как можно скорее усвоить болгарский язык и — позднее — заняться изучением вопросов, близких интересам молодого народа.

{173} Я объявил два курса в Высшем Училище: о первом я уже говорил выше. Второй был посвящен «Славянским древностям и археологии». В Москве я считался некоторого рода специалистом по славянскому вопросу: мне было поручено написать статьи о славянах для одного из наших просветительных начинаний — хрестоматии по средним векам, вышедшей при участии и под редакцией П. Г. Виноградова. Но в Болгарии археологические работы тогда только начинались — под руководством чехов, и к чехам же (Пич) мне пришлось обратиться для пополнения своих знаний. Я читал лекции по-русски. Вначале это меня очень стесняло: я не знал, в какой степени меня понимают. Но то было время, когда, за отсутствием болгарских учебников, болгарская молодежь поневоле училась по русским. Русский эмигрант заведывал единственной тогда в Софии публичной библиотекой, наполненной русскими книгами. Моя аудитория была всегда полна, быть может, отчасти и потому, что хотели слушать русскую речь — и, вероятно, предпочли бы ее плохой болгарской. Чтобы сблизиться со студентами, я завел семинарий. Вести его было крайне трудно: библиотека училища была очень скудна пособиями, и студенты не знали иностранных языков. Всё же объявленные мною темы были разобраны, я получил несколько студенческих рефератов, причем разбор их происходил на двух языках: студенты говорили по-болгарски, который я уже достаточно понимал, я говорил по-русски. Казалось, эта часть более или менее налаживалась,

Однако, ни того, ни другого курса мне не пришлось довести до конца. Отчасти, виной были студенческие волнения (и здесь то же, в Софии); но затем моя педагогическая деятельность была пресечена, прежде чем закончился зимний сезон. Произошло следующее.

Русским представителем в Софии был тогда Ю. П. Бахметев. Около русского посольства увивались так называемые «руссофилы» официального типа. Мои друзья, начиная с каравеловского кружка, принадлежали к левым, оппозиционным течениям. И, натурально, посольские круги смотрели косо на преемника эмигранта Драгоманова. Петербургское правительство было в ссоре с **{174}** Болгарией, и только что эти отношения начали улучшаться. Положение мое обострилось тем, что русский представитель ждал — и не дождался моего визита. Наступило 6 декабря, день рождения имп. Николая II. Я, в качестве профессора, счел необходимым пойти, вместе с сослуживцами, в собор, на торжественный молебен. Но я не знал, что обычай установил, после молебствия, шествие профессоров вкупе в посольство, чтобы поздравить Бахметева и выпить чашу посольского шампанского. Я пошел из собора домой. Мое отсутствие было, конечно, замечено и истолковано, при содействии болгар «руссофилов», как демонстрация против России. Тогда Бахметев официальной нотой потребовал моей отставки из Высшего Училища. Болгарское правительство оказалось в очень затруднительном положении. С одной стороны, мое удаление по требованию России было ударом по болгарской независимости, которою болгары особенно дорожили после известного управления «генералов». С другой стороны, Николай II смягчил отрицательное отношение отца к Болгарии, и шли переговоры о допущении болгарских офицеров в русскую армию. Очевидно, мною приходилось пожертвовать. Величков призвал меня к себе и сконфуженно объяснил сложившееся положение и неизбежность удовлетворить русское требование, — выражая при этом надежду на мое восстановление, когда пройдет острый момент. Итак, я был отставлен; по контракту мне выплачивалось годовое содержание.

Между тем, оставался еще год до окончания моей ссылки из России. Я считал необходимым употребить этот год для работы на пользу болгарского народа, который, конечно, не отвечал за мое увольнение. Мои болгарские знакомства уже пробудили во мне интерес к болгарской политике, а нелепые преследования России против ею же освобожденной страны, вместе с упорным желанием сохранить приобретенный авторитет для закрепления опеки над Болгарией — после того как не удалось ее превращение в «русскую губернию» — все это возбуждало во мне глубокое чувство симпатии к народу, продолжавшему, вопреки всему, сохранять любовь к «дядо Ивану». Возмущало меня и одностороннее покровительство Сербии в ущерб Болгарии. Как раз в этот год (1897) Россия сговорилась с Австрией — сохранять **{175}** status quo на Балканах и переносила центр своей политики на Дальний Восток. Я, вероятно, проглядел все эти политические тонкости, последствия которых выяснились только позднее. Но в маленькой стране, еще не добившейся элементарных условий международной жизни, пульс международных событий обыкновенно бьется сильнее обычного. Всякий новый оттенок отношения Европы к ее «беспокойному углу» на Балканах становится тотчас известен в Софии. Это сложное положение впервые заставило меня внимательно присматриваться к вопросам внешней политики: в Болгарии я проходил подготовительную школу при очень благоприятных

условиях.

Итак, я решил посвятить наступившую зиму изучению сложившегося положения — и подготовке к поездке в Македонию, спорную область между болгарами и сербами, где завязывался узел дальнейших балканских событий. В первом отношении я успел ознакомиться, по доставленным мне друзьями рукописным данным, с историей национальной борьбы против русских официальных влияний и против своих консерваторов за проведение в жизнь демократической конституции. Во втором отношении я изучил, по печатным источникам, преимущественно сербским, переход от интеллигентских мечтаний о славянской дружбе (времени князя Михаила) к непримиримому сербскому шовинизму 70-х годов, объектом которого был вопрос о национальности населения Македонии.

Мои статьи о болгарской конституции и о сербо-болгарских отношениях тогда же появились по-русски и по-болгарски.

Готовясь к поездке в Македонию, я принялся за изучение турецкого и новогреческого языков. Помимо грамматик, я пригласил к себе одного македонца, с которым каждый день упражнялся в произношении фраз и в чтении вслух текстов обоих языков, а попутно улучшал и свой болгарский разговорный язык. В новогреческом я подвинулся довольно далеко; но и по-турецки мог склеить простую фразу и смутно понять обращенный ко мне вопрос. В путешествии то и другое принесло мне, при всем несовершенстве достигнутых результатов, большую пользу. Турецкий язык очень доступен для обихода и становится очень трудным, когда перестает быть **{176}** народным. Наоборот, новогреческий, для старого классика, как я, становится тем доступнее, чем более современные «эллины» стараются отдалить его от народного «кини диалектос» и приблизить к языку древних греков. Для выработки своего маршрута по Македонии я пользовался также описаниями прежних путешественников — и имел случай сравнить описание завзятого сербского шовиниста Гопчевича с объективными указаниями солидного немца Каница.

Я решил ехать через Константинополь и Салоники. В Константинополе, куда я попадал впервые, меня привлекал, при спешном проезде, не столько самый город, с которым, по его близости к Софии, я обещал себе познакомиться подробнее, сколько русский археологический институт и его директор, известный византинист Ф. И. Успенский. В институте была и библиотека, по слухам, хорошо подобранная для его специальной цели. Правда, как оказалось, археология, в моем понимании, в библиотеке почти отсутствовала.

Ф. И. меня приютил в самом здании библиотеки на «Секиз Соксе», где останавливались его сотрудники по изучению Константинополя и приезжие специалисты по Византии. Но в смысле подготовки к моей поездке мне на этот раз здесь было нечего делать. По береговой железной дороге я проехал до следующей остановки — в Салониках. Оригинальный характер носила эта республика евреев, эмигрировавших из Испании в XV-XVI столетиях и сохранивших язык, обычаи, костюмы и народные песни того времени. Для изучения этих остатков проехал через Софию русский эмигрант и профессор Гарвардского университета Лео Винер, с которым я познакомился. Отмечаю это знакомство, так как оно возобновилось потом в Америке, и я сблизился со всей семьей Винера. Помимо основной черты своего населения, Салоники для моей цели представляли первую боевую колонию македонских болгар и важный опорный пункт агитации. У меня были к ним рекомендации, и с них я должен был начать свой информационный объезд. Претензии греков и сербов на обладание Салониками тогда еще не выдвигались. Болгары стояли на первом плане и считали Салоники будущей столицей свободной Македонии.

{177} Мой маршрут был рассчитан на ознакомление, главным образом, с западной и восточной пограничными частями Македонии. Северо-западная зона была и осталась наиболее спорной между сербами и болгарами, на южную претендовали греки, а восточная примыкала к болгарской территории. Надо было выяснить степень этнического единства на всем этом пространстве. Для ответа на коренной вопрос, представляют ли македонские «бугаре» действительных болгар или же они в действительности не болгаре, а сербы, у меня был один практический подход: я мог говорить с этим населением только по-болгарски, так как сербский разговорный язык был мне тогда недоступен. Но на первых же шагах я натолкнулся и на другое доказательство. Население это я застал уже мобилизованным для борьбы за национальное единство, внешним символом которого была тогда своя собственная национальная церковь, так называемая «экзархия» в противоположность подчинению сербскому или константинопольскому патриарху. «Патриархисты»-сербоманы высмеивали «экзархистов» насмешливой фразой: «ке дадешь пари, бигу булгарин», то есть «дашь денег, стану болгарином». Такие случаи бывали, и иногда члены той же семьи называли себя — одни «экзархистами», другие «патриархистами», а третьи «грекоманами». Но это были исключения, за которыми скрывалась

поистине героическая готовность к борьбе с общим врагом — турецкими насилиями. Отдельные вспышки народных восстаний уже происходили и влекли за собой многочисленные жертвы. Места этих первых восстаний были известны, и я не мог обойти их в своем маршруте. Известно было это напряженное положение и великим державам, и Англия с Россией недаром сговаривались держать будущих повстанцев в порабощении, — пока Европа не соберется ввести в Македонии приличные реформы. К этой бессильной мере и пришли после общего восстания 1904 г. («Ильин-день»). Ко времени моей поездки пламя, охватившее тогда Македонию, еще тлело под спудом.

Мой следующий этап из Салоник вел, по болгаро-греческой этнической границе, вверх от долины Вардара, в Водену, богатую водопадами, и оттуда, мимо озера **{178}** Острово и полугреческой Флорины (болг. «Лерин») — в столицу вилайета Битоль, — смешанный по населению город, с следами греческого влияния в старом поколении болгар и, в то же время, с пробужденным национальным сознанием молодого поколения. Я познакомился здесь с русским консулом Ростковским, верно представлявшим официальную сербофильскую политику, считавшим необходимым круто обращаться с населением (и впоследствии убитым на прогулке каким-то албанцем), и с его очаровательной, поэтически настроенной женой, страстной музыкантшей. На пути, на станции Острово, я сделал находку, отвлекшую меня от современных этнических разысканий. Железнодорожный мастер принес мне несколько бронзовых вещичек, найденных в осыпи, при нивеллировке уровня для железнодорожного пути. При выемке земли было найдено также много каменных плит, правильно отесанных. Достаточно было взглянуть на форму бронзовой застежки между вещами, чтобы узнать в ней «очковую» фибулу (Drillenfibel) *(в оригинале ошибка должно быть «Brillenfibel». Фибул или фибель – род застежки или булавки, которая держала вместе одежду, одновременно они были и украшения, украшенные изображениями зверей или цепочками, на концах которых ставили камни или металлические изображения которые при движении постукивали друг о друга. Настоящим символом для этого времени были спиральные или «очковые» фибулы с большим искусством скрученные из бронзовой проволоки – ldn-knigi). Die Fibeln dienten zum Zusammenhalten von Kleidung, waren aber gleichzeitig auch Schmuckstücke, verziert mit Tiergestalten, oder mit Kettchen versehen, an deren unterem Ende man wieder Steine oder Bleche anbringen konnte, die dann bei der Bewegung klimperten. Auch die Spiralen- oder Brillenfibel aus kunstvoll gedrehten Bronzedrähten ist geradezu ein Symbol für die Hallstattzeit.)*, а в плитах — остатки погребений в каменных ящиках. Следовательно, тут вскрыт был случайно некрополь первого каменного века, который датируется 1300-800 лет до Р. Х. Я вспомнил родственные находки в Гласинце, — и моя археологическая страсть разгорелась. Нельзя было упускать такую находку; надо было копать. По возвращении в Константинополь я старался убедить в этом Успенского. Но он был совсем незнаком с археологией, видел в моей фибуле римскую (!) находку, долго упирался — и, наконец, уступил, добывши султанское «ираде» для раскопок. Но тут я вышел за пределы моей первой поездки в Македонию.

Возвращаюсь назад — к моей остановке в Битоле. Отсюда, собственно, начиналась самая важная для моей цели часть поездки. Но тут же кончалась и ее легкая часть — передвижение по железной дороге. Дальше надо было ехать на лошадях. Сговорившись с болгарами, я сделал раньше вылазку на запад, чтобы посетить Ресен, родину патриотов Ризовых, но дальше к Охридскому озеру на этот раз не поехал. Мой маршрут вел меня на север, в Прилеп, связанный с легендой о Марко Кралевиче, и в Велес (Конрюлю), важный центр **{179}** македонского движения на Вардаре. Отсюда путь вел — опять по железной дороге — в другую столицу вилайета Скопье (турецкий Ускюб, сербское Скопле). Здесь начинались снова пограничные этнические споры. Болгарское влияние было тогда очень сильно в Скопле. Но, расположенное в верховьях Вардара, недалеко от горного прохода через Кепеник в Старую Сербию, у Шарпланины, Скопле уже соприкасалось с знаменитым Носовым полем, где сильна была сербская традиция и где очень усиливалось воздействие албанцев, значительно продвинувшихся и частью ассимилировавших себе население Старой Сербии. Албанцев было много и в Скопле.

Здесь, таким образом, я добрался до северо-западной границы македонского населения. Сербская пропаганда здесь, конечно, велась о особой энергией. Но наблюдения над ней были мне недоступны. Деятели этой пропаганды, по-видимому, были осведомлены о моих приездах, но обращались ко мне очень редко. Обыкновенно, при приезде на станцию я замечал, кроме группы македонцев, меня встречавших, также и сербского «учителя», стоявшего в сторонке. Иногда и он заговаривал со мной — по-французски — приветствуя от имени населения и предлагая посетить сербскую школу. Создание этих школ было первым шагом сербской пропаганды. Турки, преследуя болгарские школы и церкви, непрочь были оказать некоторую поддержку сербам против «бугарашей», а из местного населения всегда находилось несколько «патриархистов», дороживших своим положением и боявшихся попасть в ряды болгарских революционеров: они отдавали детей в эти «патриархистские» школы. Но я был достаточно осведомлен, чтобы не сделаться жертвой этой искусственной пропаганды. Македонцы говорили мне, конечно, не всё, что делалось втайне. Но они приоткрывали мне достаточно завесу,

чтобы судить, что я присутствовал при самом зарождении знаменитой потом революционной Внутренней Организации.

Я знал, что у организации имеется своя секретная почта, которая, через курьеров, держит связь со всеми частями Македонии. Я знал и о сочувствии местного населения к своей же молодежи, из которой выходили четники, «комиты» (по-гречески: «деревенские») новой организации, всегда готовые скрыться в ближайших «планинах» (горных **{180}** плато) и оттуда явиться по приказу к присяжным укрывателям в своей же деревне. Эти активные элементы таким образом скрывались от внимания турецких властей вплоть до сигнала, по которому начиналось открытое восстание, поддерживаемое населением. Но движение было еще в самом начале: восстания кончались жестокими расправами, и имена местностей и местных героев заносились в летопись революции, служа поощрением для патриотически настроенной молодежи. Эти местности находились, конечно, в стороне от железной дороги и от больших городов, где имелись только организационные центры, — обыкновенно поблизости от «планин», куда укрывались вожди движения. Я хотел, конечно, посетить и эти отдаленные центры восстаний. Из Скопле я проехал в Куманово; вернувшись в Велес, добрался до Штипа, имя которого гремело — после усмиренного восстания и турецких расправ. Я видел, что эти расправы бессильны против поднимавшегося общего настроения.

О том, что я видел, я сообщал в «Письмах с дороги» в «Русские ведомости». Кажется, мои «Письма» были переведены и по-болгарски. Там рассказано, конечно, не всё, что я узнал, но рассеяно много намеков — при описании внешних признаков того, что в действительности происходило.

Мне оставалось, для полноты впечатления, посетить восточную Македонию, пограничную с территорией тогдашней Болгарии. Я перебрался через Допран в долину р. Струмицы, побывал в городах Доприне, Струмице и Петриче и посетил гор. Мельник с его живописными скалистыми окрестностями. Я не нашел здесь той остроты борьбы с другими национальными пропагандами, как в западной Македонии, по той простой причине, что здесь сплошное население было болгарское; я был тут у предгорьев Родоп. Не было и открытых столкновений с турками, хотя национальное движение было хорошо организовано по соседству с Болгарией. Это было здесь легче. Доехав до Нороя и станции железной дороги, я прямо вернулся в Константинополь. Там я ближе вошел в работу Археологического Института и принял участие в экскурсиях Ф. И. Успенского и его молодых помощников на южный берег Мраморного моря, к развалинам Никеи и Никомедии, в поисках за новыми греческими **{181}** надписями.

Заметив в институте хиттитский сосуд и узнав место этой находки, я даже произвел разведку в глубине Малой Азии, в окрестностях Конии, в местах, не имевшихся на карте. Наткнувшись там в турецкой деревне на небольшое подземелье — вероятно, христианских времен, я спустился туда и составил план лабиринта. Эта поездка оставила во мне впечатление контраста между богатым побережьем Гонии с его виноградными садами и оливковыми плантациями, с его тогда еще греческим населением — и каменистым плато малоазийского центра, где могли только пастись стада овец и баранов: знакомая по македонским «планинам» картина. Я сдружился также с моими турецкими рабочими и испытал их истинно гомеровское гостеприимство. Вся деревня собралась в особую «мусафар-ода» (комната для приезжих); жители нанесли невероятное количество явств, от каждого из которых я должен был отведать; после этого целый баран и всё прочее распределялось между участниками трапезы. Только мне были поставлены вопросы, как древнему Одиссею: откуда я, зачем пришел и что могу им поведать.

С своей стороны Ф. И. Успенский, помимо моих раскопок в Острово, собирался ехать в Македонию для расследования христианских древностей славянского периода. Я, естественно, явился одним из участников экспедиции. В пути мы немножко повздорили с почтенным византинистом. В одном болгарском монастыре, который мы посетили, Федору Ивановичу понравился один рукописный сборник; он, по старой привычке русских славистов, положил его в карман и запрятал в чемодан. Я никак не мог допустить, чтобы нашу экспедицию обвинили в воровстве, и протестовал против этого поступка. Успенский не сдавался; лошади были наготове, и наш багаж грузился для отъезда. Я тогда не вытерпел и сказал провожавшему нас настоятелю монастыря, что мы взяли из монастырской библиотеки одну рукопись для изучения и, конечно, ее вернем по миновании надобности. Успенский взбесился и, к моему изумлению, велел открыть один из чемоданов, вынул из него сборник и отдал настоятелю. Получился порядочный скандал; не знаю уж, что подумали мои болгары.

{182} Помню эпизод с началом намеченных мной и разрешенных турками доисторических раскопок. Мы пришли на место, указанное мною: ровная возвышенность над песчаным берегом озера Острово. Федор Иванович уселся в сторонке и с скептическим видом стал ожидать последствий. Я не без страха

поставил рабочих на места, выбранные наугад, и велел копать. На мое счастье первые каменные плиты могил обнаружились на двух-трех сантиметрах от поверхности, и через несколько минут мы уже наткнулись на доисторическое погребение. Я торжествовал, велел снять верхнюю плиту и сам начал снимать земляные пласты в могиле маленьким скребком, пока не добрался до костяка в непотревоженном виде. Вопрос о том, римское это или не римское погребение, остался для Ф. И. все-таки неразрешенным; но факта наличности некрополя он отрицать не мог. Начались правильные раскопки, с участием молодого специалиста по греческим вазам, Фармаковского, оставленного мне на подмогу.

Мы поселились в деревенской лачуге, вставали с восходом солнца и приходили на место раскопок вместе с крестьянами-рабочими. Полдень был оставлен для отдыха, а затем мы опять принимались за работу, до солнечного заката. Я препарировал скелеты, записывал находки, мерил костяки, снимал фотографии. Собиралась местная публика, по-своему толковавшая смысл нашего большого усердия. Турки догадывались, что тут наверное зарыты пули, и мы их собираем для македонского бунта. Пришел греческий учитель из соседнего греческого села — и решил, что мы ищем греческие статуэтки, которые действительно часто находились в этих местах; он считал это доказательством, что земля должна принадлежать грекам, ее аборигенам. Те и другие разочаровались по мере продолжения раскопок — и решили, вероятно, что игра не стоит свеч. Фармаковский всё искал драгоценности и раз показал мне, потихоньку от рабочих, крепко зажатый кулак: в нем было золотое колечко, единственная из всех находок, состоявших исключительно из бронзовых изделий. Не нравилась Фармаковскому и элементарная крашеная орнаментика сосудов, находимых в изобилии. Я обратил особое внимание на черепа; мы погрузили их в ящики и отправили Анучину в Москву.

К сожалению, в дороге или уже в Москве эти **{183}** ящики пропали, и единственным свидетельством о черепах остались мои фотографии с части черепов, настолько поврежденных, что их нельзя было отправить в дальнюю дорогу. Я снял их в трех видах: лицо, верх черепа и затылок.

В праздничные дни мы устраивали себе отдых, отправляясь в Битоль к Ростковским. В эти дни было весело; расцветал даже и сумрачный Фармаковский. Здесь также была задумана — не помню точной даты — поездка в западную Македонию, в сопровождении консула и его супруги. Это был целый караван; я смело сел в казачье седло и оказался на высоте положения.

Это было тем легче, что почти всё время мы ехали шагом, непроторенными путями, прямиком, не избегая высот, по направлению на Ресен — и дальше до гор Охрида. Оттуда мы объехали кругом Охридское озеро по западному Албанскому берегу, мимо горы Иван. Консул с любопытством следил, как албанцы наблюдали в бинокли наше путешествие: мы доехали до гор.පоградца, на южном берегу озера. Отсюда, уже среди чисто албанского населения, мы спустились до гор. Корицы (Горицы). По дороге один албанский бей, крупный помещик, устроил нам торжественный прием. Характерно, что сам он не мог никуда показаться из своего имения: на нем лежало чуть не несколько десятков вендет (кровная месть). Даже чтобы угостить нас спокойно, он должен был расставить своих вооруженных слуг во всех соседних ущельях, чтобы предупредить внезапное нападение. Самое жилье иллюстрировало это постоянное состояние войны: это были, вместо средневековых крепостей, высокие башни («кулы»), без окон внизу, снабженные бойницами в верхней части.

Я не помню пути нашего возвращения и, вероятно, смешиваю эту экскурсию с соответственной частью нашей поездки с Ф. И. Успенским. С Успенским мы не объезжали кругом Охридского озера, а отправились по его восточному берегу. Этот путь мне памятен по одной из важнейших находок, которую мы сделали на этом берегу около селения Герман. У входа в старинную церковь Чбжала правильно отесанная плита. Я велел ее перевернуть, — и на обратной стороне обнаружилась надпись **{184}** болгарского царя Самуила, признанная потом древнейшим памятником славянского языка! Помню также наш заезд на соседнее озеро Пресба, где стояли развалины собора древнейшей болгарской митрополии. Я записал здесь выцветшие обрывки надписей, свидетельствовавших о территориальном распространении власти древнейшей болгарской епархии.

По возвращении в Константинополь ближайшей задачей становилось привести в порядок привезенные из Острова находки — вещей и керамики — и составить им инвентарь. Это необходимо было и потому, что, по условию, мы должны были половину найденного сдать в Оттоманский музей. Не знаю, сохранился ли этот материал на том месте, где я его видел в музее; что касается половины, оставленной для Института, она исчезла безвозвратно при разгроме Института в войне 1914-1918 гг. Копии фотографий, вместе с дневником и планом раскопок остались у меня, но своевременно отпечатать этот материал у меня уже не хватило времени, а с приходом большевиков мой архив был ими захвачен. Мои попытки добыть оттуда мой дневник, план и фотографии раскопок остались тщетны.

Наступал 1899-й год — последний год моей ссылки — и я послал в Петербург телеграмму о разрешении мне вернуться в Россию. На пути я рассчитывал остановиться в Киеве, где должен был собраться очередной археологический съезд, и для съезда приготовить свой предварительный отчет о результатах моих раскопок. В Константинополе обработать собранные данные не было возможности, и я решил сделать это при помощи богатого археологического отдела библиотеки Naturhistorisches Museum в Вене. Хранителем этого отдела был известный археолог Шомбати, к которому я и обратился. Ознакомившись с характером моих находок, он охотно оказал мне содействие в их разработке. К нему я неоднократно обращался за содействием для разрешения сомнительных для меня вопросов.
В общем итоге для меня выяснилось, что некрополь у озера Острово представляет в очень чистом виде раннюю стадию этого типа погребений, — раннюю не хронологически, но, так сказать, типологически; сохранность же этого типа, **{185}** независимо от времени, объясняется провинциализмом этой находки. Антропологическая сторона находок так и осталась неразъясненной; я мог лишь констатировать, на основании своих фотографий черепов, что население того времени было антропологически-смешанное, с преобладанием длинноголовия, но и с заметной примесью типов, склонявшихся к среднеголовию. В этом виде я и представил свой доклад в Киеве, иллюстрируя его фотографиями погребений и находок. Критики я не ожидал, ввиду одиночности моей находки и полной неразработанности этого края в археологическом отношении. Некоторые замечания графа А. А. Бобринского, председателя Петербургской Археологической Комиссии, пользы мне не принесли. Отчет мой сделан был устно и в печать попал в очень кратком виде. Исследователи и до сих пор жалуются, что мои материалы остались неопубликованными: к большому моему сожалению, как сказано, все мои усилия получить их из рук большевиков до сих пор остались бесплодными.

Чтобы не возвращаться более к моим поездкам по Македонии, я должен несколько забежать вперед и рассказать о последней из них. Едва я успел устроиться в Петербурге, как получил от Н. П. Кондакова предложение — принять участие в задуманной им экспедиции в Македонию. Я с большой радостью принял предложение одного из лучших знатоков раннего христианского искусства, приехал к нему в Крым и через Одессу мы направились морем в Константинополь, в сопровождении сына Никодима Павловича и молодого архитектора Покрышкина. Панорама Константинополя со стороны Босфора открылась поразительно красиво. Кондакову я обязан тем, что в самом Константинополе он обратил мое внимание на такие памятники, как фрески Кахрие-Джами или малую Св. Софию (церковь Сергия и Вакха) и др. Не помню точно когда, но, кажется, именно в этот приезд я мог поработать в библиотеке Института над собранным мной во время разных поездок материалом о христианских древностях Македонии. Моя статья об этом, с фотографиями и рисунками, появилась в «Временнике» Института.

Меня предупреждали, что характер главы экспедиции довольно тяжелый и что наверное мы с ним **{186}** поссоримся. При моем глубоком уважении к Н. П. я никак не допускал, что это может случиться. Однако же это случилось. Началась экспедиция очень благополучно. Н. П. остановился на довольно продолжительное время в Салониках, где такие памятники, как базилика св. Дмитрия и Ротонда, давали обильную пищу для его специальных наблюдений. Я имел, с собой свой фотографический аппарат и помогал делать снимки; но уже тут натолкнулся на выражения недовольства Кондакова, — хотя мои снимки были им же потом напечатаны. Дальше пошло хуже. Никодим Павлович искал древнейших памятников и ему случалось, на основании прежних его наблюдений, сильно отложившихся в его памяти и воображении, антедатировать наблюдаемые данные. Я, напротив, на основании всего виденного в экспедиции Успенского, склонен был больше искать данных, типичных и характерных для более позднего местного искусства, как например, македонские фрески XVI и XVII в. или формы церквей, которые мало его интересовали и частью оставались ему неизвестными.

Тут проявилось его большое, я сказал бы, болезненное самолюбие. Он всегда сохранял вид непререкаемого превосходства и не хотел допустить, чтобы кто-нибудь знал больше его и обнаруживал самостоятельность в выводах. Наши отношения становились всё более натянутыми. Разрыв произошел на том, что я не хотел отдавать в распоряжение экспедиции снимки моим «кодаком» живых сцен местной жизни, считая, что они не относятся к археологии. Потом я показал эти снимки русскому фотографу Ливщицу в Лондоне; он отобрал шестьсот из них, увеличил до размеров картин и устроил из них «македонскую выставку» на целых три залы. Я был поражен, увидев что вышло из моих маленьких кусочков.

Мы, наконец, решили разделиться. Кондаков был уже в преклонных годах, скоро уставал и на долгие путешествия не был особенно склонен. К моему удовольствию, мы с Покрышкиным получили отдельный заказ — объехать Старую Сербию, мне еще неизвестную. Эта поездка оказалась

чрезвычайно интересной — и для древностей, и для местного быта. Мы попали здесь в область в которой преобладало албанское население, сохранившее в неприкосновенном виде свой древний **{187}** быт. Перед его особенностями должны были здесь склоняться и турки. Мы перевалили, наконец, запретный для меня до тех пор горный проход Кочаник, и со станции Феризович направились на лошадях в Призрен, опираясь на содействие русского консула. В Призрене мы уже почувствовали, что находимся на вулканической почве. Когда я расставил свой треножник и стал было фотографировать старинную церковь, собралась толпа албанцев. Сопровождавший меня кавас консульства, вслушиваясь в их замечания, сказал мне: собирайте скорее аппарат и немедленно уходите. Я послушался, а он сообщил мне, что готовилось на меня нападение толпы. Из Призрена мы должны были двинуться на Дьяково и Ипек (Печь) с его знаменитым монастырем. Но без охраны турецкие власти не соглашались нас пускать. И мы выехали в сопровождении чуть ли не целого эскадрона кавалерии.

В Дьякове местный паша принял нас очень торжественно и предложил гостеприимство в своем конаке. У меня в кармане были рекомендательные письма к местным албанским вождям; но пришлось подчиниться приглашению паши, очевидно имевшему обязательный характер. В конаке паша обратился ко мне по-русски, говором простого казака: оказалось, что он — черкес, переселенец с Кавказа. Прием был крайне любезный; нас хорошо угостили и отвели прекрасные спальни. Во сне я услышал выстрел — и затем топот удалявшейся кавалерии. За утренним кофе паша ответил на мой вопрос, что ночью был пожар. В течение дня дело объяснилось иначе. Когда мы вошли в древнюю церковь, чтобы начать исследование, для которого приехали, местные жители, славяне, собравшиеся в церкви, заперли ее на ключ и объяснили, что выстрел произвели они, чтобы дать нам знать, что не все в Дьякове благополучно. Они представили мне, с своей стороны, целый меморандум, очевидно специально заготовленный по случаю нашего приезда, о злоупотреблениях и насилиях местной власти.

Но всего интереснее было то, что произошло в Ипеке. Турецкая кавалерия сопровождала нас и туда. Мы благополучно прибыли к вечеру и расположились на ночевку. Ночью за монастырскими стенами началась стрельба. Мы переполошились и спустились в монастырский **{188}** двор, чтобы узнать, что случилось. Оказалось, что албанцы осаждают монастырь, а наше турецкое сопровождение требует от настоятеля, чтобы он открыл (запертые им) ворота и выпустил турок для отпора албанцам. Настоятель, человек, очевидно, бывалый, решительно отказался. «Вы завтра уйдете, а эти люди всегда здесь, рядом». И Покрышкин получил возможность осмотреть бегло замечательное здание собора, показывавшее, что мы перевалили в область другой культуры и перед нами памятник ранних влияний итальянского искусства. Уж не знаю, успел ли Покрышкин прибавить много к тому, что мы уже знали об этом храме.

Албанцы, наконец, ушли. Настоятель открыл ворота монастыря и с благословениями отправил нас в обратный путь. Здесь, под высотами Дурмитора, мы уже близко подошли к границе Черногории.

3. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Я уже упоминал, что первой моей остановкой при возвращении в Россию был Киев с собравшимся там археологическим съездом. Расположение города над Днепром и его уцелевшая старина произвели на меня глубокое впечатление. Я познакомился с вождями украинства. Мое радостное настроение отразилось и на съезде, где я ввязался в бой с Д. И. Иловайским по варяжскому вопросу. Е. Ф. Шмурло, присутствовавший на съезде, шутливо сравнивал меня с уткой, вольно плещущейся в воде и жадно заглатывающей червей. Я телеграфировал из Киева в Петербург просьбу о разрешении приехать туда — и получил это разрешение. Вслед за мной приехала и жена с детьми и перевезена была — уже в третий раз — моя библиотека. Радостное настроение возвращения на родину еще усилилось при встречах со старыми петербургскими друзьями, меня приветствовавшими. Изгнание укрепило мою репутацию в обществе, как политика определенного направления, и из этого вытекал ряд последующих фактов.

Я был принят в члены Литературного Фонда, где сосредоточивались лучшие общественные силы Петербурга: К. К. Арсеньев, Н. К. Михайловский, Н. Ф. Анненский и **{189}** столько других. Обратили на меня внимание и студенты, в среде которых происходили непрерывные волнения, и это, как увидим, вызвало мои дальнейшие злоключения. Политическая атмосфера Петербурга была тогда уже достаточно накаленной. За пять лет после моего изгнания из Москвы оппозиционное настроение общества, в результате правительственной реакции, стало принимать революционный оттенок.

Уже выходила «Искра» Ленина заграницей и «Революционная Россия» с. - р. в России («Искра» была создана на основе соглашения между Лениным, Мартовым и Потресовым — с одной стороны, и группой «Освобождения труда», с другой. «Революционная Россия» стала выходить регулярно только с весны 1902 г., когда издание

ее было перенесено заграницу. (Прим. ред.).). Наукой заниматься не приходилось: мое место было указано в этой общественной среде. Среди нас уже работала и провокация. Припоминаю один эпизод, смысл которого стал мне понятен только впоследствии. Около этого времени сестра Мякотина, идеальная девушка, предупредила меня, что пошлет ко мне одного человека, который хочет иметь со мной секретный разговор и что ему можно верить. В назначенный час, рано утром, действительно, явился человек довольно отвратного вида; я принял его секретно в спальной. Он с места в карьер спросил меня, нет ли у меня карточки Дурново и не могу ли я описать его внешний вид и его распределение дня.

Такой неловкий подход меня сразу заставил насторожиться. Я отвечал, что карточку Дурново можно, вероятно, найти в любом художественном магазине, а образ жизни и внешность его мне неизвестны и я вообще с ним никогда не встречался. Ответ, видимо, не удовлетворил моего посетителя, и он удалился. А потом, по памяти, я узнал в нем — Азефа!

Скоро по приезде из кондаковской поездки я получил два деловых предложения, которые и принял. Я ясно видел, что оба предложения рассчитаны скорее на использование моего имени; но они давали мне возможность существовать в Петербурге. Одно из них сделал С. Н. Южаков, предложивший мне роль соредактора в издаваемой под его именем русской переделке немецкого энциклопедического словаря Мейера. Другое **{190}** предложение редакторства исходило от издательницы «Мира Божьего» Александры Аркадьевны Давыдовой, вдовы известного виолончелиста, женщины чрезвычайно энергичной и умной, сумевшей сделать свой журнал популярным и только мечтавшей переменить его название на более серьезное, сохранив популяризаторский характер.

Я принялся со всем усердием за редактирование словаря. Но скоро должен был заметить, что мое усердие скорее обеспокоило, чем обрадовало Южакова. Поневоле вскрылись все недостатки его собственного редакторства. Дело велось слишком кустарно, — в противоположность словарю Брокгауза, редактированному К. К. Арсеньевым, план издания не был достаточно обдуман и не был обставлен компетентными силами; немецкий текст сокращался или сохранялся случайно, переводился неправильно; для русского материала не хватало места, русская графика и иллюстрация почти отсутствовали, русские литературные и политические статьи слишком отзывали народничеством. И ко всему этому непропорционально большая часть суммы, отпущенной для издания, была потрачена вначале, так что чем дальше, тем больше сокращения и упрощения должны были принять угрожающий вид. Начались скоро разногласия и по содержанию переделываемых статей. Помню, на статье «Бисмарк» у нас произошло первое серьезное столкновение. Переделанный Южаковым текст изображал Бисмарка чуть не каким-то Аттилой. Я, не возвращаясь к немецкому тексту, всё-таки переделал статью по-своему. Южаков был в отношении ко мне чрезвычайно мягок и уступчив: он стерпел и тут мое вмешательство. Но я чувствовал, что отношения портятся, а, главное, — что я в существе совсем не нужен, а мое имя служит только для рекламы. Я тогда заявил, что слагаю с себя редактирование и прошу не помещать моего имени ни в дальнейших объявлениях, ни в заголовке словаря. С некоторым трудом и промедлениями я добился и того и другого. «Большая Энциклопедия» продолжалась без моего сотрудничества.

Гораздо сложнее были мои отношения по «Миру Божьему». До меня редактировал журнал Ангел **{191}** Иванович Богданович, женатый на племяннице Короленко, — человек доктринерски-принципиальной складки, внешне суровый в обращении и скрытный в проявлении своих чувств и мыслей. И муж, и жена были значительно левее меня, что соответствовало и настроению собравшейся около журнала литературной группы. Александра Аркадьевна очень любила Н. К. Михайловского, но в то же время склонялась к его молодым идейным противникам, вошедшим тогда в моду. Она покровительственно называла их «марксятами». Ее старшая дочь была замужем за Туган-Барановским; младшая, приемная дочь, вышла замуж за Куприна, но скоро этот брак расстроился, и ее вторым мужем был с. - д. Николай Иорданский. По рукам ходила карикатура талантливого карикатуриста Каррика, изображавшая двух младенцев, Тугана-Барановского и Струве, на руках у кормилицы А. М. Калмыковой. Оба «младенца» представляли тогда переходную фазу марксистского движения, так называемый «легальный» марксизм или «ревизионизм», уже подвергшийся яростным нападкам заграничных с.-д-ков, Плеханова и Аксельрода. А. М. Калмыкова, известная деятельница по народному образованию, с левой точки зрения упрекала меня за вступление в «Мир Божий». «Такой большой человек, — говорила она — и раскрывала руки во весь обхват, — и спрятался под такой малюсенький щиток», — и ладони ее сближались в узенькую горсточку...

Я очень интересовался новым, неизвестным мне типом молодежи, их сборищами и публичными спорами их новых авторитетов с народниками, на которые сбегались студенты и студентки. Александра Аркадьевна Устраивала и у себя семейные ужины «с Михайловским», чтобы стравить противников, но

Николай Константинович отмалчивался, и петушиных боев не выходило.

Отменная вежливость и молчаливое неодобрение Ангела Ивановича, которыми прикрывались наши неизбежные разногласия, мне не нравились. На мои редакторские решения он не возражал, не соглашаясь. Дошло, вконец, между нами до открытого столкновения. Я одобрил к печатанию какую-то рукопись, которую А. И. забраковал, — или вышло наоборот — уже не **{192}** помню; но в один прекрасный день Богданович оборвал сношения и перестал ходить в редакцию. Последовали объяснения его с Давыдовой и Давыдовой со мной. Я ей заявил, что, в сущности, я не гожусь для журнала; журналист я неопытный, тогда как А. И., который вырос с журналом, прекрасно знает, какой взять тон перед читателями, чтобы ответить господствующему настроению, и по существу незаменим. Между мною и им не может быть выбора: я ухожу, он должен остаться. Она, конечно, к этому выводу и вела — и осталась мною очень довольна. Давыдова возражала для вида, но по существу была согласна — и рада моему отступлению. Мы сохранили наилучшие отношения. Я продолжал печатать «Очерки». «Мир Божий, журнал для юношества» удалось-таки превратить в «Современный Мир, журнал для самообразования», — и все было в порядке. «Марксята» выросли в марксистов, а затем Струве сделался «освобождением» и редактором либерального органа. Уж не знаю, выйдя из-под «щита» Александры Аркадьевны, сделались ли мы «большими людьми» в глазах Александры Михайловны. Во всяком случае, Струве перестал быть идеалом молодежи, а я им не сделался.

Однако же, когда был напечатан первый том моих «Очерков» (и раньше, чем появился второй), молодежь меня отчислила к марксистам: почему этот том и пользовался наибольшей популярностью. Это отчасти и было правильно, так как еще с университетских времен я считал идеологию народников устарелой и в основу исторического изучения полагал то, что мы тогда называли «экономическим материализмом». Это отразилось и в распределении материала в «Очерках». Первый том Маркса я читал еще на первых курсах университета, и его теория прибавочной стоимости была одним из толчков, почему я выбрал для магистерского экзамена по политической экономии тему о теории ренты. Отсюда, через Адама Смита и Рикардо, я вел магистральную линию истории политической экономии. Вспоминаю попутно, что в числе своих студенческих друзей в университете я считал Макса Гофмана и его сестру Оттилию, — горячих и боевых поклонников Маркса, принадлежащих не к «легальным» марксистам. Пламенный **{193}** Макс кончил жизнь в ссылке, самоубийством, не вынеся монотонности одиночества в годы реакции. Последнее предсмертное письмо его было ко мне, и я не мог простить себе, что не успел на него ответить, — попытаться ободрить его, — как пришло известие о его кончине. В своих годичных статьях в "Athenaum'e" я внимательно следил за вырождением народнической теории в книгах В. Воронцова, и еще более внимательно следил за остроумной и убедительной полемикой Плеханова («Бельтова»).

И всё-таки, меня гораздо более тянуло к народникам группы «Русского богатства», нежели к «легальным» питомцам А. М. Калмыковой. Из членов редакции «Русского богатства», кроме семьи Мякотина, я особенно сблизился с А. В. Пешехоновым. Ко мне на Петербургскую сторону собирались друзья этого лагеря обсуждать политическое положение. На одном таком собрании, где, кроме нас с Пешехоновым, участвовали Рубакин, Фальборк, Чарнолусский, Девель, Никонов, всё деятели по народному просвещению, я развивал тезис, что надо вести борьбу «на границе легальности». Нам с Пешехоновым было поручено составить проект конституции. Это хождение «на границе» было характерно для того момента, который скоро прошел. Проект мы составили, но, вместо своего настоящего назначения, он попал в руки полиции, и отсюда начинается мое:

4. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Зимой 1900 г. в Горном Институте, пристанище студенческих — а вместе и не совсем студенческих — тайных митингов, было назначено специальное собрание, посвященное памяти П. Л. Лаврова (скончался в феврале 1900 г.). Меня пригласили в нем участвовать и сказать поминальное слово о Лаврове. Я, разумеется, не мог отказаться.

Небольшое помещение было переполнено. Оратору оставили место в углу. Когда я туда пробрался, то меня же просили и председательствовать. В своей вступительной речи я рассказал, как Лавров, ученый профессор, стал в эмиграции на умеренную точку зрения **{194}** эволюционного социализма, как он встретил противника в Бакунине, проповеднике немедленного бунта и революционного переворота, как затем оба противоположные мнения столкнулись перед собранием русской молодежи в Цюрихе и как большинство молодежи предпочло «бунтарство» Бакунина подготовительной научной выучке «лавристов». Я показал затем, как идиллическое «хождение в народ»

1874 года превратилось, под ударами правительства, в конспирацию, а конспирация поставила своей задачей террор.

Я заключил отсюда, что всякая динамика революционного движения, не приводящего к цели, кончается террором. Мои слушатели немедленно поставили вопрос, в какой же стадии мы находимся теперь, — и из моего исторического изложения сделали практический вывод. Я не помню содержания довольно многочисленных речей на эту тему и моего заключительного слова; но на аудиторию всё это произвело то впечатление, которое потом не раз подчеркивал мне Борис Савинков, бывший тогда студентом и находившийся в числе присутствующих.

«Я, собственно, ваш ученик», — говорил он мне полушутя, полусерьезно, — и напоминал мне мой анализ, превратившийся в пророчество...

Довольно скоро после этой вечеринки ко мне на квартиру нагрянула полиция, произвела обыск и унесла, между прочим, нашу с Пешехоновым «конституцию». Взяли и меня самого и отвезли в дом предварительного заключения на Шпалерной. Потом я привык к этой новой квартире, но в первый момент, вечером, факт моего ареста и моя келья произвели на меня угнетающее впечатление. Тяжелая дверь замкнулась за мной, мелькнуло в «глазке» двери лицо надзирателя, щелкнул замок, и я почувствовал себя таким обреченным, точно навсегда был отрезан от всего живого мира. На маленьком складном железном столике, привинченном к стене, лежала книжка из тюремной библиотеки, невозвращенная, очевидно, предыдущим арестантом. Я взял ее — и при скудном свете лампочки прочел заглавие «Житие протопопа Аввакума». Вот — под невинным заглавием не невинная книга! Развернул и наткнулся на изречение настоящего страдальца за убеждения, которое как раз подходило к моему положению. **{195}** «И то творят не нам мучение, а себе обличение»! Несломленная воля протопопа подействовала на меня этой одной фразой необычайно сильно — и как-то сразу успокоила.

Не таким «мучениям» он подвергался — и вот какой мудрый урок оставил в поучение палачам и в ободрение жертвам. Я почувствовал, что и я тоже исполняю свой скромный долг по отношению к родине. Утомленный впечатлениями дня, я неплохо проспал ночь на тоненьком соломенном тюфячке тюремной кровати. На другой день принесли мне мое белье и... много цветов, сладостей и всякой снеди. Я попал тоже в своего рода «герои».

Но впереди ждал меня страшный момент допроса. Его пришлось дожидаться довольно долго. В ожидании, слушая какие-то стуки в стену, я вспомнил о том, что арестанты перестукиваются при помощи какого-то алфавита. Я стал считать удары: они чередовались максимум по пяти... Я тогда выписал рядами буквы, исключил ненужные, — начал понемногу понимать арестантский язык (такой-то ряд, такая-то буква) и сам мог им пользоваться. Кругом сидели, среди чужих, кое-какие знакомые моих знакомых. Мое одиночество прекратилось; тюрьма населилась мне подобными; я стал узнавать, как ведутся допросы, каковы уловки следователя и каковы способы избегнуть их со стороны обвиняемого. Знать это было полезно. Конечно, для разговоров выбирались моменты, когда надзирателей наверное не было в коридорах; иначе раздавался из коридора грозный окрик, и стуки прекращались.

Я вообще не мог пожаловаться на одиночество. Друзья чуть не каждый день приносили мне то цветы, то лакомства, то съестное. Нужные мне для работы книги доставлялись аккуратно из Публичной библиотеки и постепенно заполнили уже целый угол. Здесь я написал очередную часть третьего тома «Очерков», посвященную характеристике Петра Великого и его ближайших преемников; это был, между прочим, ответ критикам моей диссертации. С женой мы виделись регулярно, — правда, через решётку, и между нами ходил полицейский страж. Но нам удавалось обмениваться фразами — по-болгарски. Этим путем я узнал об убийстве **{196}** Боголепова студентом П. Карповичем 14 февраля 1901 г. Признаться, я порядком струхнул. Мой прогноз начинал исполняться; что, если моя беседа со студентами на поминании Лаврова известна полиции, и что она и есть причина моего ареста? Там были слова. Здесь последовали факты...

Моим следователем оказался генерал Шмаков, человек, очевидно, опытный в своем ремесле. Он сразу начал допрос с обычного увещания: мы всё знаем; признавайтесь во всем; это облегчит ваше положение. Я только и мог отвечать: я не знаю, в чем меня обвиняют. Я и действительно не знал этого; но скоро увидел, что не знает и сам генерал. И он стал понемногу мне сам рассказывать, что именно было ему известно. Оказалось: немногое. «Было собрание?» — «Да, было». — «Вы пришли в таком-то часу и на вас была меховая шапка?» — «Да, верно». — «А ушли тогда-то?» — «Тоже верно». — «После вас говорили речи такие-то (я их вызывал по именам)?» — «Да, были речи». Я уже видел, что шпион был из полуграмотных и, очевидно, не понимал того, что говорилось. Я ободрился. Последовали новые увещания: признавайтесь. Вот старые революционеры — то были орлы: они гордо заявляли: да, я это сделал. А теперь пошли какие-то воробьи! Я предпочел оставаться в воробьях. — «Подумайте,

припомните!» И допрос прекращался до следующего раза. Потом — много раз — за мной опять приезжали, привозили в закрытой карете на Тверскую улицу, — и снова ген. Шмаков начинал свои увещевания. Между прочим, он вынул из моего досье нашу «конституцию», повертел ее в руках. «Это, должно быть, какой-то исторический документ»? «Да, это копия одного из старых конституционных проектов». Генерал спрятал бумажку обратно в досье. А я-то считал, что это будет моим главным преступлением... Генерал, пожалуй, был правее меня в своей политической оценке. Тут не до конституций!

После ряда таких допросов, ничего не открывших, меня, наконец, вызвали на Тверскую, заставили долго прождать, наконец, объявили, что я свободен, но жить в Петербурге мне запрещается, и приговор будет объявлен впредь. Помню необыкновенное ощущение **{197}** свободы — гораздо сильнее того, что я чувствовал в Вене. Я свободно передвигал ноги и видел перед собой длинную перспективу улицы, вместо 3х6 метров моей кельи. Мог идти, куда хочу, направо и налево..., но куда идти, не знал. А тяжелая пачка книг, взятая из моей камеры, мешала пешему хождению. Наконец, подъехал извозчик и я дал ему адрес своей квартиры, которую предстояло немедленно ликвидировать... Я просидел в тюрьме около шести месяцев и вышел из нее среди лета 1901 года.

5. В НОВОЙ ССЫЛКЕ

Куда же ехать? Мои друзья на этот случай уже давно наметили Финляндию. Я даже предусмотрительно взял с собой в тюрьму учебник финской грамматики и подзубрил ее. Мы решили провести остаток лета в маленьком финляндском курорте Ловисе, а тем временем подыскать какое-нибудь помещение у самой границы петербургских предместий. Между прочим, в Ловисе я получил первый практический урок финляндской национальной борьбы. Выйдя на прогулку, я спросил встречного крестьянина о дороге — по-фински. Он сердито ответил мне на гораздо более мне знакомом шведском языке. Я не знал простого факта, что здесь, на побережье, население было шведское и что шведоманы косо смотрели на финноманов.

Мы зажили тихо и мирно; но наше уединение было нарушено одним примечательным эпизодом. В Ловису ко мне приехал политический единомышленник, молодой Дмитрий Евгеньевич Жуковский, и рассказал мне, что наши друзья, Петрункевич, Шаховской и другие, образовали в Швейцарии «Союз освобождения», что они имеют в виду издавать заграничный орган «Освобождение» и предлагают мне сделаться его редактором. Мне это предложение не улыбалось. Едва вернувшись в Россию, я не хотел от нее вновь отрываться с риском остаться навсегда эмигрантом и быть, таким образом, отрезанным от родины. Но я знал, что — независимо от деланного мне предложения — собирается эмигрировать Струве, и посоветовал обратиться с предложением **{198}** о редакторстве к нему. Жуковский, принявший на себя роль передатчика в наших сношениях, обещал сообщить о моем отказе и о моем совете в центр, которым сделался Петрункевич в своем тверском имении, Машуке. Так и было решено. Сам Петрункевич был против моей эмиграции из России. Он не хотел «обречь Милюкова на судьбу Герцена». Как раз тогда он познакомился со Струве, высланным из Петербурга в Тверь. Но о дальнейших моих сношениях с кружком Петрункевича и с нашим органом, начавшим выходить в Штуттгарте, будет сказано ниже. Дальнейшее происходило уже после нашего пребывания в Ловисе.

Для нас найдено было к осени просторное помещение на станции Удельной — в том конце, который считался уже вне пределов Петербурга. Туда мы и переселились; туда — уже в четвертый раз — была перевезена и моя библиотека. На том же самом участке, что и наша дача, жил другой «ссыльный», народоволец 1884 года, поэт П. Ф. Мельшин-Якубович, с женой и ребенком. Люди оказались прекрасные и наши семьи скоро сблизились. Около нас жила также: семья Браудо, служившего в Публичной библиотеке и игравшего большую роль в тайных сношениях только что образовавшихся тогда социалистических партий. Оба они принадлежали к кружку «Русского богатства» и были очень близки с Мякотиными; но Браудо и лично вел свои конспиративные дела, известные только посвященным. Наконец, через линию железной дороги, на некотором расстоянии, находилась Николаевская больница для умалишенных, начальником которой был А. Тимофеев; с ним и с его семьей мы очень сдружились; наши дети учились потом вместе в образцовой школе Герда. С Тимофеевым мы сражались в шахматы, а когда приезжал к нему И. П. Павлов, знаменитый ученый и очень простой и обаятельный человек, играли в городки. Словом, в Удельной мы жили среди своих.

Последние новости из Петербурга привозил нам Браудо; он же налаживал мои сношения с Петербургом; сперва я вел их очень осторожно, но потом осмелел и бывал в Петербурге — 18 минут поездом — чуть ли не каждый день, посещая то Литературный Фонд, то «Русское богатство». *(см. «Александр Исаевич Браудо, 1864-1924» на ldn-knigi)*

{199} В одно из этих посещений я был приглашен к Ф. Д. Батюшкову для встречи с иностранными гостями. Я нашел у него двух американцев, приехавших в Петербург специально в поисках лектора о России для Чикагского университета. Один из них, мистер Харпер, — духовное лицо — был ректором университета. Другой, говоривший очень мало, привлекал к себе сразу удивительно ласковым выражением глаз, излучавших сердечную доброту. Это был Чарльз Крейн, миллионер и акционер мировой фирмы Вестингхауза. Его интересную биографию я узнал от него самого позднее, когда мы сделались друзьями. Но меньше всего он походил на промышленника. По старинной терминологии, его скорее назвали бы «другом человечества». «Человечество», которому он любил помогать, было, правда, совсем особенное. Его привлекали представители старых культур, оттесненных новыми цивилизациями, борцы за униженных и угнетенных. Между другими он полюбил славянство, а из славян — Россию. Его новейшим вкладом было обеспечение при Чикагском университете кафедры, посвященной истории славян. Первым его лектором был молодой тогда Масарик, прочитавший курс лекций в 1901 или 1902 году. Вторым должен был быть я, и Батюшков должен был передать мне это приглашение. Я, разумеется, был польщен и обрадован. Но, во-первых, я еще плохо владел тогда английским языком, а во-вторых, я был ссыльным и ждал административного приговора. Решено было, однако, преодолеть эти трудности: американцы мне давали время для практического изучения языка, а у правительства предполагалось добиться разрешения мне поехать в Америку. Сроком чтения лекций намечалось лето 1903 г., когда при Чикагском университете проектировался съезд американских учителей.

Первой и главнейшей задачей было, конечно, добиться свободного владения языком. До этого мне было далеко. Я помнил, как, приехав из Парижа в Лондон (1897) на увеселительном поезде за 40 франков, я спросил полисмена, как пройти на такую-то улицу, а он, осмотрев меня, вежливо ответил мне по-французски. Мне, очевидно, многого недоставало — просто чтобы **{200}** заговорить, как следует. Мне посчастливилось найти молодую англичанку мисс Хьюз, профессиональную учительницу, которая поняла, что мне нужно, и не думала со мной переучивать грамматику. Каждый день она приезжала на Удельную — и не только мы разговаривали, чтобы усвоить произношение, но я решил вместе с нею приготовить самый текст будущих лекций, написав его прямо по-английски. Тут я только понял, что значит писать прямо на чужом языке. Английская речь, как всякая, имеет свою логику, и это понимание английской конструкции речи мне внушила на опыте мисс Хьюз.

Ее основным правилом было: всякая фраза должна в себе заключать начало, середину и конец; она должна быть понятна сама по себе, без всяких дополнительных или обстоятельственных предложений. С нашей русской привычкой к пухлой речи, с ее немецкими придаточными предложениями, было трудновато следовать этому рецепту. Мне приходилось переделывать каждую фразу своей вступительной главы по нескольку раз, и всё казалось, что ради ясности я жертвую точностью. Очень медленно устанавливалась новая привычка. Для ускорения дела пришлось перенести занятия в Петербург, где мисс Хьюз могла посвящать мне больше времени.

Так прошла зима 1901-1902 года, и я всё еще чувствовал, что моя подготовка далеко не закончена. Между тем, стал известен приговор по моему делу: полгода тюрьмы. Я тогда начал хлопоты, чтобы для усовершенствования в английском языке мне было разрешено провести лето в Англии, под условием возвращения к осени для выполнения приговора. Просьба предполагала известное доверие к моим обещаниям, но — она была удовлетворена. Мы условились с мисс Хьюз встретиться в Лондоне и совершить вместе велосипедную прогулку по живописному Северному Уэлльсу, где жили ее родные. К нам присоединилась приятельница мисс Хьюз, и составилось дружное трио. Мисс Паттерсон получила прозвище «брат Питер», я назывался «брат Поль» и был присяжным фотографом экспедиции, а мисс Хьюз осталась при своем имени, в качестве нашего начальства. Эта поездка, кроме удовольствия, доставила мне и большую пользу, развязав окончательно мой **{201}** английский язык. Приближался, однако, срок моего возвращения и ради экономии мы с моей учительницей решили вернуться морем — по линии Латам, — ее обычной дорогой. За это решение я был наказан морской болезнью, — но приплыл, наконец, благополучно к Петербургской гавани — как раз вовремя, чтобы отправиться с корабля... в тюрьму. Захватив из дома подушку, я отправился в «Кресты», — на Выборгской Стороне, где на этот раз была назначена отсидка. Но — было воскресенье, и меня в тюрьме не приняли. Я вернулся к семье, в Удельную и, уже лучше оснащенный, в сопровождении жены, совершил на следующее утро свое путешествие в тюрьму. На этот раз келья была приготовлена и тюрьма меня приняла.

6. ВТОРАЯ ОТСИДКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ

«Кресты» были тюрьмой менее комфортабельной, нежели помещение на Шпалерной. Со Шпалерной «пересылали», здесь — отсиживали. Но здесь было мне спокойнее. Не грозили ни показания шпиона, ни подвохи Шмакова. Res была judicata (Дело было решено.); оставалось отсидеть определенный срок, — и мое «дело» было кончено. К тюремному режиму я привык; уже не было прежней нервности. Не было и назойливого перестукивания заключенных, то ожидавших допроса, то обсуждавших его последствия. Жена приходила на регулярные свидания, присылала пищу и приносила новости. Друзья по-прежнему снабжали сладостями, семья Мякотиных приносила мои любимые нарциссы. Помимо книг из тюремной библиотеки, я продолжал, по-прежнему же, получать из своей собственной библиотеки и из Публичной всё, что было нужно; я продолжал обрабатывать третий том «Очерков». Словом, это была, своего рода, временная перемена квартиры, и я мог терпеливо дожидаться конца полугодия тюремной отсидки, не опасаясь никаких новых сюрпризов.

Сюрприз, однако, случился — весьма серьезный и самый неожиданный. Я уже просидел половину срока, **{202}** когда раз, поздним вечером, меня вызвали из камеры и велели надеть пальто. Что могло это значить? Не допрос, конечно. Но и не освобождение: меня не отправляли «с вещами»... И везли меня не на Тверскую. Тюремная карета остановилась перед домом министерства внутренних дел на Фонтанке, Меня повели не через обыкновенный вход, а какими-то таинственными, пустыми, слабо освещенными коридорами. Я тут даже струхнул немного. Я проходил с провожатыми через несколько дверей, и за каждым входом вырисовывалась неподвижная пара атлетов в костюме скорее лакеев, нежели стражи или чиновников. Наконец, я очутился в передней — мне сообщили, что я вызван для свидания с министром.

Очевидно, Вячеслав Константинович Плеве был хорошо забаррикадирован против непрошенных визитов. Меня ввели в роскошно обставленный мягкой мебелью кабинет Плеве. Хозяин сидел за большим столом и любезным жестом предложил мне занять место в кресле, против него, по другую сторону стола. Дальше было — еще удивительнее. Плеве приказал принести чай и усадил меня за маленький чайный столик, уютно расположенный — как бы для доверительной частной беседы.

В этом тоне он и начал разговор — с комплиментов по поводу моих «Очерков русской культуры». Отсюда он перешел к похвалам моему учителю, проф. Ключевскому, и, наконец, сообщил мне, что Василий Осипович говорил обо мне государю, что меня не следует держать взаперти и что я нужен для науки. Известно, что В. О. был хорошо принят в царской семье и давал уроки чахоточному брату царя Георгию, которого держали в Абас-Тумане. Я тут, кстати, вспомнил, что во время крымской поездки видел экземпляр своих «Очерков» в Ливадийском дворце, в небольшом шкафу, среди случайного подбора книг в хороших переплетах, какие обыкновенно дают в награду учащимся в учебных заведениях.

«Государь, — продолжал Плеве, — поручил мне предварительно познакомиться с вами и поговорить, чтобы вас освободить в зависимости от впечатления». Он и просил меня рассказать откровенно и искренне о всех моих недоразумениях с полицией. Я заметил уже, что мое досье лежало на рабочем столе министра. Плеве даже успел процитировать оттуда несколько внешних **{203}** данных. Этим как бы заранее устанавливался контроль над пределами моей откровенности.

Должен признать, что этот приступ к беседе, не как с арестантом, а как с равным, — и особенно самый факт предстательства за меня Ключевского произвели на меня сильное впечатление. Мне, в сущности, почти нечего было скрывать, и я сам считал преследование меня полицией нелепым недоразумением режима. Я заговорил с Плеве тоном простого собеседника и придал оттенок шутки моим диалогам со Шмаковым, не обнаружившим никакого моего преступления. Признал, конечно, и доброе отношение ко мне молодецки, вызвавшее десятью годами раньше, мое изгнание из университета, высылку из Москвы и допрос меня Лопухиным. Вся эта беседа шла в мирных тонах, без примеси криминального элемента, и обещала кончиться благополучно. Но я не ожидал, что, подготовив настроение, Плеве окажется много искуснее Шмакова и сразу поймает меня на переходе от истории к современной политике.

Он спросил меня в упор: что я сказал бы, если бы он предложил мне занять пост министра народного просвещения! Насколько искренне было это испытание, я не могу судить; во всяком случае, я его не выдержал — и сорвался. Я ответил, что поблагодарил бы министра за лестное для меня предложение, но, по всей вероятности, от него бы отказался. Плеве сделал удивленный вид и спросил: почему же? Я почувствовал, что лукавить здесь нельзя — и ответил серьезно и откровенно. «Потому что на этом месте ничего нельзя сделать. Вот если бы ваше превосходительство предложили мне занять ваше место, тогда я бы еще подумал». Этот свой ответ я помню буквально.

Плеве узнал обо мне из этого ответа, наверное, больше, чем ожидал. Принял ли он его за браваду, за мальчишескую выходку или почувствовал серьезность в тоне ответа, он, во всяком случае, нашелся и не показал вида, что хочет переменить характер беседы. Он, конечно, был и связан ручательством Ключевского и поручением государя. Говорить больше было нечего, и Плеве кончил свидание словами, что обо всем доложит государю и на днях снова меня вызовет.

Прошла неделя после этого визита, и я уже начинал **{204}** считать, что он не будет иметь благоприятных последствий. Но за мной опять приехали и прежним порядком я был доставлен в переднюю министра, миновав благополучно великанов в ливреях. Прием, однако, резко контрастировал с прежним. Дальше передней меня на этот раз не пустили — и заставили подождать. Вышел, наконец, Плеве и совсем уже другим тоном, стоя передо мной, как перед просителем, тут же в передней резко отчеканил свой приговор. Его короткое обращение я запомнил наизусть: так оно было выразительно. «Я сделал вывод из нашей беседы. Вы с нами не примиритесь. По крайней мере не вступайте с нами в открытую борьбу. Иначе — мы вас сметем!»

Эти слова, произнесенные повышенным тоном, сопровождались красноречивым жестом опущенной вниз ладони слева направо. Потом, после паузы, министр продолжал более спокойно: «Вы живете на Удельной. Продолжайте там мирно жить и не бывайте в Петербурге. В особенности, не подписывайтесь под петицией писателей, которая там готовится. Иначе вы меня подведете. Я дал о вас государю благоприятный отзыв... Вы свободны»... Плеве повернулся и, не подав мне руки, ушел в кабинет.

А мне его стало жалко. И после первой беседы, и после этой вынужденной амнистии, данной мне невольно, он мне представился каким-то Дон-Кихотом отжившей идеи, крепко прикованным к своей тачке — гораздо более умным, чем та сизифова работа спасения самодержавия, которой он был обязан заниматься. Такое же впечатление произвела на меня потом пророческая записка Дурново, другого охранителя крепости, безвозвратно приговоренной к сдаче. Только Плеве был более цельной и сильной натурой.

Через несколько дней меня и на самом деле освободили.

7. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ (1903)

Остававшееся до весны 1903 г. время я употребил, главным образом, для выработки программы курса. По соглашению с Крейном я должен был превратить материал лекций в книгу о России. Книга о России для **{205}** иностранцев — это снова напоминало мне исходный пункт моих «Очерков», — книги Макензи Уоллеса и Анатоля Леруа Болье. Но американцы, конечно, ждали от меня актуальностей. Россия была в состоянии кризиса. "Russian Crisis" (или "Catastrophe?") — так я уже предполагал и озаглавить книгу. К этой цели надо было приспособить и распределение материала. Я решил выдвинуть вперед — историю политической мысли в России, как основу, около которой должно было группироваться все остальное.

Каждое из главных течений политической мысли должно было быть представлено, по примеру «Очерков», отдельно, в своем внутреннем единстве, что давало возможность нагляднее представить процесс эволюции каждого течения. Я разделил таким образом содержание лекций на три отдела: консерватизм, либерализм и социализм в России. Но это была всё же не «Россия» в ее целом, в ее верованиях, в ее учреждениях, в ее социальном строе. Мой план давал возможность сообщить основные данные обо всем этом в виде дополнений и комментария к истории политической мысли.

К отделу о «консерватизме» я отнес эволюцию верований и учреждений старой России, к «либерализму» — историю дворянства и реформы учреждений, к «социализму» — историю крестьянства и рабочего класса. Этот план должен был быть выполнен в публичных лекциях на летном учительском съезде в Чикаго. Начало моего текста было уже написано и не раз переписано при содействии моей учительницы. Остальное изложено мной конспективно. Но все это составило только половину будущей книги. Собственно, история русской «катастрофы», доведенная до последних времен, т. е. до конца 1903 года, требовала отдельной трактовки. Забегая вперед, я прибавлю, что, при посредничестве Крейна, я получил приглашение прочесть курс лекций при очень известном и авторитетном в Америке учреждении, названном основателем по имени поэта Лоуэлля, Lowell Institute в Бостоне. В этот курс я и вместил рассказ о русской «катастрофе». И моя книга получила двойное заглавие, соответственно двум темам курсов: «Россия и ее кризис», "Russia and its Crisis". В бостонских лекциях я должен был подойти **{206}** к самому началу русской революции. Фактически изложение превращалось, таким образом, в пророчество.

Первое мое путешествие по океану сошло очень благополучно. Я, запасся лекарством против морской болезни (Mothersill Seasick), которое постоянно употреблял и впоследствии, с неизменным успехом, хотя мои друзья и утверждали, что тут больше действует внушение. Я ехал во втором классе, и пестрая второклассная публика не вызывала охоты к общению; тем более свободного времени оставалось для обдумывания лекций. На шестой день показалась знаменитая статуя Свободы, а за ней и единственная в свете панорама небоскребов Нью-Йорка. В те времена ни кино, ни иллюстрированные журналы не популяризировали так, как впоследствии, вида этих мировых достопримечательностей, и я имел возможность получить впечатление, так сказать, из первых рук. Насколько статуя Свободы, благодаря историческим ассоциациям, мне импонировала своим одиноким величием на скале Океана, настолько же показалась странной неполнозубая челюсть перспективы Нью-Йорка. Конечно, выстроившиеся в нестройный ряд гигантские небоскребы не могли не импонировать; но, помимо того, что их действительные размеры нельзя было оценить издали, эти бесчисленные отверстия окон и казарменная архитектура производили впечатление каких-то безличных человеческих ульев или муравейников. Только потом, поднимаясь по «рапидному» лифту на какой-нибудь пятидесятый этаж, можно было понять, что это такое. Надо прибавить, что здесь была представлена только служебная сторона американской жизни; вечером весь квартал небоскребов пустел, и вся толпа служащих во всевозможных учреждениях устремлялась по подземным линиям метрополитэна на север города, в «сотые» номера улиц с жилыми квартирами.

При высадке в Нью-Йорке я был поражен другой чертой американской культуры, правда, касавшейся ее внешнего темпа: "rush", как принято говорить в Америке. Репортеры, являющиеся на пароход раньше высадки, обыкновенно просматривают списки пассажиров и выбирают свои жертвы. На этот раз одной из жертв оказался я. Первый вопрос, кажется, всегда один и тот же: как **{207}** вам нравится Америка? Второй: цель вашего приезда. Кое-как я объяснился. Высадясь на пристани, я, первым делом, купил газету — и, к своему изумлению, нашел там свою собственную фотографию и длинное интервью со мной, больше чем наполовину придуманное репортером!

Крейн поместил меня в своем доме, в одном из тогда еще аристократических кварталов «Пятого проспекта» (Fifth Avenue). Потом, много лет спустя, этим кварталом завладели негры, и Крейн переселился на 59-ю улицу. Южная часть «Пятого проспекта» сохраняла еще вид уютных особняков, и в одном из них жила семья Крейна. Она состояла из родителей и двух дочерей. Старшая, Флоренс, вырастала романтической барышней, с художественными вкусами. Впоследствии она вышла замуж за сына Масарика. Младшая представляла другой тип. Вопреки своей глухоте и немоте, она росла жизнерадостной хохотуньей.

Недостаток речи и слуха тогда уже был преодолен в Америке. Она легко читала по губам собеседника и отвечала несколько глухими, но понятными звуками. Потом меня свезли в учреждение, покровительствуемое Крейном, где множество глухонемых девушек обучались этому искусству, возвращавшему их к участию в жизни. Мне предложили рассказать им о России: девочки расселись полукругом около моего кресла и внимательно смотрели мне в рот. Затем они стали предлагать вопросы, на которые я отвечал таким же способом. Чтобы убедить меня, что они меня прекрасно понимали, мне предложили назвать мою русскую фамилию. Я произнес раздельно: Милюков. Барышни, сперва с некоторыми дефектами, а при повторении вполне точно, воспроизвели громкими голосами непонятное для них сочетание звуков. Я вышел из института, совершенно потрясенный этим опытом: какое громадное количество зла и страданий могло быть вычеркнуто этим способом из жизни!

И я не понимаю, почему американский опыт до сих пор остался почти неизвестным в Европе, где всё еще глухонемые разговаривают при помощи пальцев, то есть только между своими. Дочь Крейна любила жизнь и воспользовалась ею полностью. Она потом вышла замуж, занялась фермерством и народила многочисленное, совершенно здоровое и нормальное потомство.

{208} Крейн познакомил меня также со своим отцом. Как сейчас вижу эту крепкую коренастую фигуру, полную сил, несмотря на годы, каким я его встретил в его оранжерее, засаженной виноградом. Он не имел вида ни светского, ни даже культурного в нашем смысле человека; но он, однако, создал богатство Крейнов своим личным трудом и уменьем использовать тогдашние возможности гигантского роста Америки. Крейн рассказал мне, по поводу этой встречи, свою собственную историю. Зеленой молодежью часто овладевает страсть к побегам в неведомые страны. Но Крейн уже не был ребенком и его страсть имела определенную цель, — Ост-Индию и Индо-Китай, куда прямо из Нью-Йорка направлялись корабли разных наций.

Не получив согласия отца и средств на поездку, юноша в один прекрасный день пришел в гавань

и, как был, сел на одно из судов, отходивших на Дальний Восток. Что было дальше, Крейн мне не рассказал; но здесь было положено начало его привычки к дальним странствиям, которая не оставляла его до самых последних годов его жизни. Выбор путешествия, однако, был не случайным, и к «глобтроттерам» Крейна причислить нельзя. Англия, Франция были для него не целью, а промежуточной станцией, на которой он останавливался на несколько дней, чтобы повидать нескольких добрых знакомых. К этим странам европейской культуры он относился определенно отрицательно; его тянуло дальше, в страны, в которых сохранялись остатки старой восточной культуры: Китай, Россия, Балканы. В этом сказался стопроцентный американец, не оторвавшийся от собственной старины, такой еще недавней. В путешествиях Крейн не терял из вида специальных интересов собственных предприятий; но он не ограничивал себя узким горизонтом своего отца, основателя фамильного благосостояния. Он представлял уже второе поколение после самородка и самоучки отца; его состояние выдвигало его в состав «верхних десяти тысяч» (но не аристократии «Мэйфлауера»), а приобретенные им познания давали вес его мнениям по вопросам восточной политики. Он был дружен с несколькими президентами — и был даже одно время американским послом в Китае.

Познакомившись с этими двумя поколениями, я мог **{209}** следить за следующими двумя, выросшими на моих глазах в течение четверти века, когда я мог лично наблюдать эволюцию Америки. Третье поколение уже не удовлетворялось американскими горизонтами и стремилось стать космополитами по существу; оно еще не растрачивало отцовских состояний, но на их основе лучшие из них создали Америке влиятельную роль в Европе и в мировой политике. Наконец, четвертое поколение, — последнее, которое я мог наблюдать на внуках и правнуках Крейна, — воспитывалось совсем по-европейски, up to date (Согласно с требованиями современности), и увлекалось последними «криками» европейской культуры. Из этой молодежи вышли любители спорта, театра и т.д., но их интересы ограничивались кругом личных достижений в этом направлении. Крейн привозил мне в Париж фотографии и отчеты этих достижений, ими даже гордился; но было что-то в этих похвалах от настроений курицы, высидевшей утят. Как бы то ни было, наблюдая семейную историю Крейна, я получил ключ к известной части моих американских наблюдений.

Приближался срок открытия учительского съезда. Я простился с Крейном и поспел в Чикаго к самому дню торжественного открытия. Площадь между университетскими зданиями была полна собравшимися на съезд слушателями, а посреди площади стояла палатка, в которой ректор Харпер принимал приглашенных. В процедуру входило представление меня собравшимся; оно состояло в том, что я проходил мимо толпы, ректор называл мое имя, я говорил: how do you do (Как поживаете?); жал руку очередному и ожидал следующего. Рукопожатий вышло несколько сот, и рука порядочно распухла. По окончании церемонии мне показали мое помещение в великолепно обставленном со всеми удобствами студенческом дортуаре. Мне дали затем черную мантию и шапочку, без которых преподаватель не может выступать перед аудиторией. Я очень пользовался этой мантией, чтобы прикрывать некоторые упрощения своего костюма: жара в Чикаго, усиленная влажностью воздуха с озера Мичигана, на **{210}** котором стоит город, была совершенно невыносимая в эти месяцы.

Я перезнакомился с профессорами, особенно с молодыми, с которыми мы постоянно сходились в небольшой столовой для преподавателей, и с некоторыми из них подружился. Проф. Деннис ввел меня в свою семью, где мы очень мило проводили вечера, — даже, кажется, музицировали. После шести часов надо было обязательно надевать evening dress (Вечерний костюм.), и Деннис предусмотрительно переносил к себе мой смокинг, чтобы я мог у него же переодеться к обеду. Наискось от меня за столиком в столовой я заметил фигуру лектора-японца, который одновременно со мной гастролировал на учительском съезде. Сперва он держал себя изолированно, потом познакомился — и стал аккуратно посещать мои лекции о России, на что я ответил посещением его лекций о Японии. Надо сказать, что тут меня ожидали довольно неприятные ощущения. Японец всё время поддерживал шутками интерес аудитории, а между лекций шутками очень умело вел пропаганду в пользу Японии. Мои лекции были перегружены по содержанию и мрачны по тону: мне приходилось подчеркивать примитивность культуры и раскрывать наши слабые стороны.

Напомню, что это происходило в 1903 году, накануне Русскояпонской войны. Японец меня спрашивал в столовой, любят ли русские своего царя, как они, японцы, любят микадо, — и я никак не мог отвечать положительно, чувствуя, конечно, что в этом противопоставлении кроется элемент нашей слабости. Но я приехал говорить правду, а не вести пропаганду. И я не знал того, что, вероятно, уже знал японец: того, что русско-японский конфликт был не за горами. Во всяком случае, из этой встречи я вынес определенные впечатления, многое мне осветившие.

Я не упомянул еще, в числе новых знакомых, о профессоре Арнольде, молодом ученом, который

в это время составлял, по клинообразным надписям, ассирийский словарь. Он был — и чувствовал себя в этой среде — чужаком, не имеющим твердого социального положения. Немецкий еврей по происхождению, натурализованный **{211}** американец, приземистый брюнет с живыми глазами и быстрыми движениями, он как будто чувствовал некоторую аналогию между нами, угадывал мои внутренние настроения и чаяния, сделался самым внимательным моим слушателем и мало-помалу привязался ко мне самой настоящей, нежной дружбой. Он много расспрашивал меня о России и, в свою очередь, видя, что я совершенный новичок в Америке, знакомил меня с этой новой средой и давал практические советы, как с ней обращаться. Заметив невыгодные стороны моих лекций сравнительно с японцем — и отдавая мне полное предпочтение, — он сделался моим доброжелательным критиком: попросил текст моих лекций (я читал по рукописи, не доверяя еще своему знанию языка), прочитывал их со мной предварительно, отмечал дефекты фразеологии и произношения, восставал против излишних длиннот и непонятных для аудитории намеков. Словом, он делал, что мог, для моего успеха, и я не мог не оценить этого неослабевающего, интеллигентного внимания.

Я, впрочем, не могу пожаловаться и на мою аудиторию. У меня не было так много слушателей, как у японца, и мои слушатели не имели повода часто смеяться, так как я не соблюдал правила Цицерона и не говорил о «тени осла». Но те, кто ходили ко мне, слушали очень внимательно и аккуратно записывали, а по их вопросам после лекции я видел, что они усваивали слышанное. Я мог судить и потому о моем сравнительном успехе, что слух обо мне распространился в городе, и я, чуть не ежедневно, начал получать приглашения от местных клубов и других организаций говорить о России, которая тогда начинала интересовать широкую публику. Я — и тогда, и потом — не отказывался ни от одного приглашения — не только ради распространения верных сведений о России, но и для того, чтобы самому научиться говорить экспромтом и усвоить себе особенности американского произношения моих собеседников. В этом отношении мои импровизированные доклады «с прениями» дали мне очень много. К концу лекций, благодаря им, а также и Арнольду, я уже выступал гораздо смелее, чем вначале, и позволял себе отрываться от текста.

Между окончанием лекций в Чикаго и началом **{212}** осеннего курса в Lowell Institute оставался значительный промежуток времени. (В моих статьях в «Русских записках» (июль, 1938) этот ход событий перепутан. (Примеч. автора).). Мой Бостонский курс далеко не был настолько подготовлен, как Чикагский. И Арнольд предложил мне уединиться для работы и для отдыха в полном одиночестве, у его друзей, в небольшом поселке у станции Бельмонт, недалеко от Бостона. Я последовал его совету — и был очень доволен.

Я попал в небогатую семью, состоявшую из пожилых мужа и жены: муж целый день отсутствовал (он был, помнится, мелким служащим в банке), а жена занималась хозяйством. Я был предоставлен самому себе, за исключением вечера, когда муж, усталый, возвращался со службы и отдыхал за пасьянсом или, при моем участии, за шахматами. Это был новый для меня, мало тронутый культурой, тип настоящего коренного американца, как я привык представлять его: простой, искренний, честный, без тени претензий, и в то же время крепкий, прочно сидящий на корню прежних поколений. Если угодно, новый вариант моего Крейна и его друзей, к которым он возил меня в их богатое поместье на Lake Geneva, где мы катались на их яхте. Это были супруги Робинсоны: муж — благотворитель, со-бравший и пожертвовавший городу свой музей живописи, один из trustées (Попечители.) Чикагского университета; жена — эмансипированная по-американски. То же простое отношение, неограниченное гостеприимство, отсутствие всякой претенциозности: одни и те же черты, лишь поверхностно измененные разными уровнями благосостояния и культурности. Мне казалось, что, узнав эти типы, я знаю старый, коренной кряж Америки, уже подвергшийся действию новых времен, но не утративший основных черт колонистов XVII века.

Однако, моему мирному житию в Бельмонте надо было положить конец. Я скоро увидел, что для подготовки курса мне не хватает данных, и я надеялся найти кое-что в богатейшей библиотеке Гарвардского университета. Я знал в Гарварде Лео Винера, с которым познакомился в Софии и который звал меня туда; а, главное, **{213}** обо мне был осведомлен, благодаря Крейну, ректор университета Август Лоуренс Лоуэлль, из фамилии основателя Института, человек чрезвычайно влиятельный, автор известной книги о политических партиях в европейских государствах, переведенной по-русски. Он пригласил меня остановиться у него в доме — очень большая честь, от которой я не мог и не хотел отказываться. Итак, я переселился в Гарвард; Лоуэлль отвел мне верхнюю комнату в своем обширном доме, — обставленную со всяким комфортом, включая и нужное мне уединение. Я тотчас познакомился с библиотекарем и получил разрешение производить свои розыски у самых полок с книгами, в интересовавшем меня отделе.

Эти розыски увенчались неожиданным успехом. Я нашел комплект революционных русских

газет, издававшихся заграницей в 1880-х—1890-х годах. Надписи на комплектах свидетельствовали, что собрал их русский эмигрант Панин (кажется, Владимир по имени). По этому материалу гораздо лучше я мог восстановить историю русского революционного движения в одном из переходных его фазисов — в 90-х годах. Отдел об эволюции русского социализма тех годов в моей книге составлен, главным образом, по этому гарвардскому материалу. (В «Р. З.» рассказано по этому поводу, как примирительное настроение 90-х годов ввело меня в заблуждение. Здесь об этом говорится в другом месте. (Примеч. автора).). Винер помогал мне ориентироваться в Гарварде, познакомил с профессорами и пригласил в свое маленькое именье, где я познакомился с его милой женой, русской, и с маленькими тогда детьми.

Наступил, наконец, момент для начала лекций. Лоуэлль непременно хотел сам сопровождать меня и представить слушателям. Мы поехали с ним и его женой в его автомобиле. Так состоялась торжественная инавгурация меня в институте, носившем его фамильное имя.

Lowell Institute, основанный в 1837 году, был учреждением, пользовавшимся во всей стране заслуженной популярностью. Бостон был для него подходящей рамкой. Бостон пользовался в Соединенных Штатах репутацией «американских Афин». Он славился, прежде **{214}** всего, своей аристократической элитой «десяти тысяч» избранных, производившей свое начало от первых колонистов Америки, приехавших сюда на корабле "Mayflower" и высадившихся в 1620-х годах на скале Плимута, недалеко от теперешнего Бостона. Но эта аристократия, очень немногочисленная, славилась также и своим высоким уровнем интеллигентности. Говорят, теперь то и другое, аристократизм и интеллигентность, сильно потеряли перед наплывом новых, разношерстных и разноплеменных элементов населения.

Но тогда, в 1903 г., я застал эту репутацию неприкосновенной. Lowell Institute вполне отвечал этой репутации. Это не был университет, а учреждение для чтения публичных лекций. Но в лектора избирались обыкновенно только международные знаменитости. Такой знаменитостью и был другой лектор, приглашенный на эту сессию, итальянский профессор Паис, знаток истории Рима в его раннюю эпоху. Я был, так сказать, другой иностранной знаменитостью — на час: во-первых, потому что был аккредитован Крейном, а, во-вторых, потому что представлял Россию, приближавшуюся к своему кризису. И вот тут, при сравнении с проф. Паисом, я впервые почувствовал, что я крепко стою на ногах в самом культурном городе Америки. Паис, при всех своих знаниях, так плохо говорил по-английски, что даже я, научившийся на собственном опыте различать акценты иностранцев, говорящих на этом языке, очень плохо понимал его речь.

На первой лекции его аудитория была так же многочисленна, как моя: большой зал был полон. И я пробовал его слушать, ожидая от него новостей после курса Герье. Но постепенно аудитория растаяла, и профессор едва мог закончить свою серию лекций перед пустым залом. Моя аудитория не уменьшалась, хотя мои лекции и представляли для нее большое испытание. Я порядочно мучил ее, помимо разговора о неизвестных вещах, всевозможными рядами цифр на черной доске: рост стачек, количество ссылок и смертных казней, распространение нелегальной литературы и т.д. Но слушатели не только преодолевали это, а и в свою очередь смущали меня вопросами, почему то или другое вышло так, а не иначе. Это были, в большинстве, не студенты, а взрослые люди, накопившие собственный **{215}** жизненный опыт и пополнившие его серьезным чтением.

Их вопросы вели вглубь, и мне иной раз приходилось пасовать перед ними и на них проверять собственные взгляды. Как я был рад, что мог здесь уже не читать по тетрадке, а от своего конспекта переходить немедленно к импровизации... Чтение лекций было моей профессией, но я не запомню такого высокого уровня аудитории, как это было в Бостоне. И со своей стороны Бостон наградил меня таким успехом, что, когда через 18 лет Lowell Institute вторично пригласил меня читать лекции о России, то было заранее условленно, что я каждую лекцию повторю перед двумя аудиториями.

С именем Лоуэлля мне пришлось встретиться в Бостоне еще в одной комбинации: мисс Лоуэлль, поэтесса, считалась там продолжательницей традиции поэта, имя которого носил институт. Она собирала у себя кружок молодых последователей новейших литературных течений. Пригласила она и меня.

На столе у нее лежали последние нумера французских журналов; здесь склонялись во всех падежах имена Малларме, Рэмбо, Верхарна, Верлена, и мне было очень совестно чувствовать, что одних из них я знал только по имени, а имена других впервые здесь услышал. Скоро мне пришлось убедиться, что и у себя на родине я отстал от своих младших современников, декадентов и символистов. Стихи мисс Лоуэлль подражали французским, и я не мог присоединиться к хору ее почитателей. По моей классификации, это было уже поколение внуков Крейна. Мое впечатление было, что это течение опередило и Америку. И я мог пользоваться в этом кружке лишь некоторым succès d'estime

(Посредственный успех, основанный на почтении.). Поклонников Толстого и Достоевского я встречал в других местах Америки — и в других условиях.

Бостоном закончилась моя первая американская миссия. Но Крейн уже наметил мне новую поездку. В его плане Чехия и Россия были обработаны Масариком и мною (правда, Масарик так и не написал условленной книги). Оставались балканские славяне. Он знал о моем пребывании в Болгарии и о моих поездках по Македонии — и предложил мне продолжить лекции в Чикаго, взяв эту тему. Я ему сказал, что мне нужно предварительно **{216}** пополнить мои сведения о западной части Балканского полуострова, то есть о сербах, хорватах и словенцах. Мы условились, что летом 1904 г. я объеду эти страны, а курс прочту в течение семестра 1904-1905 гг. Я решил тогда посвятить остаток зимы 1903-1904 гг. — до Балканской поездки — Лондону и Британскому музею.

8. ЗИМОВКА В АНГЛИИ

Это была моя первая длительная остановка в Англии, и я имел теперь возможность ближе ознакомиться с английским бытом и сойтись с деятелями тогдашней русской эмиграции. Среди них один стоял ко мне ближе других: Исаак Владимирович Шкловский, старый сотрудник «Русских ведомостей», благодаря фельетонам которого вся Россия следила за успехами прогрессивных идей в старой стране политической свободы.

(*дополнение – ldn-knigi:*



Шкловский (Исаак Владимирович) (1865-1935) - *талантливый публицист и беллетрист, известный под псевдонимом Дионео. Родился в 1865 г. в еврейской семье, в Елизаветграде, где и учился в гимназии. Писать начал с 16 лет, помещая в южных газетах стихотворения, рассказы, критические статьи. С 1886 г. по 1892 г. был водворен в Средне-Колымске Якутской области, где одновременно с бытом инородцев изучал новые языки; печатал в "Одесских Новостях" и "Русских Ведомостях" беллетристически-этнографические очерки, из которых первый - "К полярному кругу" - вышел отдельно и по-английски. С 1893 г. состоял постоянным сотрудником "Русских Ведомостей", где поместил ряд сибирских очерков, собранных в книге: "На крайнем северо-востоке Сибири" (СПб., 1895; французский перевод, 1896). Еще ранее "Очерки крайнего северо-востока" Шкловского были напечатаны в "Записках Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества" (Иркутск, 1892). По предложению редакции "Русских Ведомостей", отправился в 1896 г. в Лондон, где жил печатая свои очерки английской жизни в "Русских Ведомостях" (за подписью Sh.) и с 1897 г. в "Русском Богатстве" (за подписью Дионео); статьи из "Русского Богатства" изданы отдельно редакцией этого журнала в переработанном виде под заглавием "Очерки современной Англии" (СПб., 1903). Кроме того, Шкловский писал рассказы (в "Русских Ведомостях", сборниках "На славном посту" и "Братская помощь") и печатал статьи в английских изданиях ("Academy", "Daily Chronicle" и др.- ldn-knigi).*

Можно сказать, что Шкловский и Иоллос, корреспондировавший из Берлина, были истинными воспитателями умеренного течения русского радикализма. Шкловский при этом не идеализировал ни Англии в целом, ни русской эмиграции, был очень нервен и настроен скептически. Но все политические течения уважали его за его моральную стойкость и политическую честность, и в этом отношении он мог считаться одной из центральных фигур русской эмиграции в Лондоне.

Большинство ее представителей оставались не только наблюдателями, но и практическими политиками — и были левее Шкловского. И с этой точки зрения занятая им позиция была всего ближе к моей. Патриархом эмиграции был Н. В. Чайковский, заслуженный «шестидесятник», со всеми достоинствами и некоторыми недостатками этой исторической формации. С своей абстрактностью мысли и умеренностью тактики он как раз подходил к общему тону английского социализма и английских рабочих организаций. Я не имел связи с этими кругами, но как-то раз Шкловские меня увлекли на социалистический митинг, где Чайковский докладывал о России, а председательствовал Гайндман. Чайковский шепнул ему о моем присутствии в публике, и Гайндман, к моему большому смущению, после речи Чайковского вызвал **{217}** джентльмена из России рассказать свои свежие впечатления.

В Лондоне я чувствовал себя ближе к официальной России, нежели в Соединенных Штатах, и, наученный болгарским опытом, мог опасаться реакции из правительственных сфер. Шкловские были возмущены «провокацией» Чайковского, но на него нельзя было сердиться: это был человек, «в нем же нет лести»

Ближе я сошелся с английскими радикалами, для которых была достаточна моя репутация узника в царской тюрьме и провозвестника грядущей русской революции. Гардинер, видный

журналист, устроил мне многолюдный банкет, фотография которого долго у меня хранилась; другой радикал Перрис предложил написать популярную брошюрку о России в желтенькой серии его "Home Library". Я честно пытался, но так и не смог вместить в крошечный томик свою большую тему. Организовал мне «чай» и молодой кружок талантливых публицистов и историков; из них помню Джорджа Глазго, участника журнала "The Round Table", Ситон Ватсона, дружба с которым сохранилась надолго, Брейльсфорда, самого радикального из них, моего будущего коллегу по поездке комиссии Карнеги на Балканы. Я познакомился и с семьями двух последних. Дальнейшее мое знакомство с представителями lower middie class (Нижний средний класс.) Англии (иерархия общественных слоев строго соблюдалась тогда — и, вероятно, соблюдается и теперь в социальном строе Англии) произошло при посредстве того пансиона (вроде pension de famille), где я поселился у хозяйки мисс Гловер, у самого Британского музея, на Russell Street, которая теперь исчезла, уступив место расширению музейных зданий. Единственным критерием для состава жильцов этих учреждений был (и остается) скромный размер их бюджета. У мисс Гловер, кроме меня, жили и столовались столь различные обитатели, как друг хозяйки, местный пастор, — единственный считавший себя у себя «дома», шведский студент, кончавший инженерное образование, почтенная дама, вдова губернатора Новой Каледонии, моя соседка по номеру и т.д.

Швед оказался любителем скрипок; он достал кусок дерева от дома XVII столетия и заказал сделать из него скрипку, **{218}** которая оказалась звучного и приятного тона; я увлекся его примером и из того же куска дерева заказал другую; мой опыт оказался далеко не таким удачным. Но моя соседка тоже возила с собой новую скрипку фирмы Lowendal и, польстившись на мою «древнюю», со мной обменялась. Чтобы дополнить картину этой тихой жизни в скромной обители мисс Гловер, прибавлю, что я испытал здесь на себе последствие неприспособленности к зиме английских помещений. В тесной комнате, между нагретым камином и полуоткрытой половиной подъемного окна, несшего с улицы холод, трудно было не простудиться. Я пролежал несколько времени в постели, под наблюдением местного врача (врачи строго соблюдают преимущественные права над жителями своего квартала).

Но я должен вернуться к составу русской эмиграции, чтобы упомянуть еще об одном видном члене ее, Феликсе Волховском. Я застал его полуглухим, в полупараличном состоянии. Но в нем нельзя было не узнать старого революционера. Он создал — или, точнее, возобновил созданный Герценом в Лондоне фонд вольной печати, издавал бюллетени о новейших событиях в России и заботился о пополнении каталога изданий новыми брошюрами.

(дополнение, ldn-knigi: Источник - http://www.poesis.ru/poeti-poezia/volhovsk/biograph.htm

Феликс Волховский

1848, Полтавщина – 1914, Лондон

Волховский Феликс Вадимович, выходец из старинного дворянского рода, раннее детство провёл в Новгороде-Волынском и в поместье деда, гимназические годы – в Петербурге и Одессе. Учился как вольнослушатель на юридическом факультете Московского университета, где попал в революционную среду. Бросил университет, так как на занятия не было ни времени, ни средств, работал приказчиком в книжном магазине. В 1868 был арестован за участие в организации пропагандистской группы, полгода провёл в Петербурге за решёткой, после чего был отдан матери на поруки и под надзор полиции. В 1869 за близость к кружку Нечаева снова был арестован, провёл в предварительном заключении более двух лет. Там и начал писать стихи. Освободившись, более года прожил в деревне на Кубани, затем продолжил революционную деятельность в Ростове и Одессе. В Ростове выпускал рукописный журнал «Вперёд» с отделом поэзии, почти целиком заполнявшимся его стихами. После нового ареста в 1873 и попытки побега был приговорён к лишению всех прав и вечной ссылке в Сибирь. Пока он находился в тюрьме, у него умерла жена и ребёнок. В ссылке жил сначала в Тюкалинске Тобольской губернии, где добывал средства к жизни исключительно физическим трудом, затем в Томске, интенсивно занимаясь литературной деятельностью как в местной, так и в столичной печати. За фельетоны был выслан в Иркутск, откуда переехал в Читу, затем в Кяхту. Отсюда бежал через Владивосток в США, навсегда покинув Россию. Последние годы жизни провёл в Лондоне, занимаясь издательско-революционной деятельностью. Единственный сборник стихов «Случайные песни» вышел в 1907 в Москве и вскоре был конфискован властями. ldn-knigi)

Наконец, я не могу забыть об одном эпизоде, давшем мне возможность увидеть в настоящем свете знаменитого анархиста Кропоткина. Вождь анархизма — первый после Бакунина: это звучало чем-то таинственным и грозным. *(ldn-knigi; О Кропоткине см. http://www.history.dux.ru/)* И я не мог понять, почему Шкловский, такой умеренный и незлобивый, восторгался Кропоткиным и был его горячим поклонником. Он, наконец, мне предложил поехать в Брайтон, где Кропоткин жил с семьей. Не-

возможно забыть дату этой поездки: это было 10 февраля 1904 г., когда в Англию пришли первые телеграммы о внезапном нападении японцев на Порт-Артур. Мы застали Кропоткина в страшном волнении и негодовании на японское предательство. Я ожидал всего, только не этого. Мы, конечно, не знали тогда подробностей русской политики, которая привела к этому разрыву, но как могло случиться, что противник русской политики и вообще всякой войны оказался безоговорочным русским патриотом? Кропоткин сразу покорил меня этой своей позицией, так безоговорочно занятой, как будто это был голос инстинкта, национального чувства, который заговорил в **{219}** нем. Шкловский говорил мне, что Кропоткин — обаятельный человек и интереснейший собеседник. Этого я ожидал. Но... русский патриот? Кропоткин? Где же анархист Кропоткин?

Я понял тут пропасть, отделяющую теоретика анархизма от практика. Я уже прочел несколько произведений Кропоткина. Во всех них идеал отодвигался в такую бесконечную даль, что между ним и его осуществлением образовывался громадный промежуток, в котором оставалось место и для самых смелых исторических конструкций — в будущем, и для житейского компромисса — в настоящем.

Социализм обоих русских направлений требовал немедленного действия для осуществления идеала или хотя бы для приближения к нему. Для анархизма «прямое действие» было только символом, и террористическая сторона акта не служила своей ближайшей цели. Так я пытался разрешить противоречие, очевидно, не существовавшее в душе террориста. А в душе Кропоткина противоречие просто не чувствовалось; оно не мешало равновесию, гармонии, которыми было проникнуто всё его существо. Таким принял Кропоткина незлобивый Шкловский; таким он остался и в моей памяти, — и позднейшая встреча только подтвердила мое непосредственное впечатление от настоящего Кропоткина.

Однако же, наиболее сильное впечатление на меня произвела, во время этой зимовки в Лондоне, не столько русская эмиграция в ее разнообразных представителях, сколько английская политическая жизнь, за которой я впервые мог наблюдать внимательно. Эти наблюдения в очень значительной степени помогли мне выработать в подробностях мое собственное политическое мировоззрение, — и только впоследствии я мог оценить всё значение для меня моих лондонских наблюдений. В России моя позиция определилась прежде всего отрицательно: я не разделял увлечений русских социалистических течений. Положительно — она определилась моим сотрудничеством с русскими либералами. Говоря в общих чертах, мои взгляды были ближе к либеральному мировоззрению; но в области политической деятельности либерализм представлялся настолько неопределенным, колеблющимся и быстро отживающим течением, что отожествить себя с ним было просто для меня невозможно. К **{220}** тому же, с самого начала меня отделяло от него более определенное отношение к социальным вопросам, где либерализм сталкивался с демократизмом.

В России эти оттенки часто сливались в виду элементарности политической жизни. Пребывание заграницей облегчало их более точную классификацию. Уже во Франции я не мог не заметить устарелость термина, переход его для обозначения политической правизны и постепенное исчезновение из политической номенклатуры. Эти черты либерализма я отметил уже в своей американской книге. Приехав в Англию, я, однако, встретился с живым либерализмом более левого направления — в лице престарелого Гладстона, за политической карьерой которого я давно следил и которому поклонялся. Мне еще посчастливилось увидать старика в его последние годы на министерской скамье в парламенте. Он вошел во время заседания, занял свое место, но не следил за прениями; временами даже, казалось, дремал и седая голова клонилась вниз; скоро он встал и вышел. Но не только это устарение положило конец моему безусловному преклонению; я не мог не видеть, что тут кончался и либерализм Гладстона — старый, благородный либерализм Кобдена и Брайта. Притом здесь он эволюционировал не влево, а вправо. Усложнялись в практической политике такие коренные тезисы, как свобода торговли, гомруль, борьба против войны. Только что закончившаяся к моему приезду война с бурами, аннексия Трансвааля и Оранжевой республики уже успела разбить либерализм на крайнюю левую группу верных Гладстону последователей, занявших пробурскую позицию и перешедших в оппозицию консервативному правительству, — и промежуточные группы либералов-юнионистов (противников гомруля), постепенно слившихся с консерваторами. Отдельно стояла более независимая группа Розбери — «либералов-империалистов». Розбери смело заявил: «Да, я либеральный империалист, если это значит, что я страстно привязан к империи и верю, что она лучше всего поддерживается на основе самой широкой демократии и сильна количеством довольных подданных».

За Розбери уже стояли такие позднейшие деятели, как Асквит, Эдв. Грей, Холден и представители свободных церквей. Всё это давало материал для размышления, и ортодоксальный либерализм **{221}** уже не казался последним словом политической тактики. Моей любимой газетой была вечерняя "Westminster Gazette", подвергавшая весь этот политический материал тонкой

критической обработке, свободной от крайностей, но выдерживавшей основную либеральную линию.

По отношению к социальным вопросам я тоже узнал кое-что новое. Здесь чистому индивидуализму гладстонианства противопоставлялось учение давно уже существовавшей группы «фабианцев», проповедовавших своего рода социализм без утопии, боровшихся против марксизма и даже проповедовавших союз между социалистами и более прогрессивными сторонниками либерального империализма. Главный вождь фабианства Сидней Вебб был даже в тесных отношениях с этой политической группой и в контакте с лордом Розбери. Он даже развил смелый тезис своего единомышленника Бернарда Шоу, что *«хорошо управляемое государство на обширной территории предпочтительнее большому количеству воюющих между собой единиц с недисциплинированными идеалами»*. Это принципиально ограничивало право самоопределения мелких народностей.

С одним из младших фабианцев я тогда же познакомился: это был Рамсей Макдональд, тогда молодой учитель, едва начинавший, в роли частного секретаря, свою парламентскую карьеру. Он позвал меня к себе домой; я с трудом отыскал крошечное мансардное помещение, откуда, к большой гордости хозяина, открывался обширный вид на лондонские крыши. Около хозяина резвились две маленькие девочки, и сам он был такой милый, обходительный и простой, и в квартире было очень уютно. Это мимолетное знакомство дало мне потом ключ к пониманию личности Макдональда. Повторяю, последствия всех этих новых впечатлений сказались позже. Я приезжал в Англию с репутацией крайнего левого, и в этом качестве меня встретили и фетировали такие видные журналисты как Гардинер, Массингам и Перрис. Но, может быть, и они тогда же заметили на мне умеряющее действие английской политической жизни, так как при более близком знакомстве отношения эти стали более сдержанными.

{222} Мои собственные занятия в этот лондонский сезон шли в двух направлениях. Во-первых, я воспользовался близостью к нелегальной литературе, чтобы пополнить свои сведения об истории русского социализма после 90-х годов, усвоенные в Гарварде. Эти данные я ввел в текст второй части моей английской книги. Должен признать, что примирительный характер движения 90-х годов продолжал и тут определять мой взгляд на возможную дальнейшую эволюцию социалистической политики. На нем было построено мое представление — лучше сказать, мои надежды на согласованное действие радикалов русского либерального движения с умеренными течениями социализма. Как увидим, я в этом жестоко ошибся.

Расхождение меньшевиков с большевиками — как раз в эти годы — не могло мне быть известно. Одна видная фигура русской революции — ее народнического оттенка — заслоняла для меня суть этих разногласий. Я познакомился в Лондоне с «бабушкой русской революции», Екатериной Брешковской. Это была другая обаятельная личность, параллельная Кропоткину. Как нарочно, оба встретились, в моем присутствии, в квартире эмигрантов супругов Серебряковых. Свидание стариков было самое задушевное и после угощения оба пустились в русский пляс. Надо было видеть, как бабушка Брешковская кокетливо помахивала платочком, павой приплясывая кругом своего кавалера, а Кропоткин увивался кругом ее гоголем. О, матушка Русь!

Крепко засела ты в сердцах этих неумолимых противников русской старины. Брешковская, по своему обычаю, принялась было пропагандировать и меня. Но тотчас заметила, что я «ученый» — и переменила свое привычное «ты», с которым обращалась ко всем своим, на церемонное «вы». Позднее скажу, как я ей всё-таки пригодился — в Америке.

Другим направлением моих лондонских занятий служила работа в Британском музее. Я решил продолжить там третий том моих «Очерков», остановившийся перед эпохой Екатерины II. Никак не мог я ожидать, что это единственное в мире книгохранилище окажется таким богатым и для моей темы. Соответственная часть «Очерков» (увы, последняя, которую я успел написать) почти целиком составлена по материалам Британского музея.

{223} Пережив жестокую зиму 1903-1904 гг. в Лондоне, я остался там до начала весны. Не могу забыть первых влияний этой весны, которые я вдыхал в чудесном Kew Gardens — ботаническом саду Лондона. Я часто стал возвращаться туда, наблюдая, как зеленела и расцветала весенняя флора. Не с впечатлениями «черных» и «желтых» туманов уезжал я из английской столицы, а с ощущением возрождения и победы могучих сил природы.

9. АББАЦИЯ И СМЕРТЬ ПЛЕВЕ (1904)

Я воспользовался предстоявшей поездкой на Балканы, чтобы, по дороге, встретиться с моей семьей после годичной разлуки 1903-1904 г. Мы условились съехаться в прелестном уголке

Кварнерского залива, в двух шагах от Фиуме (по-славянски Риека), в курорте Аббация, огражденном от ветров плоскогорием Истрии. На узком побережье залива горный климат Крайны круто переходит здесь к мягкой температуре и к роскошной растительности Средиземного моря. Я попадал здесь, притом, в самое средоточие национальной борьбы между итальянцами, населявшими западный берег Истрии, и славянами; здесь проходила также граница между двумя славянскими народностями, словенцами и хорватами. От Триеста и Фиуме шел дальше на юг и на восток сплошной славянский хинтерланд (нем., глубинка – ldn-knigi). Исходная точка для поездки по восточному побережью Адриатики на западные Балканы определялась таким образом сама собою.

Жена приехала в Аббацию из Швейцарии, где лечились мои младшие дети. Со старшим сыном она встретила меня у пристани пароходика, совершавшего рейсы между Аббацией и Фиуме. Радость встречи была взаимная. Они уже начали свои утренние купания. Я не мог регулярно сопровождать их, так как занят был подготовкой к предстоявшей поездке. Только к вечеру мы выходили вместе на прогулки по парку и по местному побережью. В небольшом отеле, где мы поселились, оказались соседями русские: интеллигентные пожилые старики оторванные от России, но знавшие меня по имени. С ними до поздней ночи мы вели оживленные политические беседы, и я устанавливал свои оптимистические прогнозы на ход начинавшейся революции.

{224} Неожиданное — или, точнее, очень ожиданное, — обстоятельство подтвердило эти прогнозы. 29 июля, выйдя навстречу семье, возвращавшейся с утреннего купания, я увидел издали в руках жены лист газеты, которым она мне махала с признаками сильного волнения. Я ускорил шаг и услыхал ее голос: «Убит Плеве»! Я прочел телеграмму.

Да, действительно, Плеве взорван бомбой по дороге к царю с очередным докладом!.. И эта «крепость» взята.

Плеве, который боролся с земством, устраивал еврейские погромы, преследовал печать, усмирял порками крестьянские восстания, давил репрессиями первые проявления национальных стремлений финляндцев, поляков, армян — проявления, пока еще сравнительно скромные, — Плеве убит революционером. Он, который сказал Куропаткину: «Чтобы остановить революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Война оказалась не маленькой и не победоносной; перед смертью Плеве как раз русские войска испытывали поражения — и вот ответ русской революции!

Здесь, очевидно, русская борьба против «осажденной крепости» самодержавия вступала в новую фазу. Как отзовется правительство на новый удар?

Через несколько дней пришел в Аббацию № 52-й «Освобождения» от 1-го августа и в нем я прочел строки своей собственной статьи, посланной еще до убийства Плеве. «Плеве, несомненно, дискредитирован в глазах всей России, и его падение есть только вопрос времени».

Струве, в редакционной статье номера, выражался откровеннее: «С первых же шагов преемника убитого Сипягина, назначенного на его место два года тому назад, вероятность убийства Плеве была так велика, что люди, понимающие политическое положение и политическую атмосферу России, говорили: «Жизнь министра внутренних дел застрахована лишь в меру технических трудностей его умерщвления»... И этот человек, два года назад, разговаривал со мной — правда, по приказу царя, по-человечески! Теперь радость по поводу его убийства была всеобщая. Другой сотрудник «Освобождения» говорил по этому поводу в том же номере о «моральной противоестественности чувства радостного удовлетворения», вызванного «в сердцах многого множества русских людей» исчезновением Плеве; но он **{225}** признавал, что чувство это «вполне естественно при противоестественных условиях русской жизни». О моей политической реакции на попытку правительственной уступки после убийства Плеве я говорю на дальнейших страницах этих воспоминаний.

Было очевидно, что наша политическая борьба с этого момента должна была перейти на новые рельсы. И намеченная мною летняя поездка на Западные Балканы врывалась в ход моих собственных политических переживаний, которые уже во время заграничных скитаний слились в одну определенную линию. Благодаря моему участию в нашем оппозиционном журнале «Освобождение», эта линия, намеченная уже в совещаниях с группой И. И. Петрункевича весной 1902 г., развивалась мной дальше самостоятельно, отчасти в идейном контакте с моими единомышленниками из круга «Земцев-конституционалистов», отчасти же и в полемике с их правым, а потом и с левым крылом, когда уже в мое отсутствие движение разрослось и втянуло в себя разные и отчасти противоречивые политические настроения. На выработке этой политической линии я должен буду остановиться, ибо она послужила для меня переходом от литературного сотрудничества к активному участию в политической борьбе. При этом мне придется вернуться несколько назад и забежать вперед в общем ходе моих воспоминаний.

Но предварительно я должен, соблюдая хронологию, рассказать об осуществлении своей ближайшей цели — балканской поездке, от которой, как и от обещанного Крейну курса о западных славянах, я не считал себя вправе отказаться.

10. ПОЕЗДКА ПО ЗАПАДНЫМ БАЛКАНАМ

Главной целью моей поездки по Западным Балканам было то, чего нельзя было найти в книгах: национальное славянское движение, разгоравшееся тогда в народных массах и скрытое от глаз австро-венгерской полиции. Между Аббацией, где я остановился, и соседним Фиуме («Риека»), прославленным потом авантюрой Габриэля Д'Аннунцио, как раз проходила граница между Австрией и Венгрией, иллюстрировавшая искусственное **{226}** раздробление западных славян и отделявшая словенцев от хорват. Хорваты венгерского «Королевства» отделялись, в свою очередь, от сербов в оккупированных Австрией Боснии и Герцеговине, а население последних, в свою очередь, делилось между тремя исповеданиями: православные, католики и мусульмане. Береговая полоса Далмации так же искусственно была отделена не только горами, но и политикой от своего загорья. И, однако, среди всех этих раздробленных кусков славянства давно уже крепла идея единой Югославии, долженствовавшей слить их всех в одном, объединенном политически и возрожденном духовно, славянском государстве. Кто мог предсказать тогда, как уродливо и неудачно будет использована эта идея? Только что вернувшаяся на сербский престол старая династия Карагеоргиевичей (1903) и новое поколение молодежи воскресили «югославскую» идею в ее первоначальной чистоте; но она жила под спудом: югославским патриотам приходилось скрываться. Политическая деятельность и партии существовали открыто в одной только Хорватии; тут и была провозглашена, в Фиуме, знаменитая «резолюция» национального единства хорватов и сербов (1905). В ближайшие после моей поездки годы начались славянские студенческие волнения — и австрийские судебные преследования славян за «измену». Словенская, сербская, хорватская молодежь должна была спасаться в Прагу, где нашла своего защитника в молодом профессоре Масарике. В этом идейном общении возрождалась старая идея славянского единства.

Отдельные искры этого разгоравшегося костра мне предстояло улавливать в 1904 году из-под спуда австрийской власти, а тут, на берегу, и среди шума официозной итальянской пропаганды. Славяне здесь, в Истрии, собирали по грошам скудные средства на содержание библиотек, где можно было читать местные национальные газеты и по секрету беседовать с надежными людьми о политике. Мой «славянский воляпюк», как местные друзья называли в шутку тогдашний мой, весьма приблизительный, сербский язык, мешал, правда, моему подробному знакомству с конспиративной работой; но при помощи, как тогда говорили, «единственного общеславянского языка», немецкого, мы кое-как объяснялись. **{227}** По-итальянски я говорил бегло, но — это была национальность, враждебная славянству. Всё же в Триесте и в Фиуме я кое-что узнал и кое в чем был ориентирован для дальнейшей поездки.

Тут же, на западном берегу Истрии, в Поле (военная гавань тогдашней Австрии) я должен был получить впечатления, шедшие из до-итальянского периода, древнего римского «латинства». Великолепными остатками эпохи римской империи Пола была чрезвычайно богата. При самом приближении к берегу в воды залива смотрелись длинные ряды аркад гигантского амфитеатра; здесь же стояла изящная стройная игрушка — храм Рима и Августа; наконец, триумфальная арка Сергиев, менее тяжеловесная, нежели арки Рима — всё это свидетельствовало о непрекращавшейся традиции «латинизма», который лишь постепенно сдавался перед позднейшей итальянизацией страны.

С запасом приобретенных сведений и с рекомендациями я и двинулся морем вдоль Далматского побережья, с тем, чтобы вернуться на север сухим путем. Минуя скучный горный хребет Велебит, пароход входит в полосу живописных старинных городков — Зара, Шибеник, Трогир, где итальянский фасад, приданный городам трехсотлетним венецианским владычеством, скрывает от туриста сплошное славянское большинство за стенами городов. Перепись 1910 г. насчитала во всей Далмации 18.000 итальянцев на 610.000 сербо-хорватов. Я тогда не знал, что и интереснейшие соборы этих городов построены под «латинским» (то есть римским) влиянием славянскими архитекторами XIII столетия (Радован и др.).

Те же римские образцы восстали передо мной во всем своем древнем величии, когда мы доехали до развалин дворца Диоклетиана в городе Сплите (Спалато). Из императорских дворцов это — наиболее сохранившийся; в его величественных развалинах поместился весь теперешний город.

А тут же рядом — остатки древней римской столицы Далмации Салона, разрушенного готами и

аварами: своего рода далматские Помпеи. Почтенный профессор-археолог Булич гостеприимно принял меня и посвятил в тайны древней жизни города и порта, им же восстановленные.

Дальше ждал нас обязательный центр притяжения **{228}** туристов всех наций — знаменитый Дубровник (Рагуза), когда-то независимая славянская республика, соперница Венеции, но не ее вассал. Дубровник уцелел и от турецкого порабощения, благодаря талантам своих дипломатов; а по отношению к итальянцам стремился слить в мирном сожительстве обе национальные стихии. Сенаторы Дубровника «писали по-латыни, а говорили по-сербски», и долгое время избегали разговорного итальянского языка. Из 122 славянских писателей, которых дало это раннее славянское возрождение, между XV и XVIII столетиями, больше половины (75) принадлежали Дубровнику, тогда как Зара насчитывала только пять, Шибеник — четыре, Сплит — восемнадцать, Трогир — одного, острова — десять. Венеция вырезала на стенах далматских городов свой герб — льва св. Марка; но венецианцы не вмешивались в местную культурную жизнь, довольствуясь извлечением материальных выгод из своего господства. Культурное влияние Венеции относится уже ко времени упадка — к XVIII столетию, когда и в Дубровник проникла итальянизация.

Всего этого, однако же, проезжий турист не увидит на маленьком скалистом утесе, где поместился центр города: изящное здание «дворца ректоров» с его ренессансной лоджией и готикой окон. Точно вырванная у моря площадка, о которую буйно разбиваются волны, окружена крепостью стен, напоминающих, что здесь не только царила литература и искусство, но сознавалась и необходимость самозащиты. Но защищали Дубровник не рыцари, а монашеские ордена, в которые входила местная аристократия.

В следующем отрезке пути моим спутником оказался молодой студент-англичанин, спешивший по дороге, на пароходе, изучить новогреческую грамматику, Циммерн, — будущий писатель по национальным вопросам и одно время участник института интеллектуальной кооперации в Париже. Он ехал на Корфу, но, узнав, что я собираюсь здесь покинуть пароход и подняться на высоты Черногории, прервал поездку и отправился со мною. Перед нами развернулись красоты Которского залива, где горы отступают от берега, открывая небольшие долины, покрытые живописной смесью селений, стильных колоколен и роскошью зелени. Предмет всех нашествий, **{229}** всех исторических претензий и захватов, Которский залив отразил на своей судьбе всю историю Балкан — от древнего Рима до Версальских договоров. Пароход останавливается в глубине залива у города, от которого поднимается видная издалека серпантина, ведущая в царство голых серых скал и подснежного Ловчена. Это — пустынное царство западной Черногории.

Мы немедленно поднимаемся в это «орлиное гнездо». С каждым зигзагом серпантины раскрывается перед нами всё полнее общая картина залива, детали сливаются в туманной дали, и вдруг весь этот пейзаж скрывается от глаз на одном из поворотов дороги. Мы — среди каменного хаоса, где только маленькие чашечки между извивами дороги, подпертые каменными стенками и наполненные пригоршнями принесенной сюда земли, напоминают о тяжелом труде земледельца, вырывающего у природы свое скудное пропитание.

Дальше, наверху, стелется перед нами унылая пустыня. Утомленные, мы дремлем — и неожиданно пробуждаемся на единственной широкой улице небольшой деревни, носящей громкое название — Цетинье. Мы — в «столице», хотя и «самой маленькой в Европе». Мы проехали, не заметив, мимо княжеского «конака», смахивающего на помещичью усадьбу средней руки. Есть и министерства, похожие на табачные лавочки. Скоро появятся и политические партии: партия «права» (под этим разумеется старый «порядок») и партия «клуба» (оппозиция). Будет и парламент — и даже парламентское правительство. Правда, князь, по образцу наших первых двух Дум, разгонит то и другое и сфальсифицирует народное представительство...

Мы остановились перед жалкой на вид гостиницей под гордой вывеской «Гранд-Отель». Она эксплуатируется самим князем Николаем, — как и вся страна. Мы здесь в гостях у черногорского «орла». Его юнаки в театральных костюмах под зонтиками гуляют по местному Корсо; их жены и дочери по утрам ходят за водой к колодцу у нашего отеля и сплетничают под нашими окнами. Полагается, что иностранные гости «Гранд-Отеля», список которых ежедневно представляется князю, должны сделать хозяину визит и расписаться во дворце. Но — мы не знатные гости, и я уклонился от **{230}** соблюдения этикета. Из хороших источников я уже знал закулисную сторону плохо раскрашенной декорации, умилявшей наших официальных панегиристов славянства. «Камарилья, заслонившая от князя истинное настроение страны; население, отданное на поток и разграбление камарильи, полное отсутствие правосудия, бесцеремонное разорение населения тяжелыми поборами; продажа иностранцам лакомых кусков народного богатства, — и произвол, произвол сверху и до низу».

Так я описывал потом положение в своей газете. Нельзя было только говорить о русских субсидиях «единственному другу России», как выразился однажды Александр III-й. Но об этом петербуржцы знали и без меня.

Через два дня мы спустились к заливу по прежней дороге. Циммерн поплыл дальше, на Корфу, а я перебрался на другую сторону залива, в Эрцег-Нови, откуда начиналась линия железной дороги через Герцеговину и Боснию в средоточие австрийского управления, Сараево.

При переезде из Приморья в Герцеговину сразу чувствуется глубокое понижение культуры. Географическая и политическая отрезанность от берега, скудная почва, плохое орошение, исчезающие в подземных пещерах реки и озера, редкое население — таковы черты пути на Требинье. Дальше, при спуске в долину р. Наренты к Мостару, столице Герцеговины, местность становится оживленнее. До 1878 г. здесь правила Турция и среди православных не исчезли еще привычки рабского быта. Женщины носят оригинальный костюм, напоминающий маскировку Ку-клукс-клана. Но и тут велась национальная борьба. При австрийском управлении вера и церковь подвергались в гораздо большей степени опасности денационализации, нежели при турецком режиме. Такие проявления, как празднование национального праздника св. Савы, пение старинных народных песен о временах Марка Кралевича, сербская «слава» и гусли — даже ношение национального костюма — всё это в глазах правительства считалось политическими демонстрациями против чужого господства. Так оно, в конце концов, и было. Положение мне близко напоминало то, свидетелем которого я был, разъезжая по селам Македонии при турецком режиме. Здесь, как и там, борьбу за национальность взяла на себя церковная община и ее влиятельные **{231}** члены. Это были, обыкновенно, разбогатевшие купцы и промышленники, мелкие банкиры. Они вели борьбу не прямыми, а косвенными путями: упорством, выдержкой, турецко-византийскими шахматными ходами, — где модно, взятками и покорностью ближайшему начальству, а где можно, и жалобами в высшие инстанции. Община знала своих предстателей — и им верила. У меня были рекомендательные письма к этим народолюбам; но на конвертах, вместо имен, было написано просто: «народному вождю» в таком-то городе. В Мостаре, например, это был Воислав Шола, в Сараеве — знаменитый тогда старик Григорий Евтанович. Свидания происходили конспиративно; на них мне сообщали о ближайших задачах и о намеченных планах борьбы.

Но этот тип борцов за народное дело уже отживал свой век, уступая место новой психологии, новым приемам молодого поколения, возвращавшегося из университетов Загреба, Праги и Вены с новыми политическими представлениями. Их ближайшей целью был теперь «устав» (конституция), дальнейшей — объединение Сербии; их методами — тайные общества, открытыми органами — «побратимства» и «просветы». Незаметная в провинции, этого рода деятельность велась на глазах австрийских властей в таких центрах, как Сараево. Старые закулисные подходы к властям народных вождей с «чарши» (базара, главной улицы) молодежью решительно осуждались.

Помню, как передо мной (в сараевском кафе) развивались этой молодежью конспиративные планы, а рядом за столиком сидел несомненный австрийский шпион, для вида читавший газету, но внимательно к нам прислушивавшийся. Борьба и пошла в открытую в ближайшие же годы после моей поездки, а за нею последовали знаменитые судебные процессы, в которых Масарику пришлось защищать горячую молодежь.

Я, впрочем, не ограничивался в Сараеве наблюдениями над настроением национальной оппозиции. Я обратился прямо к правительственным учреждениям с просьбой снабдить меня материалами по управлению оккупированным краем. Конечно, мне вручили весьма охотно всякие томы хорошо разработанного материала, описательного и статистического, и столь же охотно показали образцовые учреждения города, например, **{232}** правительственную табачную фабрику. Никак нельзя сказать, чтобы австрийская администрация ничего не сделала за время своего управления. Внешнее благоустройство, новые порядки в управлении, новые правительственные здания в городе, заботы о торговле и промышленности — всё это далеко шагнуло вперед сравнительно с патриархальными турецкими порядками. Но подпольная работа славянских патриотов велась тут же рядом, неуловимая даже для австрийских жандармов — и грозила в будущем полным крушением чуждой власти...

Мне оставалось после Сараева, — арены будущей трагической развязки запутанного австрийского узла, — продолжить свой путь на север, к хорватам в Загреб. Тут ждал меня новый контраст. Из средоточия старых придворных бюрократов и молодых заговорщиков я попадал, наконец, в единственную славянскую страну, где национальный и политический конфликт обещал разрешиться цивилизованным способом. В то время Загреб недаром считался самой культурной из славянских столиц. Здесь сразу чувствовалось влияние более старой культуры Приморья, опередившего Белград на

несколько столетий. Это сказалось и на начале сербо-хорватской литературы и на искусстве — в известной духовной утонченности, которой на Дунае нужно было еще долго учиться. И до сих пор, встречая среди сербского примитива какого-нибудь психолога или артиста, несущего модернистские веяния, вы непременно найдете в нем ту или другую связь с итальянско-славянским Приморьем.

Эта черта отразилась и на национально-политической борьбе хорватов с Венгрией, в состав которой Хорватия входила на правах старой «нагобы», — соглашения 1868 года. Хорваты толковали «нагобу», как дающую им такие же независимые от Венгрии суверенные права, каких требовала сама Венгрия от Австрии по соглашению 1867 года. На этой, более широкой, основе уже происходил во время моей поездки в 1904 г. распад старых партий феодального и клерикального характера. Вперед пробивалась упомянутая выше университетская молодежь. Она прежде всего стремилась демократизировать политическую жизнь страны, привлекши к ней широкие массы населения. Именно эта демократическая молодежь и составила в следующем 1905 году «коалицию» с **{233}** сербами и формулировала свои требования в упомянутой выше фиумской резолюции.

Забегая вперед, к моей второй поездке в Загреб в 1908 году, напомню, что эта самая политическая группа провела в 1906 г. первые удачные политические выборы, а в 1908 г. составила уже большинство в местном сейме. Я познакомился с вождями молодой партии в момент ее расцвета. Лидер партии Лоркович в беседе со мной называл своих единомышленников «хорватскими кадетами». Увы, мы были тогда уже «кадетами» Третьей Государственной Думы, пережившими годы своего торжества, и сравнение с славянскими политическими друзьями вызывало во мне не одни только радостные чувства. Я писал тогда, продолжая параллель Лорковича: «заставить моих хорватских друзей пойти на компромисс — невозможно. Но можно их изолировать, провести кругом их черту и отпугнуть от них всё еще робкое население. Особенно можно сделать это с сербским меньшинством, против которого католическое духовенство успешно поддерживает острое национальное раздражение среди хорватского большинства населения». Здесь, действительно, клерикализм и феодальные отношения уже пошатнулись, но были еще достаточно сильны, чтобы успешно бороться за старые позиции. Католическое духовенство усердно поддерживало национальную рознь, бывшую в то же время и религиозной (против православия сербов). Эта рознь служила сильным оружием против югославизма молодого поколения.

Переезжая из Сараева в Загреб, я как раз наткнулся на маленькую иллюстрацию этого большого и долгого спора хорватов с сербами. Я ехал в вагоне третьего класса. Против меня сидела молодая женщина — очевидно, не из культурного класса. Мы обменивались отрывочными фразами — по-немецки. На какой-то станции она высунулась из окошка и заговорила с разносчиком на местном наречии. Я обрадовался и спросил ее на своем сербском «воляпюке»: «да ли ви сте србкиня?» («Не сербка ли вы?») На лице ее, неожиданно для меня, изобразилось крайнее негодование. «Какая сербка? Я — хорватка»! — «Но ведь это одно и то же, возразил я. И язык ваш почти одинаков». — «Совсем нет: мы — два разные народа»! Я уже понял, **{234}** в чем дело, но продолжал допрашивать: как же разные? В чем вы видите разницу? Моя собеседница немного осеклась, но тотчас нашла требуемый ответ. «Мы высокорослые и белокурые, а они — низкорослые брюнеты».

Против этого Гитлеровского аргумента я уже не выдержал. «Вот я еду с юга на север. Чем южнее, тем больше низкорослых брюнетов; чем севернее, тем больше высокорослых блондинов. А народы всё те же: немцы, русские, австрийцы, славяне. И у каждого — свои брюнеты и свои блондины». Соседка замолчала. Но я перешел в наступление. Очевидно, она была католичка. И я заговорил на патриотическую тему. «Это — ваше католическое духовенство вас ссорит. Пора понять, что вы и сербы — единый югославский народ». Она продолжала молчать. А я демонстративно вынул из кармана номер хорватской оппозиционной газеты — они печатались латиницей, стало быть были понятны хорватской шовинистке... Сколько зла сделала — и еще продолжает делать эта затронутая случайно по дороге неслучайная тема! (Писано до событий 1941 года. (Примеч. автора).).

Из Загреба я вернулся прямо через Вену — домой. В Белграде я бывал и раньше, во время пребывания в Болгарии, — и позже. Теперь же приближался срок отъезда в Америку, а перед тем надо было еще побывать в Петербурге, где смерть Плеве сдвинула ход событий с мертвой точки, и в Париже, где ожидал меня первый контакт с русскими революционными партиями на конспиративном съезде.

11. МОИ ПЕРВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШАГИ. «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

Годы моих «скитаний» приходили к концу. За эти годы я многому научился; но в то же время

русская политическая жизнь ушла далеко вперед. В мое отсутствие произошел ряд событий, поднимавших всё выше политическую температуру, и темп этого подъема становился всё быстрее. Я не пишу здесь истории политического движения в России. Но моя личная жизнь всё теснее **{235}** переплеталась с процессом русской политической борьбы, и обойти этой стороны моей биографии совершенно невозможно. Уже мои американские лекции — повторение «Очерков русской культуры» для иностранцев — стояли на грани истории и политики. В моих прогнозах грядущей революции то и другое сливалось; ученый историк поневоле превращался в политического деятеля. Мои отношения к заграничному органу «Освобождение» окончательно втянули меня в самое активное участие в текущей политике. После моего отказа от редакторства участие в журнале не только не прекратилось, но, напротив, приняло конкретную форму. Мое сотрудничество началось даже ранее появления первого номера «Освобождения», — в июне 1902 г.

Для органа, созданного земцами, нужна была соответственная программа, отличная от программ более левых политических течений. В своем первоначальном виде эта программа была составлена мною. Естественно, она не удовлетворила более левые элементы, теснее связанные со Струве и известные тогда под характерным названием «третьих элементов» земства. В редакции «Освобождения», таким образом, должна была произойти внутренняя борьба двух течений и, в результате, различная оценка совершавшихся событий. Занятая мною позиция далеко не всегда представляла «правое» течение земских деятелей, так же как и позиция Струве не всегда была «левой». Этот переплет двух линий, то скрещивавшихся, то параллельных, то опять расходившихся в разные стороны, отразился в ряде моих статей, подписанных буквами «сс» и, большей частью, написанных заграницей, вдали от театра внутренней борьбы.

Несколько указаний на то, что происходило в это время в России, необходимо сделать, чтобы отражение этих событий в «Освобождении» было совершенно ясно.

То, что можно назвать «земским движением», приведшим к выделению группы «земцев-конституционалистов», началось вскоре после моей высылки из Москвы. Председатели губернских управ образовали первую организационную ячейку и выбрали пяти-членное бюро земств под председательством Д. Н. Шипова. В 1896 г. оно было запрещено, и с тех пор восстановлена была, с участием «третьего элемента», оппозиционно-политическая **{236}** деятельность прогрессивных элементов земства. Эти последние годы XIX века я провел в Болгарии и только по возвращении вступил в сношения с тверской группой земцев, руководимой И. И. Петрункевичем. С Петрункевичем и его молодыми друзьями я познакомился, — правда, очень поверхностно, — еще в первой половине 1890-х годов, в Москве. В 1901 г., как сказано, последовало мое приглашение редактировать заграничный орган группы. А весной 1902 г. (то есть до моего отъезда в Англию) я получил от Петрункевича приглашение — приехать в его имение Машук для составления программного заявления в первом номере «Освобождения». Я застал там, кроме хозяина, Д. И. Шаховского и А. А. Корнилова. В Машуке мой проект программы был обсужден, потом — уже в мое отсутствие — его свезли в Москву, еще раз обсудили и одобрили в кружке земцев и «лиц свободных профессий» и отослали заграницу для помещения в первом (июньском) номере «Освобождения». Изменения, внесенные в мой текст, были очень незначительны. Я остановлюсь на этой программе, так как на ней (и против нее) строилась дальнейшая борьба между двумя течениями земского движения.

Против программы возражали, главным образом, указывая на ее неполноту. Она оставляла в стороне указания на содержание будущего законодательства (в том числе социального) и тактику добывания намеченной политической реформы. Но то и другое умолчание сделано было совершенно сознательно, — чтобы не затемнять главной задачи программы, которая неизбежно должна была осложниться последующими разногласиями по поводу опущенных частей. Задача первоначальной программы была рассчитана на объединение разнородных элементов земского — и даже не одного земского — движения. Она оставляла в стороне лишь тактику уже сорганизовавшихся социалистических партий, с. - д. и с. - р., обращаясь исключительно к той части «бессословного общественного мнения», которая не искала исхода «ни в классовой (как с. - д.), ни в революционной (как с. - р.) борьбе». «Освобождение» прямо заявляло в программе свою преимущественную связанность с земской группой. Соответственно взглядам этой группы программа должна была быть не только «принципиальной», но и **{237}** «исполнимой». Она должна была считаться не только с чаяниями «всей русской интеллигенции», но и с реальными условиями момента.

Она поэтому ограничивалась «ближайшими перспективами» и требовала выполнения «элементарнейших и необходимых предварительных условий свободной общественной жизни». Однако, ограничив таким образом свою задачу, программа, в ее пределах, становилась радикальной,

соответственно тогдашним минимальным требованиям общественного мнения. «Личная свобода, гарантированная независимым судом», равенство всех перед законом, «основные» политические права и, как «первый шаг» и основная предпосылка осуществления всего этого, — «бессословное народное представительство в постоянно действующем и ежегодно созываемом верховном учреждении с правами высшего контроля законодательства и утверждения бюджета».

Созданию такого представительства должны были предшествовать предварительные шаги, которые в программе изображались в следующем порядке: 1) односторонний акт верховной власти, утверждающий «высочайшей волей» все упомянутые предпосылки политической свободы» отмена административных распоряжений (В тексте напечатанной в № 1-м «Освобождения» программы этот пункт формулирован так: «отмена действующих временных административных распоряжений». Дальше поясняется, что имеются в виду «всякого рода временные правила и циркуляры, отменяющие закон путем его разъяснений и распространительных толкований, или просто путем приостановки его действия». (Прим. ред.).) и восстановление границ закона и широкая амнистия. Всё это должно было быть объявлено в форме высочайшего манифеста. 2) Создание «учредительного органа», составленного из представителей земского самоуправления и дополненного элементами, недостаточно в нем представленными (формула Шаховского). На его обязанности должно лежать составление избирательного закона. Задача этого «учредительного» органа, при неизбежном несовершенстве его состава, должна быть «непродолжительной и временной». Иначе — неизбежно правительственное давление и неопределенность настроений «непривычных к политической жизни общественных слоев».

Один взгляд на эту программу показывает, что многое из нее было принято в ходе событий, а то, что остальное **{238}** не было принято, имело плохие последствия для России. Но... «чаяния общественного мнения» шли много дальше, а намерения правительства далеко не доходили и до этой программы. «Реальные условия момента» были таковы, что программа сохранила «принципиальность», но «исполнима» она отнюдь не была.

Однако же, это последнее обстоятельство не было ясно с самого начала политической борьбы, температура и темп которой продолжали постоянно расти. Мое дальнейшее сотрудничество в «Освобождении» было направлено на две стороны и имело целью; 1) чтобы ничто из нашей программы не было уступлено правительству и 2) чтобы программа зато не расширялась влево. Первую цель осуществить было нетрудно, вторую — невозможно. И я сам должен был с этой невозможностью считаться, делая уступки левым, которые уже успели создать раскол и среди самих земцев, часть которых шла дальше и превратилась в «освобожденцев».

Процесс этого превращения совершился в 1903 г., уже во время моего пребывания в Америке. По замечанию Струве, «пароксизм революционной горячки в этом году стал хроническим для России». Под этим настроением состоялся — заграницей — и первый акт организации Союза Освобождения, еще отличавшего себя сознательно от «партии». Действительно, в образовавшемся Союзе участвовали и «правые» и «левые». Десять земцев (более левых) и десять левых интеллигентов под видом туристской поездки по Швейцарии, переезжая из города в город, в окрестностях Констанца и на Боденском озере основали в июле 1903 г. этот Союз. После их возвращения в Харькове был принят план распространения на всю Россию провинциальных отделов Союза, а 3-5 января 1904 г., пользуясь прикрытием Съезда по техническому образованию, Союз собрал свой учредительный съезд, в котором участвовали уже представители от двадцати городов. Учредительный съезд развернул недоговоренные части первоначальной программы. Закон о выборах принял определенную форму всеобщей подачи голосов на основании всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Подчеркнуто было принципиально-положительное отношение к социальной политике. Признано право самоопределения за народностями российского **{239}** государства. Для Финляндии выставлено требование о возвращении ее государственно-правового положения, нарушенного правительственными преследованиями. Выбран, наконец, всеобщим голосованием тайный Совет Союза, и тем самым Союз получил существование, независимое от своего заграничного органа. Всё это происходило во время моего отсутствия.

«Освобождение» должно было считаться с этими внутренними настроениями и событиями. Прежде всего, в №№ — 7, 12 и 22-м открылась полемика между (относительно) «правыми» и «левыми» земцами. «Левый», подписавшийся «Земским гласным Т.», требовал «покончить с робкими полумерами легальной оппозиции» и «не стесняться рамками действующего закона даже и в границах земских собраний». Его оппонент, Петрово-Соловово, отвечал ему, что «активная борьба земских собраний с самодержавием невозможна»; достаточны «посевы» для будущего. Я тогда — из-за границы — вмешался в спор
(№ 17) и доказывал, что фронт «Освобождения» слишком широк, что надо исключить из него «идеалистов самодержавия» и «неисправимых славянофилов» — и что только тогда можно «создать хотя бы

крепкие кадры партии из убежденных конституционалистов».

Струве совершенно правильно ответил, что в таком случае прежде всего надо расширить программу, сделавши «ясное заявление в пользу всеобщей подачи голосов» и введя в программу «выяснение отношения к социальным вопросам — аграрному и рабочему». Я признал, со своей стороны, что, по крайней мере, второй пункт имелся в виду при самом составлении первоначальной программы. Нельзя было отрицать и «всеобщего права», — хотя болгарский опыт уже научил меня понимать, что правильное его применение возможно лишь по мере политического развития масс.

Начало японской войны вызвало в среде читателей и сотрудников «Освобождения» новый толчок к разъединению. Этот толчок был создан националистическими настроениями, распространившимися в обществе; к ним отчасти присоединился и Струве. В № 50-м (8 июля) появилась статья некоего «либерала», доказывавшего, что ввиду войны оппозиционная борьба должна быть приостановлена; «конституционная партия должна принять **{240}** пассивное положение» и «перенести центр тяжести на вопросы японской войны», чтобы создать «государственное Общественное мнение». Автор утверждал, что, всё равно, «правительственная машина современного государства неизмеримо сильнее... террора, восстаний и бунтов».

В № 52 (1 августа) я резко возражал против предложенного перехода к «пассивности» и против выделения какого-то привилегированного «государственного общественного мнения». Я решительно отказывался «волочиться за событиями, предоставляя им спутывать все наши расчеты», предсказывал, что «падение Плеве есть только вопрос времени», что за ним выдвинется Витте, и ставил тревожный вопрос, «с какой программой явится перед Россией тот или другой заместитель Плеве». Со своей стороны, я подчеркивал необходимые условия такой программы, которая единственно могла бы удовлетворить настоящее общественное мнение:

1) народное представительство, не ограниченное «совещательной ролью при предварительной подготовке законопроектов», а «облеченное законодательной властью с правом рассмотрения бюджета» и 2) созданное «путем прямых выборов самим населением», а не в виде «представительства от учреждений».

Перед самым выходом в свет этого номера «Освобождения» Плеве был убит. Растерявшаяся власть, после некоторого колебания, решила пойти на уступки. Но я считал шансы возможного тогда компромисса слишком слабыми и заранее обреченными на неудачу. И в ответ на назначение преемником Плеве «либерального», кн. Святополк-Мирского я опять предупреждал наших единомышленников в «Освобождении»
(№ 57) против излишнего доверия по отношению к «новому курсу». «Наш неисправимый оптимизм, — писал я, — опять поднимет голову. Опять будут раздаваться голоса об осторожности и постепенности, о том, чтобы не испортить настроения в правительственных сферах, не пропустить момента и т. д.» Я напоминал, что «между самодержавием и последовательным конституционализмом нет промежуточной позиции». «Мы не можем уже давать в кредит, — предупреждал я, — потому что мы сами лишимся кредита, если позволим себе это». «Вы (правительство) можете переманить кого-нибудь из нас на вашу сторону, но... **{241}** он уже перестанет быть нашим — и, стало быть, перестанет быть нужен и нам, и вам...» Словом, я не верил, чтобы Святополк-Мирский мог открыть обществу простор для «легальной борьбы, защищаемой парламентскими средствами». И, тем не менее, я все же не покидал совершенно промежуточной позиции, указывая в той же статье на ее возможное содержание. По адресу правительства я говорил: «надо искать такой укрепленной позиции, которую можно защищать не штыками и виселицей, а силой организованного общественного мнения,... где общественные группы могут найти достаточно места, чтобы стоять рядом, а не друг против друга, где люди могут бороться открыто, не опасаясь насилия над собой — и не вынуждаемые сами к такому же насильственному отпору». Но была ли такая позиция возможна?

12. МЕЖДУ ЦАРЕМ И РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПАРИЖ

На этот вопрос отвечала моя последняя статья в «Освобождении» о «Фиаско нового курса», датированная 28 октября 1904 г. (старого стиля) и посланная во время моего короткого приезда в Петербург. В эти же самые дни Петрункевич был вызван в Петербург, получив от Святополк-Мирского освобождение от всех полицейских ограничений, — и вел политические беседы с Святополком и с Витте. О своей беседе с Витте он рассказал в своих воспоминаниях: она, в сущности, окончательно разрушала мост между правительством и оппозицией или, как сказано в заголовке, между царем и революцией. Петрункевич пытался доказать Витте, что «правительство должно будет уступить и

принять конституционный строй взамен самодержавного».

На это Витте отвечал «авторитетно и убежденно»: «вы не принимаете в расчет, во-первых, что государь относится к самодержавию, как к догмату веры, как к своему долгу, которого ни в целом, ни в части он уступить кому бы то ни было не может. Это — его вера, и вы бессильны ее изменить. Во-вторых, общество русское не настолько сильно, чтобы вступить в борьбу с самодержавием... Крестьянство будет на стороне самодержавия».

И сам Витте поэтому, «не опасается за самодержавие, которому предан не за страх, а за **{242}** совесть». Для нас всех это было (тогда) откровением и совершенно меняло характер борьбы. При таком положении непримиримость со стороны революционеров сталкивалась трагически с такой же непримиримостью со стороны верховной власти. «Среднего», действительно, не оставалось. «На фразах о доверии уже нельзя было построить никакой самодержавно-либеральной программы», говорил я в упомянутой статье 28 октября. На возражение кн. Мещерского, что министр «не уполномочен свыше», я отвечал, что «величайший трагизм положения» и заключается в том, что «честный человек принужден становиться в фальшивое положение обманщика... Зачем стоять между молотом и наковальней истории?». При таком положении оппозиция не может мириться, она «возвращает себе полную свободу действий».

Первым применением этой «свободы действий» было решение Союза Освобождения вступить в правильные сношения с революционными партиями. С этой целью около средины сентября старого стиля три члена Союза, кн. Петр Долгоруков, В. Я. Богучарский и я, были командированы в качестве представителей в Париж, где должен был открыться съезд «оппозиционных и революционных партий». К ним, конечно, присоединился в Париже и Струве. Съезд открылся 30 сентября и закончился 9 октября (старого стиля). Я участвовал в нем под псевдонимом Александрова, что и было потом раскрыто Столыпиным в Государственной Думе, на основании донесений Ратаева, по показаниям присутствовавшего на съезде Азефа.

Струве, вероятно, знал больше, чем я, о происхождении этого съезда. Я мог заметить только, что около съезда особенно хлопочет финляндец Конни Циллиакус и что он выступает в качестве члена новой финляндской партии активистов. Я видел также, что особенно был выдвинут на съезде польский вопрос. По обоим вопросам Струве, видимо, ангажировался. До тех пор мы считали, что финляндцы ведут борьбу в строго конституционных рамках, и «патриарх» этого движения, Мехелин, как раз находился тут же, в Париже, где я с ним и познакомился. Мы уже приняли в России формулу этого широкого течения: «Отмена всех мер, нарушивших конституционные права Финляндии». Что касается поляков, **{243}** представленных на съезде двумя партиями, национальной (Имеется в виду партия национал-демократов. (Примеч. ред.).) и социалистической, — наши отношения с ними, по вопросу о польской автономии, начались несколько позже, при посредстве А. Р. Ледницкого, популярного в Москве адвоката. Не думаю, что в 1904 г. была уже выработана какая-нибудь формула польской автономии. На съезде Струве и другие нации делегаты шли дальше меня в этом вопросе. Мое упорное сопротивление затянуло прения на целых полтора заседания и привело к тому, что никакой формулы, приемлемой для обоих сторон, выработано не было. Помню, после прений ко мне подошел коренастый поляк с умным взглядом глаз и с энергичным выражением лица и сказал мне: «Очень рад познакомиться с русским человеком, который, наконец, в первый раз не обещает нам всего, чего мы требуем». Это был — Дмовский.

Закулисная сторона съезда стала мне известна гораздо позднее из книги Циллиакуса о «Революции и контрреволюции в России и Финляндии». По своему происхождению этот съезд должен был носить чисто пораженческий характер.

Мысль о съезде явилась у поляков на амстердамском социалистическом съезде; прямая цель была при этом воспользоваться войной с Японией для ослабления самодержавия; Циллиакус снабдил оружием польских социалистов. Он же и ввел на съезд Азефа и, несомненно, участвовал, в качестве «активиста», в попытке осуществить, по его же словам, — «глупейший и фантастичнейший, но тогда казавшийся осуществимым» план ввезти в Петербург морем оружие в момент, когда там начнется восстание. План этот, действительно, закончился добровольным взрывом зафрахтованного для этой цели английского парохода «Джон Графтон», застрявшего в финляндских шхерах. Деньги, которые были нужны для пораженческих мероприятий, были получены Циллиакусом, целиком или отчасти, через японского полковника Акаши, с определенной целью закупить оружие для поднятия восстаний в Петербурге и на Кавказе, — и Азеф должен был быть об этом осведомлен.

{244} Я не знал также и о том, что по окончании нашего съезда «оппозиционных и революционных групп» вместе, — состоялся второй съезд — одних революционных партий. На нем были намечены

революционные выступления на 1905 год, включая террор. Полиция и реакционные партии пытались смешать оба съезда и приписать нам решения второго. Но уже Циллиакус возражал против этого смешения — по понятной причине: именно второй съезд принял нужные ему решения, тогда как первый держался в пределах, диктуемых наиболее умеренной из представленных в нем партий, т. е. нашей.

Именно по этой причине мне пришлось сыграть на съезде более значительную роль, нежели я мог рассчитывать. Моей целью было провести соглашение так, чтобы оно не задевало независимости нашего течения. И я предложил съезду «ограничить обсуждения тем минимумом общих идей и целей, который уже и в настоящее время входит в программы участников, сохраняя неприкосновенными все пункты программ и тактических приемов каждой отдельной партии». Это и было принято. В окончательной резолюции я подчеркнул еще определеннее это условие взаимной самостоятельности. «Ни одна из представленных на конференции партий ни на минуту не думает отказаться от каких бы то ни было пунктов своей программы или тактических условий борьбы, соответствующих потребностям, силам и положению тех общественных элементов, классов или национальностей, интересы которых она представляет». Этим самым, вне общих решений остались все социальные и экономические вопросы. Несколько неопределенно пришлось говорить и о форме правления. «Демократический режим», по формуле составленной мной резолюции, мог обозначать и конституционную монархию земцев, и республику, которой требовали социалисты, — и даже независимость, которой добивались поляки и которая была принята в отдельном, третьем, пункте резолюции под осторожным названием «самоопределения» Это как будто противоречит утверждению автора, что по польскому вопросу «никакой формулы... выработано не было». (Примеч. ред.).).

{245} Оставались, за исключением всего непримиримого, две общие задачи: отрицательная — уничтожение самодержавия, и положительная — «замена его свободным демократическим режимом на основе всеобщей подачи голосов», с «устранением насилия со стороны русского правительства по отношению к отдельным нациям», с «правом национального самоопределения и гарантированной законами свободой национального развития для всех народностей».

Это последнее положение соответствовало и составу съезда, в котором согласились участвовать национальные социалистические партии, но не приняла участия сама социал-демократическая партия, находившаяся в процессе внутренней борьбы.

Для наших «левых» Союза Освобождения принятых съездом и написанных мною двух резолюций оказалось недостаточно. Уже после моего отъезда они напечатали третью, в которой подтверждалось принятие «четырехвостки» и «принципиальное отношение к социально-экономическим проблемам», — как того требовал январский учредительный съезд Союза. Это оказалось нужным для французских социалистов. Жорес в «Юманите» (1 декабря 1904 г.) тотчас сослался на эту резолюцию в доказательство того, что «русские либералы» уже не прежняя «барская, собственническая и капиталистическая фронда», и что отныне социалисты, для которых политическая демократия есть необходимое условие их пролетарского действия, и либералы согласны между собой в том, что прежде всего необходимо завоевать «режим политического контроля и политических гарантий, основанный на всеобщем праве голоса для всех русских, без различия классов». Эта формула единения социалистов и «либералов» очень хорошо соответствовала моим собственным представлениям, извлеченным из истории 1890-х годов и подкрепленным умеренностью английских социалистов. Но, увы, по отношению к ходу нашей дальнейшей внутренней борьбы она оказалась неприемлемой как раз для социалистов — как только выступила на сцену социал-демократическая партия. Но этот момент был еще впереди.

Переход от Парижских решений к постановлениям петербургского земского съезда 6-9 ноября, от революционной тактики к мирной, мог казаться возвращением **{246}** назад, к пройденному уже политическому моменту. Но надо вспомнить, что это было собрание в старой форме — председателей губернских земских управ, под старым же председательством Д. Н. Шипова, противника конституционных стремлений, и что Святополк-Мирский любезно пригласил земцев в Петербург с целью опереться на них при проведении своей компромиссной политики. Не будучи земцем, я не мог на этом съезде участвовать, но я знал, что готовится нечто совершенно иное, нежели ожидает министр. И я поспешил из Парижа приехать на несколько дней в Петербург, чтобы участвовать, по крайней мере, в подготовительных совещаниях к этому съезду. Помимо земцев в этих совещаниям участвовали и другие либеральные деятели. Программа съезда привез из Москвы В. Е. Якушкин, мой старший товарищ по университету, верно хранивший традиции своего деда-декабриста. Его проект точно воспроизводил главные пункты нашей первоначальной программы, напечатанной в первом номере «Освобождения»:

права граждан, равенство перед законом, гарантии независимого суда, отмена административной репрессии и «акт помилования» высочайшей властью. Главное требование — о политическом представительстве — было изложено, считаясь с Д. Н. Шиповым, в мягкой форме: «правильное участие в законодательстве народного представительства, как особого выборного учреждения». Но за такую форму голосовали только 27 членов съезда против 71. Тогда и тут были поставлены на голосование формулы, приближавшиеся к тексту первоначальной программы. И они были приняты большинством: 60 голосов против 38 за прямое требование «осуществления законодательной власти»; 91 против 7 за «установление государственной росписи доходов и расходов» (т. е. бюджетные права народного представительства) и 95 против 3-х за «контроль за законностью действий администрации». Требование первоначальной нашей программы о создании «учредительного органа» для разработки политической реформы также было принято съездом в завуалированной форме, слово «конституция» не было произнесено, но именно этот смысл имели все эти требования, принятые и собранием сановников под председательством государя.

Тогда Николай II собрал **{247}** тесный семейный совет и позвал на него Витте. Зная «непреложность веры» Николая II в самодержавие, Витте хитро открыл царю путь к отступлению. Он полагался на волю государя, но предупреждал, что речь идет не о чем-либо ином, как о даровании конституции. Неприемлемое слово было произнесено, и спорный параграф выключен, к большому удивлению участников предыдущего заседания. Эпизод земского съезда подтвердил мнение о невозможности совместить серьезную политическую реформу с самодержавием, а пожелания умеренных земцев послужили орудием в руках земских «освобожденцев».

Я не мог присутствовать при всем этом ходе прений и решений земского съезда. Надо было ехать назад, через Париж в Америку.

И. В. Гессен рассказал в своих воспоминаниях, что он пытался, по настоянию друзей, «ввиду ускорения событий», отговорить меня от этой поездки — и что я ему ответил: «не волнуйтесь, И. В., я вернусь еще вовремя, а в Америку нужно ехать». Я, действительно, считал — с точки зрения парижских перспектив, — что эпизод закулисной политической драмы при содействии Святополка далеко не последний и что за ним последуют более важные события, в развитие которых я едва ли смогу вложить что-нибудь свое. Я видел, что процесс политической борьбы из сознательного уже начинает превращаться в стихийный. Я, правда, ошибался относительно темпа «ускорения событий»; они пошли быстрее, чем я мог предвидеть. Но всё же я успел побывать в Америке и, главное, приготовить к изданию свою книгу, на которую я смотрел, как тоже на известный политический акт, исключительно от меня зависевший.

Наступал срок отъезда, и, почти не останавливаясь в Париже, я поспешил в Шербург к отплытию намеченного английского парохода.

13. ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ (1904-1905)

На пароходе, на котором я ехал, произошел характерный эпизод, который мне запомнился. Публика второго класса более общительна, чем первоклассные **{248}** пассажиры. Недалеко от меня сидела женщина и горько плакала; ее соседки ее утешали. Я спросил, в чем дело. Мне ответили, что эта женщина — американка и что она в отчаянии, что покидает Европу и возвращается домой. Это отчаяние, конечно, могло происходить от личных или семейных причин, но меня поразила его принципиальная сторона. И я принялся ее утешать с этой точки зрения. Само по себе такое настроение не было для меня новостью: у меня в кармане лежала книжка издания Реклама под названием "Amerika-müde" — нем., «утомленный Америкой». Но тут был конкретный случай. Я стал доказывать американке все преимущества и достоинства Америки: страна свободы, новая рождающаяся нация, быстрый рост и постоянное обновление, огромные размеры мирового эксперимента и т. д. Она не возражала — и, может быть, не была даже на уровне этих философско-исторических соображений. Она только повторяла, что ей в Америке скучно. Почему скучно? Все американцы одинаковы! Я чувствовал силу этого аргумента — и потом с ним не раз встречался и в жизни, и в литературе Америки. Очень обстоятельно и глубоко этот аргумент обоснован в книге Брайса. Возражать против факта было невозможно. Это было не "Amerika-müde" иностранца, а настроение, выросшее извнутри. Недаром американские женщины, освобожденные от ежедневных мужских работ (это их особенность), не знают, куда девать досуг и увлекаются чтением романов на экзотические темы.

А страсть к путешествиям моего Крейна — не из того ли же источника отчасти происходила? Словом, вопрос, поставленный слезами американки, был сложнее, чем я сгоряча подумал. Не смею,

конечно, утверждать, что ощущение одиночества в массе, подавления массой с ее средним, довольно высоким, всё-таки, уровнем культуры, индивидуальных стремлений, — это давящее сознание невозможности или крайней трудности выделиться из массы осталось теперь таким же, каким было в конце века, когда описывал его Брайс в своей превосходной работе.

За четверть века моих посещений Америки, в каждый из моих пяти приездов я мог наблюдать огромный рост нового света — в том числе именно в области развития индивидуальных стремлений. Может быть, и **{249}** характеристика Брайса и слезы моей пассажирки были бы теперь уже анахронизмом. Смущенная своим порывом, она перестала плакать и больше не появлялась...

В Чикаго я приехал глубокой зимой и с трудом дотащил с близкой станции свой чемодан и пишущую машинку. Какой контраст с невыносимой жарой лета 1903 г.! Контраст был и в обстановке моего преподавания. Тогда моими слушателями были учителя летнего митинга, собравшиеся со всех концов Америки. Теперь это была скромная университетская аудитория, и я должен был преподавать студентам специальный университетский курс о славянах. Я добросовестно начал этот курс, прочел четыре-пять лекций... В день последней из них я прочел в газетах телеграмму из Петербурга, сообщавшую о переломном моменте в ходе русской революции, — о событии 9 (22) января 1905 г. — Красном Воскресенье. Я тотчас же сообщил Крейну, что я должен буду возвращаться в Россию и курса дочитать не могу, но останусь на некоторое время, чтобы закончить подготовку книги к печати. Крейн сразу согласился со мной, проявив полное понимание положения. Это — начиналась первая русская революция.

Благодаря сотрудничеству с проф. Арнольдом, первая половина книги была уже совершенно готова. Оставалось закончить пересмотр текста второй половины (Бостонские лекции) и дополнить его последними событиями. Я уже привез с собой сведения о земском съезде 6-8 (19-21) ноября 1904 г. и о парижском соглашении партий перед самым моим отплытием в Америку: я только ожидал последнего номера «Освобождения», в котором должны были быть опубликованы тексты наших резолюций. Проф. Арнольд проявил еще тем свой интерес к книге и свою дружбу ко мне, что составил очень подробный и прекрасно сделанный указатель всего содержания книги. В ожидании, пока эти работы будут закончены, я решил воспользоваться промежутком времени, чтобы исполнить давнишнее свое желание — проехать в Нью-Йорк из Чикаго не прямым путем, а отклонившись на север, чтобы по крайней мере хотя поверхностно взглянуть на ландшафт Канады, который должен был напоминать наш русский север.

Я выбрал маршрут на Детройт и Торонто, чтобы **{250}** спуститься берегом озера Онтарио и проехать вниз через живописную «Тысячу островов» реки св. Лаврентия до Монреаля, а оттуда озером Чамплен, через Олбани, — в Нью-Йорк. В Нью-Йорке, попутно, горячие сторонницы «сухого» режима, уже пошатнувшегося тогда («Сухой» режим был установлен в Америке в 1920 г. и отменен в 1933 г. В то время, о котором рассказывает автор, запрещение продажи спиртных напитков существовало только в некоторых штатах. (Прим. ред.).), собрали мне материал, который потом пригодился мне в Государственной Думе для выступлений против алкоголизма. Правда, самые эти материалы показывали, что Америка проделывает опыт, крайность которого не гарантирует его устойчивости. И я склонялся к компромиссу — примерно, по шведскому образцу (Готебургская система).

Поездка эта раскрыла передо мной, прежде всего, еще одно американское «чудо»: удивительную организацию американской провинциальной печати. Проезжая, я покупал повсюду местные издания газет, чтобы следить за петербургскими событиями, последовавшими за «Красным Воскресеньем». Помимо обширнейших телеграфных описаний самого события, я был поражен, что на всем пути мог читать самые последние сведения, как будто бы дело шло о последовательных изданиях одной и той же столичной газеты. Конечно, оставаясь в Петербурге, я не мог бы получить своевременно такого обширного и достоверного материала.

Плавание по реке св. Лаврентия дало мне то, для чего я ехал. Помимо красот реки, я увидел пейзаж северного канадского берега, точно напоминавший северные губернии России и Сибирь. Сплошной хвойный лес, изредка прерываемый деревянными домиками (не «избами», всё-таки) колониального типа и, очевидно, очень слабо населенный: такова была эта поучительная параллель. В Монреале я остался проездом — достаточно, чтобы услышать старинную французскую речь; ожидание парохода у озера Чамплен довершило мою усталость, а наступившие сумерки не дали возможности любоваться красотами приближающихся гор. К ночи я был в Нью-Йорке.

{251} Кратковременное пребывание в Чикаго, кстати сказать, меня обеспечило не только относительно выхода книги, но и относительно ее французского перевода. Мы были с Крейном на одном благотворительном вечере, на котором меня представили миловидной даме, заговорившей со мной по-русски. Госпожа Пти, француженка, была командирована Alliance Française для чтения лекций о

Франции — и имела успех. Ее английский язык не был безупречен; но французское грассирование в женских устах, по моему наблюдению, очень нравится англичанам и американцам. По-русски госпожа Пти говорила потому, что провела несколько времени со своей сестрой в провинции, в зажиточной дворянской семье; у нас нашлись общие знакомые, так как к этой семье принадлежала одна из моих лучших учениц из 4-й гимназии. Ее сестра даже попыталась впоследствии написать театральную пьесу из русского помещичьего быта, который особенно понравился обеим сестрам своим гостеприимством и русским раздольем. Мы разговорились; она пригласила меня к себе и тут у нее явилась мысль о переводе моей будущей книги на французский язык. Мысль эта окрепла, когда, на обратном пути, я посетил ее уже проездом в Париже. Она взялась за дело очень энергично, переговорила с Люсьеном Эрром, библиотекарем Ecole Normale и очень видным руководителем французских intellectuels социалистического направления. С ним еще раньше познакомился и я, и дело было решено. Моя книга получила переводчицу, так сказать, «на корню». В том же 1905 году она появилась в печати в издании Чикагской University Press под заглавием "Russia and its Crisis". Забегая вперед, скажу и о судьбе французского перевода и о моем знакомстве с переводчицей. Мария Пти приехала ко мне в Россию с готовым переводом, сколько помню, во время междудумья и подготовки к выборам во Вторую Думу. Она просила меня пересмотреть вместе сомнительные места и составить предисловие. Последнее было необходимо уже потому, что со времени американского издания события бурно шли дальше: отошла уже в историю Первая Дума и готовилась Вторая. Я охотно исполнил желание Эрра и переводчицы. За несколько недель пребывания госпожи Пти в **{252}** Петербурге мы очень подружились. Эти дружеские отношения, после того как прошел первый налет amitié amoureuse (Нежная дружба.), продолжались до самой смерти ее. Выйдя замуж за известного парижского издателя господина Жувен, она ввела меня в круг литературных друзей ее мужа. Эта семья послужила единственным путем к моему ознакомлению с этим кругом, от которого вообще я стоял далеко. К сожалению, я меньше пользовался этим благоприятным случаем, чем бы следовало. Госпожа Жувен всегда упрекала меня, что я когда-нибудь узнаю от других о ее смерти (она была очень болезненна). К моему горю, так и случилось. Она не щадила себя, предаваясь широкой благотворительной деятельности среди студентов, простудилась, быстро скончалась, и я увидал ее в последний раз на смертной постели, с тяжелым черным католическим крестом, который давил на ее слабую грудь. Это было одно из самых тяжелых переживаний моей жизни.

{253}

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ И КАДЕТЫ.
(1905-1907)

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Меня часто упрекали по поводу той части моих воспоминаний, которая была напечатана в «Русских записках» 1938-1939 г.г. — и к которой я перехожу теперь, — что я слишком много говорил там о политике и слишком мало о самом себе. Мое извинение заключается в том, что за это время моя жизнь слишком тесно переплелась с моей политической деятельностью, чтобы оставалось много места для моей личной жизни. Правда, в самой области политики я мог бы больше подчеркивать мою личную роль, чем я это сделал. Но о ней слишком много говорили другие — и притом не всегда в смысле одобрения. Меня обвиняли скорее в том, что я эту свою личную роль слишком подчеркивал. Могу только сказать, что так выходило фактически, и что мое личное самолюбие никогда не играло тут никакой роли: думаю, что те, кто знали меня ближе, с этим согласятся.

Чувствую, однако, что в порядке исторического изложения, оглядываясь на прошлое, я, действительно, должен пойти дальше в направлении самооценки. Те, кто захотят сравнить мое изложение здесь с печатным текстом моих статей в «Русских записках», вероятно, заметят эту разницу — и, быть может, будут посылать мне теперь обратные упреки: в преувеличении моей личной роли в событиях. Но человек, который поставил себе определенную задачу и ее в известной степени **{254}**

выполнил, не может, оставаясь вполне откровенным, отказаться от объяснения фактов в порядке поставленной им цели и тем самым слить уже не себя с событиями, а, в известной степени, события с собой. Совпадение намерений с достижениями может считаться его личной заслугой, несовпадение — его личной неудачей. Гордиться тут мне нечего, ибо неудач было гораздо больше, чем заслуг — не только вследствие неблагоприятных обстоятельств, но и по существу выбранной мною вполне сознательно роли. Но и признавая, что цель моя оказалась неосуществима, я и теперь не поставил бы себе никакой другой задачи.

Упреки в умолчании о личных чертах моей биографии могут, конечно, относиться и к другой стороне моей жизни. Теперь мода на biographie romancée. И я не могу сказать, чтобы для этого у меня не было никакого материала. Возможно, что мое умолчание об этой стороне приведет к тому, что мой будущий биограф, если таковой окажется, заменит факты анекдотами. Но я должен идти на этот риск, так как в этой стороне моей жизни замешаны и другие лица. И я принужден предоставить рассказы на эту тему чужим нескромностям.

———

Мои скитания растянулись на целые десять лет, по пяти лет по обе стороны «рубежа столетий» (1895-1905). Эти десять лет, охватывающие тот период жизни (30-40 лет), когда окончательно складывается личность человека и определяется направление и характер его деятельности, — конечно, не могли пройти для меня без серьезных перемен. По ту сторону этого промежутка прошла моя университетская карьера, оборвалась изгнанием из Москвы моя мирная жизнь в старой русской столице. Выброшенный сперва в русскую провинцию (Рязань), потом в Европу (София) и, наконец, в Новый Свет, я оставил позади дружеский кружок молодых русских историков, так мило описанный А. А. Кизеветтером, и более широкий круг учеников и учениц, вышедших на вокзал проводить меня в рязанское изгнание.

На прощальном обеде «Русской мысли» В. А. Гольцев пророчески пожелал мне сделаться историком падения **{255}** русского самодержавия. Я не мог тогда ожидать, что не только выполню его пожелание, но и сам, в роли политического деятеля, в той или другой мере окажусь участником этого падения. Московские товарищи по профессии оплакивали мой уход, видя в нем — и в обстоятельствах, его вызвавших, «измену» нашей общей науке. Надеюсь, что в общем итоге жизни это обвинение отпадет.

Только теперь, обращаясь воспоминанием назад, я могу определенно сказать, в чем именно заключалась происшедшая во мне тогда перемена. Потеряв репутацию начинающего историка, с которой я уезжал из России, я возвращался «домой» с репутацией начинающего политического деятеля. Перемена произошла постепенно, но она была неизбежна в моем положении. Заграницей я очутился в роли наблюдателя политической жизни и внешней политики демократических государств. А дома происходили события, которые требовали применения этих наблюдений — и требовали именно от меня, так как русских наблюдателей было очень немного. Я уже описал, как эта моя новая роль отразилась не только в статьях нашей эмигрантской газеты «Освобождение», но и в посильной пропаганде этого дела русского освобождения перед американскими читателями и слушателями, в аудиториях и на митингах. Я вовсе не стремился превратиться из историка в политика; но так вышло, ибо это стало непреложным требованием времени. Я мог быть доволен тем, что в моем случае наблюдения над жизнью передовых демократий соединялись с предпосылками, вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали цель, другие устанавливали границы возможных достижений.

Таков был мою плюс. Мой минус заключался в том, что на это самое десятилетие я был вычеркнут из круга наблюдателей и участников русской жизни; а она за это время не стояла на одном месте. Новое поколение выросло и вступило в культурную и общественную жизнь в мое отсутствие — как раз с начала моих скитаний, с средины девяностых годов. Я оставлял позади зародыши будущих разногласий с молодежью, как в культурной, так и в политической жизни. Я находил, правда, в этих разногласиях, уже намечавшихся, **{256}** некоторое преимущество для себя: сохранение личной независимости от преходящих увлечений. Другие могут судить иначе.

В двух отношениях я укажу на характер этих разногласий теперь же. Я веду культурную историю данного молодого поколения с 1892 г., когда Д. С. Мережковский издал свой «манифест» «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Мне пришлось столкнуться с этими литераторами, свергавшими «старые цепи» для «новой красоты», как раз когда они перенесли свои упадочные настроения из литературы в политику. Таким являлся поворот к религиозно-

философскому «идеализму» в сборнике 1902 г. (Имеется ввиду сборник «Проблемы идеализма», вышедший в 1903 г. (Прим. ред.).), — и уже совершенно открытое нападение того же круга на политику в сборнике «Вехи» (1908). Близкие нам люди в политике уже тогда начали сближаться с этим «идеалистическим» течением: таковы были Струве, Бердяев, Булгаков, Новгородцев. Враждебно относясь к «формализму» строгих парламентарных форм, — на чем строго стояло старшее поколение, — они уже готовились вернуться к очень старой формуле: «не учреждения, а люди», «не политика, а мораль». Со времен Карамзина у нас эта подозрительная формула скрывала в себе реакционные настроения. В сборнике «Вехи» группа, объединившаяся около Струве, выступила с злобным обвинением против всей русской интеллигенции прошлого - и настоящего, считая ее огулом виновницей провала революции 1905 г. Группа, объединявшаяся около И. И. Петрункевича, в особой книге разобрала эти нападки по достоинству. Но мы только еще подходим к революции 1905 г.; к оценке деятельности различных ее участников мы вернемся в свое время.

Другое последствие моих скитаний в десятилетие 1895-1905 г. имело для меня более важное значение. Я имею ввиду события, происшедшие за это время среди социалистических партий. В своей американской книге я поставил задачей доказать историческими фактами возможность сближения русских либералов с русскими социалистами для достижения общей цели — **{257}** политической свободы. Дворянский либерализм 60 годов XIX века после введения земства и появления свободных либеральных профессий выработал систему реальной практической политики. С своей стороны социалисты убедились, что русский народ — не прирожденный социалист, и что государство не разрушится от одного заклинания народного духа.

Государством надо овладеть; политическая реформа должна предшествовать социальной. Мое книжное изучение истории русского революционного движения подтвердило неизбежность этого перехода социалистов от утопии к практической политике. Психология побежденных и разочаровавшихся революционеров-социалистов 80-х и 90-х годов прошлого столетия шла навстречу этому выводу.

Так, например, Александр Михайлов, ранний пионер и смертник движения, писал к друзьям из Петропавловской крепости (и показывал на суде) в 1881 г.: «Всё отдаленное, всё недостижимое должно быть на время отброшено. Социалистические и федеральные идеалы должны отступить на второй план дальнейшего будущего, а лозунгом настоящего должно стать земское учредительное собрание при общем избирательном праве, при свободе слова, печати и сходок». Это была и старая программа Герцена. Но и к ней исполнительный комитет Народной Воли весной 1880 г. присоединил оговорки. Не упоминаю уже о еще более сдержанных требованиях в знаменитом письме исполнительного комитета к Александру III в 1881 г. В том же 1881 г. Кравчинский, убийца Мезенцева, писал: «Социализм не стоял и не стоит препятствием для объединения русской оппозиции; нам дороги интересы свободы всех русских, без различия партий: мы готовы защищать ее во имя общего внеклассового чувства гражданской солидарности, которая существует во всех передовых странах — в тем большей степени, чем они культурнее.

В вопросе политическом, составляющем злобу дня, наша программа есть именно программа передовой фракции русских либералов». Эти цитаты можно было бы, насколько угодно, продолжить. Но напомню и свои личные впечатления. Описанное здесь настроение осталось тем же, что и в 1903 г., когда я познакомился с лондонской эмиграцией. Это были те же настроения, — отчасти и те же люди. Во время моей **{258}** жизни в Удельной моим соседом был поэт Мельшин-Якубович, член партии Народного Права, — преемницы Народной Воли; здесь тоже политический момент («право») выдвигался вперед социального. Первоначальный («легальный») марксизм, борясь с утопиями народничества, на моих глазах совершал ту же эволюцию. Россия не составляет исключения в ряду других культурных стран, — утверждал он; перед переходом к социалистическим формам хозяйства ей предстоит этап развитого капитализма. Этот смысл имело знаменитое приглашение Струве, которым он закончил свою дореволюционную книгу: «Пойти на выучку к капитализму». Самым последним моим впечатлением было соглашение конституционных и революционных партий в Париже относительно нашей общей политической цели — уничтожения самодержавия.

И даже Ленин, «сам» Ленин присматривался тогда ко мне, как к возможному временному (скорее «кратковременному») попутчику — по пути от «буржуазной» революции к социалистической. По его вызову я виделся с ним в 1903 г. в Лондоне в его убогой келье. Наша беседа перешла в спор об осуществимости его темпа предстоящих событий, и спор оказался бесполезным. Ленин всё долбил свое, тяжело шагая по аргументам противника. Как бы то ни было, идея «буржуазной революции», долженствующей предшествовать социалистической, была и у него — и осталась надолго.

Я, правда, не заметил тогда — а многого не мог и знать, — что в недрах «российской» социал-демократии уже развивались другие идеи. Я не обратил достаточного внимания на то, что на нашем общем парижском съезде 1905 г. участвовали только национальные фракции социал-демократии, а «российская» намеренно отсутствовала, оставляя себе руки свободными. Я просмотрел и значение того факта, что уже при переходе от «Черного Передела» к (непринятой, правда) статье в «Народной Воле», т.е. еще в первой половине 80-х годов, Плеханов был готов заменить одну отброшенную утопию новой. Старая утопия состояла в вере в прирожденный социализм крестьянства. Новая утопия провозглашала замену этой фантастической роли крестьянства в революции более опасной утопией — победы рабочего класса, как единственного фактора при **{259}** введении немедленного социализма в международном масштабе во всех цивилизованных странах мира. Я, наконец, не предвидел, что трубные звуки предстоящей революции заставят «профессиональных» революционеров встрепенуться и отойти от примирительных позиций. Вся внутренняя работа в тесном кружке социал-демократов эмигрантов оставалась мне пока неизвестной.

Таково было положение, при котором я возвращался в Россию — в полной уверенности, что несу туда примирительную миссию. Я не выбирал точно политической позиции, на которой остановлюсь; но я считал несомненным, что только на почве мирного соглашения «либералов» с «революционерами» революция может удаться и достигнуть своей ближайшей цели — политической свободы. Я думал, что занятая мною в «Освобождении» позиция окажется для этого достаточно «левой». Я не заблуждался в степени возможности передвинуть наших «правых» земцев налево. Но наши левые из Союза Освобождения казались мне достаточно подготовленными и умеренными, чтобы в их среде утвердить центр сближения всего фронта начинавшейся борьбы. Успех моей миссии, при этих условиях, казался мне обеспеченным.

Не следует, однако, заключать отсюда, что мой оптимизм относительно возможности соглашенной тактики партий представлялся мне единственным условием успеха предстоявшей политической борьбы. Я отнюдь не был слеп на другой глаз, обращенный к роли в этой борьбе правительства. Насколько в этом отношении положение стало более трудным и сложным, мне стало ясно уже из наблюдений из-за границы за быстрым ходом русских событий. Документальное доказательство развития этих наблюдений я нахожу в той же своей американской книге о «России и ее кризисе». Я собирался закончить ее сообщениями, только что мною полученными, о радикально-либеральных постановлениях земского съезда 6-8 (19-21) ноября и о парижском съезде оппозиционных и революционных партий в Париже. Эти факты рисовали гармонию общего либерально-революционного наступления на власть. Но пришлось ввести в эту гармонию резкие диссонансы в виде рассказа о «Красном Воскресенье», истолкованном как **{260}** первое народное восстание, хотя и разбитое властью, но чреватое дальнейшими последствиями. Я уже говорил в тексте книги о чрезвычайной трудности, даже для «опытного и авторитетного политика», определить, в виду передвижки влево общего антиправительственного фронта, ту минимальную политическую программу, которая еще могла бы «спасти положение» и «удовлетворить общественное мнение». А уезжая из Америки и исправляя последние корректуры, — я счел необходимым к этим фразам текста прибавить следующее примечание: «Эти строки были написаны до зимних осложнений 1904-1905 гг. Теперь никакой отдельный государственный деятель спасти положение не может. Слово принадлежит представителям народа». Тут уже вырисовывались, в предчувствии событий конца 1905 и начала 1906 г., роли Витте и Думы.

Я должен сделать еще одну личную оговорку относительно того, чего я не предвидел относительно перемены моей собственной роли. Это — та перемена, которая случается с каждым, кто меняет рабочий кабинет на общественную арену. С этим связан рост известности, возбуждение ожиданий от нового лица, — ожиданий самых разнообразных и противоположных. И индивидуальное лицо деятеля закрывается постепенно впечатлениями от актов его политической деятельности, различно толкуемыми. Возвращаясь в Россию с определенной репутацией, созданной во время скитаний, я должен был знать, что мне нельзя и невозможно затеряться в массе моих единомышленников. Я не хотел быть ничем иным, кроме как рядовым членом в их среде и приобщиться к их общему действию: идти, так сказать, плечом к плечу с ними. Но на меня, новичка в политике, смотрели иначе: одни с любопытством, другие с интересом, третьи — друзья — с определенными ожиданиями. Всё это, как только что сказано, усиливалось темпом и температурой начавшейся до моего прихода горячей борьбы. И лицо мое поневоле заволакивалось; не скажу, чтобы оно превращалось в маску: до этого я допустить не мог; но от лица отделялось имя — отделялось помимо моей воли и желания.

Чтобы пояснить это ощущение, которое суждено было испытать и мне, — как всем, попадающим в это **{261}** положение, я позволю себе процитировать наблюдения надо мной И. В. Гессена в его воспоминаниях — как раз g тот момент, когда это раздвоение лица и имени начало совершаться. Гессен встретил меня впервые на именинах Мякотина в Сестрорецке, куда собрались друзья из «Русского богатства». Я заинтересовал его тем, что, как бы чужой в этом тесном кружке, сидел "à part" (В стороне.). Он завязал со мной беседу и при этом «ни разу не ощутил неприятного холодка, который всегда вызывала предвзятость, партийная предубежденность, отметание того, чего нет в Коране». Возвращаясь с пирушки на вокзал, он узнал, что беседовал с автором «Очерков». Это было, очевидно, мое «лицо». Два года спустя он встретил Милюкова-«кадета», и отшатнулся от «имени». Лет пятнадцать позднее он окончательно решил загадку противоречия. «Милюков — не кадет». Его способность, не будучи «кадетом», руководить «кадетизмом», доказывает, что «может быть, у него и нет подлинных политических убеждений, а есть лишь уверенность, что реальную политику можно вести на том месте, на которое поставлены кадеты; что он, Милюков, эту политику может делать и что без него она велась бы хуже или вовсе не велась бы». Остается вопрос, кто «поставил» кадетов на это место.

В дальнейшем читатель найдет ответ на это. Но «ставя» кого-либо на «место», надо самому стоять на нем; чтобы выработать коллективный взгляд на вещи и работать с коллективом, надо самому к нему приобщиться. Привести коллектив к единству «лица» — вещь вообще невозможная. «Конституционалист-демократ» — это еще не марка объединения. Но когда коллективу дается извне его «имя», его кличка «к. д.», это уже показывает, что известная степень единства достигнута, генерические черты укреплены и границы с не «к. д.» твердо установлены. Почему Милюков, не изменяя себе, есть «кадет» по преимуществу? Это объясняется лишь процессом достижения данной степени единства коллектива, — процессом, который стоил больших усилий тем, кто принимал в нем участие. Но об этом будет рассказано дальше.

Перемены за время моих скитаний произошли также **{262}** и в моей личной и семейной жизни. Прежде всего, долг воспитания детей целиком лег, в мое отсутствие, на мою жену. Наш последний, третий ребенок родился во время нашего пребывания в Болгарии. Старшему сыну было, ко времени моего возвращения, 15 лет. Это характеризует количество и качество забот, выпавших на ее долю. Как прежде моя карьера ученого, так теперь карьера политика могла быть осуществлена только при ее содействии. Жизненное сотрудничество наше оставалось по-прежнему тесным и бесспорным. Но, прежде всего, жена моя возвратила себе в разлуке ту самостоятельность, которую так боялась потерять при замужестве. Ее студенческая работа о русской женщине допетровского периода так и осталась незаконченной. Но ее интерес к женскому движению расширился и окреп. Я думаю, большой толчок в этом направлении дало ей знакомство с женой Каравелова, которая стояла во главе движения в пользу эмансипации болгарской женщины из тисков турецкого домостроя, всё еще над нею тяготевших. Эти наблюдения усилили ее интерес и к русскому женскому движению.

Она умерла в Париже председательницей общества русских дипломированных женщин, которое представляла и на заграничных съездах. К этому присоединилась деятельность в сфере благотворительности, как в России, так потом и в Лондоне, и в Париже. Ее литературные работы сосредоточились на таких темах, как отношения дочери Годвина к Шелли или судьба жены Герцена. Словом, у нее сложился свой круг личной и общественной деятельности. Я, со своей стороны, мог посвящать только урывки времени своей семейной жизни, которая прерывалась уже со времени моих сидений в тюрьмах и — тем более — моими поездками заграницу. Повторяю, всё это не изменило, а скорее укрепило нашу идейную близость и наше жизненное сотрудничество. Но семейные узы стали, неизбежно, менее тесными: каждый из нас выгородил себе собственную сферу деятельности.

2. ЧТО Я НАШЕЛ В РОССИИ

Опоздал ли я вернуться в Россию в апреле 1905 г.? Конечно, от январского «Красного Воскресенья» до **{263}** апреля, в этот лихорадочный год, события не стояли на одном месте. Они развертывались в ускоряющемся темпе. Но, в основном, общие черты политического положения оставались те же, и ничего решительного не произошло. Растерянное правительство продолжало быть связано в своих попытках пойти навстречу хотя бы более умеренной части общества «непреклонной волей» монарха, которого поддерживали немногие приближенные фавориты — реакционеры, как Победоносцев, кн. Мещерский и т. п. Революционное движение далеко не успело проникнуть в массы; его роль заменяла «симуляция революции» интеллигентами, как выразился Обнинский. Первые

попытки социалистических течений организоваться в партии не успели еще выработать своих программ — и уже раскололись по вопросам тактики.

Основное расхождение прошло между ветеранами народнического течения, искавшими (теоретически) опоры в крестьянстве, и молодым течением марксизма, не покончившим споров между «легальными» и «нелегальными», и уже готовым разделиться внутри самих «нелегальных». «Общество» в более широком смысле было, несомненно, объединение приподнятым настроением, но не успело еще распределиться на более определенные группы и не разобралось в реальном значении лозунгов, всё более левых. Всё это я мог бы вывести, в качестве итога, из того, что я уже узнавал заграницей; личные наблюдения на месте могли лишь подтвердить и уточнить узнанное.

В одном только отношении я мог бы упрекать себя за опоздание, — если бы именно от моего опоздания — или, вообще, отсутствия из России в эти месяцы — что-нибудь зависело. Я разумею, именно, быстрое полевение боевых политических лозунгов в моем отсутствии и, в результате, расхождение между двумя флангами освободительного движения, — «земцами» и «освобожденцами». Но я с чистой совестью могу сказать, что этого предотвратить ни я, ни кто-либо другой не мог, так как корни этого расхождения заключались в общей психологии русской интеллигенции, а плоды ее проявились совершенно независимо от моего личного воздействия — и раньше, чем я мог бы оказать его. Напротив, мое присутствие в России в начале этого процесса полевения **{264}** могло бы только связать меня частичным участием в нем и, если не лишить, то ослабить возможность для меня сыграть ту умеряющую роль, которую я смог выполнить при выделении политического течения, получившего название «кадетизма». И я мог быть только доволен тем, что среди разбушевавшихся страстей смог сохранить самостоятельность и независимость своей собственной политической позиции. Мои «скитания», несомненно, этому содействовали. На расстоянии — и по указаниям заграничного опыта — политические перспективы представлялись яснее и было виднее дальше, чем это было бы возможно среди борьбы, так сказать, врукопашную. Другой вопрос, какую роль вообще «кадетизм» сыграл в русской политической жизни — и какую он мог бы сыграть при иных условиях. Но этот вопрос уже выходит за пределы автобиографического изложения. Отчасти он, впрочем, выяснится дальше, при попутном с биографией изложении хода событий.

Возвращаясь к тому, что я застал в России при возвращении, я еще подчеркну, что процесс выяснения политических позиций и в тот момент еще далеко не привел к окончательным результатам. Для более широких общественных кругов он только что начинался, И сам я не сразу разобрался в оттенках политических мнений и настроений, и эти оттенки и разногласия могли выясниться лишь в ходе развития событий, по мере дальнейшего сотрудничества или конфликтов между отдельными политическими течениями.

В том виде, в каком сложились мои отношения к существовавшим до этого боевого момента прогрессивным группировкам, мне уже приходилось говорить о них. Я имел друзей среди всех них, и это само по себе говорит об отсутствии резкой дифференциации их в практике политической борьбы. Мои самые большие личные друзья были среди народников «Русского богатства». В. А. Мякотин даже предлагал мне вступить в члены Центрального комитета социалистов-революционеров, переживавшего тогда кризис. Он был удивлен моим ответом, что я не считаю себя социалистом. Не быть социалистом в этой среде значило — быть отлученным от общения с «орденом», где каждого новичка допрашивали, «како веруеши» и принимали только «посвященных».

{265} Это было обязательной традицией радикальной русской интеллигенции.

В среде молодого течения русских марксистов культ новой традиции еще не успел сложиться, и самая доктрина только начала вырабатываться. Это располагало к известной терпимости среди направления, которое вскоре должно было оказаться самым нетерпимым. Но пока служение народным массам продолжало считаться там и здесь, среди с. - д., как и среди с. - р., основной задачей «интеллигенции», мое место было среди и тех, и других. Я был одинаково принят и в Союзе писателей, организованном Литературным Фондом, где либеральная и народническая демократия были достойно представлены такими вождями, как К. К. Арсеньев и Н. Ф. Анненский, — и в Вольном Экономическом Обществе, где тот же Н. Ф. Анненский и Е. Д. Кускова объединяли «третий элемент» земцев и кооперацию под защитной окраской председателя графа Гейдена, либерала-консерватора в английском стиле. Такое мое центральное положение было самым благоприятным не только, как обсервационный пункт, но и как способ политического самоопределения. Самоопределение, однако, еще предстояло.

Первым шагом в этом направлении должно было быть, конечно, определение своего отношения к ближайшей по политическому настроению организации, сохранявшей пока, по крайней мере в

принципе, такой же центральный характер. Союз Освобождения включал в себя представителей разных упомянутых течений, еще не расставшихся со своими организациями, но делавших общее дело. Тут были и земцы-конституционалисты, и более смешанный круг сотрудников журнала «Освобождение». Сам Струве уже успел пройти через несколько ступеней политического спектра. Из моей полемики на страницах «Освобождения» можно видеть разнообразие течений, которые получали приют на столбцах журнала, ведя там левую или правую политику. Это было возможно, конечно, именно потому, что процесс дифференциации только что начинался.

По самому своему происхождению, Союз Освобождения включал в себе два элемента, вначале объединенные общим настроением и минимальной программой, а потом разошедшиеся, прежде всего в тактике, а потом и в **{266}** программе. Я уже упоминал, что оба элемента, земский и «освобожденческий», в равном числе отправились в Швейцарию основывать свой Союз. Когда этот Союз затем оформился в России, то в равном же числе представители обеих групп вошли (в январе 1904 г.) и в Совет Союза. Земцы-конституционалисты были представлены там шестью членами: И. И. Петрункевич (Тверь), кн. П. Д. Долгоруков (Москва), кн. Д. И. Шаховской (Ярославль), Н. Н. Ковалевский (Харьков), И. В. Лучицкий (Киев), Н. Н. Львов (Самара). В группу, определившую себя принадлежностью к «интеллигентам», вошли: Н. Ф. Анненский, В. Я. Богучарский, Л. И. Лутугин, В. В. Хижняков, А. В. Пешехонов и С. Н. Прокопович. Уже эти фамилии показывают, что вторая группа, теснее связанная, должна была оказаться и более активной. А при Совете сотрудничала местная, так называемая «Большая петербургская группа» (12-14 чел.), выделившая из себя, по доставке журнала и сношениям с провинцией, «техническую группу» в составе Богучарского, Хижнякова, Е. Д. Кусковой, Соколова, Миклашевского, Куприяновой. Она была наиболее сплочена, предприимчива и способна на немедленные активные поступки. Около нее еще сплотилась тесная группа «сочувствующих». Как видно, Союз разрастался именно в эту сторону левых добровольцев. Отсюда же исходили и все инициативы. Сознавая свою разнородность с правым крылом, «интеллигенты» (будем называть их «освобожденцами» по преимуществу) не хотели объединяться с ними в одну «партию» и довольствовались свободной «федерацией» в Союзе. Когда на третьем съезде всего Союза Освобождения (конец марта 1905 г.) сделана была попытка превратить Союз в партию, то разногласия при уточнении пунктов программы оказались уже настолько значительными, что большинство участников съезда высказалось против партийного сплочения. В программе Союза было поэтому определенно сказано, что в нее включено лишь то «общее, на чем объединились все группы», и что союзные «решения могут считаться обязательными лишь постольку, поскольку политические условия останутся неизменными». В виду этой оговорки «некоторые решения были намеренно оставлены временно открытыми»; другие признавались «условными». Это было очень **{267}** благоразумно, — но невыгодно для правого крыла, так как «политические условия» менялись с возрастающей быстротой влево. Оговорки и были сделаны, очевидно, в виду этой неизбежной эволюции влево.

Этому соответствовала и тактика Союза. Для нее уже никаких обязательных директив не существовало. Именно в тактике и сказалось сразу же преобладание левых элементов в Союзе. Уже после ноябрьского земского съезда 1904 г. — и под видом осуществления его постановлений — Союз дал директиву — устраивать на эти темы повсеместные банкеты. Самое название «банкетов» напоминало тот период царствования Людовика-Филиппа, когда начиналась открытая борьба, закончившаяся свержением июльской монархии. Требования банкетов — и самой программы Союза далеко выходили за пределы одиннадцати пунктов решений земского съезда. В горячих речах ораторов банкетов уже упоминалось и всеобщее избирательное право, и Учредительное Собрание. В те месяцы всё это покрывалось тем общим приподнятым настроением, созданию которого и были посвящены банкеты. Будущий левый кадет Обнинский в заграничном издании книги «Последний самодержец» очень метко характеризует это настроение, как «крики измученных людей, объединявших разные круги населения скорее по чувству, нежели по рассудку». «Получалась иллюзия полного единодушия русского общества», говорил он; «смешивалась общая ненависть к чиновничеству с единством политических и социальных идеалов». «Общество, видимо переучитывая свои силы, набиралось смелости». «Иллюзия» и «смелость», как вступительные шаги к борьбе, быть может, были полезны и даже необходимы.

Но «симуляция наличности революции, бывшей на деле только в зародыше», по заключительной формуле того же Обнинского, могла стать опасной. Продолжение ораторских эксцессов, в подражание эпохе Луи-Филиппа, могло привести к тем же печальным последствиям, какие сказались в дальнейших событиях той же эпохи. Не знаю, как бы я нашел свое место среди наших застольных ораторов, если бы приехал к «банкетам».

Союз Освобождения, всё еще во время моего отсутствия, продиктовал и следующий шаг, гораздо более важный для широкой организации общества. Еще до **{268}** ноябрьского земского съезда, постановлением 20-го октября 1904 г., Союз решил «начать агитацию за образование союзов адвокатов, инженеров, профессоров, писателей и других лиц либеральных профессий, организацию их съездов, выборы ими постоянных бюро и соединение этих бюро, как между собою, так и с бюро земских и городских деятелей, в единый Союз Союзов». За отсутствием деления общества на политические партии, мысль организовать его по профессиям была очень удачна. Конечно, лишь в момент общего приподнятого настроения могли получиться группировки, более или менее одинаковые по политическому настроению. В них бесформенное политически русское прогрессивное общество получало возможность впервые объединиться не только идейно, но и формально. Это был метод, к которому я вполне мог присоединиться, как к первичной и переходной стадии политической организации, которую я считал неизбежным предварительным условием всякой свободной политической жизни. Но поспешное слияние отдельных групп в единый «Союз Союзов» уже таило в себе заднюю мысль — централизовать всё движение в Петербурге и монополизировать его проявления.

Надо прибавить, что в той же неопределившейся обстановке получилась и первая политическая уступка царя. 18 февраля 1905 г., несколько дней спустя после бомбы Каляева, разорвавшей на куски московского генерал-губернатора в. к. Сергея Александровича, был опубликован рескрипт заместителю Святополк-Мирского, Булыгину, о созыве «достойнейших, доверием облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений» — разумеется, «при неизменном сохранении незыблемости основных законов империи».

Важнее этой маленькой уступки, не выходившей за пределы прежних, неосуществившихся попыток этого рода, был для русского общества секретный циркуляр министра вн. дел «не препятствовать существующим общественным и сословным учреждениям» и т. д. «подвергать своему обсуждению предположения по вопросам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства» и т. д. Публика истолковала этот циркуляр, как разрешение публично обсуждать вопросы **{269}** государственного устройства, а растерявшаяся полиция подтвердила это толкование своим временным невмешательством. Общество получило, таким образом, возможность высказаться уже не в «явочном» порядке, установленном практикой Союза, а квази-легально.

В итоге своих впечатлений от деятельности Союза Освобождения, наблюдая его растущие успехи в среде, готовой действовать по его высокому камертону, видя его быстро расширяющееся влияние и связи, я уже не мог не почувствовать, что здесь дело может дойти скорее до политической конкуренции, нежели до сотрудничества. Исходившее из этого центра влияние я, во всяком случае, не мог контролировать, а должен был или подчиняться и ассимилироваться, или вступить в открытую борьбу. Я не мог еще установить для себя, где пройдет граница нашего взаимного согласия, но постоянно чувствовал приближение к этой границе со стороны освобожденцев. Вообще — и раньше — интеллигентский tonus Петербурга, где создавался правящий центр Союза Союзов, был для меня слишком левым, слишком отвлеченным, слишком абстрактно-теоретическим. И мое внимание невольно переходило к Москве, моей старой родине, где я чувствовал себя более самим собой, более свободным от навязанных извне влияний и принятых заранее решений. Что представляла из себя Москва? Какие перемены произошли в ней за время моего десятилетнего отсутствия?

На первое время в университетских, журналистских, политических кругах, более мне близких, я больших перемен не заметил. Несколько опустел тот наш московский литературный и профессорский круг, который так незаслуженно-злобно и карикатурно был изображен потом Андреем Белым.

Но по-прежнему университет, журнал, газета, наука занимали в Москве то первое место, которое в Петербурге принадлежало придворным, сановным и военным кругам. Это, так сказать, самодовление Москвы создавало больше уверенности в себе, больше душевного равновесия и спокойствия в среде интеллигенции, чем в вечно тревожном и нервном, вечно куда-то спешащем Петербурге. Даже традиционная оппозиционность Москвы к правительственным веяниям не принимала того острого характера, какой близость власти **{270}** сообщала петербургской интеллигенции. Социальные элементы Москвы, купеческие и дворянские, ближе стояли друг к другу — и к своей интеллигенции: это давало московскому обществу характер большего культурного и политического единства, чем это было в Петербурге и на русских окраинах. В Петербурге всё усиливающуюся политическую роль играло рабочее движение: здесь находились и руководившие им идейные кружки. В Москве элемент беспокойства проявлялся, главным образом, в студенческих волнениях, которые уже вошли в традицию

и получили даже руководящее значение в России. В Петербурге вырабатывались политические программы; в Москве научно и систематически разрабатывались законодательные проекты, которые — Москва в это твердо верила — когда-нибудь осуществятся в порядке радикальной, но благоразумной и мирной реформы. Москва не любила, чтобы ее заранее беспокоили.

За десять лет моих скитаний я не был в Москве ни разу, если не считать переезда с вокзала на вокзал, из одной ссылки в другую, из Рязани в Болгарию. Переезжая теперь с Николаевского вокзала к Никитским воротам, где приютил меня мой будущий оппонент слева, адвокат М. Мандельштам, я местами не узнавал Москвы: так она перестроилась. Новые веяния, благодаря московскому купечеству, внесли яркую струю в московскую архитектуру.

Среди старых дворянских особняков ампирного стиля на улицах и в переулках выросли самые прихотливые подражания разновременным европейским достижениям. Тщетные попытки создать собственный национальный стиль были брошены; им на смену пришел космополитический «Мир искусства». Новое поколение купеческих меценатов свободно выбирало из этого «мира» любой стиль. Тарасовский особняк на Спиридоновке подражал античному классицизму во вкусе Палладио. Иван Абрамович Морозов на той же Спиридоновке заказывал замок в готическом стиле, а на Пречистенке строил дворец во вкусе португальского возрождения. Его брат Михаил возводил на Зубовском бульваре свой дворец с классическим фасадом и отделывал каждую комнату в одном из исторических стилей. С двумя последними из этих дворцов мне пришлось познакомиться в связи с моей политической деятельностью. В «португальском» **{271}** замке царила известная всей московской интеллигенции Варвара Алексеевна Морозова — человек удивительной энергии и готовности служить общественному делу в духе семидесятых годов. В ней всё, от скромной внешности и непритязательности костюма до личного антуража, созданного ею среди окружающего великолепия, свидетельствовало о глубокой вере в непреложный идеал общественного прогресса и в необходимость сеять «разумное, доброе, вечное». Ее ментором и другом был В. М. Соболевский, с 1881 года редактор, а потом и соиздатель «Русских ведомостей», московской «профессорской» газеты, наиболее мне близкой. Люди нашего типа, уже выходившего из моды, чувствовали себя здесь, как дома. Собрания всевозможных «либеральных» организаций находили у В. А. Морозовой верное убежище. О дворце другого Морозова расскажу позже.

Политическая работа велась в Москве очень энергично и до моего приезда. Земцы-конституционалисты, после неудачи создать «партию» в рамках Союза Освобождения, тем свободнее приступили к созданию собственной партии. После того, как от них отделилась группа Д. Н. Шипова, оставшиеся уже чувствовали себя настолько близкими по своим политическим убеждениям, что могли свободно заполнить пробелы, умолчания, неясности и недоговоренности программы Союза Освобождения. Эту-то сепаратную политическую работу я и застал в Москве в близком мне по взглядам политическом кругу —и к ней охотно присоединился. Тут, наконец, я почувствовал себя вполне «своим».

Меня, первым делом, ввели в кружок — или комиссию — русских законоведов, занимавшихся переработкой для будущей партии текста конституции, напечатанного уже заграницей редакцией «Освобождения». Здесь участвовали авторитетные профессора, как М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев и др. Но рабочую силу составляли молодые профессора-юристы нового поколения. Я познакомился тут впервые с Ф. Ф. Кокошкиным, П. И. Новгородцевым и др. — и сразу вошел в полемику — на вопросе о двухпалатной или однопалатной системе. В двухпалатной системе я усматривал консервативную заднюю мысль — ограничить народ представительством класса. Болгария научила меня преимуществам одной **{272}** палаты. Но Кокошкин сбил меня с этой моей позиции. Это был, помимо всех других его несравненных достоинств, удивительный спорщик. Он не только угадывал в споре настроение противника, но и формулировал яснее его самого его мысль, а затем разбивал его так мягко и дружественно, что противник охотно признавал себя побежденным. Гибкость его мысли равнялась только твердости его основных убеждений. Он понимал значение политического компромисса, но знал и его границы. При некоторой дозе личного доктринаризма он умел защищать коллективное решение, раз оно было принято.

Я не помню другого случая, когда взаимное понимание с кем-либо доходило бы у меня до предвидения общего хода мысли по всякому отдельному вопросу. Наши передовицы — мои в «Речи» и его в «Русских ведомостях» — часто совпадали и по темам и по способам доказательства. Варварское убийство Кокошкина большевиками принесло мне глубокое горе. Одной солдатской пулей легко уничтожить хрупкую и тонкую организацию; но сколько поколений нужно, чтобы создать ее! Архимед и варвары: история повторяется.

(ldn-knigi - см. очень подробную статью о Кокошкине и о событиях того времени :

http://www.history.machaon.ru/all/number_08/istori4e/kokoshkin_print/index.html).

О другом основном вопросе, о всеобщем избирательном праве, нам спорить не приходилось уже потому, что принятие его было заранее предрешено. Мой болгарский опыт научил меня, что в этой избирательной системе не только нет ничего страшного, но что она является гарантией против многих зол других систем.

Прямые выборы от больших округов лучше всего обеспечивают выбор интеллигентного и политически подготовленного представителя. Выборы двухстепенные или многостепенные теснее связывают представителя с его деревней; но это будет не представитель, а ходатай, доступный влиянию и подкупу. Кокошкин решал этот вопрос принципиально, я — практически. Но оба мы решали его в одинаковом смысле.

Помимо политических реформ совершенно необходимо было поставить на очередь один из социальных вопросов и найти для него разумное решение: вопрос аграрный. Мы все, конечно, чувствовали, что здесь мы вступаем на вулканическую почву, где сталкиваются противоположные классовые интересы и ведется борьба, не считающаяся ни с законами, ни с властями. Как найти **{273}** тут справедливое решение, работая в среде дворян-землевладельцев — они же и земцы-конституционалисты? Наши земцы, правда немногочисленные, которые вошли в политическую группу конституционалистов, по счастью, отнеслись к земельному вопросу с поразительным самоотвержением и готовностью к жертвам. Но и они не избежали упреков в классовой партийности. Наше решение аграрного вопроса всегда оставалось мишенью для нападений классовых противников.

В составе нашей комиссии были, во всяком случае, члены, которых никак нельзя было заподозрить в служении классовым интересам. Сюда принадлежал профессорский элемент, представленный В. Е. Якушкиным, у которого аграрный радикализм восходил, по семейной традиции, к декабристам. «Третий элемент» был представлен убежденным народолюбцем, земским агрономом Черненковым, которому тяжело было делать малейшие отступления от своего цельного взгляда на задачи аграрной реформы. Радикализм нашего аграрного проекта был лучше всего доказан той ожесточенной борьбой, какую он вызвал против себя в дворянских кругах, а затем и в правительстве.

В наших работах тех дней нам пришлось коснуться, наконец, и национального вопроса — в связи с стремлениями поляков к автономии. Для нас этот вопрос был решен после ряда совещаний с поляками, собиравшимися в особняке адвоката А. Р. Ледницкого. Несколько дней спустя после ноябрьского земского съезда там состоялось, при участии видных поляков, а с русской стороны Муромцева, Скалона, Гольцева, Николая Гучкова и кн. Петра Дм. Долгорукова, первое русско-польское соглашение, за которым последовал 7 (20) апреля 1905 г. русско-польский съезд в Москве. «Насколько единодушно стремление поляков к автономии Царства Польского, — говорил там Ледницкий, — настолько же единодушно понимание необходимости сохранения государственного единства с Россией и так же единодушно определение границ Царства Польского в существующих теперь пределах».

Этим согласительным настроением надо было пользоваться и стараться закрепить его дружным русским откликом, но когда вопрос был перенесен на совещание в «португальском» особняке Морозовой, А. И. **{274}** Гучков резко высказался против польской автономии Я не менее резко и горячо ему отвечал. Этот спор произвел в Москве сенсацию; он послужил позднее первой чертой водораздела между кадетами и октябристами. Гучков ссылался на «органичность» своих «почвенных» убеждений, которым противопоставлял мою «книжность». Общие симпатии были, конечно, на моей стороне. Это было не последнее мое столкновение с бывшим университетским товарищем, превратившимся в опасного политического противника.

Вне кругозора моих непосредственных московских наблюдений остался секретный кружок дворянских пионеров московской оппозиции, который потом так красочно и любовно изобразил В. А. Маклаков, противопоставив его умеренный характер вторжению «освободительного движения», «улицы». Этот кружок предводителей дворянства и именитых москвичей носил название «Беседы». Но к моменту моего приезда мирными беседами уже поздно было заниматься. Часть членов кружка перешла в более активные организации, включая и земцев-конституционалистов (Павел Дм. Долгоруков). Самому В. А. Маклакову пришлось погрешить адвокатской защитой всеобщего избирательного права.

Влияние «освободительного движения» на земские круги было в полном разгаре. Еще во время моего пребывания в Москве об этом свидетельствовал второй земский съезд, собравшийся 22-26 апреля 1905 г. в особняке Ю. Н. Новосильцева на Б. Никитской.

Участники первого, ноябрьского съезда 1904 г. имели некоторое основание признавать свое собрание «случайным», а высказанные на нем мнения — «личными». Ко второму, апрельскому съезду эти характеристики были уже безусловно неприменимы. Состав съезда был на этот раз санкционирован,

в большей своей части, земскими управами и собраниями, а мнения и решения ноябрьского съезда не только были восприняты, но и далеко превзойдены в радикализме, под влиянием Союза Освобождения через посредство банкетов, — выступлениями на земских собраниях и резолюциями профессиональных съездов конца 1904 и начала 1905 годов. Апрельский съезд должен был подвести итог всему тому, что было достигнуто полугодовой эволюцией общественного **{275}** мнения. Такие вопросы, как всеобщее избирательное право со всеми четырьмя «хвостами», однопалатная или двухпалатная система, одностепенные или многостепенные выборы, наконец, и вопрос об Учредительном Собрании — всё это стояло на очереди обсуждения. Тревожный вопрос заключался в том, выдержит ли или не выдержит апрельский съезд всю эту дополнительную политическую нагрузку.

При посредстве московских друзей я впервые познакомился с частью собравшихся здесь передовых земских деятелей, получивших политическую закалку еще со времени борьбы земцев с Плеве. Но у меня не было формального права самому стать в их ряды. Члены съезда, в интересах его авторитетности, не могли допускать в свою среду посторонних. И вместе с несколькими членами и друзьями семьи Новосильцевых мне была предоставлена возможность следить за ходом прений на съезде через полуоткрытую дверь в зал заседаний. Для личного общения этот обсервационный пункт давал мало возможности. И мы разделяли тревогу хозяев дома за благополучный исход прений в соседнем зале.

Через дверную щель можно было слышать разнобой ораторов на деликатные темы. Вот М. В. Родзянко оперирует аргументом от народного невежества и рабского подчинения масс начальству — против всеобщего избирательного права. М. А. Стахович тоже не верит в политическую подготовленность масс. Но срывается с места пламенный Н. Н. Львов и занимает позицию, столь ему впоследствии несродную. Горячо и убежденно он ставит принципиальный вопрос. Да или нет? Верите ли вы в народ или нет? От ответа зависит вся политическая позиция демократии!

Оглушительные аплодисменты сопровождают его речь: большинство вырисовывается. Но прения не кончены: голосование предстоит завтра. Сохранится ли произведенное впечатление? Надежду подает изменившееся положение Д. Н. Шипова. Мы видели его моральный вес на ноябрьском съезде. В апреле он как-то стушевался, притаился в задних рядах кресел и только на прямой вызов ответил бессильной речью, выслушанной в молчании.

Влияние освобожденцев победило. Всеобщее право было принято; двухстепенные выборы — отвергнуты.

{276} Правда, принята верхняя палата — из представителей земств, после их преобразования. Но для Учредительно. го Собрания, прикрытого здесь под выражением: «первое представительное собрание», принята одна нижняя палата, и ее задачей поставлено «не столько законодательство по частным вопросам, сколько установление государственного правопорядка». Потом эта формула станет еще определеннее: «не органическое законодательство, а выработка основных законов и конституции». Так взят в апреле новый политический рекорд. Мы все радовались — и я в том числе. Но в этом первом крупном политическом оказательстве со времени моего приезда я был только в роли стороннего наблюдателя. Мои личные ответственные выступления были впереди.

3. МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ С ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ МИССИЕЙ

По современному свидетельству мне предшествовала — по крайней мере в данной среде, репутация «отпетого революционера». Это увеличивало риск моего первого публичного выступления для тех, кто решился бы его устроить — не в легальном, а в «явочном» порядке. Но интерес — или любопытство — выслушать приезжего политического гастролера взяло верх. Я был обязан этим, прежде всего, молодому прапорщику, жениху дочери Новосильцева и своему человеку в доме — Игорю Платоновичу Демидову, который сам только что приехал с Дальнего Востока. Отсюда началось наше знакомство, перешедшее потом в дружное сотрудничество и закончившееся только с последней военной катастрофой, разметавшей нас в разные стороны. Как оказалось, риск полицейского вмешательства только обострял интерес к политическим докладам. Они входили в моду в лучших домах.

На лекцию собралась, как тогда говорили, «вся Москва». Были тут тогдашние «крайние левые», как доктор Жбанков, Вихляев, Блеклов; была титулованная аристократия: кн. В. М. Голицын, московский городской голова, семья московского губернского предводителя дворянства, кн. Петра Ник. Трубецкого. Был даже кто-то из **{277}** «самаринского» консервативного кружка. Были и представители московского купечества. Центр собрания составляли члены земского съезда разных оттенков, только

что принимавшие решения в этой самой зале. Была Московская интеллигенция, представленная профессорами редакторами и журналистами из «Русских ведомостей» и «Русской мысли», адвокатурой. В других случаях сошедшиеся здесь фланги общественного мнения обыкновенно избегали встречаться друг с другом. Отсутствовала студенческая молодежь. Она тщетно рвалась в залу, но встретила отпор распорядителя, того же Демидова, который стоически выносил упреки за «презренное» выполнение полицейских обязанностей и «непонимание свободы публичного слова».

Но иначе было нельзя: зал вмещал только 300-350 человек и был полон до отказа. Невольно вспоминался мне нарядный зал нижегородского дворянского собрания с губернатором и архиереем, перед которыми я возвещал в 1894 г. зарю нового «конституционного» царствования Николая II — и открыл себе прямой путь в ссылку и заграницу. Теперь, десять лет спустя, приходилось делать дальнейший шаг: мирить «конституцию» с «революцией», и это оказывалось приемлемым и более вероятным! Темп истории ускорялся, и будущий «историк падения самодержавия» открывал своим повествованием новую главу.

Успех, конечно, был обеспечен демонстративным характером выступления, торжественной обстановкой и избранным составом слушателей. Но я льстил себя уверенностью, что тут сыграло роль и самое содержание доклада. Весть о возможности примирения, очевидно, была приемлема и желательна для разнообразных политических оттенков, здесь собравшихся. Едва ли она казалась всем настолько осуществимой, как мне, с моим неполным знанием всего происходившего за десятилетний промежуток в России. Во всяком случае, выслушать примирительную речь от «отпетого революционера», приводившего притом «революционные» доказательства этого настроения у самых крайних, было пикантно и меняло сложившееся мнение о самом докладчике. Мой милый прапорщик сказал приличное случаю приветственное слово и преподнес мне огромнейший букет мимоз. Момент моего, так сказать, официального **{278}** принятия в ряды московской избранной общественности прошел удачно.

Конечно, это выступление не осталось единственным. Ближайшее право на меня предъявила московская молодежь, не нашедшая доступа в Новосильцевский особняк, — и я с особым удовольствием принял предложение из среды, за дружбу с которой был из Москвы изгнан. При содействии моей рязанской знакомой, а теперь московской курсистки Н. В. Шиповской была устроена «чашка чаю» в демократическом квартале Москвы. Помещение походило на мансарду — и уже к началу лекции наполнилось густым табачным дымом. Эстрады тут не было; ее отсутствие было заполнено простым деревянным столом, на который вознесли оратора. Кругом стола тесным кольцом сгрудились слушатели. Было очень жарко; к концу стало трудно дышать, яблоку было упасть некуда. Прием был простой и дружественный: принимали, как своего: как будто мы и не расставались. Моя тема была та же, что и в особняке Новосильцевых, но я говорил свободнее и, вероятно, распределял иначе оттенки изложения. Обыкновенно, в таких случаях завязывается, по окончании лекции, спор. Но тут я не чувствовал никакого психологического сопротивления аудитории. Мои факты и выводы принимались без критики: на докладчика смотрели, очевидно, как на авторитетного учителя. Позднее, всё это сложилось бы иначе: но мы были еще в конце апреля или в начале мая: политической дифференциации еще не произошло; речь удовлетворяла настроению того момента.

Еще одно, третье, выступление в Москве запечатлелось от этих дней в моей памяти. После дворянского особняка и студенческой мансарды я получил приглашение сделать доклад в купеческом дворце на Зубовском бульваре для гостей хозяйки, вдовы Мих. Морозова, рано умершего дилетанта истории, Маргариты Кирилловны. Это было уже подтверждением достигнутого в Москве успеха. Обстановка здесь была совсем иная, нежели в особняке Новосильцевых.

Великолепный зал, отделанный в классическом стиле, эффектная эстрада, нарядные костюмы дам на раззолоченных креслах, краски, линии — все это просилось на «историческую» картину. Картина и была задумана, не знаю, хозяйкой или **{279}** художником. Пастернак принялся зарисовывать эскизы и порядочно измучил меня для фигуры говорящего оратора на эстраде. Ниже эстрады, на первом плане, должны были разместиться портретные фигуры гостей хозяйки вместе с нею самой. Однако, картина не была написана: вероятно, большое для тех дней событие сократилось в размерах перед другими историческими картинами и новизна моды прошла.

Очаровательная хозяйка дома сама представляла интерес для знакомства, тем более, что с своей стороны проявила некоторый интерес к личности оратора. Несколько дней спустя я получил визит ее компаньонки, которая принесла пожертвование в несколько тысяч на организацию политической партии. Именно этому вопросу я посвятил свою лекцию в ее дворце: эта тема была обновлена новым материалом после наших программных апрельских работ и «освобожденческих» влияний. Меня просили также руководить ориентацией хозяйки в чуждом ей лабиринте политических споров. От

времени до времени я начал замечать присутствие Маргариты Кирилловны на наших политических собраниях. Наконец, она пригласила меня побеседовать с ней лично. Беседы начались — и вышли далеко за пределы политики, в неожиданном для меня направлении. Я был тут поставлен лицом к лицу с новыми веяниями в литературе и искусстве, с Москвой купеческих меценатов. Это был своего рода экзамен на современность в духе последнего поколения.

Маргарита Кирилловна представляла собой полную противоположность Варваре Алексеевне Морозовой, о которой я упоминал выше. Молодая, по купеческому выражению, «взятая за красоту», скоро овдовевшая, жаждущая впечатлений и увлекающаяся последними криками моды, она очень верно отражала настроения молодежи, выросшей без меня и мне чуждой. В наших беседах, очень для меня поучительных, мы постепенно затронули все области новых веяний, — и везде мне приходилось не только пасовать, но и становиться к ним в оппозицию. Началось, конечно, с общего философского «мировоззрения». Немецкое слово „Weltanschauung“ давно сделалось традиционным в наших интеллигентских салонах. Но оно принимало разный смысл, смотря по **{280}** господствующей философской системе. Мой «позитивизм» и даже мой «критицизм» остались теперь далеко позади. Молодые последователи Владимира Соловьева развивали его этические и религиозные взгляды. Я еще пытался оградиться от метафизики при помощи Фр. Ланге. А моя собеседница прямо начинала со ссылок на Шопенгауэра. Ее интересовал особенно мистический элемент в метафизике, который меня особенно отталкивал.

На философии, впрочем, мы недолго задержались, перейдя отсюда в область новейших литературных веяний. В центре восторженного поклонения М. К. находился Андрей Белый. В нем особенно интересовал мою собеседницу элемент нарочитого священнодействия. Белый не просто ходил, а порхал в воздухе неземным созданием, едва прикасаясь к полу, производя руками какие-то волнообразные движения, вроде крыльев, которые умиленно воспроизводила М. К. Он не просто говорил; он вещал, и слова его были загадочны, как изречения Сивиллы. В них крылась тайна, недоступная профанам.

Я видел Белого только ребенком в его семье, и всё это фальшивое ломанье, наблюдавшееся и другими — только без поклонения, — вызывало во мне крайне неприятное чувство.

От литературы наши беседы переходили к музыке. Я было обрадовался, узнав, что М. К. — пианистка, и в простоте душевной предложил ей свои услуги скрипача, знакомого с камерной литературой. Я понял свою наивность, узнав, что интерес М. К. сосредоточивается на уроках музыки, которые она берет у Скрябина. Я не имел тогда понятия о женском окружении Скрябина, так вредно повлиявшем на последнее направление его творчества и выразившемся в бессильных попытках выразить в музыке какую-то мистически-эротическую космогонию. Тут тоже привлекал М. К., очевидно, мистический элемент и очарование недоступной профанам тайны.

Об изобразительных искусствах мы не говорили. Широкий коридор Морозовского дворца представлял целую картинную галерею, и я с завистью на ней задерживался. Но не помню, чтобы модернизм преобладал в выборе картин. Кажется, увлечение московских **{281}** меценатов новейшими течениями в живописи началось несколькими годами позже.

Был один предмет, которого мы не затрагивали вовсе: это была политика, к которой новые течения относились или нейтрально, или отрицательно. И у меня отнюдь не было повода почувствовать себя в роли ментора. Скорее я был в роли испытуемого — и притом провалившегося на испытании. Вероятно, поэтому, и интерес к беседам ослабевал у моей собеседницы по мере выяснения противоположности наших идейных интересов. В результате, увлекательные tête-à-tête'ы в египетской зале дворца прекратились так же внезапно, как и начались.

Мне предстояло теперь перенести свою пропагандистскую миссию из столицы в провинцию. Провинциальные отделы Союза Освобождения, насколько помню, помогли мне организовать объезд провинции с той же моей единственной темой сближения «либералов» с «революционерами». Я чрезвычайно жалею, что от этого объезда у меня осталось очень мало воспоминаний. В моей памяти сохранился лишь контраст впечатлений между севером и югом. На севере ни мои исторические справки, ни мои политические выводы и программные разъяснения, в общем, не встречали сопротивления и принимались сочувственно. На юге, в центрах старых левых организаций, напротив, уже разыгрывались политические страсти. Так было, например, в Курске. А в Харькове у меня завязался настоящий бой с моими слушателями. Гармония моего исторического построения была здесь дотла разрушена противоположными утверждениями. Температура споров доходила до белого каления. Мы проспорили с моими натасканными оппонентами буквально целую ночь, без перерыва, и разошлись при лучах взошедшего солнца, утомленные, но не примиренные. Это мое первое политическое турне, во

всяком случае, принесло мне самому большую пользу. Это было уже не то, что говорить перед собраниями американских клубов или читать лекции перед более или менее подготовленной аудиторией. Тут приходилось обращаться к толпе, уровень которой и ее политические симпатии оставались неизвестными — и, вероятно, очень пестрыми. Сами собой вырабатывались правила **{282}** публичных выступлений перед массами, которых и приходилось впредь держаться. Правила, конечно, очень элементарные; но им можно научиться только на опыте, и я часто замечал, что очень немногие с ними сообразуются.

Первое из этих правил — говорить так, чтобы слышала вся аудитория. Я убедился, что обладаю соответственной силой голоса и могу говорить с толпой, не повышая голоса до крика. Иначе слушатели становятся невнимательны, нетерпеливы, начинается покашливание и шум в аудитории, и часть слушателей просто уходит. Затем, второе правило: надо говорить понятно и доступно для всех, считаясь с наиболее неподготовленными. Дальше следует уже раздвоение требований, которые трудно соединить в лице одного оратора. Одни выступления действуют на чувство, другие — на рассудок слушателей. Чем численнее аудитория, тем легче вызвать в ней нужные оратору эмоции; но это достигается особыми свойствами оратора: наглядной демонстрацией личных страстей и переживаний, драматизацией жестов, повышениями и понижениями голоса; содержание отходит на второй план и заменяется полетом ораторского вдохновения в поэтическом беспорядке. На этом пути создаются демагоги, способные овладевать большими массами, призывать их к действию и руководить ими. Мне нетрудно было убедиться, что на этот путь я вступить не могу, если бы даже хотел. Мне был открыт другой путь — спокойного рассуждения, не с целью увлечь, а с целью убедить слушателей. Для этого нужны были иные приемы. Прежде всего, возможное упрощение аргументации, ее общедоступность. Этим педагогическим приемом я обладал уже по своей школьной практике. Но затем, привлекши внимание слушателя, надо было его удержать, а для этого нужно было, чтобы нить рассуждения была постоянно перед сознанием аудитории. Всякое усложнение, отступление в сторону, излишние подробности сразу отвлекали внимание; нить терялась и неподготовленный слушатель уже не мог ее подхватить. Отсюда — необходимость связи в изложении: определенного плана, за которым могла бы следить аудитория, чтобы понимать, в каком месте аргументации она находится, и не терять связи с целым. Это условие очень важно, чтобы сохранить внимание аудитории до конца.

{283} Приходить неподготовленным, предоставляя течение мысли вдохновению минуты, было бы так же ошибочно, как и приносить с собой готовый текст и читать по бумажке. Речь должна быть живая, и необходимо постоянно проверять ее действие на внимании аудитории, соответственно изменяя и направляя характер рассуждения. Иначе, потеря внимания — невознаградима. Наконец, последнее правило: не следует пренебрегать возражениями противника. Напротив, нужно оказывать им полнейшее внимание и для этого обеспечить себе последнее слово, посвященное их анализу — для сговора или для полемики. Иначе, собрание кончается впустую, оппоненты считают себя неудовлетворенными и обиженными, и это чувство разделяется аудиторией, которая видит себя брошенной на полдороги. Напротив, подробный разбор возражений помогает установить среди слушателей если не полное единство мысли, то некоторый доступный каждому компромисс с оратором; уходя с доклада, слушатель чувствует, что уносит с собой что-то, для себя новое. Это — лучше, нежели кончать собрание голосованием заранее заготовленной резолюции и тем делить его на большинство и меньшинство. Последнее может быть необходимым лишь в строго партийной борьбе. Иначе, лучше оставить сомнение, нежели вынудить выбор.

Я не хочу утверждать, что все эти правила были вынесены мной в окончательной форме после первого же тура. Но, во всяком случае, сознательно или нет, они вошли с первого же раза в практику моих выступлений перед большими аудиториями. К этому результату была направлена — и по самому содержанию — моя компромиссная миссия примирительного характера.

С точки зрения политической я извлек из своего объезда также полезный и новый для себя вывод. Я начал понимать после него, что в моих конструкциях не хватает хронологически последнего звена. Я уже говорил выше, в чем тут было дело. Люди нашего типа не могли с этой крайне левой точки зрения представляться ни сотрудниками, ни даже «попутчиками». Мы были, скорее, конкуренты и потенциальные враги. В союзе с нами можно было, пожалуй, победить, но отнюдь не задерживаться вместе на одержанной победе. Наш **{284}** предполагаемый «классовый» интерес противоречил интересу единственного в их понимании истинно революционного класса — рабочего пролетариата. И только его законные представители, с. - д., могли быть истинными революционерами. Наша «либеральная демократия», и даже «революционная демократия» социалистов-народников одинаково отчислялись в категорию «мелкобуржуазных» партий. И как бы мы далеко ни шли влево, мы всё равно не выходили за

эти пределы, по классификации с. - д..

Как раз в эти самые годы, 1904-1905, доктрина и тактика с.-д.-ской непримиримости выяснялись в статьях сотрудников «Искры». Но пока — от доктрины до ее осуществления на практике дело еще не доходило. Даже и самая доктрина еще находилась в процессе оформления. Ее непогрешимость должна была еще быть доказана на практике, а это могло быть достигнуто лишь путем дальнейшего развертывания революции и исходом борьбы (с нами же и с народниками) за влияние на массы. Май, июнь и даже часть июля еще давали мне возможность держаться за мои примиренческие взгляды. Но мои надежды на соглашение — а вместе и на успех всего революционного движения — постепенно всё более блекли.

Связующим звеном между «либералами» и «революционерами» оставались, однако, те профессиональные союзы, которым было положено начало резолюцией Союза Освобождения в конце 1904 года. Они, как и сам Союз, должны были служить, в ближайшую очередь, ареной идейной и организационной борьбы. Сюда направлялось теперь и мое внимание.

4. ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Эта моя работа в Москве по подготовке программы для будущей партии, как и мои «примирительные» доклады и лекции в Москве и в провинции, конечно, еще не представляли настоящей политической деятельности. Но такой деятельностью, даже и в период «симуляции революции», несомненно, было выполнение директив, шедших от левой части Союза Освобождения. Сюда надо отнести агитационную деятельность, развитую по решению Союза, кампанией банкетов — и своей цели эта **{285}** кампания достигла. Второй директивой Союза, выполненной сочувствующими, была организация, при прямом участии Союза, ряда профессиональных объединений, предпринятая одновременно с банкетами. Она особенно развернулась — и также достигла цели в марте и апреле 1905, то есть перед самым моим приездом в Россию. До этого момента русская прогрессивная общественность не была никак организована, и этот первый организационный шаг имел очень важное политическое значение. С моими планами он совпадал всецело. Провозглашая основной политической задачей введение конституционного строя, надо было готовить общество к выполнению конституционных функций, то есть, прежде всего, в самом спешном порядке создать группы, объединенные общими политическими целями. Подготовка для создания «конституционно-демократической» партии была только частью этой общей задачи. В целом она могла быть выполнена только тогда, когда организовались бы в партии также и другие политические течения. Режим политических партий был другой стороной конституционализма, — и к этому надо было приучить русскую общественность.

Но это требовало времени. И для тактики левой части Союза Освобождения это не подходило. В порядке своей централизации (или для «симуляции» революции) они решили ускорить темп подготовки. В самый день «Красного Воскресенья» (9 января), предупреждая ход событий, несколько союзов, радикально настроенных, собрались в помещении Вольного Экономического Общества и образовали сразу центральное бюро Союза Союзов, то есть осуществили вторую половину директивы 20 октября 1904 г. Явная цель этого поспешного шага была — удержать в своих руках руководство политической организацией общественности. Этим фиктивным Бюро Союза Союзов был тотчас принят активный шаг: отправлена известная делегация к Витте, (Делегация литераторов и общественных деятелей, посетившая Святополк-Мирского и Витте вечером 8-го января с целью попытаться предотвратить столкновение демонстрантов с войсками. (Прим. ред.).) не возымевшая успеха. Лишь потом самочинное Бюро Союза Союзов несколько оформилось путем кооптации по два **{286}** представителя (конечно, однородно настроенных) от каждого союза. В таком виде оно просуществовало до 8-9 мая, когда состоялся в Москве первый съезд Союза Союзов, в составе 60 делегатов от 14 организаций.

Я смотрел на организационную задачу, начатую Союзом Освобождения, более серьезно. Я понимал, конечно, что организация политических партий — нелегкое дело, и что Союзы могут сыграть лишь временную роль — их суррогата. Уже в апреле мне пришлось выступить в печати именно в этом смысле на защиту идеи союзов от резких нападок справа и слева. Особенно социал-демократы, стремившиеся перехватить монополию общественной организации, обличали Союзы как раз за то, в чем я видел их главное назначение: за то, что из строго-профессиональных по форме они явно становились политическими. С. - д. предпочитали видеть в союзах нейтральную почву для насаждения собственной культуры.

Я отвечал им, что в союзах достаточно места для всех и что именно их отсутствие в союзах поведет к созданию среднего настроения, которое в этом виде и проникнет в массы. Этого-то они и боялись. Вместе с ростом союзного движения росла и их подозрительность. Меня лично они сделали

козлом отпущения за то, что я хочу подтянуть союзы к уровню самого умеренного из политических течений, конституционно-демократического.

Троцкий распространял эти обвинения с меня на весь Союз Союзов. По его мнению, эта организация «представляла собою организационный аппарат для приведения разношерстной оппозиционной интеллигенции в политическое подданство земскому либерализму — самому отсталому и косному из объединяющихся течений».

Для Троцкого это была «земская узда, накинутая освобожденцами на демократическую интеллигенцию». Особенную ревность проявили с. - д., когда они заметили, что некоторые союзы, по самому характеру своей профессии, связаны с массами (например, Крестьянский союз, бывший тогда в зародыше и примкнувший к Союзу Союзов). В «Искре» 21 июня появилась статья, утверждавшая, что «половинчатая демократия не только организует, без нашего благосклонного содействия, свой интеллигентский авангард, но собирается еще оспаривать у нас нашу исконную **{287}** политическую вотчину — народные массы — ив частности пролетариат».

С своей точки зрения, с. - д. были бы совершенно правы, если бы в действительности происходило то, чего они так боялись, а не прямо противоположное. Я, действительно, ожидал — и предсказывал им, — что скоро в массах «начнут звучать рядом с крайними и принципиальными более умеренные и практические голоса». Я считал не только возможным, но и желательным добиваться этого — уже в виду того, что вопрос о политическом направлении и о роли союзов действительно оставался непредрешенным. В общем в них преобладали радикальные настроения; но степень радикализма и содержание платформ были самые различные. Полномочия центрального органа, слишком поспешно монополизированные петербургским Бюро, фактически очень широкие, оставались формально неопределенными. Более правильная организация Союза Союзов была совершенно необходима, чтобы вернуть самим Союзам полную самостоятельность в выборе политического направления. Я не вполне отчетливо понимал только, можно ли было этого достигнуть, отмежевываясь не только от претензий социалистических партий на руководство, но и от намерений ближайших единомышленников из Союза Освобождения.

Моя политическая задача, — на этот раз она была, действительно, моей личной, — рисовалась мне, во всяком случае, совершенно определенно. Едва ли петербургский центр это предвидел. Как бы то ни было, когда подготовка к созыву «Булыгинской» думы стала неизбежной и когда для этого созван был на 24-26 мая второй съезд Союза Союзов, принявший характер учредительного, я был без возражений выбран его председателем. Прежде чем говорить, как я выполнил свою роль, надо остановиться на настроениях тех дней, когда съезд собрался в Москве. Это были — «дни Цусимы».

14-15 (27-28) мая вторая русская эскадра, составленная из старых и разномастных судов, посланная на явную гибель в японские воды, была уничтожена японцами в проливе Цусимы. Сама по себе, эта война, в которую втянули Россию из-за материальных выгод авантюристы, покровительствуемые свыше, была крайне **{288}** непопулярна среди русского общества. Постоянные поражения и отступления Куропаткина, капитуляция Порт-Артура, уничтожение первой эскадры — всё это больно било по национальному самолюбию; *Цусима показала полную неспособность этого правительства не только управлять, но и вести войну в защиту интересов России. Революция, которую Плеве хотел потушить при помощи «маленькой победоносной войны», приобретала новую силу.*

Я был в эти дни в Петербурге — и получил от имени Союза Освобождения предложение участвовать в первом общественном протесте по поводу поражения при Цусиме. Не согласиться было нельзя, хотя дело шло об одной из «симуляций» революции, для меня мало симпатичных. Было условленно собраться в ближайшие дни «на музыке» в Павловске и там, в антракте, выставить оратора, который бы объяснил публике значение народного протеста. Оратором согласился быть милейший В. В. Водовозов, всегда готовый к бою. Но демонстрация плачевно провалилась. Часть публики, не успевшая уйти из зала, разбежалась, как только поняла, что ее втягивают в политику. Подоспевшая полиция принялась за работу, и нам едва удалось скрыть в нашей маленькой кучке оратора, слишком выдававшегося своим костюмом, взъерошенной шевелюрой и громадной папахой. На меня эта несерьезная попытка в серьезную минуту произвела самое тяжелое впечатление и навсегда отучила от подобных «симуляций».

Приехав после этого в Москву, я очутился перед подготовкой патриотической демонстрации иного рода, способной действительно выразить, если не «народное», то национальное негодование. В Москве заседала как раз тогда небольшая группа земского меньшинства для выяснения своего отношения к предстоявшим выборам в «Булыгинскую» Думу. Представитель большинства земских

съездов, Ф. А. Головин от имени бюро съездов предложил Д. Н. Шипову, отложив на этот раз, в виду серьезности момента, разделявшие «земцев» разногласия, собраться вместе на общий («коалиционный») съезд 24 мая. Не без колебаний, это предложение было принято, хотя тотчас же обнаружились глубокие разногласия относительно цели объединения. Меньшинство шло **{289}** на съезд с целью «поддержать власть» в трудную минуту. Большинство хотело добиться от власти «изменения государственного строя». В этом духе был составлен и проект «адреса-петиции» для представления царю. Резкий тон проекта был смягчен в угоду меньшинству; но Шипов все же отказался войти в состав делегации. Большинство тогда еще более смягчило обращение к царю — и выбрало для вступительного слова оратором депутации человека, угодного меньшинству, но пользовавшегося непререкаемым моральным авторитетом у всех, — кн. С. Н. Трубецкого.

Надо признать, что Сергей Николаевич вполне оправдал этот выбор. Если вообще нужно и можно было обращаться в эту минуту к царю от имени съезда, то только в тоне, избранном этим оратором-патриотом: в проникновенном тоне искреннего страдания за родину. Я был в числе небольшой группы друзей, собравшихся перед отъездом делегации в Петергоф в гостинице «Франция» на Морской, чтобы, так сказать, прорепетировать выступление Трубецкого. Мы выслушали затем и впечатления участников делегации после их возвращения в гостиницу. Я могу засвидетельствовать испытанное всеми нами чувство удовлетворения обращением Трубецкого к царю в духе «отеческого» внушения. Ближайшую цель так поставленной задачи можно было считать достигнутой. Впервые царь был действительно тронут голосом из другого мира; впервые из его уст послышались слова, похожие на искреннее обещание реформы и как бы понимания ее необходимости.

Само собою разумеется, что слева этот политический прием мог возбудить только выражение недовольства. «Коалиционный съезд» подвергся жестокому осуждению — и за самую идею объединить большинство с меньшинством в одном политическом жесте, и за форму обращения к царю, и за отдельные выражения речи Трубецкого, как употребленное им слово «крамола». Не так надо было говорить и действовать после Цусимы. Даже брат Трубецкого, Евгений, писал тогда в «Праве»:

«Издевательство над общественным мнением должно же когда-нибудь кончиться. Дальнейшее стремление наших опекунов опекать нас не нашло бы на человеческом **{290}** языке достойного названия... Посторонитесь, господа, и дайте дорогу народным представителям...»

При таком повышенном настроении разнообразных политических групп собрался в Москве на 24-26 мая второй съезд Союза Союзов. Общей целью с другими съездами было у него, обсуждение, как отнестись к «Булыгинской» Думе. Но у него было также и свое собственное дело. Постановления первого съезда 8-9 мая не были окончательными; они должны были быть еще доложены отдельным союзам. Теперь союзы: приносили на съезд свои ответы. До сих пор Союз Союзов был, формально, лишь органом взаимной информации, а фактически — «автономным на федеральных началах», как значилось в странной формуле, покрывавшей его самостоятельность. Решения Союза могли выполняться — опять-таки формально — лишь по уполномочию на это отдельными союзами через их делегатов. Фактически Союз Союзов, конечно, действовал, не дожидаясь полномочий и не стесняясь их отсутствием. Теперь эти двусмысленные отношения предстояло урегулировать; и тут мне, в качестве председателя, открывалась возможность выбрать тот или другой путь. Петербургское Бюро, конечно, хотело добиться от съезда легализации своей самостоятельности.

Я также считал правильным не стеснять центральный орган требованием на каждый случай особых полномочий. Но, с другой стороны, я предложил ограничить его свободу решений раз навсегда определенными политическими рамками. Рамки эти предуказывались самым содержанием платформ отдельных союзов: тем, что было в них общего. Это общее я и предлагал вывести за скобки, как предел законных полномочий центрального органа. Возражать против такого предложения было, конечно, трудно. Но когда было произведено тут же выведение за скобки, то получилась единственная общая для каждого союза, а следовательно и для Союза Союзов обязательная формула: «Борьба за политическое освобождение России на началах демократизма». Левые справедливо находили эту формулу слишком неопределенной. Но она развертывалась далее в конкретную предпосылку: «Необходимость немедленного созыва Учредительного Собрания народных представителей, избираемых всеобщим, прямым и тайным **{291}** голосованием». Эта же самая сакраментальная формула была, между прочим, предложена и для включения в проект петиции к царю, вырабатываемый «коалиционным съездом». Тогда еще предполагалось (по воспоминаниям Д. Н. Шипова) идти к царю всем скопом съезда, то есть в количестве более 200 человек. Но меньшинство настояло на замене 200 человек делегацией и на изменении в нашей формуле слов «избираемых» и так далее словами «избранных для сего равно и без различия всеми подданными вашими». Эта «измена», с точки зрения левых, определила отношение

съезда Союза Союзов к «коалиционному». Он отверг предложение выразить сочувствие «коалиционному» съезду. Правда, с другой стороны, он отверг и обратное предложение: заявить «протест» против делегации к царю. Это был своего рода доброжелательный нейтралитет. Думаю, что тут сыграло роль и мое председательствование. Но сам Союз Союзов пошел всё-таки собственным путем. Для своих членов он признал обязательным «явочный» порядок действий, то есть фактическое осуществление свободы слова, печати, союзов и собраний, устройство демонстраций по разным поводам, открытое заявление каждого члена, в случае преследований, о своей принадлежности к Союзу — и соответственную организацию их юридической защиты. Вместо обращения к царю, съезд решил обратиться к обществу и народу — и принял воззвание, написанное мною. Я составил его в очень резких выражениях; но это соответствовало и моему собственному настроению, и настроению собравшихся. То, что в других случаях могло показаться демагогией и риторикой, было искренним выражением общего чувства. «Надежда, что нас услышат, теперь отнята», говорилось в воззвании — в прямую противоположность такой надежде, выраженной в заявлении «коалиционного» съезда. «Мы должны действовать, как кто умеет и может по своим политическим убеждениям... Все средства теперь законны против страшной угрозы (Е. Трубецкой говорил: «катастрофы»), заключающейся в самом факте дальнейшего существования настоящего правительства... Мы обращаемся... ко всему, что есть в народе живого и способного отозваться на грубый удар — и мы говорим: всеми силами, всеми мерами добивайтесь **{292}** немедленного устранения захватившей власть разбойничьей шайки и поставьте на ее место Учредительное Собрание»... и т. д., «чтобы оно могло как можно скорее покончить с войной и с господствующим до сих пор политическим режимом».

Мое воззвание, как видно, было проникнуто откликами на события момента. Закулисная сторона японской войны была мне хорошо известна, с ее высочайше одобренными рыцарями наживы, всеми этими Безобразовыми и Алексеевыми, по отношению к которым выражение «разбойничья шайка» не было риторикой. «Удар» Цусимы слишком жестоко пришелся по телу России. Но в процессе расхождения политических течений эта «разбойничья шайка» свою роль сыграла. В известных кругах меня стали было принимать за «примирителя» вправо. Эта репутация была теперь подорвана. Моя грань «вправо» стала яснее: она проходила между мною и А. И. Гучковым. Земцы-конституционалисты конституировались влево от этой границы. Как далеко влево по отношению к Союзу Освобождения и Союзу Союзов? Это зависело от дальнейшего выяснения политики самих этих петербургских органов. Моим председательствованием в Союзе Союзов Петербург едва ли мог остаться доволен. Мне, вероятно, предназначалась почетная роль, а я перешел в активную и попытался ввести их политическую самостоятельность в определенные рамки. Конечно, они с этим продолжали не считаться, — как и с моим званием председателя (см. ниже).

На третьем съезде Союза Союзов в Петербурге-Териоках (1-3 июля) меня, по случайной причине, не было. Отсутствовал и союз земцев-конституционалистов. Коренной вопрос — об участии в выборах в «Булыгинскую Думу» — был решен здесь девятью союзами в смысле отказа выборщиков от участия — против моей точки зрения.

Однако, три союза (писателей, профессоров и учителей средней школы) высказались за участие, а четыре воздержались (крестьянский, еврейского равноправия, ветеринаров и учителей низшей школы). Это последнее меньшинство признало «разрешение вопроса в отрицательном или положительном смысле в настоящее время невозможным» и предложило отложить решение до следующего съезда, «по осуществлении и смотря по результатам **{293}** предположенного протеста» (против Думы совещательного характера, с многостепенными выборами на основании куриальной системы и при отсутствии свободы выборов). Итак, к началу июля, полевение союзов пошло еще недалеко: часть союзов продолжала колебаться.

Между тем, революционное движение, долженствовавшее изменить всю эту картину, уже переходило в массы, при несомненном участии социалистических партий. Наше политическое течение было от этого процесса как бы отрезано; до нас очень мало и поздно доходило известий о том, какая внутренняя эволюция совершалась в эти месяцы в недрах социалистических партий, особенно партии с. - д. С результатами этой секретной работы нам пришлось встретиться лишь тогда, когда результаты эти начали сказываться уже на ходе нашей собственной политической борьбы. Тогда я к ним и вернусь.

А пока каждое утро мы прочитывали в газетах о рабочих стачках в разных городах России; к рабочим начинали примыкать и союзы всевозможных профессий, и железнодорожные служащие, и мелкие ремесленные группы. Все чаще приклеивался к забастовкам и ярлык «всеобщих». Наряду с рабочим движением разгоралось и крестьянское — особенно в черноземных губерниях. То там, то сям «боевые дружины»

с. - р. совершали террористические акты, направляя свои удары на чинов администрации от губернаторов до околоточных и урядников, на чинов полиции и на жандармов.

Глаз привыкал к ежедневному повторению одних и тех же рубрик; но динамику революции трудно было воспринять и почувствовать по отрывочным газетным данным: только впоследствии, когда те же факты были подобраны и расклассифицированы в печати, можно было понять всю силу напора революционной волны. Общий смысл революционных вспышек маскировался отсутствием и ярко выраженного политического характера, и единой цели отдельных революционных проявлений: они мотивировались классовыми требованиями рабочих, местными нуждами крестьян и т.д. Социалистические партии скорее пропагандировали общие лозунги, чем ставили конкретные задачи. Не было еще заметно и систематического руководства из центров: по определению самих **{294}** революционных партий, революция развивалась «стихийно». С. - д. еще ставили задачу широкого «развязывания» революции впереди задачи ее «организации». При таком положении традиционное влияние народников еще не было вытеснено агитацией с. - д., а среди крестьянства оно безусловно преобладало. Сохранялась и возможность внесения в массы более умеренных, «буржуазных» политических тенденций.

Это подтверждалось и ревнивым отношением с. - д. к возможной конкуренции со стороны «земцев», как они огульно титуловали тогда своих противников. Настоящие земцы-конституционалисты прямо вводили эту возможность пропаганды в массах в свои политические расчеты.

Для меня, по мере дифференциации политических течений, именно эта последняя группа все более становилась «своей». При всех отпадениях вправо, ее намечавшийся состав все еще оставался довольно неопределенным влево. Это надо было ценить в виду общего сдвига политической борьбы в эту сторону. Но нельзя было терять из виду, что речь идет о создании не революционной, а конституционной партии, задачей которой должна была стать борьба парламентскими средствами. В спектре возникавших партий это было то пустое место, которое предстояло заполнить именно нам, и без его заполнения невозможно было и думать об установлении в России конституционного режима. Поставить эту специальную задачу перед будущей партией становилось всё более моей личной задачей. К этой цели и направлялась всё более моя деятельность внутри элементов, проявивших склонность войти в наш будущий партийный состав.

Как раз вопрос об участии или неучастии в выборах в «Булыгинскую» Думу, ставший на ближайшую очередь, должен был послужить оселком для выбора того или другого направления, — революционного или конституционного. Мы видели, что в этом вопросе даже и в левых группах еще продолжались колебания. Даже «Искра» писала тогда по поводу решения Териокского съезда Союза Союзов: «Союз Союзов решил бойкот (выборов), но правильно ли?» Ответ на этот вопрос принадлежал в первую очередь конституционалистам.

Для этой цели созыв нового земского съезда становился **{295}** совершенно неотложным. Именно поэтому созыв, вместо него, «коалиционного» съезда был воспринят в «нашей» среде, не только как досадное отвлечение, но и как опасная отсрочка, а путешествие к царю было оценено как ошибочный шаг назад. Новый съезд должен был, прежде всего, отмежеваться от этого неправильного хода и вернуть контингент будущей партии на путь, уже намеченный сплотившимся большинством земских съездов. Проверить единство взглядов этого большинства, исправить и дополнить соответственно отделы будущей программы и приступить, наконец, к строительству партии — таковы были задачи земского съезда, собравшегося вместе с представителями городов 6-8 июля. В следующие же дни, 9-10 июля, земско-конституционная группа должна была сделать выводы из решений этого съезда. В заседаниях этой последней группы я на этот раз принял непосредственное участие и к работам съезда стоял очень близко. Приоткрытая дверь, через которую я наблюдал земцев в особняке Ю. Н. Новосильцева, на этот раз открылась для меня шире, хотя формально я и не мог еще переступить через ее порог.

Насколько изменилась в промежутке между маем и июлем политическая обстановка, можно было сразу заметить по внешней картине съезда — и по исходу его столкновения с полицией, исполнявшей прямую волю министра. Мы заседали теперь в громадном доме кн. Павла Дмитриевича Долгорукова, среди запущенного сада в Знаменском переулке, — в том самом доме, где когда-то мы с покойным старшим братом хозяина Николаем готовились к гимназическим экзаменам. Кое-кто еще помнит, вероятно, фотографию многочисленных (235) членов съезда на фоне этого княжеского дворца. Товарищ министра Трепов заранее объявил решения этого съезда незаконными. А президиум съезда ответил полиции, пришедшей распустить съезд, простой ссылкой на «царскую волю» — передать

обещания царя «всем близким, живущим на земле и в городах». Бюро съездов тщательно подготовило работу съезда и, вместо отвергнутого съездом проекта Булыгина, предложило собственный проект «основного закона», заранее напечатанный в день открытия съезда в «Русских ведомостях». Проект был принят «в первом чтении». **{296}** В. Д. Набоков предложил при этом «отстаивать естественные права», заявленные в резолюциях ноябрьского съезда
1904 г., «всеми мирными средствами, не исключая и неподчинения распоряжениям власти, нарушающим эти права». По предложению братьев Павла и Петра Долгоруковых было решено «войти в ближайшее общение с широкими массами», чтобы «совместно с народом обсудить предстоящую политическую реформу», «завоевать необходимые для ее проведения свободы» и «разработать на местах вопрос о проведении в жизнь выборной системы, выработанной общеземским съездом». Весьма смелые формулировки этих слабо замаскированных постановлений предстанут в надлежащем свете, если вспомнить, что под ними просто разумелось введение Учредительного Собрания и осуществление всеобщих выборов чем-то вроде «явочного» порядка. Съезд принял и подготовленный Бюро текст обращения к народу. Но он отнесся очень осторожно к вопросу, как же распространить в народе это воззвание. Некоторые ораторы признавали вообще обращение к народу «чересчур революционным средством». А когда речь зашла о главной конкретной задаче — выборах в Булыгинскую Думу, — съезд, после бурных прений, обнаружил еще большую осторожность, оставив вопрос открытым. Так определился диапазон съезда — от принятых им принципиальных формул полуреволюционного характера к политическому шагу в реальной обстановке.

Для единой партии это было — слишком широко. Зато выяснились — если не степень подготовки, то характер настроения ее будущих членов. Надо признать, что работа над политическим объединением партии здесь только начиналась.

Неясность положения, занятого съездом между правыми и левыми, еще ярче выступила в совещаниях земско-конституционной группы после закрытия съезда, 10-11 июля. С одной стороны, эта группа резко отмежевалась от посылки депутации к царю, которая «не представляется актом земских конституционалистов, а актом коалиционного съезда, и результат ее ни в чем не связывает нас». Окончательный сговор с Союзом Освобождения, который продолжал считаться необходимой составной частью партии, было решено обеспечить включением в программу партии «положений по **{297}** экономическим, финансовым, областным и национальным вопросам», то есть как раз по тем, по которым могли возникнуть разногласия даже в пределах «широкого круга единомышленников». С другой стороны, вопрос об отношении партии к Союзу Союзов, от имени которого я выступал, вызвал бурные прения и мою раздраженную реплику, кем-то тщательно записанную. Сообщаю ее здесь почти целиком. «Если члены нашей группы настолько щекотливо относятся к физическим средствам борьбы, то я боюсь, что наши планы об организации партии... окажутся бесплодными. Ведь трудно рассчитывать на мирное разрешение назревших вопросов государственного переустройства в то время, когда уже кругом происходит революция. Или, может быть, вы при этом рассчитываете на чужую физическую силу, надеясь в душе на известный исход, но не желая лично участвовать в актах физического воздействия? Но ведь это было бы лицемерием, и подобная лицемерная постановка вопроса была бы граждански недобросовестна.

Несомненно, вы все в душе радуетесь известным актам физического насилия, которые всеми заранее ожидаются и историческое значение которых громадно... Вообще, после всего того, что мне пришлось выслушать здесь, у меня является сомнение не в том, вступать или не вступать нам в Союз Союзов, а не откажется ли сам Союз Союзов от чести состоять с нами в товарищеских отношениях». Собрание было задето моим укором и постановило принять участие в Союзе Союзов. Но я не предвидел, что скоро мне самому придется отойти от этого учреждения... в порядке дальнейшей дифференциации. Не определилось не только политическое настроение партии, но и мое собственное. Вход в партию, накануне ее образования, оставался открытым в обе стороны — больше влево, чем вправо.

Несмотря на такую неопределенность, июльский съезд считал все элементы для создания партии настолько подготовленными, что решил уже принять первую исполнительную меру. Были выбраны 20 членов, уполномоченные, по своему усмотрению, вступать в соглашение с близкими по направлению группами (имелся в виду, конечно, прежде всего Союз Освобождения, но также и Союз Союзов). С лицами, которые будут уполномочены от этих групп, они должны были **{298}** составить временный комитет партии и приступить к необходимым действиям по ее организации. Бюро, вместе с этими 20-ю уполномоченными, должно было продол. жать работу по незаконченным отделам программы. Следующий съезд группы земцев-конституционалистов должен был собраться «немедленно» по

обнародовании закона о Булыгинской Думе. Обстоятельства изменили все эти решения и создали совершенно новую обстановку, в которой совершилось ее политическое самоопределение.

5. БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА И ТЮРЬМА

После напечатания воспоминаний С. Е. Крыжановского теперь уже не секрет, кто является составителем всех «конституционных» и «избирательных» актов этого времени. Крыжановский не был «сановником», но среди верных старцев, окружавших царя, он был единственным молодым человеком, помнившим университетский курс конституционного права. На университетской скамье он был приятелем нашего Д. И. Шаховского; теперь они пошли по противоположным дорогам. Знание права пригодилось Крыжановскому, чтобы помочь правительству изготовить очень хитро составленные акты бесправия. По собственному выражению автора, втайне обиженного своей малостью перед заслуженными невеждами, «расслабленные старцы» целые месяцы беспомощно жевали непосильную для них тему. Наконец, проект вышел из этих тайников, почти без изменений, то есть — не улучшенным в политическом смысле. Но оставалось неизвестным, когда же эта «царская воля» будет исполнена — и будет ли она исполнена вообще. Случай помог мне лично познакомиться с дальнейшей историей Булыгинской Думы.

Во второй половине июля царь собрал в Петергофе, под своим председательством, совещание в составе пяти великих князей, всех министров и высоких сановников. В этот состав был включен, по близости к царской семье, профессор Ключевский. Здесь должна была, в глубочайшем секрете, решиться судьба булыгинского проекта. Приехав в Петербург, В. О. Ключевский послал ко мне своего сына Бориса с полученными им **{299}** материалами и с просьбой — помочь ему ориентироваться в политической обстановке северной столицы.

Я был крайне обрадован этим приглашением: оно поднимало нить наших отношений, оборвавшихся после защиты моей диссертации. Я продолжал ценить и любить моего старого университетского учителя, а его обращение показывало, что и у него сохранились кое-какие добрые чувства ко мне, несмотря на мою «измену» науке. У нас завязались ежедневные сношения в его гостинице на Пушкинской улице. В течение всей недели, пока продолжались совещания, я проводил у Ключевского все вечера, выслушивая его подробные рассказы о том, что происходило в Петергофском дворце, и обсуждая вместе с ним программу следующего дня. (Позднее я узнал, что В. О. настолько сблизился с нашим политическим направлением, что вошел в партию к. д. и баллотировался по ее списку в выборщики в Сергиевском Посаде. (Примеч. автора).)

В. О. был приглашен по почину правой клики, рассчитывавшей найти в нем надежного союзника. В первые дни они открыли перед ним все свои потаенные планы. Не без лукавства, ему свойственного, В. О. Ключевский оставил их на время в этом заблуждении. Таким образом, я узнал закулисную сторону борьбы политических течений на совещании. Предметом борьбы было не столько самое учреждение Думы, сколько ключ к господству над Думой — избирательный закон, — chef d'oeuvre Крыжановского. Проект сохранял, конечно, весьма относительно, начало бессословности в выборах. Заговорщики хотели откровенных прямых выборов по сословиям. «Иначе, в Думу попадут люди земского типа, которым не дороги исконные русские начала», рассуждал один из вождей Стишинский, защищавший проект организации «Отечественного Союза». Оппозиция правительственному проекту была упорная и до самого конца заседаний не хотела сдаваться. Царь, обработанный правыми, видимо, колебался. Ключевский был в выгодном положении, выступив на защиту проекта правительства. Он дважды высказался против сословности выборов. Сильное впечатление произвело его заявление, долженствовавшее напомнить царю увещания С. Н. Трубецкого. Сословность выборов, говорил он, «может быть **{300}** истолкована в смысле защиты интересов дворянства. Тогда восстанет в народном воображении мрачный призрак сословного царя. Да избавит нас Бог от таких последствий». Дворянство было в Петергофе — вообще не в авантаже. Великий князь Владимир Александрович прямо напал на разных там Петрункевичей и Долгоруковых, возглавивших крамолу. А на «серенького» мужичка возлагались большие надежды. В известной степени с этим отношением к дворянству и крестьянству совпадали и тенденции лекций Ключевского: он был только верен себе.

Когда проект Думы стал, наконец, законом (6 августа), я имел возможность написать в «Праве» осведомленную статью о месте этого акта в ряду предыдущих попыток политической реформы. Материалами послужили сообщенные мне Ключевским секретные документы Крыжановского. Сами собою вырисовывались основные недостатки закона, — а также и его преимущества перед прежними не осуществившимися предположениями. На следующий день в «Сыне Отечества» появилась другая моя

статья, в которой я категорически высказывался против бойкота Булыгинской Думы. Здесь, как ни как, говорил я, перейден тот Рубикон, перед которым на полвека остановилась русская политическая борьба. Из акта 6 августа, во всяком случае, вытекает признание существования политических партий, а стало быть и тех «свобод», которые необходимо связаны с самым фактом выборов народных представителей. Как бы ни была несовершенна Дума, она является новой ареной, куда должна быть перенесена открытая парламентская борьба, свойственная нашему направлению. Эти мои заявления, между прочим, дали возможность Троцкому перенести со Струве на меня свой политический прицел.

А в тот же день 7 августа, когда появилась моя статья, правительство позаботилось подкрепить аргументацию Троцкого. Оно решило, что с опубликованием акта о Думе автоматически прекращается единственная «свобода», допущенная указом 18 февраля: свобода публичного обсуждения преобразований старого строя. А, следовательно, задним числом, преследование может быть обращено на тех, кто этой свободой воспользовался. Выбор мишени для нападения был направлен, по иронии судьбы, как раз на меня.

{301} В это утро у меня на станции Удельной, где я продолжал жить, собрались делегаты Союза Союзов, чтобы обдумать отношение Союза к Булыгинской Думе. Это было, конечно, не публичное, а частное собрание. Тем не менее Союз Союзов должен был пострадать первый, как наиболее, по тогдашней оценке плохо осведомленного правительства, опасный. Мой флигель был окружен полицией, которая арестовала всех собравшихся у меня посетителей.

На нескольких извозчиках нас отвезли в тюрьму. Правда, тюрьму пришлось искать, так как налет был внезапный, и места для нас не были заранее заготовлены. С подушками и спальными принадлежностями под мышками, среди недоумевающей встречной публики, мы переходили через Неву из «Крестов» на Шпалерную — и обратно, со Шпалерной в «Кресты», где, наконец, нас приютили. Прием был весьма почтительный, так как в нашей кучке оказалось двое статских советников, делегаты союза инженеров, профессора А. А. Брандт и Я. И. Гордеенко. Так началось мое третье (и последнее) тюремное сидение.

По-видимому, правительство поняло свою глупость. По крайней мере, в течение проведенного в тюрьме месяца нас ни разу не беспокоили допросами. И вообще, на тюремном режиме уже отразились новые веяния. Начальник тюрьмы проявлял все признаки либерализма. Меня он познакомил с тюремными порядками и обсуждал со мной, как организовать труд тюремных сидельцев, их развлечения и библиотечное дело. На свиданиях с женой нас уже не разделяла двойная решетка; нам отводилась особая комната, и жена свободно передавала мне последние листки нелегальной литературы. Раз в неделю приезжал навестить меня из Удельной мой приятель, директор больницы св. Николая, А. В. Тимофеев. Начальник отводил нас в свой кабинет, и мы погружались в шахматную партию, которая не ограничивалась точным сроком; попутно я узнавал тут о важнейших общественных событиях за неделю. Свой досуг я на этот раз решил употребить на чтение и перечитывание народнической литературы.

В тюрьме имелась неплохая библиотека, составленная из пожертвований прежних интеллигентных сидельцев. За месяц я прочел довольно много. Перечитал в хронологическом порядке всего Глеба Успенского — и был поражен силой таланта и **{302}** точностью социологических наблюдений этого замечательного писателя над перерождением русского города, а затем и русской деревни в пореформенные годы. Это — истинный клад для историка эпохи «великих реформ» Александра II, и он несправедливо забыт широкой публикой. Вновь перечитал Левитова, еще более забытого, — и нашел в нем, к своему изумлению, законного предшественника Горького. С трудом одолел стиль Решетникова, но он открыл мне яркую картину заброшенного проходного этапа русской колонизации. Златовратского одолеть не мог: мне и прежде претил слащавый энтузиазм нового Гомера. С лихвой вознаградил меня Салтыков: я тоже впервые перечитал его всего в хронологическом порядке. Краски великих сатириков по необходимости блекнут от времени, и читать их приходится чуть не с ученым комментарием. Но какая сила сосредоточенного сарказма у Салтыкова, какое знание старого быта и эфемерных героев, точно вытащенных из коллекции Гоголя; какая тонкая наблюдательность над этой серией очередных прохвостов и «государственных младенцев», сменяющих друг друга чуть не каждый месяц на поверхности общественной пены! Для параллели с Успенским я прочел серию Ругонов-Макаров Золя. Но тут — застоявшееся болото сравнительно с русским широким речным разливом, несущим на себе щепки нашего прошлого.

Да, я мог быть доволен этой тихой заводью тюрьмы, укрывшей меня на месяц от другого разлива — русского нараставшего девятого вала. Было время и отдохнуть, и подумать. Я опаздывал к намеченному земскими конституционалистами съезду, долженствовавшему «немедленно» отозваться

на обнародование Булыгинского закона о Думе. Но добрые друзья решили отложить съезд до моего освобождения. Длить наше сидение не было никакого смысла; нас освободили, так же, как и арестовали, без допроса и без всяких видимых причин. Общеземский и городской съезд, последний перед образованием партии, состоялся 12-15 сентября, когда я был уже на свободе.

{303}

6. ОТ БУЛЫГИНА ДО ВИТТЕ (Образование партии)

Как сказано, уже июльский земско-городской съезд, вообще радикально настроенный, признал образование политической партии делом неотложным. Августовский съезд Союза Освобождения определил, в согласии освобожденцев с земцами (составлявшими около трети его состава), эту задачу, как «переход Союза Освобождения от тактики тайного общества к тактике открытой политической партии в европейском смысле слова». Как увидим, это определение больше подходило к нам, нежели к освобожденцам. Я мог бы считать такую формулу наилучшим определением задачи, которую я лично себе поставил. Но именно поэтому она уже включала в себе зерно будущих серьезных расхождений, при которых образование единой политической партии из освобожденцев и земцев с горожанами должно было оказаться невозможным.

Существенные разногласия не касались программы. Недостававшие в нашей программе отделы об аграрной и рабочей программе были у нас почти всецело взяты из мартовской программы Союза Освобождения. Программа по национальному вопросу (автономия Польши и децентрализация России) была специально подготовлена Ф. Ф. Кокошкиным. Спор должен был свестись к вопросу о тактике, а в данный момент, прежде всего, о тактике по отношению к выборам в Булыгинскую Думу.

Наш съезд, запоздавший сравнительно с августовским освобожденским, был назначен, после моего выхода из тюрьмы, на 12-15 сентября. Моя личная роль на этих съездах, как видно из сказанного, вообще росла, а теперь она стала и формально-ответственной. Одновременно с проф. М. М. Ковалевским я был избран в члены организационного бюро съезда. Настроение съезда, именно вследствие его позднего созыва, значительно изменилось в промежутке. Я где-то высказался, что сентябрьский съезд «собирался при мрачных предзнаменованиях, при зареве аграрных пожаров, при первых проявлениях черносотенной реакции в провинциальных городах». Мы не без основания боялись, что обывательский испуг отразится на части приезжих делегатов **{304}** съезда, — и не совсем ошиблись.

Правда, наше обычное большинство оставалось сплоченным. Но при общем составе съезда в 193 представителя (130 земцев и 63 представителя городов) появилось, после ухода Шиповской группы, новое правое меньшинство в составе 31-39 человек. На съезде оно молчало; но за стенами съезда уже раздавались обвинения по адресу бюро съездов в «самовластии», а по адресу большинства съезда — в «самозванстве» и в «радикализме». Особенному нападению подверглись на съезде даже не социальные отделы программы, а национальный отдел, тщательно и осторожно разработанный Кокошкиным. На съезде присутствовали представители «неземских», то есть западных губерний, и, после жарких споров между А. И. Гучковым и адвокатом Врублевским, польская автономия прошла всеми голосами против одного (при условии сохранения единства России и в этнографических границах). Напротив, «децентрализации» России не повезло, хотя Кокошкин и обставил ее всевозможными оговорками. Ее осуществление отодвигалось, по проекту бюро, до времени «после установления прав гражданской свободы и правильного народного представительства для всей империи», и притом еще не сразу повсюду, а «по мере выяснения потребности местного населения и естественных границ автономных областей». И даже при этих условиях предполагалось «открытие законного пути для установления местной автономии». Об отношении автономных территорий к национальностям намеренно ничего не говорилось. Эта часть проекта прошла большинством в 78 голосов, но 37 делегатов голосовали против. Это, очевидно, и было наметившееся зерно конкурирующей партии, которая потом выбрала название «партии 17 октября». Первый председатель съездов, гр. П. А. Гейден, первый подписался под ее «воззванием», а А. И. Гучков выдвинулся в ее руководители именно своими возражениями против польской автономии.

Соответственно сдвигу общего настроения к середине сентября, изменилось и отношение к главному вопросу тактики, — к выборам в Булыгинскую Думу. Уже не чувствовалось того боевого, наступательного настроения, которое преобладало в июле. Булыгинская Дума, со **{305}** всеми ее отрицательными сторонами, была совершившимся фактом. Отношение к ней, как было, так и осталось

безусловно отрицательным. Но не было больше речей о соглашении с «народом» против этой Думы: надо было определить отношение к выборам, хотя бы и по неприемлемому избирательному закону. В сентябре была повторена принятая в июле двусторонняя формула: с одной стороны, «сплоченная группа» единомышленников, проникнув в Думу, должна была оттуда «служить средоточием и точкой опоры для общественного движения»; с другой, ставилось целью «добиться через его посредство (то есть через посредство думского органа) гарантий личной и общественной свободы и правильного народного представительства». Здесь уже заключался зародыш конфликта между двумя противоположными тактиками: борьбой извне и борьбой внутри Думы. Соединить их можно бы было только в одних сильных руках. Попавши в разные руки, обе тактики мешали одна другой и взаимно обессиливали друг друга.

Меня выбрали в члены «центрального избирательного комитета» в Петербурге. Но самый «вопрос об активном участии комитета в выборной кампании» был «оставлен открытым». И на самом деле, события так быстро шли вперед в смысле радикализации общественного движения, что все наши приготовления рисковали остаться без применения.

Забастовочное движение уже в сентябре стало принимать «всеобщий» характер, втягивая в себя элементы, обычно далекие от политики. После объявления высших учебных заведений автономными (это была уступка правительства настояниям С. Н. Трубецкого) помещения их стали неприступными для полиции, и аудитории стали служить для ежедневных, отнюдь не студенческих только, митингов, на которых настойчиво повторялись и становились всеобщими радикальные лозунги дня. Старые уступки правительства при таком положении явно становились недостаточными. Булыгинская Дума перестала стоять в центре интереса, отодвинувшись куда-то в туман. Как далеко пойдет правительство в новых уступках, что можно сделать вопреки его воле, — все это оставалось неясным. Пределы возможностей расширялись до **{306}** бесконечности. Самое название «конституционно-демократической» партии уже являлось помехой: теперь требовалась «демократическая республика», как продукт «вооруженного восстания» и захвата власти «временным правительством» по рецепту третьего (большевистского) социалистического съезда. В свете этих настроений и событий задача партийного съезда чрезвычайно осложнялась. Среди большинства партии левые настроения должны были усилиться как раз тогда, когда и бюро съездов и сплотившаяся около него группа собирались выдержать на съезде линию июльского и сентябрьского съездов, не поддаваясь назад, вслед за сентябрьским меньшинством, но и не идя навстречу повышенным требованиям момента. Вопрос шел о сохранении или об изменении только что начавшего выясняться лица партии. Положение осложнялось тем, что, по мере этого выяснения, партия всё более дифференцировалась от своего «освобожденского» происхождения.

Учредительный съезд был назначен на 12-е октября. Но по мере приближения этой даты, положение становилось всё более тревожным. Забастовка железнодорожных узлов наложила последний штрих; прервав саму возможность передвижения, она остановила деятельность всех отраслей государственной и общественной жизни. Правительство совершенно растерялось. Портсмутский мир был только что заключен; но войска еще не вернулись с театра войны. «Герой» мира Витте вернулся в Петербург: на него были обращены все взоры, как на единственно возможного восстановителя внутреннего мира.

Остановка сообщений грозила и самому существованию съезда. Путь в Москву был отрезан почти для трех четвертей членов съезда. Поднимался вопрос, в какой степени собравшийся при таких условиях съезд может считаться законным. Но темп событий становился таким лихорадочным, что реагировать на них становилось политически необходимым и неотложным; а сделать это можно было только от имени уже образовавшейся партии. Так как для этого формального открытия всё было подготовлено, то бюро решило не считаться с этими препятствиями.

Мне было поручено сделать вступительное **{307}** обращение к съезду в смысле только что указанных решений. Мою задачу несколько облегчал факт отсутствия многих петербургских членов Союза Освобождения, которые внесли бы элемент непримиримости. Но это же и делало мою задачу особенно ответственной. То, что я назвал «лицом» партии, слишком очевидно совпадало с моим собственным политическим лицом; а я уже знал, как к нему относились в Петербурге (см. также ниже). Предопределяя, в своем вступительном слове, характер складывавшейся партии, я окончательно предрешал и мое собственное дальнейшее поведение. Я, конечно, предвидел, что предстоит бой и что мне, помимо состоявшихся партийных решений, придется внести в борьбу и мой личный элемент — за своей собственной ответственностью. Это был, своего рода, вступительный экзамен на «лидерство».

Единство взглядов и обязательность партийной дисциплины — таковы были два основные

условия перехода от «Союза» к «партии». Но в действительности, съезжались два непримиренные течения; пределы разногласий приходилось установить достаточно широко, и не было ясно, насколько они еще увеличатся под влиянием прилива революционных настроений, с одной стороны, и решимости руководителей сохранить «лицо» партии, с другой. Я старался исходить из того, что у нас считалось общепризнанным. Это было, прежде всего, уже вошедшее в употребление название партии.

Партия «конституционная» не должна была быть «республиканской»: это первое ограничение. Партия «демократическая» не должна была быть «социалистической» — это второе. За эти грани мы должны были сражаться. Направо от нас оставались промышленники ,и аграрии, уже проявлявшие тогда свои классовые стремления. Тут граница была ясна. Она была менее ясна налево, где были «не противники, а союзники». Я должен был здесь допустить максимум разногласий, возможных в пределах одной партии. К лозунгам демократической республики и обобществления средств производства, говорил я, «одни из нас не присоединяются, потому что считают их вообще неприемлемыми. Другие — потому, что считают их стоящими вне пределов практической политики». «Этого рода препятствия **{308}** — не неустранимы, если не смотреть на партию, как на соединение вечное». Но «до тех пор, пока возможно будет идти к общей цели вместе, несмотря на это различие мотивов, обе группы партии будут выступать как одно целое.

Всякая же попытка подчеркнуть только что указанные стремления и ввести их в программу будет иметь последствием немедленный раскол». Предвидя эту возможность (которая и осуществилась), я призывал членов съезда проявить «политическую дальновидность и благоразумие», указывая на то, что и так «наша программа — наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами западной Европы». Для России, говорил я, это есть «первая попытка претворить интеллигентские идеалы в осуществимые практические требования, взяв из литературных деклараций всё, что может быть введено в политическую программу». Я даже, с сожалением, конечно, предусматривал, что «этот характер программы может быть не оценен по достоинству в момент такого высокого напряжения общественных сил, какой мы сейчас переживаем; но он, без сомнения, будет оценен впоследствии». Это обращение к суду потомства делалось не без риска: суждение могло оказаться не столь одобрительным, как мы ожидали.

Всё же, бюро сделало всё, что могло. По современным воспоминаниям, «прения на съезде были бурные». Я лично не помню, чтобы они имели такой характер. Почти полное отсутствие освобожденцев на съезде понижало тон прений. Важные для них пункты социального законодательства были приняты в нашу программу, как сказано, очень близко к тексту мартовского освобожденческого съезда; они только были точнее формулированы и детальнее развиты. Неожиданная «буря» разыгралась только по поводу пререканий между мной и моей женой по поводу расширения избирательных прав на женщин. Тщетно я убеждал съезд, что программа и без того перегружена, что груз может пойти ко дну, а вопрос не имеет характера актуальности (я потом сам защищал этот тезис в Четвертой Думе). Несмотря на поддержку бюро, я остался в меньшинстве. Меньшинству было предоставлено лишь считать «необязательным» для себя, как этот тезис, так и «различие мнений» **{309}** об «одной или двух палатах». Вопросы гораздо более принципиальные, как республика или монархия, образование из «национализуемых» земель общего земельного фонда и его употребление и т. п. — были обойдены уди затушеваны в программных формулировках. Их решение предоставлялось будущему. С таким сравнительным успехом мы вышли из программных разногласий.

Гораздо существеннее для данного момента был вопрос тактический: всё тот же вопрос об отношении партии к выборам в (Булыгинскую) Думу и о плане деятельности членов партии в самой Думе. На меня был возложен доклад и по этой части работы съезда. Но здесь препятствия оказались непреодолимыми. Мой доклад был готов, когда развернулись события, создававшие каждый день совершенно новое положение. На первую очередь стал в эти дни вопрос об отношении партии к всеобщей забастовке. За три дня до появления манифеста 17 октября ходили лишь темные слухи, что на верхах готовится что-то важное. Съезду приходилось дважды отложить доклад о тактике — в ожидании разъяснений, а мне пришлось два раза его переделать. В ожидании пришлось ограничиться самыми общими фразами. Но вот, в последний день, уже к концу затянувшегося съезда, в зал вбежал запыхавшийся сотрудник дружественной газеты. Он потрясал смятым корректурным листком, на котором непросохшей типографской краской был напечатан текст манифеста 17 октября.

Этой беспримерной сенсации не ожидал никто из нас, — никто к ней не готовился. Само бюро впервые ознакомилось с содержанием манифеста при его прочтении на съезде. При нашем общем настроении этот текст производил смутное и неудовлетворительное впечатление.

В нем, с одной стороны, слышались слишком привычные выражения о «смутах и волнениях...,

преисполнивших сердце царево тяжкой скорбью» и вызывающих, во имя «великого обета царского служения», «принятие мер к скорейшему прекращению опасной смуты». С другой стороны, этими «мерами» оказывались обещания, «для успешнейшего умиротворения», «даровать незыблемые основы действительной неприкосновенности личности» и «гражданской свободы». А **{310}** главное, мы услышали заветные слова: «никакой закон без одобрения Думы», «действительное участие в надзоре» за властями и даже — привлечение к выборам в Думу классов населения, «совсем лишенных избирательных прав» и, наконец, — правда, в перспективе, — «дальнейшее развитие общего избирательного права вновь установленным (то есть через Думу?) законодательным порядком»! Что это такое? Новая хитрость и оттяжка, или, в самом деле, серьезные намерения? Верить или не верить?..

Во всяком случае, теперь в особенности медлить было нельзя. Оставалось — уже перед самым закрытием съезда — объявить новую партию существующей и от ее имени выразить приветствие главным, уже бесспорным, героям дня — участникам всеобщей забастовки! В ней, согласно нашим взглядам, мы усматривали «мирный» и «организованный» метод борьбы.

Прямо с закрытого съезда его члены отправились на заранее заготовленный банкет — в Литературный Кружок на Большую Дмитровку. Устраивался этот банкет для прощального чествования участников съезда, а теперь главной темой стал обмен мнений по поводу неизданного еще документа. Сговориться и вывести за скобки общее мнение о нем было уже некогда.

Странное было учреждение, чисто московское, этот «Литературный Кружок», устроенный сестрой М. К. Морозовой. На эстраде главной залы царил Брюсов и то поколение новой молодежи декадентского типа, о котором мы говорили с Маргаритой Кирилловной. Здесь читались литературные доклады на самоновейшие темы. А сама зрительная зала представляла игорный клуб, доходы от которого и служили для поддержания учреждения. Через этот нижний игорный зал и приходилось пройти в верхнюю столовую, где был накрыт длинный стол для членов съезда и для почетных московских гостей. Внизу публика была смешанная. О главном событии вечера она уже слышала и тоже готовилась чествовать его по-своему.

Обычные посетители залы при нашем приходе покинули игорные столы и столпились около нас; кроме них, зал был вообще переполнен публикой, сбежавшейся на огонек. Настроение в этой толпе было восторженное: нас и манифест они **{311}** готовились чествовать вместе. А героем этого чествования оказался я. Меня подняли на руки, притащили к столу, поставленному среди залы, водворили на стол, всунули в руки бокал шампанского, а некоторые, особенно разгоряченные, полезли на стол целоваться со мной по-московски и, не очень твердые в движениях, облили меня основательно шипучим напитком. Когда всё немножко успокоилось и около стола плотно сгрудилась толпа, от меня потребовали речи на волновавшую всех тему. Речь, очевидно, должна была выразить общее праздничное настроение.

Я попал в трудное положение. Мое собственное настроение, после более внимательного ознакомления с текстом манифеста, вовсе не было праздничным. И, не справляясь с настроением окружавшей меня публики, успевшей повеселеть, я вылил на их головы ушат холодной воды. Я, разумеется, не помню текста своей взволнованной импровизации; но содержание ее мне очень памятно. Да, говорил я им, победа одержана — и победа не малая. Но — ведь эта победа не первая: она — лишь новое звено в цепи наших побед, — и сколько их позади! И будет ли она последней и окончательной? Даже чтобы удержаться на том, что достигнуто, нельзя покидать боевого поста. Надо каждый день продолжать борьбу за свободу, чтобы оказаться достойными ее. Одних «героев» тут мало. Тут нужна поддержка обывателя. И я призывал обывателя настроиться на поддержку «геройских» поступков. Едва ли такая речь могла очень понравиться. Проводили меня очень шумно; но мне показалось, что эти проводы были не столь горячие, как момент моего водворения на стол. По крайней мере, слезть с него и перебраться в верхнюю залу оказалось легче, чем попасть на эту импровизированную трибуну.

В верхнем зале оживление было тоже очень значительным, но настроение было серьезнее. Мне и тут пришлось говорить первым. Но среди своих и близких тема моей речи была более интимной. Я занялся подробным анализом того, что произошло, чтобы, хотя приблизительно, наметить контуры нашего к нему отношения. Скептическая нота здесь преобладала. Не думаю, чтобы к этому моменту уже был у меня в руках и текст доклада Витте, сопровождавшего манифест. В **{312}** нем все-таки содержались кое-какие оговорки, которые свидетельствовали о лучшем понимании общественного настроения, которое сделало уступки необходимыми. Уклончивость выражений самого манифеста, в свете прежних высочайших выступлений такого же рода представлялась совершенно очевидной. Правда, Победоносцева за нею уже больше не чувствовалось. Но это была материя из той же фабрики. Я и занялся разбором того, что было обещано и что было не договорено в манифесте.

Почему манифест говорит о «скорби» и «обете» «к скорейшему прекращению смуты» мерами власти, когда собираются прекратить эту «смуту» мирным порядком? Почему даются в настоящем одни обещания, а исполнение их предоставляется в будущем «объединенному» кабинету? Что это будет за кабинет и в чем будет состоять «объединение»? Почему понадобилось подкрепить обещания «незыблемых основ» словом «действительное»? Почему, в особенности, «не останавливаются» выборы в Думу по старому закону, а новые элементы населения привлекаются к выборам лишь «по возможности», в порядке спешности, искусственно создаваемой? Почему «развитие начала общего избирательного права» отлагается до введения «вновь установленного законодательного порядка»?

Зачем эти три слова: «развитие», «начало» и «общее» вместо прямого провозглашения «всеобщего» избирательного права? Прекрасно, что Дума, наконец, привлекается к изданию законов; но почему говорится лишь о ее «одобрении»? Почему в новом законодательном порядке скромно умолчано о другом факторе законодательства, Государственном Совете? Каковы гарантии «действительного участия выборных от народа» в надзоре над «властями», и почему это слово «надзор» предпочтено «контролю», да еще ограничено «закономерностью» действий власти, не говоря об их «целесообразности»? Почему подчеркнуто, что власти «поставлены от нас», т. е. как бы несменяемы? Почему депутаты по-старинному названы «выборными»?

Все эти возражения напрашивались сами собой при внимательном чтении текста, бывшего у меня в руках. Все они подчеркивали явную двусмысленность обещаний, данных манифестом, и опять создавали, вместо **{313}** достигнутого этапа, какое-то переходное положение. Партии предстояло к нему приспособиться; но для этого нужны были новые данные, которых налицо не было. Кроме того, и самая спешность объявления партии существующей, и неполнота состава съезда, с преобладанием, так сказать, московских настроений над петербургскими, — всё это делало необходимым назначение нового съезда, дополнительного к данному, «учредительному». Однако, своевременность появления первой политической партии как раз в тот момент, когда существование политических партий становилось необходимым для открытой и легальной борьбы в представительном органе, облеченном правами законодательства, — эта своевременность представлялась бесспорной. Этим, в сущности, предрешался и коренной вопрос, остававшийся «открытым» и спорным — об участии партии в выборах. Но, все же, «закрыть» вопрос нельзя было без постановления нового съезда.

Мне не пришлось долго ждать наглядного подтверждения моего пессимизма. После нескольких дней напряженной и нервной работы, после прений и неожиданной развязки, я чувствовал себя утомленным и не выходил из дома всё следующее утро и часть дня. Друзья приходили и рассказывали об уличных проявлениях радости по поводу манифеста. Милейший В. В. Водовозов, взобравшись на бочку, говорил оттуда одушевленную речь к «народу». Но тот же «народ» на следующий день, когда я вышел прогуляться, проявил себя иным образом. Утром на Малой Никитской я встретил толпу, которая от Охотного ряда поднималась к Никитским воротам. Это была толпа в картузах и в «чуйках», которую мы в те времена так и называли «охотнорядцами», разумея под этим очень серого обывателя черносотенного типа. В руках у знаменосцев, шедших впереди толпы, был большой портрет государя и еще какие-то изображения — или иконы, — которые я не успел рассмотреть. Толпа что-то выкрикивала и пела — но, кажется, не гимн — и попутно сбивала шапки с прохожих, не успевших обнажить голову. Признаться, я испугался за судьбу своего интеллигентского котелка и свернул в ближайший переулок. Толпа, оказавшаяся довольно жидкой, проследовала мимо. Это было одно **{314}** из первых, сравнительно невинных проявлений знамени того Треповского «рукоприкладства» к высочайшему манифесту.

7. ВИТТЕ И КАДЕТЫ

Появление Витте на общественной арене создавало совершенно новое политическое положение. Наивные или недоброжелательные противники кадетов упрекали их — и в особенности меня лично, — что мы не сумели воспользоваться этим положением и тем повели Россию к революционному исходу. С точки зрения возражателей борьба была кончена опубликованием октябрьского манифеста — и дальше должно было начаться сотрудничество с властью. Кадеты это сотрудничество отвергли — и продолжали борьбу, чем сорвали добрые намерения власти и вызвали ее сопротивление и реакцию.

Вся история событий, как предыдущих, так и последующих, служит ярким опровержением этого взгляда. Не случайно он исходил из настроений того кружка умеренно-либеральных московских старожилов, который носил название «Беседы».

Дружественная характеристика этого кружка была дана его молодым участником В. А.

Маклаковым в целой книге воспоминаний, посвященных именно этому центральному вопросу о кадетской и специально о «милюковской» ответственности за пропущенный шанс мирной политической эволюции. Приписанная мне здесь роль очень для меня лестна, и я не могу и не хочу отказываться от позиции, в которую направлены стрелы моего оппонента. В процессе самоопределения кадетов именно в эту сторону мне принадлежит известная роль, — и если противники считают ее значительной, то это только доставляет мне нравственное удовлетворение. Что касается критики по существу — и притом критики детальной, следящей шаг за шагом за нашим («моим») поведением, критики, растянувшейся на сотни страниц, — то, разумеется, я не могу отвечать на нее столь же подробной полемикой. Я посвятил ей целую статью в **{315}** «Современных записках» (В «Современных записках» появились две статьи П. Н. Милюкова на эту тему: «Суд над кадетским либерализмом» (№ 41) И «Либерализм, радикализм и революция» (№ 57). (Примеч. ред.).) и несколько фельетонов в «Последних новостях». Я могу лишь изложить здесь факты, как они представляются мне лично. Но несколько данных, доминирующих над положением, будет нелишне здесь напомнить. Во-первых, мириться с властью отнюдь не значило ею руководить или хотя бы изменить ее намерения.

Если бы даже на это пошел очередной фаворит, Витте, то ведь за ним стоял царь, а его «непреклонная воля» по отношению к режиму и его обращение с очередными «маврами» слишком известны. Во-вторых, ведь опыт, которого от нас требовали (если требовали тогда) и за пренебрежение которым нас теперь осуждают, был сделан самими нашими критиками в борьбе с нами. Я считаю особенной нашей заслугой, что русская общественность, следуя нашему примеру, поспешила организоваться в политические партии. Ближайшая к нам в то время партия справа была партией «октябрьского манифеста». Она поставила именно ту задачу — сговориться с властью и оказать ей «поддержку» (Я тогда же печатно приветствовал ее появление на том основании, что она оттягивала от нас те элементы, которые нам не подходили. (Примеч. автора).), выполнения которой требовали от нас. Что же, смогла ли выполнить сама эта партия эту задачу? И если нет, то каковы были препятствия? Не те же ли самые, которые стояли — или встали бы — перед нами? Нам отвечают: но ведь именно вы имели авторитет в общественном мнении и должны были повлиять на него в требуемом смысле. Наш ответ ясен: наш авторитет был производным фактором от нашей политической позиции; он упал бы тотчас до уровня «октябристов», если бы мы согласились делать их политику. Я готов признать, что политический запрос многих моих единомышленников был чересчур высок. Но воздействовать на него в смысле большей умеренности можно было только путем политического воспитания и опыта. Это я и ставил, как будет видно, своей личной задачей. Но такое воспитание требовало времени и в особенности опыта, который накопляла события.

До каких пределов можно было **{316}** идти в направлении компромисса, можно было решат. лишь в каждую данную минуту. В конце 1905 года эти «минуты», как они ни быстро следовали одна за другой только начинали наступать в политической тактике. И они требовали соответственного движения навстречу с другой стороны. Этого не было, и в данную минуту надо было идти тем же путем, каким Россия только что пришла к октябрьскому манифесту, — т. е. соединением либеральной тактики с революционной угрозой. А Витте был назначен как раз для усмирения «крамолы» и нам предлагалось использовать себя для этой цели. После ее достижения должно было произойти... то, что и произошло, когда, по собственной вине, «крамола» левых была раздавлена без нашего посредства.

Из сказанного видно, почему — не только по настроению, но и по разумному расчету, мы должны были оказаться в 1905 г. левее Витте. В следующем отделе мы увидим, почему мы оказались правее левых. Между этими двумя пределами мы достигли наконец собственного самоопределения: мы стали той группой, за которой установилась не нами выбранная, но характерная кличка «кадетов»: нас стали узнавать по нашему собственному паспорту. Дальше увидим, что и эта степень политического созревания была достигнута не сразу, Во всяком случае, мы в этом процессе руководились реальностью. Наши теперешние критики цеплялись за призрак, и история их оставила позади.

Но прежде всего, мы должны познакомиться с фигурой Витте, — господствующей фигурой момента. Я буду говорить о ней, как я сам понимаю этого крупного деятеля. Это был редкий русский самородок — со всеми достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он стоял головой выше всей той правящей верхушки, сквозь которую ему приходилось пробивать свой собственный путь к действию. А действовать — это была главная потребность его натуры. Как всякий самородок, Витте был энциклопедистом. Он мог браться за всё, учась попутно на деле и, презирая книжную выправку. С своим большим здравым смыслом он сразу отделял главное от второстепенного и шел прямо к цели, которую поставил.

Он умел брать с собой всё нужное, что попадалось по дороге, **{317}** отбрасывать всё ему ненужное: людей, знания, чужие советы, закулисные интриги, коварство друзей, завистников и

противников. Он прекрасно умел распознавать людей нужных для данной минуты, организовать их труд, заставлять их работать для себя, для своей цели в данную минуту. Большое уменье во всем этом было необходимо, потому что и дела, за которые он брался, были большого масштаба.

По мере удачи росла и его самоуверенность, поднимался командующий тон, крепла сопротивляемости всему постороннему и враждебному. При неудаче он становился страстен и несправедлив, никогда не винил себя, чернил людей, ненавидел противников. Наткнувшись на препятствие, которого одолеть не мог, он сразу падал духом, терял под ногами почву, бросался на окольные пути, готов был на недостойные поступки — и, наконец, отходил в сторону, обиженный, накопляя обвинительный материал для потомства, — потому что в самооправдании он никогда не чувствовал нужды.

Придворная среда, в которой Витте приходилось не столько действовать, сколько искать опоры для действия, была всегда для него неблагоприятна. На Витте там смотрели — да и он сам смотрел на себя, — как на чужака, пришельца из другой, более демократической среды, а потому, как на человека подозрительного — и даже опасного. Витте с своей стороны дарил эту сановную среду плохо скрытым презрением, а она отвечала ему вынужденной вежливостью в дни его фавора и скрытой враждой. При Александре III этот фавор закреплялся самыми этими особенностями Витте. Грубоватый тон и угловатая речь импонировали императору и отвечали его собственной несложной психике. Упрощенные объяснения Витте были ему доступны, настойчивость — убедительна, а оригинальность и смелость финансово-экономической политики оправдывалась явным успехом.

При Николае II — особенно благодаря его жене — все это переменилось. Безволие царя и злая воля царицы сталкивались с волевым характером и с решимостью к действию Витте. Определенность целей и готовность к их выполнению тяготили и стесняли вечно неготовую, робкую мысль императора. Давление начинало чувствоваться, как насилие, **{318}** вызывало растущее сопротивление; нетерпение росло, лицо и глаза монарха превращались в непроницаемую маску и, наконец, под влиянием случайного наития со стороны какого-нибудь действительно «тайного» советника всё разрешалось внезапным заочным отказом от сотрудничества вчерашнего фаворита.

В своих обвинительных актах для потомства Витте тщательно и документально расследовал все подпольные ходы, приводившие в действие царскую пассивность; он не прочь был и сам прибегнуть к тем же путям. А в своих «Воспоминаниях», когда было уже не на что надеяться, он, не стесняясь и отбросив всякую осторожность, честил отборной бранью главного виновника своих непрочных взлетов и падений.

Сентябрь и октябрь 1905 г. в третий раз были моментом очередного взлета Витте, — притом в самых нетерпящих отсрочки обстоятельствах. Его позвали опять — потому что не позвать не могли. Он только что закончил приличным миром «ребяческую» и «преступную», по его выражениям, войну с «макаками», предпринятую вопреки его решительному сопротивлению.

Теперь он призывался в укротители революции. В глазах «камарильи» его «левая» репутация делала его своего рода экспертом по части революционных тайн. Недоброжелатели даже поговаривали, как бы он не спихнул царя, чтобы самому стать президентом русской республики. В роли монополиста Витте мог ставить свои условия: прежние опыты взлетов научили его быть осторожным и, идя на самые решительные меры, обеспечить свой тыл.

Он мог смело предлагать: или я, или диктатура, — потому что кандидата в диктаторы не было налицо. Великий князь Николай Николаевич, как известно, с револьвером в руке вынудил у царя подписание манифеста 17 октября *(?!)* (По слухам, вел. кн. Николай Николаевич угрожал царю самоубийством. (Прим. ред.).). Витте, в том же порядке спешности и неотложности открыто козырял перед царем в эти дни термином «конституция», в обычное время неприемлемым. Он готов был взять на себя почин выполнения царских обещаний — на случай, если царь, по обычаю, от них отречется. Он огласит эти **{319}** обещания в форме собственного всеподданнейшего доклада и, с одобрения царя, его напечатает. В докладе поручение исполнить обещания царя будет передоверено «объединенному кабинету», который поставит премьера выше соперничества коллег. Если царь потом раздумает, то вину примет на себя слуга. Однако же, вопреки ожиданиям Витте, царь усмотрел в министерском смирении хитрый подвох. Витте хочет себе приписать заслугу царских уступок; пусть лучше тогда уж заслуга прямо принадлежит царю. Царь сам и немедленно превратит обещания в факты, сразу дав народу обещанное: «доклад» слуги будет заменен «манифестом» императора.

Этот совет, несомненно, был дан Николаю II Д. Ф. Треповым. Я догадываюсь об этом, потому что впоследствии Трепов дал тот же совет и мне. Целых пять дней длилось это курьезное соревнование между «осторожностью» министра и царским «великодушием». Воля царя, конечно, победила. Но

победители хотели при этом перехитрить Витте: из манифеста, им заготовленного, выкинута была ссылка на «законодательную власть» Государственной Думы. А в ней и была спрятана «конституция». Тут Витте уперся. Правда, самое это обещание было вставлено в его проект манифеста не им, а кн. Оболенским, легко загоравшимся и знавшим лучше Витте основное требование общественности. В собственном докладе Витте «конституция» была завуалирована фразой: «выяснившаяся политическая идея большинства русского общества».

Поставив ультиматум, Витте победил. Сверху препятствий его целям больше не было. Но его дилетантство в политике сказалось в том, что он совершенно не предвидел препятствий снизу, со стороны самой общественности. Он привык, что его прошлые взлеты, сорванные сверху, получали снизу полнейшее содействие тех общественных деятелей, к которым он обращался за помощью. Стоило кивнуть халифу на час, — и они проявляли полнейшую готовность служить его целям. Правда, их помощь оказалась бесполезна при осуществлении преобразований, намеченных манифестом 12 декабря 1904 г.

А работа сельскохозяйственных комитетов по исследованию нужд сельскохозяйственной **{320}** промышленности, созданных Витте, так развернулась в руках его сотрудников, что получила политическое значение и оказалась для него самого опасной. Земские конституционалисты даже использовали собранные материалы для одного из своих серьезных изданий. Но на этот раз такой опасности не предстояло. «Политика» всё равно стояла на очереди дня, и содействие общественных деятелей осуществлению «политической идеи большинства» казалось Витте само собой разумеющимся. Конечно, пределы сотрудничества определялись пределами «доклада», указанным тем порядком и в размерах, определенных царским манифестом. Но тут Витте наткнулся на ряд неожиданностей, показавших, что с настроением общественности данного момента он незнаком. Она была не та, что в те времена, когда он широко использовал профессиональные знания профессоров и экспертов.

В своих «Воспоминаниях» Витте подробно рассказал, как он собирал справки о политических настроениях и требованиях перед 17 октября. Пестрый состав его случайных информаторов сам по себе свидетельствует о том, как он был тогда далек от центров русской политической жизни. Первыми в этом ряду оказались, во-первых, военный профессор Кузьмин-Караваев, честолюбец, проявивший себя интригами в Тверском земстве; во-вторых, ново-временский журналист из типа Иудушек, но одаренный большим нюхом, М. О. Меньшиков, и, в-третьих, реакционер кн. Мещерский, влиятельный советник Александра III и издатель субсидированного «Гражданина», настольной газеты царей. Характерно, что столь разнообразно подобранные осведомители сошлись на одном заключении: Россия требует конституции. В первое время Витте не пошел по указанному следу. Он, напротив, вызвал к себе Д. Н. Шипова, про которого не мог не знать, что с ноябрьского съезда 1904 г. Шипов объявил себя противником конституции, и А. И. Гучкова, только что разошедшихся с большинством земско-городского съезда. В лице Шипова он наткнулся на честного человека, который объяснил ему, что не представляет большинства съезда, что вместе с Гучковым они готовят партию меньшинства (будущих «октябристов») и что он войдет лишь в такое министерство, **{321}** которое будет действительно представлять все общественное мнение, причем тогда уже получит более ответственное положение, нежели предложенный ему пост государственного контролера. Гучкова оттолкнули не столько эти идеологические соображения, сколько возможный скандал, в случае назначения полицейским членом кабинета такой дискредитированной личности, как П. Н. Дурново. Шипов указал Витте адрес, куда надо было обратиться: в бюро земских съездов. При этом он назвал и кандидатов на ответственные посты: С. А. Муромцева в министры юстиции, И. И. Петрункевича и кн. Г. Е. Львова в министры внутренних дел и земледелия. О первом и третьем — старом друге Шипова — справки были хорошие, и Витте послал им телеграфный вызов в Москву, где как раз в эти дни было назначено собрание бюро съезда.

Бюро еще не собралось, когда пришла телеграмма. Но наличные члены бюро поспешили воспользоваться приглашением и послать делегацию немедленно. Петрункевич отсутствовал; вместо него в делегацию попал кн. Львов — авторитетный в земстве и молчаливый в трудных положениях, — человек себе на уме. Такой же молчаливый, но непреклонный в политических убеждениях, Ф. А. Головин, будущий председатель Второй Думы, был вторым членом делегации. Третьим состоял при них идеолог партии, Ф. Ф. Кокошкин, которому предназначалась декларативная роль. С. А. Муромцева обошли намеренно, не без основания боясь его податливости. При таком составе делегация представляла не кандидатов в министры, которых ожидал Витте, а предварительных осведомителей для доклада земскому «бюро» о намерениях и предложениях Витте. Ни на что другое, кроме осведомления Витте о политической программе земских конституционалистов, они и не были уполномочены.

Кокошкин твердо отчеканил условия, которые тогда можно было считать общепринятыми: Учредительное Собрание, избранное по «четырехвостке» и уполномоченное выработать «основной закон» государства. Двусмысленность положения заключалась в том, что два делегата были, в сущности, уже членами партии, но партия, как таковая, таких постановлений не выносила, Хотя декларация Кокошкина вполне **{322}** соответствовала духу партии, как он определился редакционной статьей первого номера «Освобождения» с поправкой № 13 на всеобщее избирательное право, 17-е октября создало новое положение, на которое партия реагировать еще не успела. Чтобы снять с себя ответственность, делегаты поставили условие, что отчет об их заявлении Витте будет напечатан в «Русских ведомостях». Это и было исполнено, и тем закончилась их миссия.

Я был в Москве и присутствовал в квартире Ф. А. Головина, где спешно намечался состав делегации. Могу засвидетельствовать, что хотя и эта поспешность, и самый выбор делегатов выходили за пределы компетенции собравшихся, в их малом составе вопрос о полномочиях просто не возбуждался. До такой степени всем было понятно, что делегация не везет какого-либо «ультиматума» и не считает свой вызов началом каких-либо переговоров о министерских постах, а просто имеет целью осведомление сторон для доклада бюро съезда. Если угодно, эти спешные выборы определенного состава делегации преследовали одну заднюю мысль: не допустить выдачи каких-либо преждевременных обязательств и не давать обещаний, ввиду полной невыясненности положения и вероятности задних мыслей у самого Витте, временного хозяина положения.

Не зная хорошенько, к кому обращался, не имея понятия о партийной принадлежности участников делегации и вообще о партийных течениях и программах, Витте, конечно, понял заявления Кокошкина, как только и мог понять: как нечто новое, чего не было ни в «манифесте», ни в его «всеподданнейшем докладе», — и что, следовательно, для него совсем не подходило. Эти заявления развязывали ему руки: одна возможность была во всяком случае исключена, и Витте вернулся к тому, с чего начал: к новому вызову Шипова и Гучкова. И тут, однако, последовало новое разочарование. Шипов письменно повторил свои прежние аргументы против принятия поста в министерстве, хотя Витте уже устроил у царя утверждение его в должности контролера. Мало того, он добился, помимо Витте, личного приема у Николая II и объяснил ему сам мотивы своего отказа. Царь признал, что он «прав»; а вместе с тем падала и вся комбинация Витте. Запас допустимых для **{323}** Витте министров был исчерпан; надо было искать членов «объединенного кабинета» в другом месте.

Дальнейшие справки Витте произвел у представителей прессы, к которой он обращался уже по поводу своей миссии в Америку.

Но и тут его ожидала неожиданность. Только во время аудиенции, данной петербургской печати, ему сообщили, что существуют «союзы», что вся пресса объединена в одном из них и что она уже выполняет постановление «союза» о тактике «явочного» порядка — без цензуры. Все явившиеся подтвердили молчанием эти заявления хозяина «Биржевки» Проппера. Вместо того, чтобы выслушать Витте, Проппер «в развязном тоне», сразу возмутившем Витте, преподнес ему «нахальные не то требования, не то заявления». Кто помнит Проппера, легко представит себе возмущение премьера. «Мы вообще правительству не верим», — так начал с места в карьер издатель «Биржевки». А затем следовали «требования», отнюдь не входившие в специальную компетенцию прессы и суммировавшие общую программу левых течений:, вывести войска из столицы и заменить их милицией, отставить Трепова («мне пришлось, чтобы не проявить слабости, на две недели его оставить», вспоминает Витте), дать всеобщую амнистию и т. д. Витте решил, что пресса сошла с ума и «деморализована» — и что «опереться на нее невозможно». Это было, конечно, хуже делегации земского бюро. Отныне и этот источник закрылся; вся печать была записана в лагерь противников.

Оставался еще ресурс: либеральные профессора, с которыми Витте вообще дружил. Случайно мы знаем эпизод встречи Витте в эти первые дни с проф. Петражицким и редактором «Права» И. В. Гессеном, которые после полуночи на 24 октября явились к нему на дом добиваться, чтобы у Технологического Института, где затевалась демонстрация, не повторилось кровопролития 9 января. Витте вышел к поздним посетителям в ночной рубашке, прочел им нотацию за неурочный визит, — а затем сказал, что уже добился у Трепова уступки; но, взяв ответственность на себя, он перелагает эту ответственность на пришедших. Он пришел в крайнее смущение, узнав, что сами крайние партии уже **{324}** отменили демонстрацию; выходило, следовательно, что их авторитет надежнее посредничества диктатора.

Затем последовали разговоры на политические темы. Посетители заключили из них, что Витте «поглощен злобами дня», но «совершенно не отдает себе отчета, что теперь центром борьбы станет вопрос о компетенции Государственной Думы». На наивный ответ Витте, что это — дело самой Думы,

ему объяснили, что ведь «в таком случае Дума превратится в Учредительное Собрание». Тут Витте встрепенулся, «сразу как будто опомнился» (это было уже после приема делегации «бюро» съезда) и... последовало нечто совершенно неожиданное. Пришли к нему законоведы; этого было достаточно, чтобы он стал просить их «составить для него проект основных законов». Неожидан был, однако, только повод; цель Витте была ясна — и очень характерна. Предложение было согласно с «докладом» Витте. 24 октября 1905 г. он уже провидел февраль и апрель 1906 года. Он только не ожидал, что «основные законы» (не случайный парафраз термина «конституция») будут составляться без его участия и иного рода специалистами... Петражицкий и Гессен с своей стороны почувствовали «деликатное положение», в которое ставило их предложение Витте, отказались и поспешили откланяться.

Вернувшись в Петербург, я еще успел принять участие в одном из эпизодов поисков общественных деятелей для кабинета Витте. Речь шла о приглашении Е. Н. Трубецкого на пост министра народного просвещения. Приехав в Петербург, Трубецкой обратился к кружку «Права» для обсуждения своей кандидатуры.

Видимо, ему хотелось принять предложение, и он искал нашей санкции. Я резко высказался против. И не только потому, что считал Трубецкого неподходящим для этой роли, но — признаюсь в этом — также и потому, что его согласие было бы нарушением принятой нами общей политической линии. Впрочем, сам Витте, поговорив с Трубецким, пришел к тому же выводу из-за личности кандидата. «Мне нужен министр, — говорил он, — а мне прислали какого-то Гамлета».

К концу октября и началу ноября 1905 г. общее, а не только наше партийное, отрицательное отношение **{325}** к сотрудничеству с Виттевским «конституционализмом» можно было считать выяснившимся вполне. В эти дни дошла и до меня очередь беседовать с Витте. Он пригласил меня не в качестве кандидата в министры, а для некоторого рода экспертизы общего политического положения и возможных выходов из него. Я считал себя обязанным принять предложение и высказаться с полной откровенностью. К Витте, независимо от рамок партийной борьбы, у меня сложилось смешанное отношение. При всей его неопытности и самомнении, это всё же был самый крупный из русских государственных деятелей. Мне казалось, что это был единственный, способный отнестись объективно к трудностям собственного положения. И мне было его жалко, так как я чувствовал, что с этими трудностями ему не совладать и что он окажется таким же халифом на час, каким оказались другие.

Мой рассказ о нашей беседе появился в печати еще в 1921 году и вызвал придирчивую критику В. А. Маклакова. Я не могу не вернуться к нему теперь — не только потому, что считаю его важным для моей общей политической концепции, но и потому, что при писании этих воспоминаний мне попался на глаза мой же собственный рассказ, составленный по просьбе иностранного агентства (Correspondance Russe) не через 15 лет, а всего через полтора месяца после беседы. Он, естественно, менее интимен, чем мой позднейший рассказ для «своих»; но он полнее и отчетливее передает ход и содержание беседы. Восстановляя ее теперь, я буду пользоваться обоими источниками, хорошо дополняющими друг друга.

Витте принял меня в нижнем этаже Зимнего Дворца, с окнами, выходящими на Неву, в комнате, носившей какой-то проходной характер. Разговор наш начался с того же, с чего начал Проппер свою «нахальную» беседу. «Почему к Витте не идут общественные деятели»? Ответ, по необходимости, был тот же: «Не идут, потому что не верят». Что же делать, чтобы поверили? — Надо не ограничиваться обещаниями, а немедленно приступить к их выполнению. Первые шаги можно сделать, не дожидаясь общественного сотрудничества. Выберите серьезных и не дискредитированных в **{326}** общественном мнении товарищей министров или иных членов администрации, составьте из них временный кабинет типа «делового» — и приступите тотчас к работе Я здесь высказывал мысль, уже высказывавшуюся при спешном обсуждении тактики на нашем учредительном съезде; она была не нова и не требовала особенной мудрости. Собственно, Витте уже вступил на этот путь пригласив Н. Н. Кутлера, будущего члена нашей партии в товарищи министра земледелия для составления «кадетского» аграрного проекта. К последствиям этого приглашения вернусь позже.

При моих словах о «деловом кабинете», как временной замене «общественного», Витте как-то сразу преобразился: вскочил с места, протянул мне свою неуклюжую руку и, потрясая мою, ему протянутую с некоторым недоумением, громко воскликнул: «Вот, наконец, я слышу первое здравое слово. Я так и решил сделать».

Из продолжения беседы выяснилось, что мы разумели под одними и теми же словами разные вещи. Оставалось выяснить, что же должен делать «деловой кабинет», чтобы заслужить общественное доверие. Я хотел и тут возможно ближе подойти к реальным возможностям. На вопрос, что делать, я

ответил: если бы я говорил с вами, как член партии, я должен бы был повторить то, что сказал вам Кокошкин от имени делегации бюро съездов. Но я этого не сделаю, так как понимаю, что рекомендованный партией путь для вас слишком сложен и длителен. «При современном состоянии кризиса было бы чересчур рискованно вести Россию к нормальному положению путем троекратных выборов:

1) в неправильно (в нашем смысле) избранную Думу, которая составит правильный (в смысле всеобщего права) избирательный закон,

2) в Учредительное Собрание, собранное на основании этого закона и, наконец,

3) в нормальное Законодательное собрание, избранное на основании хартии, какую даст Учредительное Собрание».

Конечно, ни одного из этих трех моментов, которыми партия хотела вести Россию к конституционализму, Витте и вообще не имел в виду. И я соглашался, что такой путь «чреват боковыми толчками и катастрофами», признавая, таким образом, что **{327}** для правительства он неприемлем (да и для нас опасен). раз, однако же, оно решило дать России конституцию, то оно «лучше всего поступило бы, если бы прямо и открыто сказало это — и немедленно октроировало бы хартию, достаточно либеральную, чтобы удовлетворить широкие круги общества». Как на образец такой хартии, я указывал гр. Витте на болгарскую конституцию, явно доступную для русского народа, или на какую-нибудь другую разновидность бельгийской, — во всяком случае, с всеобщим избирательным правом. Впрочем, ссылался я, «проект такой конституции уже разработан земским съездом». Драматизируя и упрощая свою речь, я выразился образно: «позовите кого-нибудь сегодня и велите перевести на русский язык бельгийскую или, еще лучше, болгарскую конституцию, завтра поднесите ее царю для подписи, а послезавтра опубликуйте». За такое «упрощение» мне досталось от моего критика. Но, конечно, Витте понимал смысл моего «сегодня», «завтра» и послезавтра».

Уклоняясь от прямого ответа по существу, он начал возражать мне очень извилистой и внутренне-противоречивой аргументацией. Во-первых, «общество уже не удовлетворится конституцией, данной сверху». Я не знал тогда, что именно такие «основные законы» Витте и хотел заказать проф. Петражицкому и И. Гессену. Выходило, что Витте радикальнее меня самого. И я его успокаивал: «общество не удовлетворится потому, что прежде всего не верит в возможность получить от бюрократии такую либеральную конституцию. Если получит, то — пошумит и успокоится».

Тогда следовало прямо противоположное возражение: «народ не хочет конституции»! Это было откровеннее: я уже говорил о намерении власти создать большинство представительства — из послушных крестьян. Такова была, действительно, упорная задняя мысль при составлении выборных законов в Думу: мы теперь это знаем и из воспоминаний Крыжановского, их составителя. Хотя и пораженный этим вывертом Витте, я (эти строки писаны в 1905 году) (Автор ссылается на запись, сделанную им через полтора месяца после беседы (см. выше). (Прим. ред.).) не отвечал ему, что этим аргументом он зачеркивает все, им сделанное, и заставляет **{328}** сомневаться в его намерениях. Я только возразил ему, что дело не меняется от того, что в своем «докладе» царю он назвал конституцию «правовым порядком». Если он, действительно, разумел тут конституцию — и если народ так, в самом деле, привык к власти царя, то, очевидно, он гораздо скорее примирится с конституцией, данной властью царя, чем с хартией, какую издаст Дума — да при этом еще Дума цензового состава, неправильно выбранная. На это возражать было нечего, —-в предположении, что Витте действительно хотел подарить России конституцию. Но это-то и предстояло выяснить. Старый мой приятель, проф. Поль Буайе, только что перед тем посетивший Витте, рассказал мне о причине уклончивости Витте: он заявил Буайе уже совсем откровенно, что царь не хочет конституции. Это он заявлял и Петрункевичу; но с тех пор положение изменилось изданием манифеста. Я хотел добиться от Витте прямого ответа и спросил его в упор: «Если ваши полномочия достаточны, то отчего вам не произнести этого решающего слова: конституция?» Витте, уже охлажденный моими предложениями, ответил каким-то упавшим голосом, лаконически и сухо, но так же прямо: «Не могу, потому что царь этого не хочет». Это было то, чего я ожидал: краткий смысл длинных речей. И я закончил нашу беседу словами, которые хорошо помню. «Тогда нам бесполезно разговаривать. Я не могу подать вам никакого дельного совета».

Меня очень упрекали мои критики, что я так цеплялся за «слово», когда «содержание» его было уже уступлено. Но в том-то и дело, что уступлено оно не было, и что самое сокрытие «слова» это доказывало, а все последующие события это подтвердили. Упорное нежелание произнести неотменимое «слово» показывало, что за мнимой уступкой кроется надежда — и даже не надежда, а уверенность, что, когда пройдет революционный шквал, можно будет убрать, вместе с уступками, и их автора, и

произнести уже громко — другое «слово», — которое даже было, под тем или другим предлогом, сохранено в «основных законах»: слово «самодержец». И в этом случае речь шла, как и в том, не просто в звуке, в потрясении воздуха.

Бывают слова, которые звучат **{329}** заклинаньем и останавливают кровь; и бывают другие, такие же слова-символы, из-за которых кровь льется, ведутся внешние и гражданские войны, сокрушаются и возникают режимы. Когда появились у наших врагов — уже общих врагов — слова-шибболеты, зачаровавшие массы, и слова всё простые: мир, земля, право труда, классовая борьба, то нам нечего было им противопоставить. У нас отобрали наши слова: конституция, право, закон, для всех равный. Не было «конституции», пришла «революция»; «революция» была фактом, а «конституция» — только неосуществленным желанием ненавистного «класса». «Заговорить» кровь нам было нечем и переход от одной формы насилия к другой оказался естественным. Вот почему я так настаивал, чтобы «слово» было произнесено; я его содержание сделал целью своей политической борьбы. Без него она теряла смысл, превращалась в какую-то игру. И я ответил Витте, убедившись в отсутствии «слова», в сущности, то самое, что за три года перед тем ответил Плеве. Hic Rhodus, hic salta («Здесь Родос, здесь и прыгай»)! Если не можешь, если нет, — то нет! Борьба продолжается, но, увы, с выбитым из рук оружием.

В. А. Маклаков, свидетель моего «разноса» манифеста 17 октября на банкете в Литературном Кружке, с укором вспоминает, что я так и закончил свою речь: «Ничто не изменилось; война продолжается».

Не помню слов, но я мог их сказать, выражая не свое только, а очень распространенное настроение. Да, война продолжалась; но на кого было опереться? Те, кто не верили, что борьба кончилась, обращались, естественно, к той силе, благодаря проявлению которой был получен самый манифест 17 октября. В обиход даже вошло выражение латинского поэта: flectere si nequeo superos Acheronta movebo, если не смогу склонить высших (богов), двину Ахеронт (адскую реку). Этот Ахеронт, под которым разумелись революционизированные народные массы, был тогда в большом употреблении, чтобы не вызывать излишнего внимания цензуры. Но присяжные пловцы по Ахеронту преследовали собственные цели, и вопрос о сотрудничестве с ними, — хотя я и продолжал считать это сотрудничество залогом нашего общего **{330}** успеха, — оставался для меня открытым. Как видно уже из беседы моей с Витте, я считал, что и с нашей стороны тактика должна быть менее непримиримой, если мы хотели продолжать борьбу мирными способами, единственно нам доступными. С этой задачей я и подошел к деятельности очередного земско-городского съезда, собравшегося 7 ноября 1905 г., — в годовщину ноябрьского съезда 1904 года.

Я уже охарактеризовал двойственное настроение предыдущего (сентябрьского) съезда, вынесшего совершенно революционные решения, но оказавшегося очень осторожным в вопросе об их осуществлении. Тот съезд занял, в конце концов, выжидательную позицию; теперь положение можно было считать выясненным. Надо было окончательно определить позицию съезда по отношению к политике Витте. И сам Витте дал для этого повод, обратившись к съезду как бы с аппеляцией на заявления делегации его «бюро». В этом обращении как бы сказалось, что Витте продолжает нуждаться в общественной поддержке, а от Шипова он знал, что среди членов съезда создается партия, более правая, нежели кадеты. Он не знал только, что партия кадетов сохраняет свое большинство на съезде и что смешанный по политическому составу ноябрьский съезд — последний перед окончательной заменой этих съездов дифференцированными политическими партиями. Он надеялся, что земцы на этот раз пришлют на съезд более консервативное представительство, предлагал даже созвать съезд в Петербурге (как когда-то Святополк-Мирский) и ожидал получить от земского съезда вотум доверия политике правительства. Очевидно, этого рода обещания ему делались из среды членов съезда, и на самом съезде предполагалось их осуществить. Газета «Русь» высказала даже пожелание, чтобы самый съезд превратился в нечто вроде временного правительства при Витте. С другой стороны, и с. - д. требовали от «либералов» съезда, чтобы они объявили себя временным правительством «коалиционного» состава. Так велика еще была путаница политических понятий за несколько месяцев до созыва Первой Государственной Думы.

Вопреки ожиданиям Витте и намерениям своего меньшинства, ноябрьский съезд выдержал свою **{331}** установившуюся традицию. Прежде всего, он собрался в Москве, а не в Петербурге, и этим уже подчеркнул свою политическую независимость. Новые участники, очень не многочисленные, в том числе и петербуржцы, не могли майоризировать прежний состав съезда. Они лишь несколько усилили настроения правого меньшинства; большинство осталось партийно-сплоченным. Съезд мог иметь сомнения по поводу самочинной делегации своего «бюро»; но он ее не дезавуировал, а лишь

подчеркнул, как и следовало, ее чисто-информационную роль.
С своей стороны, съезд принял несколько решений, шедших навстречу сложившемуся положению, как бы облегчая тем возможность сговора с властью, если бы переговоры с Витте продолжались. В этом, собственно, и заключалось политическое значение этого съезда.

Я принимал на этот раз активное участие в подготовке только что упомянутых решений. Мне удалось провести в них мою точку зрения и я мог смотреть на эти решения, как на мой личный успех по пути перевода партийной тактики на более реалистическое направление. Правда, этот успех был далеко неполным, да и мое собственное настроение еще недостаточно сдвинулось в эту сторону. Поэтому, решениям съезда не суждено было получить практическое значение. Во всяком случае, они впервые выявили политическое лицо партии и содействовали ее самоопределению.

Съезд предлагал, именно, несколько решений, клонившихся к смягчению наиболее острых и чисто-теоретических углов партийной тактики. В этом отношении он как бы являлся продолжением моей беседы с Витте. Прежде всего, решено было связать «правильное и последовательное проведение конституционных начал манифеста с
l) немедленным изданием акта о применении к созыву (первого) народного представительства всеобщей, прямой, равной и закрытой подачи голосов и 2) с формальной передачей первому собранию народных представителей учредительных функций для выработки, с утверждения государя, конституции Российской Империи».

В этой, несколько завуалированной формулировке уже делалось несколько важных уступок из заявлений Кокошкина. Из тройных выборов, о которых я говорил Витте в неодобрительном смысле, оставались только одни. Исчезал **{332}** предварительный созыв представительства по избирательному закону Крыжановского, но исчезало, с другой стороны, и отдельное Учредительное Собрание. А республиканский характер решений этого органа заранее отрицался требованием «утверждения государя» для выработанного им конституционного акта. Затем, чисто учредительный характер созванного на основе всеобщего избирательного права собрания устранялся решением поручить ему же и «установление основных начал земельной реформы и принятие необходимых мер в области рабочего законодательства». Другими словами, этому собранию поручалось и то, что тогда называлось «органической работой». Этим оно сводилось к значению обычной нормальной сессии законодательного собрания. Изменения, как видим, были достаточно радикальные. После всех них, в сущности, ближайшим предметом разногласия с правительством оставалось лишь применение к первым и единственным выборам всеобщего избирательного права. Но это предложение разделялось даже и правыми соперниками к. д.

Дальнейшие предложения съезда избирали путь, не противоречивший собственному взгляду правительства на пределы его компетенции. Ему рекомендовалось, «в целях успокоения страны, немедленно, не дожидаясь народного представительства» (то есть хотя бы это был и «деловой» кабинет Витте) заняться «осуществлением, в законодательных нормах (этим признавалось, что законодательная власть вовсе не была упразднена в ожидании созыва Думы) всех основных начал политической свободы», возвещенных манифестом 17 октября. Вводились, далее, в программу немедленных осуществлений этого правительства отмена всех исключительных положений и смертной казни, амнистия, смена старой администрации, не проникнутой новыми началами, и, в частности, расследование погромов, запятнавших дни народной радости, и привлечение к ответственности (как и всех должностных лиц, в общем порядке) также чинов администрации и полиции, виновных в погромах. Мотивировать все эти предложения перед Витте должна была особая делегация, в состав которой как раз были выбраны лица, намеченные 18 октября Шиповым: Муромцев и Петрункевич; Кокошкин — только в качестве третьего **{333}** члена. Казалось, препятствий для возобновления переговоров с такой делегацией и на основе таких предложений больше не оставалось, если бы было на то доброе желание власти.

Правда, правое меньшинство этим не удовлетворилось. Оно внесло прямое предложение о выражении съездом доверия Витте, и М. А. Стахович защищал это предложение. Даже и такое предложение не было отвергнуто съездом, но после всех прений и решений съезда приняло условный смысл. «Правительство может рассчитывать на поддержку земских деятелей», заявлял съезд, «только постольку, поскольку оно будет проводить конституционные начала манифеста правильно и последовательно. Всякое же отступление от этих начал встретит в земских и городских сферах решительное противодействие». Не помогла тут ни частная телеграмма Витте Петрункевичу с призывом к «патриотизму» общественных деятелей, ни поддержка кн. Павла Дм. Долгорукова, считавшего, что «надо подать руку помощи Витте». Это был голос из «Беседы» — голос вчерашнего дня. Так далеко

большинство съезда идти не могло, не теряя лица.

Примирительный характер решений съезда был подчеркнут и, конечно, осужден, и с другой стороны — со стороны социал-демократов. Делегация их комитета передала съезду постановление, в котором «единственным выходом из положения» признавалось «низвержение правительства посредством вооруженного восстания и созыва Учредительного Собрания для установления демократической республики». Попытка же съезда вступить в переговоры с правительством признавалась комитетом с. - д. за «постыдный шаг и сделку буржуазии с правительством за счет прав народа». Здесь прозвучал по нашему адресу голос «Ахеронта», помогший нашему самоопределению. Здесь, действительно, в первый раз была определенно прочерчена политическая граница между нами.

Но как была встречена эта попытка нашего самоопределения со стороны Витте? Его тактика уже далеко отошла от начальных октябрьских дней. И у меня почти не было сомнения, что наша попытка запоздала и что, при всей нашей сдержанности, наши предложения окажутся теперь недостаточно умеренными. Соперничать с **{334}** нашим меньшинством мы, во всяком случае, не могли; а неудача предположений этого меньшинства на съезде могла только раздражить Витте. Я поэтому решительно восставал против посылки депутации, опасаясь, что она наткнется на прямой отказ и будет поставлена в унизительное положение. Вышло еще хуже.

Витте просто не принял депутатов, а через Совет министров прочел нам строгую нотацию. Правительство отказывается «сойти с пути», указанного манифестом. Издание «законов» теперь невозможно, а можно издавать лишь «временные правила». Что касается «условий поддержки той или другой партией правительственной политики», то правительство «в данном случае озабочено лишь тем», чтобы само общество «давало себе отчет о тех последствиях, к которым приводит его нежелание содействовать власти в осуществлении начал манифеста и охране порядка». Так были истолкованы миролюбивые намерения съезда, грубо отброшена протянутая Витте рука, и отмерено пространство, пройденное в месяц от попытки «осуществления начал» при содействии общественности до истинного смысла назначения Витте — «охраны порядка». Яснее было нельзя сказать: мы больше в вас не нуждаемся.

В частности, в нас Витте очевидно не только не нуждался: мы стали ему опасны. Он попробовал было найти поддержку в другом месте. Было затеяно нечто вроде «контрсъезда», который бы, наконец, выразил «истинное» настроение земства и городов и дал Витте то «доверие» в кредит, которое бы спасло его от растущего «недоверия» сверху. Органы самоуправления получили от Витте циркулярное приглашение, равносильное приказу: выбрать по четыре представителя и держать их наготове, на случай вызова. Газета «Русь» уже начала агитацию за созыв такого съезда при Витте. Только отказ нескольких земств от выборов и приближение срока выборов в Думу, а также и состоявшаяся организация правительственной партии 17 октября побудили Витте отказаться от этого, слишком очевидного маскарада.

После нашей беседы с Витте я только еще раз с ним встретился как-то вечером на одном общественном собрании. Он был тогда уже давно в отставке и в немилости. Заметив меня, он пробрался через толпу, чтобы **{335}** подойти ко мне, поздоровался, вспомнил про нашу первую встречу и сказал мне несколько слов, которые не могли не запомниться. «Жаль, что я мало знал вас тогда. События могли бы пойти иначе». Я был бы очень польщен этим поздним признанием, — если бы не знал эгоцентризма Витте.

Весь остаток жизни он прожил в страстной мечте вернуться к власти, чтобы переделать во втором издании тот исторический момент, когда, по его выражению, его взяли «на затычку» и выбросили «хуже прислуги». Ему так хотелось доделать то, что ему помешали совершить, как думал он сам, или чего он не сумел сделать, как думали другие. На склоне лет прожитое должно было ему представляться в виде варианта пословицы: "Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait" («Если бы молодость знала, если бы старость могла».)). Ему, правда, не хватило знания. Но ему не хватило и власти.

8. КАДЕТЫ И ЛЕВЫЕ

Последние месяцы 1905 года, если не представляют развязку драмы первой русской революции, то вводят в преддверие этой развязки. Кривая революционного движения, доведенная искусственно до своей высшей точки, с декабря этого года спускается вниз — сперва незаметно для невнимательного глаза, а потом всё более круто. По внешности, как будто, революционное движение даже торжествует свои первые осязательные успехи. В новом органе народного представительства сторонники Ахеронта думают приобрести новую арену борьбы, сперва открытой, потом, после провала опыта Первой Думы,

законспирированной, но на базисе Второй Думы. По внешности, продолжается и наш флирт с «друзьями слева», лишь постепенно охлаждаясь по мере того, как «друзья» всё более очевидно превращаются в «друго-врагов». Моя надежда на сотрудничество конституционного и революционного движения, как на условие общего успеха, оказывается, таким образом, неосуществившейся мечтой, а вместе с тем гибнет и дело общей борьбы. Мне приписывали, по поводу полемики на предвыборных митингах, такое предложение левым конкурентам: «Вы **{336}** делайте громы и молнии за кулисами, а мы на сцене будем вести борьбу за обоих». Это, конечно, была карикатура на нашу тактику. Скорее уже положение было обратное: громы и молнии делались на сцене; правда, они оказались игрушечные. А борьба за реальные достижения была этим сорвана.

Рассказать подробно о том, как это произошло, дело истории. Но черты моей автобиографии настолько тесно переплетаются с событиями, что местами мне придется касаться не только общих черт их, но и деталей. Всё же, мы подходим здесь к одному из важнейших моментов новейшей русской истории, и свидетельство одного из участников не будет лишним.

Я рассказал об отношении нас, кадетов, к правительству 17 октября. Выбор политической позиции по отношению к власти в тот момент принадлежал нам. По причинам, изложенным выше, мы этот момент сознательно пропустили. Можно утверждать, вместе с нашими политическими противниками справа, что мы тут сделали ошибку. Но, помимо того, что они сами, не сделавшие этой «ошибки», сыграли в ничью и лишь поплатились своей политической репутацией, мы закончили год предложением честного компромисса. Витте его грубо оттолкнул, предпочтя неверной перспективе добросовестного сотрудничества с настоящей русской общественностью — борьбу за сохранение своего личного положения «наверху», — борьбу, оказавшуюся в итоге не менее неверной. По отношению к левым, выбор позиции принадлежал не нам, а им. В итоге их выбора год закончился их резким отказом от параллельных действий с нами — и полным разгромом их собственной тактики. В создании образовавшейся пропасти между нами и ими немалую роль сыграли наши недавние союзники из Союза Освобождения и его филиалов. Но главной причиной были всё же идеологические изменения в среде самих социалистов.

Я ранее говорил о полемике с нами монополистов пролетариата — типа новой антиленинской «Искры». Но до меня не доходили тогда сведения о появлении другого, более непримиримого течения — ленинских «якобинцев», стремившихся перехватить руководство у «жирондистов-новоискровцев». Я ничего не знал о **{337}** майском «третьем съезде» в Лондоне (первом чисто большевистском); а на нем, после принятия общим фронтом «освобожденческого» движения лозунгов всеобщего избирательного права и Учредительного Собрания, был уже намечен, в отсутствии меньшевиков, дальнейший шаг: полная победа «демократической рабоче-крестьянской диктатуры». Эта диктатура должна явиться результатом успешного вооруженного восстания, которое низвергнет самодержавие с его дворянством и чиновничеством и заменит его демократической республикой с революционным «Временным Правительством» во главе. В это правительство смогут войти и с. - д., чтобы «давить» на него не только «снизу», но и «сверху». Это будет все же — только буржуазно-демократическая власть; но она облегчит дальнейший переход, при обязательном содействии всемирной революции, к осуществлению социализма в России.

Тут была, в зародыше, вся ленинская программа 1917 года. Она резко противопоставлялась буржуазному «предательству», срыву революции и ограничению ее «куцей конституцией», при полном нежелании упрямой власти считаться даже и с нею. Конечно, при этом «буржуазная демократия» не только не приглашалась к дальнейшему сотрудничеству, но, напротив, принципиально устранялась от него, чтобы «не связывать рук» крайней левой тактике.

Надо признать, что вся эта упрощенная проекция ленинских геометрических линий в политическую пустоту должна была самой своей общедоступностью и абсолютной формой утверждений и требований гораздо сильнее подействовать на массы, нежели извилистые, полные благоразумных оговорок формулы резолюций, которые собравшиеся в Женеве меньшевики противопоставили решениям лондонского третьего съезда. До нашей среды все эти тонкости внутренней междоусобной борьбы в среде с. - д. просто не доходили вовремя.

Только в конце июля Ленин напечатал свой сравнительный комментарий большевистских и меньшевистских резолюций в нашумевшей брошюре «Две тактики». Притом же, к октябрю разногласия «двух тактик» успели уже несколько сгладиться. Главное различие между ними было, в сущности, не столько в лозунгах, сколько в способах их осуществления. То, что Ленин уже в мае смело поставил **{338}** на первую очередь, для меньшевиков оставалось тогда за горизонтом практической политики. Лишь в октябре и ноябре эти лозунги не только показались осуществимыми, но и были превзойдены

при содействии Троцкого. Он себе приписывал поправку, по которой «временное правительство» с преобладанием с. - р. должно было образоваться не после победы вооруженного восстания, а в самом процессе этого восстания, как руководящая восстанием власть. Эта поправка и была положена в основу тактики Совета рабочих депутатов, как ее представлял себе Троцкий.

Каким образом наши «освобожденцы» могли оказаться проводниками этой новой тактики, формально противопоставленной нашей парламентской тактике на нашем ноябрьском съезде?

Союз Освобождения состоял из очень разнообразных политически элементов; это и помешало ему не только стать партией, как мы знаем, но и допустить образование партии в своей среде. Наши шестеро делегатов от земцев-конституционалистов, выбранные в Совет Союза (см. выше), все оказались, в конце концов, самыми заправскими кадетами. В деятельности другой половины делегатов-«интеллигентов» они фактически почти не принимали участия. Свою деятельность группа «интеллигентов» сосредоточила в петербургской т. наз. «Большой Группе» Союза Освобождения. «Большая Группа» и включала в себе посредников между Союзом и социалистическими партиями, передававших туда очередные партийные лозунги. Оттуда шел захват социалистами таких петербургских учреждений, как Императорское Техническое Общество («Соляной Городок») или такое же «Императорское» Вольное Экономическое Общество — впоследствии ставшее ареной с. - д. «Большая Группа» также распространяла свое влияние и на профессиональные союзы, в которых председательствовали ее члены; они монополизировали и влияние на Союз Союзов, создавши при нем отдельный петербургский Союз Союзов, слившийся в решительные октябрьские дни с Центральным Бюро всероссийского Союза Союзов. Словом, это почкование Союза Освобождения, при содействии еще группы «сочувствующих», распространило его влияние очень широко — и в то же время содействовало **{339}** его быстрому полевению.

Коренные «освобожденцы» сами разделились на «благоразумных» и «буйных». «Благоразумные» пытались удержать старый курс, борясь с усилением левого крена, за предварительную «организацию» революции и против внесения ее, в острых формах, путем агитации социалистических партий, в рабочую среду. К «благоразумным» принадлежала группа Прокоповича-Кусковой, Анненский, Богучарский, Хижняков. Переходную роль к «буйным» сыграл талантливый, богато-одаренный природой оратор — «вульгарист» и организатор многолюдных митингов, горный инженер Л. И. Лутугин, У себя «дома», в Союзе Освобождения он вел себя «умницей» и проницательным политиком; но, очутившись перед толпой, которую цинически называл «лопоухими», моментально зажигался и перевоплощался в народного трибуна, призывая собрание к немедленной атаке «твердынь». Вышучивая перед единомышленниками самого себя и своих слушателей, он, однако, понимал значение «лопоухих», а своим интеллигентам предсказывал горькую участь: «Стукнут вас по головке, товарищи, тут вам и конец: только слюнка потечет». Здесь и секрет его двойной роли, умно и талантливо разыгранной.

Иную роль играли такие фанатики, как бездарный, ограниченный и узко-партийный адвокат Н. Д. Соколов, верный передатчик в Союз и в Союзы с. - д. партийных велений. Нужно ли упоминать о «сочувствующих», среди которых были и молчаливый, с видом вечного заговорщика, Чарнолусский, и его неразлучный друг, невыносимый болтун и враль Фальборк, — оба затянувшие меня на демонстрацию в Павловске. Было много всякого народа.

Когда образовалась, неожиданно для самой себя, в октябре партия конституционалистов-демократов, все это разнородное объединение было чрезвычайно взволновано. Сами к. д. считали, что учредительный съезд в Москве, в октябрьские дни, из-за забастовки вышел неполный по составу и что его решения должны быть еще пересмотрены последующим съездом. Но это не удовлетворило противников образования партии. Уже в конце октября в «Русских ведомостях» появилось сообщение о выходе из новообразованной партии целой группы московских «освобожденцев». Не менее решительно **{340}** действовали петербуржцы. «Большая Группа» собралась после московского съезда в расширенном составе и хотела было ограничиться аннулированием принятых нами решений. Но после бурных дебатов она отвергла простую отсрочку и решила вовсе не входить в партию. После этого решения земцы-члены Союза имели две беседы с тремя «делегатами» от освобожденцев-сецессионистов. На одной из них, в квартире В. Д. Набокова, участвовал и я — и даже, по воспоминаниям И. В. Гессена, исполнял роль докладчика. Очень характерно то, что пишет обо мне лично, с петербургской точки зрения, автор воспоминаний. Отметив, что он не видал «более сумбурного, более ожесточенного и предубежденного настроения среди вчерашних соратников» и что ему, как председателю, «нелегко было сдерживать бушующие страсти», он замечает, что «подоплекой» этой бури было, быть может, то, «что докладчиком был Милюков и что тогда обозначилась уже его

руководящая роль, гувернерство, сделавшее из него средостение между партией и общественным мнением».

Под «общественным мнением» здесь, очевидно, разумеется петербургское мнение левых кругов, от которого партия хотела отгородиться. Но утверждение, что именно я стоял тут «средостением», благодаря моему «гувернерству», предполагает, что мне приписывали личную вину за то, что можно было считать «поправением» партии. В Петербурге, в интересах «полевения», не хотели «ломать перегородок» с нами, будучи «пронизаны током высокого напряжения». Я не хочу отрицать, что я был против этого «тока» и играл известную роль в сооружении «перегородок». С противоположной стороны Витте не случайно же жалел, что был «мало со мной знаком» в это время. Обе характеристики идут в одном направлении. Я действительно хотел создания самостоятельной, ни от кого независимой конституционной партии, которая могла бы играть достойную роль в русском парламенте — и без которой не мог бы осуществиться «парламент». Если мои противники преувеличивали мои успехи, это уже их дело.

Но чего же хотели они сами, обрушиваясь на меня за мою «руководящую роль»? На том же бурном собрании высказывались возражения, прямо противоположные одно другому. Одни требовали, чтобы к. д. **{341}** подогнали к своей «парламентской тактике» также и свою «революционную программу». Другие, напротив, предпочитали, чтобы партия отодвинулась вправо, предоставив занятое ею место левым. Третьи обвиняли нас в стремлении — занять министерские посты. И. И. Петрункевич возражал: «плох солдат, который не хочет быть генералом». А я, смягчая, прибавлял только: «ну, до этого еще далеко». Генеральские посты в вооруженном восстании оставляли за собой с. - д., как и «захват власти».

Более серьезное возражение против партии к. д. состояло в том, что ее тело — «земское», «буржуазное», тогда как из Союза Освобождения должна выйти «народная партия». Но сами возражавшие понимали, что образование такой партии было невозможно, пока все мы представляли одни штабы без армий и когда для нее в особенности нужна была предварительная подготовка рабочих и крестьянских кадров. К. д. к такой подготовке и стремились; но сами же эти «благоразумные» отрезали для нее возможность проникнуть к народным низам, считая эти низы — своей монополией. А создание тотчас же «чисто-народной партии», притом «без социализма», но с конституционно-демократической окраской — прямо противоречило той роли, которую принуждены были играть наши левые противники. «Не ходите к кадетам», убеждал Лутугин в своей роли трибуна-«вульгаризатора». Они «шелестят (избирательными) бюллетенями, а ящиков-то и нет», острил Лутугин. Жестоко доставалось мне за это, ставшее «крылатым», выражение в одной из моих статей, где шелест «бюллетеней» я противополагал силе оружия. «Стоит ли тратить душу на занятие бесплодным парламентаризмом? Давайте, лучше запишемся в комитет грамотности». Для комитета политической грамотности это было бы еще более далеким окольным путем...

Так покончилась наша связь с Союзом Освобождения. Он пошел после того еще решительнее по линии петербургского Союза Союзов и даже, по недоразумению, как я решаюсь думать, и по пути Совета Рабочих Депутатов. Там и здесь, его прямое участие в самом создании этих организаций было несомненно, а формального разрыва — не происходило.

Моя связь с Союзом Союзов, собственно, оборвалась на том заседании, с которого нас повезли из моей **{342}** квартиры на Удельной — в Кресты. Самое мое звание председателя было неудобно — и было поставлено под сомнение. Не то я был выбран только для председательствования на московском съезде; не то — председательствовал только «фактически». Я, конечно, против этих толкований не возражал. После моего выхода из тюрьмы положение настолько уже изменилось, что вообще о моем сотрудничестве с (петербургским) Союзом Союзов не могло быть и речи. Там окончательно возобладали с. - д., а с 21 октября по 15 ноября шли совместные заседания Центрального Комитета с новоявленным Центральным Бюро, решения которых были обязательны только для Петербурга. Туда привлечены были некоторые освобожденцы, но членов партии к. д. там не было. Передо мной лежит сейчас пачка «Бюллетеней» этой объединенной организации от конца года, где имеются все плоды ее бумажной деятельности: «Постановления», «Воззвания», «Прокламации», — по большей части для нас уже совершенно неприемлемые. Едва ли они и расходились широко. Содержание их свидетельствовало о печальном факте потери всякого влияния. Как ни старалась организация подладиться под тон и содержание революционных лозунгов, как щедро ни обещала с. - д. свое сочувствие и содействие, ее действительная роль запаздывала и быстро отходила на задний план по мере развития деятельности другой — и самой крайней — из организаций, руководивших революционным движением 1905 в его полном разгаре: Советом Рабочих Депутатов. На Союз Союзов, в этом его последнем виде, на его при-

ветствия, поздравления и присоединения просто перестали обращать внимание.

Собственно говоря, это была — черная неблагодарность. Немногим известно, что самым своим происхождением Совет Рабочих Депутатов обязан все тому же Союзу Освобождения в его петербургской группе, а вовсе не Троцкому, и не меньшевикам, претендовавшим на роль его творцов. Тогда же, как и идею «банкетов», и идею Союза Союзов, освобожденцы выдвинули и осуществили после «Красного Воскресенья» идею Совета Рабочих Депутатов. Они воспользовались для этого правительственной комиссией Шидловского, назначенной для разбора нужд и требований рабочих. Один из рабочих **{343}** депутатов, попавших в эту комиссию, Хрусталев, передал свой мандат интеллигенту Носарю. В комиссии раздались «интеллигентские» речи; чиновники тотчас заметили, что «депутатами овладели революционеры», — и комиссия была распущена, а Носарь выслан из Петербурга. Но освобожденцы его вернули и припрятали; часть уцелевших депутатов Комиссии образовала «Совет» и к весне 1905 пополнила свой состав до 50-60 членов. В этом виде Совет Рабочих Депутатов просуществовал до октября, собираясь в нелегальной типографии Союза Освобождения или на частной квартире членов «Большой Группы». В этой типографии был отпечатан и первый призыв к фабричным и заводским рабочим о новом созыве Совета. Тогда же вышел из своего сокрытия Носарь, прятавшийся в пустом вагоне и ночевавший у освобожденцев, — и возглавил Совет в помещении Вольного Экономического Общества, где освобожденцы давно устроились хозяевами.

«Либеральная буржуазия» продолжала, вместе с меньшевиками, считать Совет «органом революционного самоуправления». А. С. Суворин знал больше, когда принялся в своем «Новом времени» дразнить Витте, что около него стоит «второе правительство». Мы видели, что так и было в планах Троцкого.

Троцкий же и нашел объяснение, почему эта затея провалилась. Оказывается, Ленин «запоздал приехать из-за границы», и без него большевики были «беспомощны». Но у Троцкого было и другое объяснение: «Все элементы победоносной революции были налицо, но эти элементы еще не созрели».

Это было вернее; но когда из этого признания делался вывод, что, стало быть, «несозревшая» революция не могла быть «победоносной», то Троцкий отступал на свою последнюю позицию; пусть так; но революция — «перманентна», и если она еще не побеждает, то создает рекорды, производит «генеральные репетиции» и когда-нибудь победит.

Вернувшийся, наконец, в Петербург Ленин сразу заметил, побывав анонимно на хорах Вольной экономии, что «здесь — говорильня», «рабочий парламент», а нужен орган власти, орган партийного руководства большевиков надвинувшейся революционной развязкой. И **{344}** «боевая организация» партии приступила к подготовке вооруженного восстания.

Как же ко всему этому относились кадеты? Я уже говорил, что мы много не знали — в частности, не заметили и перехода руководства Советом Рабочих Депутатов к большевикам. Требование Совета на другой день после манифеста 17 октября об «удалении из города войск» и о «выдаче оружия пролетариату» нам показалось просто наивным. Провал ближайшей, ноябрьской стачки за введение восьмичасового рабочего дня вызвал наше неодобрение продолжению стачек, а меньшевики еще могли тогда осуждать своих левых за «разрыв с буржуазией». Неудача второй «политической» забастовки — против суда над восставшими кронштадтскими матросами и против введения военного положения в Польше — вызвала даже телеграмму И. И. Петрункевича к Витте с просьбой о снятии военного положения — и Витте уступил.

Но надо было где-то положить, наконец, предел нашему «сотрудничеству», которое, при настойчивой подготовке вооруженного восстания большевиками, представлялось всё более двусмысленным. Лозунг вооруженного восстания становился среди молодежи таким же непререкаемым и сам собою разумеющимся, как прежде лозунг Учредительного Собрания и всеобщего избирательного права. Припоминаю маленький эпизод на одном из деловых заседаний Вольного Экономического Общества. Председательствует корректный гр. Гейден. Помещение переполнено молодежью. По рядам публики ходит интеллигентский котелок — и передается, ничтоже сумняшеся, на эстраду президиума. Гр. Гейден берет шляпу, принимает непроницаемый вид и передает ее Н. Ф. Анненскому. Лицо Анненского расплывается в самую радостную из его улыбок: он передает котелок мне. Я усматриваю на дне смятую бумажку с лаконической надписью карандашом: «на в. в.». Анненский нагибается ко мне и поясняет шепотом: «это — на вооруженное восстание»! Я передаю пустой котелок дальше. Президиум из октябриста, кадета и социал-революционера выразили свое отношение к лозунгу по-разному, но, в общем, чем-то вроде дружественного нейтралитета. На фабриках эти головные уборы делали полный сбор... Итак, что же? Мы за или против? Я на этот раз **{345}** получил возможность высказаться лично и путем печати. Я благодарен судьбе за эту данную мне возможность. Дело в том, что как раз к декабрю и

к началу московского вооруженного восстания я сделался журналистом и редактором печатного органа. Это были месяцы, когда органы печати возникали «явочным порядком», без всякого разрешения, и вмешательство цензуры было минимальное. Читатель вспомнит «нахальный тон» Проппера и обращенные к Витте его требования о выводе войск и об образовании народной милиции (это — требования Совета Рабочих Депутатов). Хозяин трех газет, называвшихся в просторечии «Биржевками», — утренней, вечерней и провинциальной, — гордившийся раньше тем, что ходит «к Витте», был предпринимателем с нюхом. Он как-то почувствовал, что ветер дует в сторону к. д. и он решил поставить ставку на кадетов, передав нам в полное распоряжение наименее доходную из трех «Биржевок» — утреннюю. Руководство газетой должно было принадлежать мне, И. В. Гессену и М. И. Ганфману. Только этот последний был тогда настоящим газетчиком; нам предстояло еще учиться. Но я смело взялся за работу. Всех старых работников и сотрудников мы удалили, по соглашению с Проппером.

В опустевшем помещении мне пришлось в первые дни — или, точнее, ночи — простаивать у наборной кассы, работать за метранпажа, просматривать кучи принесенного репортажа, проверять гранки, а в промежутках засаживаться где-нибудь на углу стола за передовицу или заполнять оказавшиеся пробелы статейками и заметками на всевозможные темы. Это была тяжелая школа, но она послужила для меня посвящением в журналисты: это третье звание прибавилось к прошлым двум, историка и политика. Главным моим учителем был М. И. Ганфман, человек огромных знаний в журнальном мире — и неподкупной честности, — не партийный и более левый, чем мы, но в профессиональной работе отлагавший в сторону собственные взгляды.

Существовали мы очень недолго. Сперва газета называлась, по имени партии, «Народной свободой». Потом, закрытая за напечатание финансово-экономического «манифеста» Совета Рабочих Депутатов, вышла на свет под названием «Свободного народа». И, наконец, была закрыта 20 декабря вторично, причем Проппер уже **{346}** решил признать свой эксперимент с нами неудавшимся и вернулся к своей утренней «Биржевке». А за эти короткие недели Витте успел, наконец, под впечатлением восстания севастопольских матросов, сперва арестовать Хрусталева-Носаря (26 ноября), а потом (3 декабря) и весь Совет Рабочих Депутатов в составе 267 членов, в помещении Вольного Экономического Общества. Руководители Совета ответили вооруженным восстанием в Москве (9-20 декабря); но оно было быстро подавлено правительственными войсками в день окончательного закрытия нашей газеты.

Предупредить вооруженное восстание мы, конечно, в такие сроки и при таком настроении левых, никоим образом не могли. Но нашу политическую позицию мы проявили с полной ясностью. Я уже чувствовал себя достаточно в седле, чтобы не бояться в этот решающий момент разойтись в мнениях с партией, и мог откликнуться на трагедию московских дней от имени целого политического течения.

В самых настойчивых выражениях, за несколько дней до начала восстания, я предупреждал о неизбежности его поражения. Я напоминал и о той общей опасности, которою провал левых грозил общему ходу революционного движения. От этого общего дела мы еще себя не отделяли формально.

Позволю себе привести подлинные выдержки из этих немногих номеров нашего органа. В самом первом номере «Народной свободы» я писал: «Мы хорошо понимаем и вполне признаем верховное право революции, как фактора, создающего грядущее право в открытой борьбе с историческим правом отжившего уже ныне политического строя. Но мы не обоготворяем революции, не делаем из нее фетиша и так же хорошо помним, что революция есть только метод, способ борьбы, а не цель сама по себе. Этот метод... плох, если он вредит тому делу, которому хочет служить. И цели, и приемы русского революционного движения должны быть предметом серьезной и независимой общественной критики... Заниматься такой критикой — вовсе не значит ослаблять то революционное настроение, которому мы все обязаны столькими важными завоеваниями».

Далее, я указывал (увы, ошибочно по отношению к большевикам, которых еще не замечал как особой группы), **{347}** что сами революционные организации «постепенно отказываются от переоценки собственных сил». Я лишь выражал опасение, что «официальный революционный жаргон гораздо труднее переделать, чем изменить убеждение отдельных лиц». Всё же я выражал надежду, что «рано или поздно они признают, ...что в их надежде одолеть технические силы государства путем прямого вооруженного восстания, — ив другой их надежде — сделать Россию немедленно демократической республикой — заключалась — или заключается — очень большая доза переоценки собственных сил». Я напоминал, что «есть известный предел, за которым созидательная и творческая сила революционной пропаганды становится разрушительной, и вчерашний друг и союзник может завтра стать

ожесточенным врагом. Мы близко подходим к этому пределу, если слишком часто и легко прибегаем к таким сильно действующим тактическим средствам, как, например, политическая забастовка: средствам, рассчитанным на революционный энтузиазм и нарушающим, более или менее глубоко, нормальный ход жизни в стране». А «от настроения нейтральных элементов в значительной степени зависит судьба русской революции». «Оттуда, из этих низов, выходят погромы и аграрные пожары... Туда надо идти, чтобы иметь право пророчествовать о будущем русской революции».

Когда, после ареста Совета Р. Д., попытка ответить всеобщей забастовкой и обратить ее в вооруженное восстание в Петербурге не удалась, большевистские агитаторы обратили внимание на Москву, которая только что организовала свой Совет Р. Д. и не испытала еще неудач, — и вообще на провинциальные отделения Совета. Тут настроение было более повышенное. Я тогда перешел от общих рассуждений к «мольбам» по адресу «всех тех, от кого зависит решение, подумать еще раз, пока не поздно». «Главный штаб должен быть убежден, что ведет своих солдат на победу, а не на бойню. Если этого убеждения нет, то решение начать политическую забастовку, которое было великим гражданским подвигом в октябре, — которое, несомненно, было политической ошибкой при объявлении второй забастовки (ноябрьской), — это решение теперь может оказаться **{348}** преступлением — преступлением перед революцией». Еще 9 декабря я повторял свои аргументы и спорил против оптимизма «Северного голоса», продолжавшего утверждать, что забастовка приведет к капитуляции правительства перед революцией; что революция создаст тогда свое «временное правительство», которое и созовет Учредительное Собрание. Я сопоставил эту нелепую уверенность с холодным интервью Витте, данным Диллону, корреспонденту «Дэйли Ньюс». «Русскому обществу, недостаточно проникнутому инстинктом самосохранения, — утверждал тут Витте, — нужно дать хороший урок. Пусть обожжется; тогда оно само запросит помощи у правительства». Это уже отзывало сознательной провокацией, что и подтвердилось, месяца через два, корреспонденцией Пьера Леру в "Matin". «Вы не были предупреждены?» (о предстоявшем восстании), — спрашивал он адмирала Дубасова. «Полиция и правительство знали», — ответил Дубасов.
«Что же тогда остается предположить?» — удивлялся француз. — Его превосходительство, в затруднении, после некоторого колебания произносит четыре слова: «on a laissé faire» («Предоставили дело ходу событий» (то есть позволили восстанию начаться).).

Конечно, и мои предупреждения оказались напрасными. В тот самый день, когда я в Петербурге печатал о провокации Витте, в Москве забастовка была уже в полном разгаре. Исполнительный Комитет спешно готовил восстание. Уже днем появились на улицах «боевые дружины» и начались стычки с войсками. К вечеру забастовка перешла в открытое восстание; началась постройка баррикад. Небольшая горсть рабочих сражалась за этими игрушечными сооружениями в течение целых пяти дней против войск, находившихся налицо в Москве. На шестой день приехал гвардейский Семеновский полк, вызванный из Петербурга. Против него засевшие на Пресне смельчаки — всего две-три сотни — продолжали вести бой еще в течение пяти дней, пока, наконец, восстание не было подавлено окончательно. Это стоило разрушения целого квартала и гибели сотен случайных прохожих, попадавших под такой же **{349}** случайный обстрел.

Произведенное этими приемами усмирение волнения было гораздо сильнее, чем впечатление от самого восстания, которого давно ждали и которым (как потом стало известно) руководили несколько членов с. - д. партии большевиков. 14 декабря я начал свою передовицу в повышенном тоне. «В древней столице России происходят невероятные события. Москву расстреливают из пушек. Расстреливают с такой яростью, с таким упорством, с такой меткостью, каких ни разу не удостаивались японские позиции. Что случилось? Где неприятель?»

Описав далее стрельбу по стенам домов и по железным вывескам баррикад, сооружаемых днем и вновь покидаемых ночью, я спрашивал: «Что же это такое? Москва переживает дни, перед которыми меркнут наполеоновские дни 12-го года, а официально — в Москве все спокойно!.. В чем загадка полного бессилия государства перед этим бурным взрывом?» Я отвечал:

«Если восстановить порядок можно, только приставив к каждому обывателю солдата с ружьем и поставив у каждого дома пушку, то, значит, солдаты и пушки охраняют не тех, кого следует. Если все против власти, это значит, что власть против всех... Вот почему эта власть принуждена напрягать всю свою силу, чтобы произвести самое маленькое действие. Вот почему она ставит свои пушки на пустой площади и стреляет целыми часами вдоль пустых улиц. Вот почему она не может овладеть человеком, не разрушив пушечными гранатами дома, в котором он находится». Еще Монтескье выразил в притче, что это значит: «Человек хочет достать яблоко. Для этого он рубит дерево. Вот вам определение деспотии».

Не скоро изгладилось это впечатление московского разгрома. Если Витте хотел дать этим обществу «урок», то урок подействовал обратно. Привожу свое собственное тогдашнее наблюдение: «Ошибки наших революционеров разъединили общество, отбросив умеренную часть его вправо. Безразборчивая правительственная реакция может снова восстановить единство революционного настроения и отбросить средние элементы влево. Кровавое усмирение московского восстания — первая из этих ошибок правительства, возможных и в будущем».

{350} На ближайшее время я был прав и в этом диагнозе — и в прогнозе. Ошибками правительственной реакции было восстановлено — до известной степени, конечно, — единство антиправительственного фронта. От этого восстановления, в первую очередь, выиграли мы кадеты. Но, увы, не выиграло общее дело борьбы за политическую свободу. Как я уже заметил, кривая успеха в борьбе с властью с этого момента пошла вниз. И основной причиной этого перелома было окончательное расхождение между тактикой нашей и тактикой левых. Московское восстание, легкомысленно затеянное и заранее проигранное, положило между нами непроходимую грань.

9. НАША СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА (ПЕРВАЯ ДУМА)

Общей чертой, отличающей 1906-ой год от 1905-го, является выступление на политической арене открытых политических партий и соответственное появление, в более или менее «явочном» порядке, политической литературы, журнальной, брошюрной и особенно — газетной. Нет больше «симуляции» революции, прикрывавшей собою единый фронт общественных настроений: революция действует от своего собственного имени, и от нее тянется длинный спектр политических партий, ей дружных, нейтральных и враждебных. «Партия» вытеснила «союзы», разбившиеся на партийные группы и сохранившие лишь свое профессиональное ядро. Я мог в этом отношении считать свою цель — или свой прогноз — достигнутым. На очереди стояла та задача, которая для «парламентской» политической партии была центральной: выборы в орган народного представительства. К этой задаче по необходимости было привлечено теперь всё общественное внимание. «Шелест избирательных бюллетеней» становился реальностью. Появились «ящики», отсутствием которых оперировал Лутугин. Как же использовали эти избирательные ящики — правительство, избиратели, либералы, оппозиция, революция?

Витте, еще державший в руках решение, потерял **{351}** шанс использовать выборы для всенародного плебисцита в пользу самодержавия. По словам Крыжановского, он «долго и мучительно колебался в этом вопросе». Всеобщее избирательное право, в сущности, вовсе не было требованием одних «левых». Тот же Крыжановский рассказал в своих «Воспоминаниях», как ему приходилось присутствовать на совещании у Витте при попытках даже таких умеренных деятелей, как М. А. Стахович, Е. Н. Трубецкой и Д. Н. Шипов, убедить всесильного премьера согласиться на введение всеобщего избирательного права. С. А. Муромцев даже представил свой проект избирательного закона: к сожалению, при его конспиративности в этих «экстра турах», мы не знаем, был ли это проект, выработанный, при его участии, партией к. д. Витте поручил, во всяком случае, Крыжановскому «обезвредить» проект Муромцева. В Совете министров Гучков и Шипов этот проект защищали. Но, в конце концов, восторжествовал маг и волшебник конституционного права Крыжановский; его куриальный проект с многостепенными выборами, предназначенный для Булыгинской Думы, прошел с некоторыми поправками на либерализм, в положении о выборах, опубликованном 11 декабря. Избиратель получал время оправиться от испуга реакции, собраться, столковаться — два, три, четыре раза перед последним «ящиком». Выборы растянулись...

При таком положении — и при приподнятом общественном настроении, пережившем декабрьскую московскую катастрофу и даже окрепшем после нее, — можно было быть уверенным, что никакие недостатки избирательного положения 11 декабря не помешают этому настроению отразиться на выборах. Самый процесс выборной компании должен был послужить могущественным средством для политического воздействия на массы. И, тем не менее, левые партии вновь проявили тут свое доктринерство, объявив бойкот выборов.

Для меня это было большим разочарованием в политической прозорливости моих ближайших друзей, с.-ров-народников типа «Русского богатства». Я просто не понимал таких людей, как Анненский, как Мякотин. Народническая идеология через аграрный вопрос вливалась широкой струей в наши партийные ряды, и **{352}** обвинение нас нашими противниками в «социализме» было в этом отношении не совсем безосновательным. При содействии народников мы могли рассчитывать на пони. мание и сочувствие к нам крестьянства. Тут лежал путь к расширению и углублению избирательной

борьбы. И в этот самый момент мои друзья проявляли полное непонимание положения, уходя в сторону от предстоявшего боя во имя неизжитых иллюзий.

Сравнительно с народниками с. - д., — особенно меньшевики, — всё же, вели себя умнее, некоторые аргументы меньшевиков были довольно серьезны, шли параллельно с нашими собственными, — и мне, в эти самые месяцы, случалось хвалить Плеханова за его статьи в «Дневнике социал-демократа». Отношение их к бойкоту Думы было далеко не безусловным. Они готовы были сознать свои ошибки, переменить тактику, хотя и сохраняя единство цели. Понять это было можно, хотя ошибку промедления поправить было нельзя.

Во всяком случае, мы на этот раз оказывались «счастливы в товарищах своих». Их уход с арены избирательной борьбы оставлял для нас место свободным. Мы оставались единственной, самой «левой» партией в той единственно-доступной обывателю борьбе, которую представляли выборы. Только через нас он мог выразить свое оппозиционное настроение. Появившиеся уже на свете, наскоро сколоченные, правительственные и «министерские» партии в счет не шли: их правизна и их истинные антинародные цели были слишком прозрачны, а их избирательные приемы — слишком насильственны.

Что представляла из себя наша собственная партия, оказавшаяся, благодаря взятой на себя роли, в столь благоприятном положении? В нее вошли, несомненно, наиболее сознательные политические элементы русской интеллигенции. Недаром ее называли иногда «профессорской партией». Ее наиболее активными в стране элементами были прогрессивные земские и городские деятели: единственная группа людей, испытанных в общественной борьбе и далеко не ограничивавшихся узкими рамками технической работы в тогдашних земствах. Они были, с другой стороны, связаны и с народными низами, особенно через посредство так называемого **{353}** «третьего элемента»: профессиональных служащих в земских учреждениях, — врачей, агрономов, учителей и т. д. в пользу партии говорило и то, что все ее предсказания относительно провала крайней революционной тактики оправдались на деле. Провинциальные отделы партии, организованные еще в 1904 г. по решению Харьковского съезда, работали энергично, распространяя идеи партии. Сочувствие к ней сказалось в быстром росте ее сторонников. Перед выборами, в январе 1906 г., партия насчитывала около 100.000 зарегистрированных членов. Таким образом, партия народной свободы могла считаться тогда наиболее широко-организованной, наиболее политически-подготовленной, совмещавшей принципиальность демократического направления с деловитостью подхода к политической борьбе. Ее шансы на победу в чисто парламентской борьбе были очень велики. Но — была ли борьба «чисто парламентской»? Помимо опасных конкурентов слева и неопасных справа, — что происходило в ее собственной среде?

Несмотря на отход от партии, в самый момент ее образования, «левых» освобожденцев, партия еще не стала единой и цельной. Она должна была сделаться такой в процессе реальной борьбы; но этот результат был еще впереди. В партию не вошли некоторые идейные вожди русской интеллигенции, как К. К. Арсеньев, М. М. Ковалевский и др., много поработавшие над подготовкой ее же идеологии. Непривычка ли к коллективному действию и взаимным идейным уступкам, индивидуальность ли личностей, жизненных привычек и взглядов, — как бы то ни было, эти общественные деятели, даже пытаясь объединиться, разбились по кучкам и образовали ряд замкнутых политических клубов, которые не могли иметь влияния на ход политической жизни в стране. Одним из них «кадеты» казались слишком умеренными, другим — слишком радикальными. Они и остались наблюдателями событий и критиками — со стороны.

Те, кто вошли в партию, тоже принесли с собой не столько разные взгляды, сколько разные настроения. Сказалось, конечно, прежде всего, и отсутствие политического опыта: в России его было неоткуда взять. Отразилось и повышенное настроение в стране. Для меня **{354}** лично провал революционного движения в декабре 1905 г. был, как сказано, сигналом общего понижения кривой общественной борьбы. Печальный исход первого открытого политического конфликта общественности с властью я уже склонен был считать предрешенным. Большинство политических единомышленников судило иначе. Новый подъем настроения созданный выборами, представлял, в самом деле, источник новой силы. Нужно было только суметь ею распорядиться. О, если бы я был на самом деле таким «гувернером», каким меня считали петербуржцы, или если бы Витте оказался таким союзником, каким изображал себя в словах нашей последней встречи! Но ни того, ни другого не было налицо.

Самое образование партии не было еще закончено, ввиду неполноты октябрьского съезда. Окончательные решения по вопросам тактики, идеологии и организации партии должны были быть приняты на втором партийном съезде 5-11 января 1906 г. Мне было поручено, в согласии с Центральным комитетом, составить для съезда тактический доклад. Моей целью было, конечно, притянуть оба крайние фланга партии к центру, чтобы партия могла получить собственное лицо. Без

этого невозможно было установить и отношение партии к предстоявшим выборам. Идя навстречу левым настроениям в партии, я решил, прежде всего, отделить вопрос о выборах, как тему существенную саму по себе, от вопроса о поведении партии в Думе. Эта вторая задача была, конечно, гораздо сложнее первой — уже потому, что мы не знали, как пройдут выборы и в каком количестве и качестве мы будем заседать в Думе. Даже в случае поражения на выборах, говорил я, нам предстоит «благоприятная роль — политической оппозиции». Но шансы на успех, доказывал я, вовсе не безотрадны. Каково бы ни было давление правительства, самая отсрочка выборов, неумение власти использовать свою декабрьскую победу и дискредитация правых партий облегчают наш успех.

Мне, наконец, предстояло, помимо всех этих аргументов против бойкота — и именно в виду возможного успеха — приблизить нашу программу к реальным условиям легальной борьбы в парламенте. Другими словами, нужно было продолжить то, **{355}** чего уже достиг отчасти ноябрьский съезд 1905 года, вопреки громам и молниям левых друзей и противников. Эта часть моей задачи была, пожалуй, самая трудная.

В ноябре мы постановили, что «учредительная» работа нуждается в «утверждении государя». Теперь мы развернули формулу дальше: «Россия должна быть конституционной и парламентарной монархией». Борьба за «демократическую республику» этим окончательно вычеркивалась из задач партии. «Учредительное Собрание» уже было в ноябре заменено «Думой с учредительными функциями». Я пояснил, что «вводя (факультативно) термин Учредительного Собрания, мы, во всяком случае, не думали о собрании, обеспеченном полнотой суверенной власти». Этим толкованием устранялась внесенная на январском съезде поправка — вернуться, вместо думы, к требованию созыва Учредительного Собрания. Эта поправка была отвергнута 137 голосами против 80, что обнаружило компактное большинство съезда. Чтобы удовлетворить меньшинство, была, однако, предоставлена «местным группам — свобода в употреблении терминологии» (но не смысла) Учредительного Собрания.

Далее шло определение того, что входило в «учредительную» деятельность Думы. Сюда относилось обязательное изменение избирательного закона и закрепление законом гражданских свобод, обещанных в манифесте 17 октября (Витте соглашался заменить их лишь «временными правилами» в ожидании думского «законодательствования»!). Но должна ли Дума, ограничившись проведением этого «учредительного» материала, затем потребовать своего роспуска, — как толковали тогда очень многие? Мы уже на ноябрьском съезде пошли по другому пути, желая расширить компетенцию Думы до того, что тогда обозначалось вызывавшим подозрения термином «органической работы». Но тогда Дума превращалась «в нормальное (законодательное) учреждение». И съезд «органическую работу» отверг. Но он принужден был тотчас же (91 голосом против 4, при 7 воздержавшихся) расширить программу думских занятий, «кроме избирательного закона, также на законодательные мероприятия безусловно неотложного характера, необходимые для успокоения страны».

{356} Тут разумелся прежде всего, конечно, аграрный вопрос, для которого единственно и шли в Думу крестьяне. Но могло разуметься и многое другое. Поставлен был вопрос: нужно ли перечислять эти «неотложные» задачи — и отвергнут съездом большинством 73 голосов. Тогда последовало обходное предложение Струве и Родичева: «партия не может не поставить (при осуществлении главной задачи) в своей платформе тех реформ, настоятельная необходимость которых указывается самой жизнью, в том числе реформы земельной, рабочей и удовлетворения справедливых национальных требований». Такое предложение съезду пришлось принять; но наш блюститель принципов Кокошкин провел свою поправку, которая различала между обязательствами перед избирателями осуществить главную задачу, после чего должен был стать на очередь роспуск Думы и новые выборы, — и планами дальнейшей деятельности.

Тут сказалась попытка вернуть съезд к доктринерской декларации перед Витте. Так проходила, в порядке голосований, борьба между разными настроениями внутри партии. Это же сказалось и в заявлении моего содокладчика М. М. Винавера: «всю свою силу партия полагает в возможно широкой организации общественного сознания всеми возможными средствами пропаганды и агитации»; цель последней должна состоять в «восстановлении веры в ту силу, при помощи которой с ноября 1904 г. двинулась вся волна освободительного движения, — веры в то, что будить умы и укреплять волю в широких общественных кругах есть дело, а не слова, — веры, которая, под влиянием настроения момента, как будто начинает умирать». Это красноречие было словесной уступкой левым настроениям. Все знали, конечно, какая «сила» подняла «волну»: она и называлась «Ахеронтом». А с другой стороны, Струве в это же время всё еще призывал к «соглашению монархии с нацией» путем создания «общественного министерства»! Ни то, ни другое, — ни идиллия Струве, ни утопия Винавера к

данному моменту не подходили. Но Струве развивал свою идиллию в своем личном органе «Полярная Звезда», а поклон Винавера в сторону левых вызвал только иронию гр. Ландау и непримиримый окрик гр. Павла Толстого в органе освобожденских **{357}** сецессионистов «Без заглавия».

Я предпочел, не оглядываясь ни в ту, ни в другую сторону, подчеркнуть в своем заключительном слове, что, вопреки опасениям Центрального комитета, партия оказалась на своем втором съезде однородной по взглядам своего большинства, настроенной уверенно и деловито в своих основных решениях. «Партия нашла сама себя, говорил я, почувствовала в себе наличность коллективной мысли и воли... Это чувство солидарности и сознание каждым ценности самого факта принадлежности к большому целому явилось на съезде чувством новым, которого мы давно и нетерпеливо ждали и с восторгом приветствуем». Я даже решился сравнить это чувство с «крещением корабля» Киплинга, в уверенности, что и у нас треск в пазах скрепит все наше сооружение, и кадетский «корабль» сможет смело двинуться в экспедицию, усеянную многими подводными скалами.

Уже не могу отдать себе отчета, сам ли я верил в сказанное, или хотел внушить эту веру другим. Вероятно, тут было и то, и другое. Я во всяком случае рассчитывал, что опыт научит тому, чего не хватает в голой вере.

Началась избирательная кампания — в обстановке отнюдь не благоприятной для партии. Слева ее травили, справа преследовали. С мест приходили все чаще известия о насильственных мерах правительства. Наши сочлены, один за другим, становились их жертвами. Мы открыли, что воздействие на провинциальных властей идет из центра, протестовали, получали уклончивые разъяснения. Витте заявлял печатно, что приписываемый ему «взгляд на необходимость парализовать деятельность к. д. партии лишен всякого основания». Тем не менее, преследования продолжались. В лучшем случае, это означало, что Витте сам устранен от влияния на выборы. Но если не он, то кто же, спрашивали мы: Дурново? Трепов?

С февраля 1906 г. у нас явилась возможность ставить эти вопросы печатно. Появился, наконец, на свет орган партии и ее политических единомышленников — газета «Речь». Солидно финансировал газету инженер Бак. Это был уже не Проппер с его «Биржевкой». Бак преследовал не спекуляцию на к. д., а чисто идейные **{358}** соображения, верил в нас и не вмешивался в денежные а тем более в редакционные дела газеты. Нашим казначеем стал И. И. Петрункевич; редакторами были мы двое с И. В. Гессеном; нашим помощником остался незаменимый М. И. Ганфман. Я сделался почти бессменным передовиком. Мои политические статьи тех месяцев собраны в книге «Год борьбы». Кто хочет ощутить лихорадочное биение пульса этого года, может перечитать их теперь: это не история, а ежедневная запись, заменяющая дневник.

Здесь я не могу описывать подробно, как, день за днем, неожиданно для нас самих, менялась политическая декорация выборов. Мы шли на худшее, и преследования правительства не могли внушить нам оптимизма. Мы только могли с тяжелым чувством заносить в нашу хронику боевые подвиги генералов, как Ренненкампф или Риман, адмирала Чухнина, Абрамова и Жданова, цензора Соколова и т. д. Но, вот... с марта департамент полиции стал получать из провинции «тревожные вести». Сбывалось то, о чем мне приходилось говорить неоднократно после декабря 1905 г. «Страх перед революцией проходил» у обывателя. Правда, первичные собрания, на которых выбирались уполномоченные от крестьян и рабочих, проходили вяло, с большим абсентеизмом. До этих народных низов еще не дошли ни правительственные меры воздействия, ни партийная пропаганда левых. Именно к этой стадии могло больше всего относиться обвинение против Витте, что он «не сумел» устроить выборов. Рабочие мало сообразовались с приказаниями с. - д. о бойкоте выборов. Но крестьяне уже знали, чего они хотели. Слабо реагировала и курия мелких землевладельцев. Она предпочитала выбирать «своих», — особенно священников. К середине марта эта картина стала меняться. Политическая окраска выборов определилась — раньше даже всяких влияний партий — с одной стороны, общим оппозиционным настроением масс, с другой — чересчур прозрачным нажимом правительства. На следующей ступени — на собраниях выборщиков, где началась борьба партийных списков, стало выясняться и настроение в пользу к. д.

Официоз Витте, «Русское государство», тогда попробовал переменить курс и начал обсуждать в **{359}** благоприятном смысле возможный результат победы к. д. Рассуждения о создании «министерской партии» были отложены в сторону. Когда во вторую половину марта к. д. получили блестящие триумфы на столичных выборах в Москве и Петербурге, то официоз прибег даже к лести. «Русское государство» поздравляло нас с «наступающей весной»; сыпались лирические призывы к «любви» и к «забвению», нас приветствовали, как «желанных гостей» в Думе, — «если гости придут не с революционными намерениями». Продолжали только игнорировать наши действительные

намерения...

Когда все эти излияния встретили у нас холодный прием, то — примерно с начала апреля — со столбцов официоза послышались иные тона, прямо угрожавшие. Нам ставили на выбор: или представители к. д. «поправеют» и изменят своей программе, или же... тут следовали злорадные предсказания о том, что будет, если Дума «дискредитирует себя» радикализмом. А левые партии уже грозили нам, если Дума дискредитирует себя — умеренностью! Мы только повторяли: «борьба не может кончиться. Но от правительства зависит — ввести ее в культурные рамки». Мы напоминали правительству, что сам манифест 17 октября предоставлял суждению Думы дальнейшее развитие избирательного права. Сам Витте, писали мы, признавал, что только Дума может издать «законы» о свободах вместо «временных правил». Это и была уже наша «учредительная» работа...

А в это самое время в тайниках правительства уже готовился не простой «закон», а «конституционный акт» сверху, чтобы предупредить попытку Думы провести его парламентским путем. Редакция «Речи» имела возможность достать этот проект «основных законов» прямо из типографии, напечатала его и раскритиковала, Кое-какие поправки, в результате нашей критики, правительство всё-таки сделало. Но в эти дни, за неделю до созыва Думы, пало само правительство Витте. Он был больше не нужен, — после того как, благодаря ему, *(благодаря Коковцову! – ldn-knigi)* правительство успело получить заем в Париже, а войска вернулись из Маньчжурии. Военные и материальные силы правительства были теперь достаточны, чтобы не бояться Государственной Думы. Место Витте занял И. Л. Горемыкин, в числе заданий которого, как **{360}** мы узнали позднее, было — распустить Думу, если она захочет проводить свой аграрный законопроект. Вместе с этим рухнули и все приготовления к сколько-нибудь приличной встрече с Думой. Думу, видимо, решено было взять измором.

Таким образом, над Думой, еще не собравшейся, уже нависла угроза конфликта с властью. Он тогда еще не представлялся неизбежным, особенно для наших провинциальных членов; но руководители партии достаточно ясно представляли себе всю его серьезность. Под этой нависшей угрозой собрался третий съезд партии, оказавшийся в странном положении: она располагала большинством, но правительство не хотело сдаваться. Хотя и не будучи членом Думы, я должен был опять выступить на съезде докладчиком от Центрального комитета по труднейшему из вопросов момента — вопросу о тактике партии.

Основным вопросом, который должен был бы стоять первым, но который я отложил до конца доклада, был: «должны ли народные представители при таком положении рассчитывать на революционный или на парламентский образ действий?» То есть, по существу, — продолжается ли в России революция или она закончилась? Я предложил не решать этого вопроса — не потому, чтобы для меня лично он был неразрешим, а потому что, «при возможной наличности двух различных ответов в нашей собственной среде, можно было бы ни к чему общему не прийти». Это значило, что уже заранее я чувствовал, что под впечатлением избирательного успеха, партия приходит в Думу далеко не такой монолитной, какой представлялась три месяца назад, идя на выборы. Члены съезда приехали с мест, прежде всего, под впечатлением, что выборы обязывают, что они представляют теперь не одну только свою партию, но и то, выдвинувшее их, настроение страны, которое было перенесено на них вследствие самоустранения левых партий. Это настроение было вполне естественно; но оно совсем не отвечало более трезвой оценке положения в нашем центре.

Понимая это, Центральный комитет партии пытался удержать парламентскую фракцию от неравной борьбы путем введения ее настроений в русло решений **{361}** январского съезда. Пусть конфликт грозит; пусть даже од неизбежен. Но нужно создать для него наиболее благоприятную почву. Нужно успеть дать материал стране для суждения о смысле конфликта. Для этого нужно не только «быть в Думе», но и остаться там на более или менее продолжительное время. На это время нужно избегать самим острых столкновений, предоставив инициативу конфликта правительству. Следовательно, надо начать с наиболее для нас безопасных вопросов, какими я продолжал считать наши законодательные предположения о всеобщем избирательном праве и о «свободах». По резолюции Струве — Родичева — Кокошкина в этом состояла и наша партийная обязанность, за выполнением которой (следовали дополнительные задачи, в сущности, самые трудные. Нельзя было, однако же, скрыть ни от себя, ни от собрания, что совсем не тут лежали невралгические пункты. Предстояли в ближайшую очередь острые расчеты с правительством и столкновения из-за формальностей закона, ограничивавших права народных представителей. Для Думы были обязательны ограничения, введенные Учреждением 20 февраля. Мы предлагали ввести нашу законодательную работу в рамки этого Учреждения, так же как и те «проявления общественного негодования», которые накопились в изобилии против старой администрации. Наш аргумент был тот, что старые деятели уже ушли, а новое

министерство ничем еще себя не проявило. Это значило, конечно, игнорировать политический смысл отставки Витте и замены его Горемыкиным. Не меньшей ошибкой было с нашей стороны утверждать, что первые шаги к проведению нашего аграрного проекта сами по себе не вызовут конфликта. При своем новом настроении фракция таких наших «рамок» признать не могла. Наши предложения просто не соответствовали положению, создавшемуся перед самым открытием Думы.

Прения и обнаружили полностью расхождение съезда с осторожным тоном моего доклада и с его «холодным расчетом» плана действий Думы. Раз на выборах победила «не партийная программа, а повышенное настроение народа», отвечали мне, то мы обязаны «идти до конца, без компромиссов», «спокойно и уверенно»; **{362}** тогда «народ нас поддержит». Конфликта нечего бояться: он «уже существует»; он начнется «с первых же дней», а потому следует просто игнорировать правительство, игнорировать и законы, изданные после 17 октября, игнорировать Государственный Совет, провести всю нашу законодательную программу в форме «ультиматума» или «декларации». Если правительство не уйдет, то мы обратимся к народу с «воззванием» о поддержке. Если понадобится, мы «умрем за свободу». Говорили же крестьяне своим избранникам: «иди и умри там со славой; иначе умрешь здесь со стыдом». Но, ободрял нас Родичев своей пламенной речью, «Дума разогнана быть не может; с нами голос народа». Сила Думы — в «дерзании», и «сталкивающийся с народом будет столкнут силою народа в бездну». Родичеву, тоже при «бурных аплодисментах» съезда, вторил А. А. Кизеветтер:

«Если Думу разгонят, то это будет последний акт правительства, после которого оно перестанет существовать».

Очевидно, при таком настроении никакого конкретного плана действий для Думы составить было невозможно. Оставалось предоставить ход событий случаю — и решениям парламентской фракции. На съезде еще можно было кое-как справиться с ораторскими страстями, и мой доклад, с небольшими поправками, был принят. Но было ясно, что те же настроения перейдут и в Думу. Предзнаменования были самые плохие. А тут, в последнюю минуту, под занавес съезда, мы были оглушены «событием чрезвычайной важности».

Упомянутый проект «октроированной» конституции, намеченный еще Витте и опубликованный «Речью» в порядке lex ferenda (Законопроект, внесенный на обсуждение.), был издан в виде «основного закона», наложившего на народное законодательство новые путы. Этим правительство «поставило всю политику своей власти под чрезвычайную охрану неприкосновенных для Думы» законодательных норм и тем «покрыло всё, что ставит преграды выражению воли народных избранников». Говоря это, я должен был признаться съезду, что, с согласия Центрального комитета, я выкинул из своего доклада отдел о возможности подобного покушения на **{363}** права народа. «Теперь мы приобрели право быть резкими», говорил я, сам чрезвычайно взволнованный... «На этот обман народа мы должны отвечать немедленно». Ц. К. составил спешно проект резолюции, которая заканчивалась заявлением, что «никакие преграды, создаваемые правительством, не удержат народных избранников от выполнения задач, возложенных на них народом». Это был уже стиль Первой Думы. Но из рядов съезда раздались восклицания, «слабо; надо резче; это не выражает нашего настроения». Только по настоянию Родичева съезд принял нашу резолюцию единогласно...

10. КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ДЕПУТАТАМИ В ДУМЕ

Если даже в нашей собственной среде трудно было свести разногласия к единству, то среди собравшихся в Государственной Думе депутатов разных течений это оказалось просто невозможно. Наша победа на выборах оказалась вовсе не такой полной, как нам казалось сгоряча.

Кадетов было в Думе только треть всего ее состава — 34% (153 члена в начале; потом это число поднялось до 179, т. е. 37,4%). Слева от нас — не сразу — сложилась группа, называвшая себя «трудовой». Мы могли бы составить с нею большинство (57%), если бы она не была очень пестра, и ее вожди не тянули бы в разные стороны. Но «ближе к к. д.» стояли только 20 членов (из 107), а такое же число тянуло к с. - р. и к с. - д. Таким образом думское большинство вышло случайным и колеблющимся. Вопрос решался всякий раз тем, на чью сторону склонится центр 48 «трудовиков», отметивших себя «беспартийными» или вовсе уклонившихся от отметки. Это была прогрессивная часть крестьянских депутатов. За них и шла между нашими двумя фракциями постоянная борьба. Были в Думе другие крестьяне, особенно боявшиеся начальства и не самоопределившиеся до конца. Правительство даже пыталось залучить их в особый пансион, которым заведывал некий Ерогин — и который получил насмешливую кличку «живопырни». Но эти крестьяне вели себя особенно таинственно и держались замкнуто, скрывая свои

{364} действительные взгляды. Расчет правительства — и Витте — получить в Думе «серенький» и составить из них «министерскую партию» явно не удался. Но и никакой другой «министерской» партии в Думе не было.

Направо от нас сидела небольшая кучка «октябристов», также обманувших ожидания Витте. Там было несколько культурных людей, которые были сконфужены своим названием и переименовались в партию «мирного обновления»; к ним присоединилось и несколько человек из группы «демократических реформ». Большей частью обе группы голосовали с нами; но иногда они нас удивляли своими политическими сюрпризами — и, обыкновенно, очень некстати.

Дальше направо шла чернота — худосочная и бессильная. Наиболее влиятельные лидеры черносотенцев в эту Думу не попали; только извне они слали правительству заказанные им телеграммы о разгоне Думы, которые гостеприимно печатались в «Правительственном вестнике».

Гораздо серьезнее и опаснее были наши так называемые «друзья слева». Из-за неудавшейся тактики бойкота и они были слабо и безлично представлены. Только в конце приехали кавказские социал-демократы, взяли палку и начали проводить свою тактику. Но внутри Думы тесные рамки этого учреждения и строгости наказа связывали руки. Их директивы приходили извне, развивались на митингах и в газетах — и были направлены, главным образом, против нашей думской фракции. Их влияние в Думе ослаблялось их внутренними распрями. Провал революционной тактики конца 1905 г. заставил их устроить примирительный съезд в Стокгольме, в апреле 1906 г.; но, вместо «объединения», тут опять произошло расхождение между побежденными большевиками и их меньшевистскими критиками. Такие вожди, как Аксельрод, Плеханов, доказывали основательно и серьезно невозможность тактики захвата власти пролетариатом при помощи победоносной революции. Они продолжали утверждать, что только «буржуазно-демократическая» революция возможна в России и что с «либералами» и «капиталистами» не следует бороться, а надо их поддерживать, Всё это настолько бесспорно доказывалось декабрьским провалом, что меньшевики одержали верх на съезде.

Но... на практике продолжала **{365}** применяться большевистская тактика. На сложные рассуждения меньшевиков большевики по-прежнему отвечали демагогическими призывами к примитивным инстинктам масс.

Этой пропагандой меньшевики были оттеснены почти до позиции кадетов. В их газетах мы встречали даже некоторую поддержку. Это отразилось и на отношении к Думе. Меньшевики из Ц. К. предлагали на митингах требовать замены правительства министерством из думского большинства, считая при этом к. д. и трудовиков за одно целое и ожидая от Думы подготовки «дальнейшего шага к борьбе». Напротив, большевики петербургской группы с. - д. считали Думу «бессильной», предлагали отколоть трудовиков от «либеральных партий», «обострив конфликты внутри Думы», на почве «требования от Думы открытого обращения к народу». Напрасно Плеханов объяснял им, что, дискредитируя Думу, они тем самым поддерживают правительство, которое не будет дожидаться, пока народ придет на выручку, а просто разгонит Думу. Большевики твердили свое: «народу придется всё взять самому; дело идет о решительной борьбе вне Думы».

Это означало — возвращение к декабрьской тактике 1905 года, и, конечно, перенесение этого рода идей в Думу больше всего ответственно за ее катастрофу. Большевикам удалось подсунуть трудовикам предложение: «организовать на местах комитеты, избранные всеобщим избирательным правом, для обсуждения аграрного вопроса». «Нам нужно создать в стране ту силу, которая даст нам возможность победить... Мы хотим привести русский народ в то движение, которое остановить невозможно». Так откровенно аргументировал трудовицкий лидер Аладьин, защищая предложение, конфузливо внесенное трудовиками уже 26 мая...

Таково было положение, сложившееся после выборов в Первую Думу. Мое отношение к нему определялось, прежде всего, тем, что я лично не попал в члены этой Думы. Правительство кассировало мой квартирный ценз, который я пытался себе устроить.

В памятный день 27 апреля я встретил у ворот Таврического Дворца депутатов, возвращавшихся по Неве из Зимнего Дворца — в старый дворец Потемкина. Крыжановский выражал сожаление по поводу моего (второго) разъяснения; по **{366}** его мнению я «был вреднее вне Думы, чем в Думе». Он, как и другие, был уверен, что я «дирижирую Думой из буфета». Я не могу отрицать, что я имел в Думе известное влияние. Как член Ц. К. партии, я мог участвовать ближайшим образом в деятельности парламентской фракции. В «буфете» у нас был общий стол, за которым, во время завтрака, спешно обсуждались текущие вопросы дня, ввиду перегруженности думской работы. Во время самых заседаний я мог следить за ходом прений не только сверху, с хор, но и снизу, из ложи журналистов, налево от ораторской трибуны. Общение с депутатами отсюда было постоянное. И всё же «дирижировать» не

только всей Думой, но и нашей фракцией я никоим образом не мог. Не мог бы, даже если бы был депутатом. Я говорил о настроениях фракции (и партии) тотчас после выборов — и о трудности руководства ею при господствующем настроении тех месяцев. И я, конечно, тем менее мог бы нести ответственность за поведение всей Думы.

Моя роль, прежде всего, определялась личной близостью к руководящим членам партии, попавшим в Думу, — моим коллегам по Ц. К.: Петрункевичу, Винаверу, Кокошкину, Родичеву. Петрункевич стоял над всеми нами, как «патриарх» направления и как живая совесть партии. Но ни он, ни вся фракция не могли следить за калейдоскопом ежедневных, обыкновенно бурных, событий в зале заседаний. Тут нужно было быть всегда начеку и принимать решения моментально. На эту роль как-то сами собою выдвинулись трое: Винавер, Кокошкин и я. Но Кокошкин часто бывал болен, и его внимание сосредоточивалось на общих и принципиальных вопросах. Оставалось нас двое — люди с разными подходами, но как-то дополнявшие друг друга. Я отметил в биографическом очерке Винавера, что он подходил к думской работе, как юрист; я — как историк.

Гибкий и сильный ум Винавера сразу схватывал особенность положения и запечатлевал его в яркой, чеканной формуле, где стушевывались острые углы и сглаживались противоречия. Формула могла не решать вопроса, но она обыкновенно была для всех приемлема. Ее обычно приподнятый, несколько риторический тон, отличавший литературный талант Винавера, очень хорошо соответствовал **{367}** торжественному стилю резолюций первой Думы. Блестящая брошюра Винавера о «Конфликтах в Первой Думе» наглядно объясняет, как удавалось его дипломатическому воздействию улаживать столкновения между группами, возникавшие чуть не каждый день, и протаскивать скрипучую телегу Думы до ближайшего вязкого ухаба. Это помогало «тянуть» работу Думы, как требовал наш преддумский доклад; по отнюдь не содействовало изменению ее общего политического направления. Этот способ разрешения конфликтов был, своего рода, тканью Пенелопы или работой Сизифа.

Меня больше интересовала связь между отдельными эпизодами дня — и их общее отношение к тому, что происходило вне Думы. К этого рода «конфликтам», сгущавшимся вне Думы, но вызываемым думскими поведением, я вернусь в следующем отделе. В параллелизме тех и других конфликтов, внутри и вне, и крылись причины думской трагедии. Если бы была возможность моего «дирижерства», то она заключалась бы в устранении общего источника тех и других конфликтов — путем умерения политического темперамента Думы и усиления политической прозорливости власти. Но ни то, ни другое, — ни, в особенности, сочетание того и другого не оказались возможными, ни для меня, ни для кого-либо другого.

Нам троим — Винаверу, Кокошкину и мне, противостояли трое «лидеров» трудовиков: Аладьин, Жилкин и Аникин. Я знал лично только первого — по встречам в Лондоне, где он играл довольно жалкую роль в составе тамошней эмиграции. Помню, на собраниях у жены И. В. Шкловского, 3. Д. Шкловской мы вместе с хозяйкой вышучивали надутую серьезность Аладьина при его внутренней незначительности, а он неуклюже отбивался, как-то по-медвежьи. Это был совсем маленький человек, честно зарабатывавший хлеб сведением бухгалтерских счетов у мелких лавочников в Вайтчапеле. И я никак не мог предполагать, что встречу его в Петербурге в роли лидера трудовиков и в позе самого развязного из трибунов Первой Думы. Его речи были гладки, но они были донельзя грубы, нахальны и вызывающи. После одного из первых своих выступлений он пришел ко мне и, развалясь на диване, спросил тоном, не допускающим возражений:
{368} «Ну, что, каково»? Я ему ответил, в том же тоне: «Очень скверно»! Аладьин не смутился: «Вы не понимаете. Теперь так надо. Вы еще увидите, что будет». И он, действительно, скоро прославился на всю Россию. Двое других были люди совестливые и скромные; с ними можно было разговаривать серьезно. Но они как-то стушевывались. Руководить они не могли.

С трудовой группой в целом у нас, — особенно в начале, когда она еще не попала под внешние влияния, — отношения были самые дружественные. Меня лично, в самые ответственные моменты совещаний о первых шагах в Думе, выбирали председателем совместных заседаний с ними. Предварительное обсуждение ответа Думы на «тронную речь» происходило сообща между двумя нашими «тройками». По вопросу о выражении недоверия министерству я опять председательствовал в соединенном заседании — и намеренно склонил собрание к формуле трудовиков. Другой раз, при совместном обсуждении, как поступить, когда царь не принял думской депутации с адресом, трудовая группа согласилась со мной на более умеренной формуле к. д. Однажды, к моей большой гордости, наша фракция послала меня к крестьянам — защищать кадетский аграрный проект.

Не могу скрыть удовольствия, с которым впоследствии я прочел в «Конфликтах» Винавера крестьянский отзыв. По его словам, я «тогда был популярен в трудовой группе и крестьяне даже

выражали сожаление, что у нас де нет такого, чтобы так ясно и умно излагал». Крестьяне имелись и в нашей фракции; они составляли у нас 6%: всё солидные, дельные люди, из северных губерний.
Вся эта первая стадия дружественного общения, однако, быстро прошла, когда началось влияние на трудовиков партийных интеллигентов. На митингах началась систематическая травля к. д. Но этот тон, видимо, крестьянам не нравился. Тяга к нам еще усилилась, когда приехали с. - д. с Кавказа и стали пропагандировать революционную борьбу вне Думы. Крестьяне, наконец, не выдержали такого руководства и решили выйти из трудовой группы. Они образовали, в составе 40 членов, особую «крестьянскую фракцию». Это обещало изменить всю физиономию Думы и, может быть, даже дать нам большинство. Но как раз — это было накануне роспуска Думы **{369}** — из-за «воззвания к народу» произошло наглядное распадение кадетского большинства. Правительство предпочло объявить всю Думу, по выражению министра Шванебаха, «новым советом рабочих депутатов или союзом союзов». Винавер записывает, что в самый день роспуска Жилкин обратился к нему со словами: «теперь уже пойдем за вами», на что Винавер ответил коротким: «поздно».

Были, конечно, демагогические заскоки, исходившие и из нашей кадетской среды. Проф. Герье, учивший нас отношению к французской революции по Тэну, издал в те годы ученый памфлет, где собран был целый букет подобных кадетских выступлений. Я с раздражением прочел эту тенденциозную книжку. Неужели и мы это говорили? Но цитаты были по-профессорски точны и аккуратно выужены из стенографических отчетов Думы. Пришлось признаться самому себе: да, действительно говорили. В самом деле — грешны. Если бы говорили чаще такие речи, нас меньше бы бранили слева...

Упомяну еще о своем отношении к внефракционному национальному объединению «автономистов» в парламентскую группу. Основное ядро группы было очень компактное. Из 63 членов 43 принадлежали к польскому Коло и к представителям северо-западных и юго-западных губерний. Это были очень состоятельные, частью крупные землевладельцы. Литовцы, латыши и украинцы составили еще 16 членов ядра. Путем присоединения членов других фракций оно удвоилось в числе.

Я в эту группу не вошел — и относился к ней о осторожностью. В печати я объяснил причины этого. Вопросы национальные, сами по себе, грозили осложнить вопросы социальные и конституционные, составлявшие нашу главную задачу. Разница желаний и требований различных национальностей слилась бы при этом в общие формулы: я уже понимал, что это есть способ к повышению требований наименее готовых к «автономии» народностей. Наиболее готовые, поляки, в лице А. Р. Ледницкого, и обратились ко мне печатно с своим отдельным вопросом, почему мы умолчали о польской автономии в ответе Думы на тронную речь. Я отвечал, также печатно, что в отношении партии к польскому вопросу ничего не изменилось. Я не упоминал уже, что, **{370}** с своей стороны, Коло внесло законопроект, не согласный с нашими общими предположениями. Тот же А. Р. Ледницкий отметил, однако, что «лишь в партии» к. д. все нерусские народности могут «найти действительную опору и поддержку». Он упомянул также и о многочисленных выступлениях членов фракции к. д. по национальному вопросу.

Основным вопросом, отделявшим нас от наших главных противников, большевиков, оставался всё тот же вопрос: через Думу или мимо Думы? В противоположность меньшевикам, они сразу утверждали две крайности. То «Дума бессильна»; то, напротив, она так сильна, что может прогнать министров и декретировать все нужные законы. То «мобилизация всенародного мнения и воли» есть лишь средство, чтобы оказать «внепарламентское давление» на Думу; то, наоборот, сама Дума есть средство для организации внепарламентской воли народа. В самой Думе трудовая группа трактовалась то, как «мелкая буржуазия», то как «элемент революционный».

Я на этот раз занял уже решительную позицию. «Здесь наши дороги расходятся», — повторял я вчерашним «друзьям слева». «Мы не верим в возможность организованного выступления масс в настоящий момент и потому нисколько не хотим ни «поднимать ада», ни помогать нашим друзьям совершать те подготовительные меры, которые, по их мнению, могут им пригодиться для достижения этой цели... Как ни непрочна на первых порах ткань конституционного правосознания, — эту ткань мы хотим укреплять, а не возвращаться вспять к стихийной силе Ахеронта».

Казалось, эта позиция была ясна. Была ли она принята во внимание властью? Здесь мы подходим к вопросу, который разделил министров и сановников на две противоположные группы: за и против дальнейшего существования Думы. Должен признать, что теперь, когда я знаю подробности этого внутреннего конфликта в правительстве и в высших сферах, я склонен приписывать более серьезное значение усилиям сторонников сохранения Думы, чем думал тогда, судя по ходу внешних событий. Конечно, вопрос был слишком серьезен сам по себе — ив особенности серьезен именно для сторон-

ников сохранения старой монархии. Нет, поэтому, **{371}** ничего удивительного, что именно сторонники сохранения монархии, более вдумчивые и дальновидные, высказывались и действовали в пользу сохранения Думы, тогда как сторонниками ее роспуска оказались бюрократы, руководимые, кроме пассивной верности традиции, также и соображениями личного самолюбия и честолюбия.

Решающими факторами в этом конфликте между министрами и сановниками оказались, с одной стороны, неподвижная царская воля, а с другой, утопизм левых течений Государственной Думы.

11. КОНФЛИКТ МЕЖДУ МИНИСТРАМИ ВНЕ ДУМЫ

(«Министерство доверия» или роспуск?).

Основной конфликт между Думой и правительством —тот конфликт, на который мы заранее шли («конфликт уже существует» нашего преддумского съезда) и к которому левые стремились, открылся не сразу. Ему предшествовал короткий промежуток нашей «идиллии», когда мы еще не потеряли надежду провести в Думе свой план в строго-«парламентском» порядке. Но этот наш «парламентаризм» и ускорил конфликт с министерством Горемыкина. Наш председатель, С. А. Муромцев, по своему положению, считал себя вторым лицом в государстве после монарха и потому не хотел, как потом Родзянко в Третьей Думе, вступать с царем в личные отношения без «призыва» и иметь у царя «всеподданнейший доклад». Мы поэтому были отрезаны от всяких сношений с властью, кроме «парламентарных». В Думе, на председательском месте Муромцев тоже «священнодействовал», не вмешиваясь в ход занятий и ожидая, в своем пассивно-замкнутом величии, первых шагов и формальных обращений со стороны самих депутатов. Надо сказать, что и по самому характеру своих отношений к фракции, формально-отдаленных, он не мог следить за фактической работой Думы. Последний раз, как член фракции, он присутствовал на открытии нашего кадетского клуба, недалеко от Таврического дворца, и тут же предупредил нас, что после своего избрания в председатели он должен будет выйти из состава фракции, **{372}** чтобы быть вне партийных группировок. Величественная поза нашего председателя, надо признать, была принята всеми, как олицетворение величия самого учреждения, — и создала Муромцеву огромную популярность. Но Дума была предоставлена себе, и мы лишились естественного посредника в неизбежных столкновениях с властью.

В самой Думе тоже «священнодействовал» М. М. Винавер, придавая парламентарный стиль думским выступлениям. С этой точки зрения мы истолковали приветствие царя депутатам в Зимнем Дворце, как «тронную речь». Ответом на нее должен был быть «адрес», который должна была представить царю избранная Думой специальная депутация в личной аудиенции. Это должно было быть, как при парламентарном режиме, единственным случаем прямого обращения народного представительства к монарху. И мы занялись составлением «адреса», имея в виду, при этом единственном поводе, включить в него все наши намерения и пожелания. Мы при этом строго различили то, что считали правами Думы, от того, что входило в прерогативы монарха. «Намерения» наши входили в первый отдел — наших собственных действий, «пожелания» от монарха — во второй отдел адреса. В эту последнюю категорию вошла просьба царю о полной амнистии, указание на невозможность для Думы работать с Государственным Советом и на необходимость отменить пределы законодательной деятельности Думы, только что ограничившие ее законодательную компетенцию «основными законами». Особо была подчеркнута в этой второй части адреса и необходимость создания «министерства, пользующегося доверием большинства Думы» — для того, чтобы ответственность перед народом была «перенесена» с монарха на его министров.

Составляли этот адрес мы трое: Кокошкин дал основной материал, уже давно проведенный через партию и через фракцию. Винаверу принадлежала стилистическая обработка. От моего проекта остались в адресе лишь несколько отдельных выражений. Мы очень гордились этим документом; в случае провала Думы, которого мы ожидали, адрес Думы, в нашем представлении, должен был служить ее завещанием для осуществления в **{373}** будущем всего в нем намеченного. Но мы имели дело с настоящим, а не с будущим.

Министерство, прежде всего, решило игнорировать все наши парламентские приемы. Наша делегация не была принята царем; на «адрес» мы получили ответ не от имени царя, а от того министерства, которое мы не считали заслуживающим доверия. При этом две части нашего «адреса» были смешаны в одно целое, и из этого смешения выведена криминальная сторона «адреса»: наше якобы вмешательство в царскую прерогативу. Получалось нечто вроде «оскорбления величества».

В Совете министров, по воспоминаниям В. Н. Коковцова, «не было разноречий». «Уступка натиску Думы недопустима». Коковцов формулировал три положения, особенно «недопустимые»:

«отмена права собственности в порядке принудительного отчуждения» (это — наш аграрный проект), «отмена основных законов и переход к ответственному министерству», и «захват всей власти управления народным представительством». Конечно, ни «отменять собственность», ни «захватывать всю власть» Дума вовсе не собиралась, а, напротив, утверждала собственность и отдельность власти, охраняя прерогативу императора. Но эти поспешные утверждения испуганного бюрократа свидетельствовали о возбужденной думскими заявлениями тревоге. Тревога эта еще поддерживалась извне. По сообщению того же В. Н. Коковцова, донесения губернаторов министру внутр. дел П. А. Столыпину единогласно говорили о «нарастании революционного подъема и об отсутствии способов бороться с ним». «Власть совершенно дискредитирована», докладывали они, «и общее внимание обращено только на Думу».

Эти донесения с мест Горемыкин и Столыпин регулярно докладывали царю. Казалось бы, те же голоса с мест и указывали на Думу, как на способ борьбы против «революционного подъема». Но этого-то как раз и боялась бюрократия, — кажется, даже больше, нежели самого «революционного подъема», с которым только что справились своими средствами. Словом, поход на Думу был решен в Совете министров. В боевом духе и была составлена В. И. Гурко — этим enfant terrible (Бедовый ребенок.) реакции — министерская декларация в ответ **{374}** на думский «адрес». Министры предпочли этот текст более мягкому проекту Щегловитова. Сам царь тогда еще, видимо, колебался. Он говорил даже, что идея министерского выступления ему не нравится. Не следовало ли бы ему, как «настаивают» некоторые окружающие, обратиться к Думе лично? По сообщению Гурко, «настаивал» А. П. Извольский, предлагавший форму речи царя с «трона». Это было бы, — правда, несколько своеобразное — продолжение думского «парламентарного стиля». Но, очевидно, по этой же причине Столыпин и Коковцов решительно возражали против личного вмешательство царя. Здесь уже проявился признак внутреннего разногласия между министрами — и здесь же воля царя склонилась в сторону сопротивления Думе. Он не только отказался от выступления перед Думой, но даже сожалел, что министерская декларация недостаточно решительна.

13 мая Горемыкин «едва слышным» голосом прочел эту декларацию — не царя к Думе, а министерства, без упоминания о полномочии царя. Декларация была груба по форме и слабо мотивирована по содержанию. Совершенно незаконное заявление о том, что аграрное предположение Думы «недопустимо», вызвало среди депутатов целую бурю. Не только к. д. и трудовики, но и М. М. Ковалевский и гр. Гейден доказывали с трибуны неконституционность декларации и в один голос кончали свои речи требованием отставки правительства и замены его ответственным министерством. Горемыкину удалось только объединить Думу на основном требовании к. д. формула «недоверия» к правительству была единогласно принята Думой. Брошенная сверху перчатка была поднята и думская «идиллия» кончилась. 13 мая стало датой, которая знаменовала начало открытой борьбы.

Однако же, борьба последовала не сразу и причиной этого надо считать усилившийся конфликт между министрами. Правда, Совет министров уже через день решил, что Думу необходимо распустить. Но мнения разошлись на том, следует ли сделать это немедленно, или подождать и «посмотреть, какой оборот примут заседания» и, в частности, «какую тактику примет руководящая партия» (к. д.). Только Извольский **{375}** возражал вообще против роспуска. Решено было «зорко следить за действиями Думы», во-первых, и, «получить заблаговременно полномочия государя» (на роспуск), во-вторых. Первая часть фразы отразила компромисс с возражавшими; вторая — противопоставляла ему готовое решение Горемыкина, Коковцова и Столыпина, которые ничего от Думы не ожидали. Тактика Горемыкина и выразилась в полном игнорировании или, как тогда говорили, в «бойкоте» Думы. Дума была предоставлена самой себе, что, при недостаточности ее прав и при отсутствии сотрудничества с властью, должно было свестись к «гниению на корню». Когда, тем не менее, Дума кое-как наладила доступную ей часть «подготовительно-законопредположительной» работы, это произвело впечатление и укрепило позицию сторонников сохранения Думы среди министров и сановников, окружавших царя.

Так прошел еще месяц после Горемыкинской декларации 13 мая. До середины июня продолжалось «зоркое слежение» за Думой. Был даже особый чиновник, Куманин, который ежедневно докладывал начальству о поведении Думы. Горемыкин погрузился в молчание и, очевидно, хитрил, выжидая подходящей конъюнктуры. Гурко толковал это молчание так: «болтайте, сколько хотите, а я буду действовать, когда найду нужным». Столыпин еще чувствовал себя новичком в Петербурге — и упорно молчал в заседаниях министров, выжидая своего часа. Царь продолжал оставаться в нерешительности, скрывая, по обычаю, свое настоящее мнение или, быть может, его еще не имея. На одном очередном докладе Коковцов был удивлен словами царя, что «с разных сторон он слышит, что дело не так плохо» в Думе и что она «постепенно втянется в работу». Царь ссылался при этом на

«отголоски думских разговоров»; но эти отголоски распространились довольно широко. В английском клубе высказывался в этом духе великий князь Николай Михайлович. В непосредственной близости к царю, любимый и уважаемый им бар. Фредерикс, министр двора, передавал царю мнение Д. Ф. Трепова, назначенного дворцовым комендантом.

Коковцов уже встревожился и посоветовал Столыпину «поближе присмотреться к обоим». Уже в начале мая у него был с **{376}** Треповым любопытный разговор во дворце. Трепов спросил его: «Как он относится к идее министерства, ответственного перед Думой и составленного из людей, пользующихся общественным доверием?» На возражения Коковцова Трепов, смотря на него в упор, спросил:

«Вы полагаете, что ответственное министерство равносильно полному захвату власти и изъятию ее из рук монарха, претворением его в простую декорацию»? Это и было, конечно, как видно из приведенных цитат, мнение сторонников роспуска. Но Коковцов, вероятно рассерженный, пошел дальше в своем ответе. Он «допускает и большее: замену монархии совершенно иною формою государственного устройства», т. е., очевидно, республикой. К сожалению, этот интересный обмен мнений оборвался, так как кругом стояла публика.

Коковцов и Столыпин чуяли недоброе. Трепов, действительно, уже за свой страх, начал предварительные разведки. Его поддерживал зять, ген. А. А. Мосолов, человек умный и наблюдательный, хорошо видевший слабые стороны режима и впоследствии поведавший публике о своих мрачных прогнозах.

В сущности, и сам В. Н. Коковцов, в эмиграции, издал два тома воспоминаний («Из моего прошлого», Париж, 1933, примеч. ред., *у нас на стр., ldn-knigi*).), которые, по отношению к царю и его ближайшему окружению, могли бы служить настоящим обвинительным актом. Но когда я в восьми фельетонах «Последних новостей» извлек оттуда документальные данные для этого обвинительного акта, аккуратный и добросовестный бюрократ, верный служитель неограниченной монархии, был как будто удивлен и недоволен: он вовсе не хотел этого! Он только добросовестно свидетельствовал.

Это был странный человек, этот министр финансов, попавший потом в премьеры за то же свое качество: аккуратность и добросовестность в рамках принятого на себя служения. Там он охранял казенный сундук от посторонних покушений; — в том числе и царских. И все мы соглашались с его репутацией «честного бухгалтера». Здесь он охранял от покушений вверенные ему интересы патрона, — не считая и сам себя ни в коей мере «политиком», а только верным слугой престола.

{377} Трепов был человеком иного типа. Он был тоже верным слугой царя, но службу свою понимал несколько шире, видел дальше — и не скрывал того, что видел. Он тоже ни в коей мере не был «политиком». Но, как человек военный, он понимал, что иной раз надо быть решительным и выходить за пределы своих полномочий — и даже собственных познаний. В этом своем качестве он и начал разведки о возможных кандидатах в «ответственное министерство». Мосолов знал о его обращении к Муромцеву, ко мне и к «другим выдающимся кадетам». Я знал тогда только о себе; позднее узнал, что было обращение и к И. И. Петрункевичу, что встреча с Треповым была совсем устроена, даже навязана; но наш «патриарх» отказался от нее, ссылаясь на то, что не имеет права входить в переговоры с правительством без разрешения партии. Петрункевич мне никогда не говорил об этом отвергнутом предложении. Потом Трепов обратился с тем же предложением и ко мне — через того же посредника, мелкого английского корреспондента, «безносого» Ламарка, исполнявшего, по-видимому, закулисные поручения влиятельных сфер.

Я не поколебался согласиться. Спрашивать разрешения фракции было явно безнадежно. Уклониться от встречи я считал невозможным, когда речь шла о нашем главном требовании — и когда другой альтернативы, кроме роспуска Думы, не было. Я не знал тогда ни о «всемогуществе» дворцового коменданта, ни о его близости к царю, ни о каких-либо практических предложениях, которые он мог царю сделать. Я считал, что свидание может ограничиться взаимной информацией и, во всяком случае, ни к чему не обязывает. Об этой встрече я и не рассказывал никому до времени Третьей Думы. В 1909 г. я дал подробный рассказ о свидании с Треповым в «Речи», и очень жалею, что этого номера (17 февраля) у меня не имеется перед глазами, а всех подробностей беседы память моя не сохранила. Но я считаю эту встречу самой серьезной из всех, которые затем последовали, — и постараюсь припомнить, что могу.

Наше свидание состоялось в ресторане Кюба, — и этим рестораном меня потом долго травили всеведущие газетчики. Свидание протекало в очень любезных тонах. Я из нас двоих был гораздо больше **{378}** настороже. Трепов прямо приступил к теме, предложив мне участвовать в составлении «министерства доверия». Я прежде всего ответил ему тем, что мне приходилось часто повторять в эти месяцы — и устно, и печатно. Я сказал ему, что теперь нельзя выбирать лиц; надо выбирать

направления. «Нельзя входить в приватные переговоры и выбирать из готовой программы то, что нравится, отбрасывая то, что не подходит». «Надо брать живое, как оно есть — или не брать его вовсе...

Обмануть тут нельзя; кто попытался бы это сделать, обманул бы только самого себя... Дело не во внешней реабилитации власти, при сохранении ее внутренней сущности; дело в решительной и бесповоротной перемене всего курса». Эти фразы в кавычках я беру из моего печатного ответа на позднейшее интервью Трепова. С этих вступительных объяснений и начался наш разговор; было удивительно уже то, что на них он не прекратился. Не помню, ставил ли Трепов формально вопрос о так называемом «коалиционном» министерстве; но он понял, что приведенные мною соображения его исключают. Он потом и хлопотал именно о министерстве «кадетском». Наша дальнейшая беседа и пошла, поэтому, не о «лицах», а о «программе».

Не долго думая, Трепов вынул из кармана записную книжку и деловым тоном спросил меня, какие условия ставят к. д. для вступления в министерство. Он не ограничился, при этом, простою записью пунктов программы, уже известных ему из «адреса» Государственной Думы. По поводу каждого из предъявленных мною пунктов он вдался в специальные обсуждения. Я особенно жалею, что не могу точно воспроизвести эту, наиболее интересную часть нашей беседы.

Кажется, пунктов было семь, включая тут и основное условие — образование ответственного министерства из думского большинства. По вопросу о «принудительном отчуждении» нашей аграрной программы, которое так возмутило Горемыкина, Коковцова и Столыпина, — Трепов, к моему изумлению, сразу ответил полным согласием. Очевидно, этот вопрос им заранее был обдуман и решение составлено. Но — очевидно, тоже обдуманно — он сопроводил свое согласие по существу чрезвычайно характерной оговоркой. Пусть это сделает **{379}** царь, а не Дума! Пусть крестьяне из рук царя получат свой дополнительный надел — путем царского манифеста. Я не мог не вспомнить о царском манифесте 17 октября, данном помимо обещаний Витте в его «докладе». Не было у меня охоты и возражать против такой постановки. На вопросе об амнистии генерал, напротив, споткнулся.

«Царь никогда не помилует цареубийц!» Напрасно я старался его убедить, что это — дело прошлое, отошедшее в историю; что амнистия именно в целом необходима, чтобы вызвать соответствующий перелом в общественном настроении; что «цареубийцы» — редкий тип людей, исчезающий с переменой условий, их создающих; что, наконец, именно в данном случае нужно личное проявление царской воли, которая единственно вправе дать такую амнистию; а следовательно и благодарность будет всецело направлена к личности царя. Все было напрасно. Трепов, очевидно, лучше знал психологию царя и царицы, преобладание в ней личного и династического над общеполитическим. Решение его тут было тоже заранее составлено.

Но в книжку всё же он записал и этот пункт. Всеобщее избирательное право, как и следовало ожидать, никакого сопротивления не встретило. Оно ведь было полуобещано, а виттевское избирательное положение 11 декабря, с его «серенькими» крестьянами и священниками, обманувшее ожидания, проклиналось на всех соборах. Пересмотр «основных законов», новая конституция, созданная учредительной властью Думы, но «с одобрения государя»», отмена Государственного Совета — вся эта государственная юристика вовсе не приводила в священный ужас генерала, чуждого законоведению. Всё это просто принималось к сведению и записывалось в книжку без возражений. Общее впечатление, произведенное на Трепова нашей беседой, во всяком случае не исключало дальнейших переговоров. Как признак возникшего между нами взаимного доверия, Трепов дал мне, на прощанье, номер своего телефона в Петергофе и предложил сноситься с ним непосредственно. Правда, этой его любезностью мне не понадобилось воспользоваться. Что разведки Трепова не оставались, однако, неизвестными государю, явствовало из одной фразы, сказанной потом царем Коковцову.

Царь **{380}** намекал на людей, которые «несколько наивны в понимании государственных дел, но добросовестно ищут выхода из трудного положения». И, с легкой руки Трепова, беседы об ответственном министерстве, уже по прямому поручению государя, были переданы в менее «дилетантские» руки. Я, правда, лишь позднее понял связь между первой попыткой Трепова и этими дальнейшими беседами.

Первая из них состоялась по приглашению С. А. Муромцева — встретиться в его квартире с министром земледелия Ермоловым. Я не знал тогда, что у Муромцева тоже было свидание с Треповым. Но Муромцев мне сказал, что Ермолов хочет со мною познакомиться, как с одним из возможных кандидатов. Сам Ермолов начал разговор с заявления, что говорит со мною «по поручению государя». В очень благодушном тоне беседа шла на общие политические темы. На подробностях Ермолов не останавливался, а потому и содержание беседы не сохранилось в моей памяти. Очевидно, нужно было получить скорее общее впечатление о лице, нежели о политической программе. Муромцев, всё время

молчавший, сообщил мне потом, что впечатление было благоприятное. Это было видно и из того, что затем, тоже «по поручению государя», я получил приглашение побеседовать с самим Столыпиным, в его летнем помещении на Аптекарском острове. Но когда состоялась эта встреча — по хронологии Коковцова, это должно было быть в один из четырех дней между 19 или 24 июня — то и цель, и тон беседы с одним из главных сторонников роспуска Думы были уже совсем другие.

Дело в том, что, независимо от бесед со мной и другими к. д., и Д. Ф. Трепов не дремал, и противники Думы занимались своим «зорким наблюдением» не только над Думой, но и над сторонниками ее сохранения. Столыпин попробовал поговорить со стариком Фредериксом. Но «у него такой сумбур в голове, что просто его понять нельзя», сообщил он Коковцову. Он обещал Коковцову «непременно говорить» и с Треповым, «ввиду влияния Трепова на государя». Но из этого, кажется, ничего не вышло. Трепов вел свою линию. В результате своих разведок он уже успел составить примерный список членов министерства доверия, куда **{381}** включил и меня (без моего ведома, конечно). Он довел этот список до сведения царя, а Николай II сообщил этот «любопытный документ» Коковцову, не называя автора. Вот этот документ, напечатанный Коковцовым в его воспоминаниях:

Председатель Совета министров — Муромцев, министр внутренних дел — Милюков или Петрункевич министр юстиции — Набоков или Кузьмин-Караваев министр иностранных дел — Милюков или А. П. Извольский, министр финансов — Герценштейн министр земледелия — Н. Н. Львов государственный контролер — Д. Н. Шипов министры военный, морской, двора — «по усмотрению Его Величества».

Характерным образом, имен обоих главных заговорщиков против Думы, Коковцова и Столыпина, в этом списке не было, — и это, конечно, должно было укрепить их отрицательное отношение к предприятию Трепова. Список был — почти «кадетский». Н. Н. Львов был членом партии — и вышел из нее из-за нашей аграрной программы. По Саратову, где он был земцем, он был знаком со Столыпиным и пользовался его симпатиями. Крестьянские волнения и поджоги дворянских усадьб произвели на него глубокое впечатление. Страстный по темпераменту, горячий, нервный оратор, красноречивый, когда зажигался, он заражал своей убежденностью — до фанатизма. На трех министров, «по усмотрению» царя, я соглашался уже в разговоре с Треневым, так как это была неприкосновенная и для к. д. территория царской прерогативы.

Самое предъявление царем списка Трепова (хотя и без имени автора) Коковцову было со стороны Николая II довольно коварным шагом. Он, конечно, знал о разногласиях по поводу судьбы Думы, знал противоположные взгляды Трепова и Коковцова и хотел их столкнуть, оставляя себе свободу решения. Он так приблизительно и говорил Коковцову. «Я не отвергаю сразу того, что мне говорят. Мне было очень больно слушать суждения, разбивающие лучшие мечты всей моей **{382}** жизни; но верьте мне, что я не приму решения, с которым не мирится моя совесть, и, конечно, взвешу каждую мысль, которую вы мне высказали, и скажу вам, на что решусь. До этой поры не верьте, если вам скажут, что я уже сделал этот скачок в неизвестное».

В. Н. Коковцов всегда приводит в своих «Воспоминаниях» подлинные слова царя в кавычках; но они тоже, обычно, принимают в его изложении тягучесть и стиль, свойственные этому мемуаристу. Однако, в существе сказанного царем нельзя сомневаться: здесь слишком ярко высказано, к чему сам царь стремится и какой совет он хотел бы получить от своего собеседника. Этот совет он и получил. «В охватившем его волнении» Коковцов прочел Николаю II импровизированную лекцию, не очень считавшуюся с наукой государственного права, но хорошо приспособленную к царскому настроению и пониманию.

«Неведомые люди», желающие получить власть, имеют свое мнение об «объеме власти монарха», мнение, не отвечающее взгляду государя. Царь не сможет, после передачи им власти, «распоряжаться через голову правительства исполнительными органами без того, что принято называть государственным переворотом». Царь вернул разговор к практической задаче момента: «Что же нужно делать, чтобы положить предел тому, что творится в Думе, и направить ее работу на мирный путь?» Коковцов отвечал именно программой «государственного переворота». «Готовиться к роспуску Думы и к неизбежному пересмотру избирательного закона». Это как раз и было то, что давно решил Совет министров, — и это совпадало с настойчивыми требованиями дворянских и черносотенных организаций, принимавшихся и выслушивавшихся государем под сурдинку. «Государь долго стоял молча передо мною», — повествует Коковцов, потом «крепко пожал руку» и отпустил с приведенным выше напутствием. Лично Коковцов думает, что у царя «не было ясно назревшей мысли допустить переход власти в руки кадетского министерства». Это — очень скромный вывод: ясно, что вопрос был в

обратном: как не допустить этого перехода. Во всяком случае, Коковцов продолжал бояться, что царь «допустит». Ведь и сам Столыпин, по его впечатлению, «был далеко не один, **{383}** кому улыбалась в ту пору идея министерства из людей, облеченных общественным доверием», — конечно, под условием быть включенным в это число. Заговорщики уже подозревали друг друга. Но относительно Столыпина Коковцов был почти прав.

Такие «без лести преданные», как сам Коковцов, насчитывались единицами...

После того, как царь выдал Коковцову тайну Трепова, то есть после 15-20 июня, интрига против Думы пошла вперед полным ходом. Только что вернувшись с царского доклада, Коковцов получил визит брата Д. Ф. Трепова, Александра, который уже вел эту борьбу против братней политики. Он приехал «прямо от Горемыкина», который не внял его тревоге и только повторял своим усталым тоном: «Все это чепуха». Со Столыпиным Горемыкин «не решался говорить», так как, чего доброго, тот сам «участвовал» в треповской комбинации.

А. Ф. Трепов умолял Коковцова «открыть глаза государю на катастрофическую опасность затеи» этого «безумца», его брата. Он не знал, конечно, что это почти уже сделано. Такую же роль, по воспоминаниям ген. Мосолова, играл и другой брат Д. Ф. Трепова, Владимир. Прошло четыре дня, и тот же А. Ф. Трепов приехал вторично к Коковцову, совершенно успокоенный. «Брат (Д. Ф.) вызвал его в Петергоф, был очень мрачен» и сказал ему, что «от окружения Столыпина он слышал, что вся (его) комбинация канула в вечность, так как все более назревает роспуск Думы». Если отсчитать четыре дня со времени доклада Коковцова у царя, то этот поворот падает на 19-24 июня. Запомним эти даты: они окажутся историческими.

Д. Ф. Трепов, однако, несмотря на дурные вести из лагеря победителей, всё-таки не складывал оружия. Он дал агентству Рейтера в эти самые дни интервью, которое было опубликовано в Лондоне и вызвало мой ответ в «Речи» 27 июня, отчасти приведенный выше. Он утверждал в нем категорически — и вполне справедливо, — что «ни коалиционное министерство, ни министерство, организованное вне Думы, не дадут стране успокоения». Необходимо образовать министерство «из кадетов, потому что они — сильнейшая партия в Думе». Он признавал, что кадеты «дают свободу действий трудовикам, — чтобы напугать правительство **{384}** близостью революционной опасности»; но этот союз «будет разорван, когда центр будет призван к власти». Положение было, конечно, сложнее, чем здесь представлено. И Трепов соглашался, что министерство к. д. сопряжено с большим риском. Однако, положение страны таково, что на этот риск надо идти. Как он говорил мне на свидании, — когда дом горит, приходится прыгать и из пятого этажа. Этот «дилетант» был, очевидно, дальновиднее официальных политиков. «Только тогда, — продолжало интервью, — если и это средство не поможет, придется обратиться к крайним средствам». Противники Трепова разумели под ними диктатуру самого Трепова, утверждая, что и кадетское министерство он задумал, как подготовительный маневр. Так казалось невероятно «безумно» этим людям, что о министерстве к. д. можно вообще говорить серьезно. Из дальнейшего поведения и Трепова, и Фредерикса видно, что они говорили и думали об этом очень серьезно.

Однако же, в этом интервью я прочел и ответ Трепова на мои условия. Он, очевидно, не считал их последним словом к. д. Он теперь «безусловно отвергал принцип экспроприиации» и находил, по-прежнему, невозможным говорить о «полной амнистии». Мне пришлось печатно ответить, что партия не может отказаться, не теряя лица, от этих позиций. Ее задача «не в том, чтобы возводить новые укрепления на заранее потерянной позиции», а в том, чтобы «разоружить революцию, заинтересовав ее в сохранении нового порядка». Официоз Столыпина «Россия» и суворинское «Новое время» отвечали на это, что партия «хитрит», что у ней «два лица», что она «бессильна удержать левых от более грандиозного выступления». «Россия» занялась расследованием причин «нерешительности и медлительности правительства» в вопросе об изменении его состава. Очевидно, тому и другому наступал конец. Но самые эти слова показывали, что и противники, и сторонники треповского плана не считают борьбу законченной.

Вся эта картина положения, как она рисуется теперь, была мне неизвестна, когда я получил, «по поручению государя», приглашение Столыпина.

Не помню точной даты, но, очевидно, это свидание произошло **{385}** в те же «четыре дня», когда решался вопрос о судьбе треповского списка (19-24 июня). Не позже 24-го вопрос для Столыпина был уже решен и, как увидим, он уже приступил к подготовительным действиям. И беседа со мной преследовала единственную цель — найти в объяснениях, которые он мог предвидеть, новое доказательство правильности его тактики.

Я застал у Столыпина, как бы в роли делегата от другого лагеря, А. П. Извольского. Но в Совете

министров Извольский не имел влияния — и присутствовал в качестве благородного свидетеля. Он всё время молчал в течение нашей беседы со Столыпиным. А в намерения Столыпина не входило дать мне возможность высказаться по существу. Он только выискивал материал для составления обвинительного акта. О каком, собственно, новом министерстве идет речь, «коалиционном» или «чисто кадетском», прямо не говорилось. Но обиняками Столыпин скоро выяснил, что участие Извольского в будущем министерстве возможно, а участие его, Столыпина, как премьера или министра внутренних дел, безусловно исключено. Я помню его иронические вопросы: понимаю ли я, что министр внутренних дел есть в то же время и шеф жандармов, а следовательно заведует функциями, непривычными для к. д.?

Я ответил, тоже полуиронически, что элементарные функции власти прекрасно известны кадетам, но характер выполнения этих функций может быть различен сравнительно с существующим, в зависимости от общего направления правительственной деятельности. Я прибавил при этом, что о поведении к. д. в правительстве не следует судить по их роли в оппозиции. И. В. Гессен по этому поводу приводит мою фразу: «Если я дам пятак, общество готово будет принять его за рубль, а вы дадите рубль, и его за пятак не примут». Едва ли я мог говорить в таком циническом тоне со Столыпиным.

На вопросах программы Столыпин останавливался очень бегло. Но он, например, заинтересовался вопросом, включаю ли я министров военного, морского и двора в число министров, подлежащих назначению к. д. Я ответил ему, как и Трепову, что в область прерогативы монарха мы вмешиваться не намерены.

{386} Результат этой беседы оказался именно таким, как я и ожидал. По позднейшему официальному заявлению, «разговор этот был немедленно доложен его величеству с заключением министра внутренних дел о том, что выполнение желаний к. д. партии могло бы лишь самым гибельным образом отразиться на интересах России, каковое заключение было его величеством всецело одобрено». Очевидно, для этого вывода меня и приглашали «по поручению государя» и по изволению Столыпина.

А. П. Извольский, видимо, не случайно спустился вместе со мной с верхнего этажа дачи, где происходила беседа, и предложил подвезти меня в своем экипаже. По дороге он успел сказать мне, что понимает Столыпина, который не знаком с европейскими политическими порядками, но что сам он отлично сознает значение политических требований прогрессивных кругов, не разделяет взглядов Столыпина и чувствует себя гораздо ближе к нашим мнениям о своевременности коренной политической реформы, которая сблизит нас с Европой и облегчит миссию министерства иностранных дел заграницей.

Я ничего не имел против этой profession de foi (Исповедание веры.) либерального министра. Но короткая белая ночь уже кончалась; рассвело, и на улицах появлялись пешеходы, торопившиеся с покупками. Когда мы доехали до Невы, я указал министру на неудобство, если он будет узнан в сопровождении столь опасного собеседника. Извольский согласился, заметив только, что такая же опасность грозит и его кадетскому спутнику. Я поблагодарил, и мы расстались.

Но Столыпин не мог забыть своего участия в беседе о таком предмете, как кадетское министерство. Когда, уже в Третьей Думе, я упомянул об этом, он счел себя уязвленным, и «Осведомительное Бюро» немедленно напечатало опровержение.

Здесь утверждалось, что «председатель Совета министров никаких, даже предварительных переговоров о составлении кадетского министерства или о предложении министерских портфелей членам к. д. партии с П. Н. Милюковым не вел. В июне 1906 г. П. Н. Милюков был приглашен к министру вн. дел Столыпину, согласно высочайшему указанию, **{387}** исключительно для выяснения планов и пожеланий преобладающей в то время в Государственной Думе к. д. партии. Во время разговора с министром П. Н. Милюков подробно выяснил свой взгляд на положение вещей» и т. д. Затем следовал доклад государю о результате разговора, цитированный выше. В своем печатном ответе Столыпину я выяснил действительное положение дела, указал на все прецеденты серьезных разговоров о нашем министерстве, на то, что «обсуждение» этого вопроса по существу, а не простое осведомление происходило и на даче Столыпина, упомянул и о Треповском списке и о «препятствии», заключавшемся в моем несогласии «сохранить некоторых членов существующего кабинета». Возражать на все это было нельзя.

Неделю спустя после приведенного разговора царя с Коковцовым (то есть около 22-27 июня — и ближе к 27-му) государь уже мог его «успокоить». «Я могу сказать вам теперь, что я никогда не имел в виду пускаться в неизвестную для меня даль, которую мне советовали испробовать. Я не сказал этого тем, кто мне предложил эту мысль — конечно, с наилучшими намерениями,... и хотел проверить свои собственные мысли... То, что вы мне сказали, сказали также почти все, с кем я говорил за это время, и

теперь у меня нет более никаких колебаний — да их и не было на самом деле, потому что я не имею права отказаться от того, что мне завещано моими предками и что я должен передать в сохранности моему сыну». Эта роковая идея, как теперь известно, действительно никогда не покидала царя: здесь он только повторил «любимую мечту всей своей жизни». Но тогда, что же означала вся эта комедия переговоров о кадетском министерстве и весь серьезный «конфликт» между министрами и сановниками по этому поводу?

12. РАЗВЯЗКА ДВУХ КОНФЛИКТОВ. (Роспуск Первой Думы).

Я подхожу теперь к самому роковому факту этого рокового 1905-6 года: к трагической развязке двух конфликтов — внутри и вне Думы: внутри между парламентским и революционным течениями; вовне — между **{388}** тенденциями сохранить народное представительство в его «конституционной» форме или, распустив Думу, восстановить, по возможности, во всей полноте, неограниченную власть монарха. Я уже упомянул раньше, что не ожидал такого сильного течения среди сановников против роспуска Думы. Но в окончательном исходе я и тогда не сомневался. Этим объясняется мое скептическое отношение к переговорам о кадетском министерстве. Фактор царской воли был для меня решающим. Я нашел полное подтверждение моей, — да, конечно, и не одной моей, — оценки этого фактора, когда прочел, уже в эмиграции, два тома воспоминаний В. Н. Коковцова. *(см. на сайте ldn-knigi.narod.ru*
(ldn-knigi.russiantext.com) Аккуратный и добросовестный чиновник и монархист по традиции, автор, кажется, и до конца своих дней не понял, что совершил предательство перед памятью своего возлюбленного монарха, сделав общим достоянием фотографические снимки своих интимных бесед с царем.

Николай II был, несомненно, честным человеком и хорошим семьянином, но обладал натурой крайне слабовольной. Царствовать он вообще не готовился и не любил, когда на него упало это бремя. Этикет двора он, как и его жена, ненавидел и не поддерживал. Добросовестно, но со скукой, выслушивая очередные доклады министров, он с наслаждением бежал после этих заседаний на вольный воздух — рубить дрова, его любимое занятие.

Как часто бывает с слабовольными людьми — как было, например, и с Александром I-м, Николай боялся влияния на себя сильной воли. В борьбе с нею он употреблял то же самое, единственное ему доступное средство — хитрость и двуличность. Яркий пример того, как, лавируя между влияниями окружающих, он умел скрывать свою действительную мысль, мы только что видели. Я не знаю, как она сложилась бы, если бы около него не было другой сильной воли, которой он, незаметно для себя, всецело подчинился: воли его жены, натуры волевой, самолюбивой, почувствовавшей себя сразу изолированной в чужой стране и забронировавшейся от всех, кроме тесного круга единомыслящих. Оба супруга сошлись на одинаковом понимании своей жизненной цели, как передачи сыну нерастраченного отцовского наследства. Мы видели эту неподвижную **{389}** формулу в передаче Коковцова. Оба не могли не заметить, что идут против течения — и, благодаря императрице — «единственному человеку в штанах», как она рекомендовала себя позднее в письмах к Николаю, — вступили с этим течением в борьбу, как могли и умели. Это привело к тесному подбору семейных «друзей»; в большинстве, это были люди крайне невысокого культурного уровня. Вне этого тесного круга были одни недоброжелатели и «враги». Это была неприступная крепость, доступная лишь воздействию потустороннего мира — в формах юродства и мистики, готовой воспользоваться приемами магии.

Какой иной развязки, кроме случившейся, можно было ожидать от этой царственной психологии, скудной идеями и богатой лишь верой в судьбу, предрешенную Промыслом? В критический момент истории в России не нашлось иных людей, способных вывести ее на новый путь ее развития...

Мой рассказ об этом решающем моменте будет особенно подробен, так как он основан не только на моих тогдашних сведениях о ходе событий, но и на всем том, что было опубликовано позже. Однако, я всё же не выйду из автобиографических рамок, ибо моя личность тут продолжает быть замешана, — правда, по большей части пассивно, а не активно.

Рассказ начинается с даты 24 июня 1906 года: эту дату надо запомнить, так как она объясняет многое, остававшееся неясным. П. А. Столыпин, как сказано выше, с этого дня имел в руках полномочие царя на роспуск Думы. Это обстоятельство, прежде всего, устраняет утверждение В. И. Гурко, — вообще недостоверного свидетеля, — будто бы Столыпин не хотел роспуска Думы. Верно лишь то, что он хотел возможно «либерального» роспуска — и (позднее) получил разрешение царя

устранить из своего кабинета наиболее реакционных министров, Стишинского и Ширинского-Шахматова, введя в него нескольких общественных деятелей. Из воспоминаний Д. Н. Шипова мы знаем, что «либерализм» Столыпина шел и дальше. Он хотел прикрыться Шиповым, поставив его во главе министерства. Шипов получил это невероятное предложение сперва через Н. Н. Львова, а потом, 26-27 июня, и лично от **{390}** Столыпина. Последний хотел поставить Шипова перед совершившимся фактом: он сообщил Шипову, что «роспуск Думы должен быть произведен обновленным правительством, имеющим во главе общественного деятеля, пользующегося доверием в широких кругах общества». Царь принял этот план, — и на 28-е Шипов был уже приглашен на аудиенцию.

Как и следовало ожидать, Шипов реагировал чрезвычайно резко на эту попытку использовать его для столыпинской интриги. Он заявил, что считает роспуск Думы поступком не только нецелесообразным и «неконституционным», но прямо «преступным». Он не скрывал своего мнения и перед петербургской публикой. Тогда Столыпину пришлось отступить на вторую позицию. Он заговорил на свидании с Шиповым, в присутствии Н. Н. Львова и А. П. Извольского, уже не о роспуске Думы, а о создании «коалиционного» кабинета под председательством Шипова, но при участии своем и Извольского. Шипов повторил, что говорил раньше: в Думе преобладает кадетская партия, и «коалиционный» кабинет невозможен: необходимо поручить составление кабинета «одному из лидеров к. д.». Столыпину пришлось тогда признаться, что он уже «приглашал к себе П. Н. Милюкова, говорил с ним о вероятной перемене кабинета и П. Н. Милюков дал понять, что он не уклонится от поручения образовать кабинет, если такое предложение ему было бы сделано». Моя передача нашего разговора со Столыпиным показывает, как тут были извращены цель и содержание нашей беседы. Но Извольский воспользовался оборотом беседы — и высказал надежду, что Шипову «удастся убедить к. д. войти в состав коалиционного кабинета». Помня наш разговор со Столыпиным, он прямо ударил по больному месту Столыпина. «Что касается нашего (со Столыпиным) участия, то этот вопрос мы должны предоставить вполне свободному решению Дмитрия Николаевича». Это уже совсем не входило в планы Столыпина. Он, по замечанию Шипова, «сделал вид, будто и он присоединяется к последним словам А. П. Извольского». Но тут же не выдержал — и раскрыл свои карты. Он де признает «невозможным и слишком рискованным» участие к. д. в министерстве. Он «настаивает на необходимости роспуска Думы». Разумеется, он не сказал, что **{391}** роспуск уже решен, подчеркнув только, что «вопрос об образовании нового кабинета может быть разрешен только государем». Другими словами, он оставил вопрос открытым.

На этом отступлении к исходной теме, беседа, конечно, оборвалась. Столыпин не мог, однако, не упомянуть, что «имеется предположение назначить Шипову на завтра аудиенцию в Петергофе». Он не знал, что царь уже пригласил Шипова, и что предстоит разоблачение всего его плана, так как беседа с царем примет иное направление, нежели он рассчитывал.

Готовясь к царской аудиенции, Шипов через гр. П. А. Гейдена снесся со мной, а сам долго беседовал с Муромцевым. Я припоминаю, что Гейден, подойдя ко мне в Думе, спросил мое мнение о «коалиционном кабинете» и даже предложил мне одного из великих князей в кандидаты на пост, входивший в сферу царской прерогативы.

Но он совершенно напрасно заключил из своих же отрывочных фраз беглого разговора, что я «считал вопрос (об отказе от коалиционного кабинета) уже в сферах предрешенным» и что я «готов принять на себя составление кабинета, как только такое поручение будет мне сделано». Я, конечно, этого не говорил и не думал, считая, что беседа со Столыпиным уже поставила крест на вопросе о моем участии. Подробнее рассказал Шипов в своих воспоминаниях о своей беседе с Муромцевым. Он «приложил все усилия, чтобы заручиться содействием Муромцева» при составлении коалиционного кабинета, но с исключением из него «участия бюрократического элемента и, в частности, П. А. Столыпина». Председателем должен был быть сам Муромцев. Такая постановка уже была нереальной, — и Муромцев, кажется, понял это, заявив, что одобряет отказ Шипова и воздерживается от согласия сам. Но интересны соображения, которыми он мотивировал свое воздержание. Во-первых, говорил он, «никакой состав министерства при переживаемых условиях не может рассчитывать в ближайшем времени на спокойную и продуктивную государственную деятельность и сохранить свое положение на более или менее продолжительное время». Другими словами, никакой кабинет не справится с положением и всякий будет скоро уволен. Это — как раз то, что **{392}** тогда утверждала и правая печать. Во-вторых, объяснял Муромцев, — переходя с принципиальной точки зрения на личную, — нельзя говорить с к. д. о «коалиционном» министерстве, так как «П. Н. Милюков уже чувствует себя премьером». Это, очевидно, распространенное тогда мнение о моих личных намерениях вызвало, как увидим, в Муромцеве чувство соревнования, связанное с пониманием недоверчивого отношения

фракции к. д. к нему самому.

Шипов, однако, не отчаивался. В тот же день на приеме у царя, — очень любезном, — он продолжал развивать свою мысль о необходимости создания кадетского кабинета. Он мог это делать безнаказанно, так как с практической точки зрения уже перешел на принципиальную. Царь дал ему повод развить эту точку зрения, спросив его прямо, почему он относится отрицательно к роспуску Думы. Ответ Шипова был глубоко продуман и насквозь политически честен. Так никто не говорил с царем раньше, и если бы носитель высшей власти был доступен убеждениям этого рода, если бы только отсутствием знаний о действительном положении объяснялось его упорство, то тут было сказано, откровенно и искренно, всё, что нужно было сказать.

Шипов прямо указал царю на двусмысленность «конституционного» манифеста 17 октября. Он подчеркнул также ненормальность отношения правительства к народному представительству. При таких условиях апелляция к избирателю (после роспуска) не даст возможности надеяться, что избиратель станет на сторону власти. Напротив, неизбежно и несомненно он пошлет в следующую Думу «гораздо более левый состав» (Шипов оказался прав, но он, очевидно, не подозревал, что для противников Думы это был как раз аргумент в пользу насильственного изменения избирательного закона). Остается другой исход, продолжал Шипов: примирение с данной Думой, для чего необходима искренняя готовность работать с ней и вернуться к честному осуществлению манифеста 17 октября. Но при «коалиционном» кабинете добиться примирения Думы с властью невозможно. Необходимо, следовательно, создать кабинет из думского большинства.
В этом случае весьма вероятно, что к.д., придя к власти, смягчат свою тактику. Шипов **{393}** даже взял на себя осторожную защиту основных положений кадетской программы — в том числе и аграрного проекта.

Такова была логическая постройка шиповской речи. Она отводила вопрос очень далеко от столыпинского плана, уже одобренного государем. Тем не менее, беседа продолжалась в духе шиповских взглядов и перешла, естественно, к вопросу о лицах. Из двух кандидатов в премьеры Шипов, разумеется, выдвигал Муромцева. Но он отдавал справедливость и Милюкову. Милюков — «самый влиятельный член» партии. Шипов «отдавал должную дань его способностям, его талантам, его научной эрудиции». Но... Милюков «слишком самодержавен». Произнеся эту фразу при самодержце, Шипов тотчас пожалел про себя о выражении, «вырвавшемся необдуманно». Но он продолжал характеризовать теневую сторону Милюкова. «По своему жизнепониманию Милюков преимущественно рационалист, историк-позитивист; в нем слабо развито религиозное сознание». Поставленный во главу, он «едва ли бы всегда в основу своей деятельности полагал требования нравственного долга и едва ли бы его политика могла содействовать столь необходимому духовному подъему в населении страны». Лучше будет поставить его на пост «министра внутренних дел или иностранных дел». Это будет «очень полезно и даже необходимо». Затем следовала характеристика Муромцева. С. А. Муромцев — «человек высоко-морального настроения». Он «пользуется общепризнанным авторитетом», и его назначение премьером «будет приветствовано в широких кругах общества». В то же время, Муромцев «отличается большим тактом и мягкостью характера». Он «обеспечит всем членам кабинета необходимую самостоятельность, и при его главенстве участие П. Н. Милюкова в кабинете будет особо полезно».

Выслушав эти характеристики, государь вежливо резюмировал мысль собеседника любезной фразой: «Да, таким образом может установиться правильное соотношение умственных и духовных сил» и тем «дал понять, что аудиенция кончена».

Произвела ли на царя впечатление искренность тона и серьезность содержания речи Шипова, при его **{394}** очевидной личной незаинтересованности? По крайней мере, в придворных кругах знали, что впечатление беседы было благоприятное. Или же, тут сказалось защитное лицемерие Николая? Позднее В. О. Ключевский мне рассказал, что, вернувшись в семейный круг после аудиенции, царь сказал своим: «Вот, говорят, Шипов — умный человек. А я у него всё выспросил — и ничего ему не сказал». Ключевский был близок к царской семье и к ее окружению. Он мог знать это...

Как бы то ни было, Шипов, возвращаясь после аудиенции, «чувствовал себя в бодром настроении». В этом настроении он немедленно отправился к Муромцеву и рассказал ему о беседе. Когда дошло до разговора о премьерстве, Муромцев взволновался. «Какое право ты имеешь касаться вопроса, который должен быть решен самой политической партией»? Шипов заговорил о «благе страны». Тогда Муромцев высказался яснее. Он «выразил сомнение относительно совместного с П. Н. Милюковым участия в кабинете». «Двум медведям в одной берлоге ужиться трудно».

Я только из «Воспоминаний» Шипова узнал и об аудиенции, и об его разговоре с царем, и о его

рекомендациях. Но не могу не сопоставить с этим мой собственный эпизод с Муромцевым.
Во время заседания Думы ко мне в корреспондентскую ложу подошел думский пристав со словами: «Вас просит председатель Думы придти к нему немедленно в кабинет». Я пошел. Муромцев поднялся с кресла ко мне навстречу и с места в карьер, без всяких предисловий, спросил меня: «Кто из нас будет премьером»? Быть может, он считал меня более осведомленным о ходе переговоров. Но для меня это было так неожиданно и показалось так забавно, что я не мог не рассмеяться и ответил: «по-моему, никто не будет». Видимо, Муромцев понял это за уклонение от ответа, — и продолжал настаивать.

Может быть, я и уклонился бы, если бы считал шансы кадетского кабинета серьезными. Я знал, что фракция едва ли остановит свой выбор на Муромцеве. И официальная часть моего ответа была: «Если уже дело дойдет до такого важного события, как кадетское министерство, то вопрос о премьерстве — есть уже второстепенная подробность, которую решит партия». Но я почувствовал, что это как раз и не удовлетворит Муромцева. И я продолжал: «Что **{395}** касается меня, то я с удовольствием отказываюсь от премьерства и предоставляю его вам». Действие этих последних слов было совершенно неожиданное. Муромцев не мог скрыть охватившей его радости — и выразил ее в жесте, который более походил на антраша балерины, нежели на реакцию председателя Думы. На этом пируэте и оборвался наш разговор. Муромцев узнал то, что ему было нужно, а я спешил вернуться в залу заседания. В эти дни он, очевидно, совершенно серьезно ждал приглашения в Петергоф. Лишь позднее, в тоне обиженного, он написал свою известную фразу, в архаизирующем стиле строгого парламентария, что «председатель призыван не был».

Тем временем, как говорится в мелодрамах, и «враг не дремал». Столыпин, которому Шипов в самый день аудиенции передал содержание разговора с царем, не мог «скрыть недовольства во всей своей фигуре». До него уже дошло, «что высказанное Шиповым произвело благоприятное впечатление и встречает сочувствие». Но это могло значить — крушение его планов! И, прощаясь с Шиповым, он бросил фразу, в которой скрытая тревога смешивалась с угрозой: «Теперь посмотрим, что воспоследует». Я представляю себе ледяную интонацию, с которой была сказана эта фраза...

Закулисную работу приходилось продолжать. И в придворных кругах скоро узнали, что «благоприятное отношение» к докладу Шипова «продлилось ровно неделю». А. П. Извольский, лично заинтересованный, сообщил даже точно Шипову, что так было «до 5 июля, но с этого дня положение изменилось, и, как видно, предположение о вероятности приглашения в Петергоф С. А. Муромцева отпадает». Вполне основательно Извольский ответил Шипову на вопрос: «чем вызвана эта перемена», — «тут сказалось влияние Столыпина».

Мы увидим, действительно, что 5 июля Столыпин получил новый козырь в своей игре, которого ждал и которым ловко воспользовался. После 24 июня — 5 июля это вторая историческая дата в истории подготовки роспуска Думы.

Через общих друзей сведения о «благоприятном» повороте вопроса о кадетском министерстве дошли, наконец, и до кадетских кругов. Тут они даже приняли форму уверенности в положительном исходе. **{396}** Продолжая не верить в этот исход, я, однако, почувствовал необходимость доложить фракции о моей личной роли в переговорах. До этого момента я вел всё это дело на свой страх, никого в него не посвящая. Теперь о переговорах знали уже и политические соседи. Я спешно созвал экстренное собрание фракции на 3-е июля, чтобы получить ее указания на случай того или другого разрешения вопроса. На собрании я доложил, в общих чертах, о тех условиях, которые, в случае серьезного обращения к нам, придется поставить в согласии с нашей программой и тактикой. Я получил — не особенно дружественную — санкцию собрания.

Кадетское министерство представлялось нашим «левым» кадетам опасной политической авантюрой, связанной с компромиссом подозрительного характера. При таком настроении вопрос о допустимости смешанного по составу кабинета не мог быть даже поставлен. Не было речи и о подборе личного состава министров к.д. Гораздо более волновал фракцию вопрос о роспуске Думы в случае неосуществления кадетского министерства. Этот исход справедливо представлялся гораздо более вероятным; он обсуждался неоднократно и очень горячо. Все речи членов фракции сводились к вопросу, как должна будет реагировать Дума на роспуск. Предложения делались самые фантастические. Остаться сидеть на местах? Апеллировать к стране о поддержке? Во всяком случае, не расходиться и быть готовыми на всё. Помню, почтенный седобородый старик В. И. Долженков, народный учитель по профессии, горячий и убежденный до фанатизма кадет, проявлял особую непреклонность и готовность «умереть на месте». Мы не предвидели только той формы роспуска, которую, весьма коварно и злостно, выбрал Столыпин.

Мы всё еще исходили из мысли о неприкосновенности Думы, о страхе правительства перед ее

роспуском, никак не допуская той степени пренебрежения к правам Думы и к личностям депутатов, какая сказалась в губернаторской тактике премьера. Мало того: раз основной конфликт с правительством надвинулся вплотную и поднят был вопрос о самом существовании Думы, то все наши заботы о предупреждении частных конфликтов с властью отходили на второй план. Столыпин ждал только повода. Мы его дали, на почве самого конфликтного из вопросов, — вопроса **{397}** аграрного — и дали как раз в те дни решающих переговоров о министерстве из думского большинства, когда большинства-то в Думе и не оказалось. Как это могло произойти?

Первый повод был дан не Думой. 20 июня появилось правительственное сообщение, имевшее весь состав провокации. Правительство «успокаивало» население заявлением, что думская аграрная реформа не будет осуществлена. Это заявление было, конечно, совершенно незаконно. Оно противоречило даже ограниченным основными законами законодательным правам Думы. В заседании аграрной комиссии депутат Кузьмин-Караваев, человек тщеславный и неумный, большой интриган и политический путаник, предложил ответить опубликованием «контрсообщения» от имени Думы. Я уже говорил, что обращение Думы к стране было тактикой трудовиков, под которой скрывались революционные стремления. В данную минуту оно было опаснее для Думы, чем когда-либо прежде. Но в комиссии предложение это прошло, и 4 июля (я подчеркиваю дату) готовый проект аграрного сообщения был поставлен на повестку общего заседания Думы. Наши «лидеры» и я сам очутились перед совершившимся фактом, так как за прохождением проекта через комиссию никто из нас не следил и никакого решения, как к нему отнестись, у нас не было. Наиболее осведомленным оказался... П. А. Столыпин!

В этот день, 4 июля, он явился в Думу, где был редким гостем, просидел целое заседание в министерской ложе, тщательно записывая прения. В кулуарах заговорили, что причина такого неожиданного внимания к Думе — именно ее аграрное обращение к народу. Столыпин имел возможность выслушать самые резкие мотивировки левых ораторов. Очевидно, он собирался использовать собранный материал для доклада царю. Наша фракция ничего не подозревала, и в вечернем заседании ее об этом ничего не говорилось. Мы пропустили возможность задержать обсуждение проекта по формальным мотивам.

Только утром 5 июля (вспомним сообщение Извольского) я, наконец, получил сведения о происшедшем. Я тотчас забил тревогу, бросился к Петрункевичу, объяснил ему всю опасность обращения, текст которого был уже принят фракцией, и настоял на необходимости **{398}** предупредить, по крайней мере, злостное толкование текста. Вечером во фракции и утром 6-го июля в передовице «Речи» я обращал внимание на угрозу Столыпина, что, в случае аграрных волнений, вмешаются австро-германские войска, и убеждал «не делать шага», который может быть истолкован, как неконституционный. «Мы, может быть, накануне страшных решений, — писал я, — последние дни, когда еще возможно было установление согласия между законодательной властью и исполнительной, быстро проходят, и с обеих сторон так же быстро растет готовность на крайние решения... Вся психология положения (о думском министерстве) сразу изменилась... Люди, склонявшиеся к идее думского министерства, отшатнулись от нее в последнюю минуту». А столыпинская «Россия» говорила откровенно, что «немыслимо верить либеральной буржуазии, будто она без репрессий справится с крайними течениями»; лучше «репрессивные меры», нежели согласие на «крайние программы». Я убеждал Думу, «ввиду крайней напряженности положения, быть особенно осторожной».

Фракция, насторожившаяся недружелюбно ко мне уже после моего доклада 3 июня о министерстве, отнеслась неблагосклонно к этим моим предостережениям. Мои сомнения в «уместности обращения» «вызвали ропот и возгласы неудовольствия». Огромное большинство (все против пяти голосов) высказались за безусловное сохранение раз занятой позиции. Ведь мы же приглашали население к «мирному и спокойному» выжиданию конца думской работы! Это казалось — да оно так и было — пределом нашей умеренности. Но как раз эту фразу трудовики отказались поддерживать. Я все-таки убедил Петрункевича пересмотреть и, по возможности, обезвредить принятый уже текст. Но фракция отклонила большую часть предложенных нами изменений. Г. Е. Львов отказался тогда от доклада, а Петрункевичу пришлось защищать оставшиеся четыре поправки экспромтом. Левые очень ловко этим воспользовались. При содействии правых и поляков они воздержались от голосования — или голосовали против воззвания, и получилось странное положение: одни к.д. сделали шаг, из-за которого вся Дума подставила себя под удар по обвинению в революционности. И кадетского большинства при этом в Думе не оказалось!

{399} Последствия оказались такими, какие я и предвидел. На докладе царю 4 июля, по сообщению Столыпина Коковцову, вопрос о роспуске был «затронут», очевидно, в прямой связи с отчетом о

думском заседании, а 5 июля, за обедом у графини Клейнмихель гр. Иосиф Потоцкий уже сообщил Коковцову, что «день роспуска Думы назначен на воскресенье» (9 июля). Коковцов был поражен; очевидно, Столыпин вел свою игру втайне от министра финансов, своего сообщника.

На вопросы Коковцова он лишь ответил, как сказано, что вопрос был «затронут», но прибавил, что к 7-му июля государь «желает знать мнение правительства». В действительности, это «мнение» было давно составлено, и речь шла уже о принятии мер, заготовленных Столыпиным. 7-го июля Столыпин приехал в Царское Село не только с подробным планом роспуска именно на воскресенье 9-го июля, но и с документами, которые министрам оставалось лишь подписать. Очевидно, решение было принято за кулисами государственных учреждений, один на один между царем и Столыпиным. 7-го июля Столыпин, очевидно, уже ожидал и своего назначения в министры роспуска, на место Горемыкина. Столыпин рисовал Коковцову и годуновскую сцену: он ссылался царю на свою «недостаточную опытность», царь благословлял его иконой; тотчас затем Столыпин прочитал царю свой совсем готовый доклад о военных мерах для предупреждения беспорядков, которых можно было ожидать в воскресенье! Все это отзывало плохо налаженной комедией, когда готовилась трагедия. Все, кроме бывшего губернатора, чувствовали, что совершается большое событие, быть может, непоправимое...

В последнюю минуту это ощущение отразилось на новом зигзаге настроений среди защитников Думы наверху и на новом акте коварства Столыпина по отношению к самой Думе. Надо рассказать о том и другом, так как по этому поводу я получил обвинение в «недальновидности» в воспоминаниях И. В. Гессена. («В двух веках», «Архив русской революции», т. 22, Берлин, 1937 г. (Прим. ред.).) В своей передовице в самый день роспуска (9 июля) я действительно писал, что накануне (8-го) в вопросе о министерстве к.д. «происходило опять обратное движение влево **{400}** — и что неизвестно, на какой точке остановится теперь новое колебание». И тогда же, накануне роспуска, я «успокаивал», что роспуска в воскресенье не будет. В чем же было дело?

С новыми данными в руках я могу ответить на эти обвинения. «Обратное движение влево», как оказывается, действительно было, — но, конечно, не со стороны Столыпина, а со стороны его противников. По рассказу самого Столыпина, министрам, ожидавшим 7 июля его возвращения из Царского, куда он ездил вместе с Горемыкиным по вызову царя, — он, Столыпин, застал в Царском совершенно растерявшегося, панически настроенного барона Фредерикса, который сделал последнюю отчаянную попытку предупредить роспуск Думы. Фредерике пытался убедить Столыпина, что решение распустить Думу «может грозить самыми роковыми последствиями — до крушения монархии включительно»; что Дума «совершенно лояльна» и если бы государь лично выразил свое недовольство в послании к ней, пригрозив притом мерами, которые ему предоставляют основные законы, то Дума «принялась бы за спокойную работу».

Эта мотивировка и была, очевидно, вызвана последним доносом Столыпина на Думу. На возражения Столыпина Фредерике с полной откровенностью сослался на мнение «людей, несомненно, преданных государю, что все дело в плохом подборе министров» (то есть и самого Столыпина) и что «не так трудно найти новых людей, которые бы сложили с царя ответственность за действия исполнительной власти». Во всем этом не было, конечно, ничего «бессвязного»; Фредерике точно передавал основные черты плана Трепова и Мосолова. Он «не раз» обращался с этим и к Горемыкину, но тот «не хочет ничего и слышать». Гурко дополняет эти сведения еще одним интересным фактом. Горемыкин и сам, выйдя от царя после получения отставки и после подписания указа о назначении Столыпина на его место, встретил Д. Ф. Трепова, очевидно, поджидавшего его. Узнав, что решен роспуск, Трепов воскликнул: «Это ужасно! Утром мы увидим здесь весь Петербург!» Горемыкин сухо ответил: «Те, кто придут, назад не вернутся». Гурко прибавляет к этому: «Из слов Трепова Горемыкин, однако, заключил, что будут сделаны все усилия, чтобы до опубликования указа побудить царя **{401}** вернуть обратно свое решение». Это опасение Горемыкина очень важно. Оно подтверждает слух, что Горемыкин принял свои меры против такой возможности царского перерешения вопроса ночью. Он, очевидно, считал такое проявление царской нерешительности вполне вероятным. Он не велел себя будить! По показанию Коковцова, слух об этом «не вызывал никакого сомнения в окружении Совета министров и среди целого ряда лиц, близких отдельным министрам». Мало того: к этому слуху прибавлялось, что, действительно, поздно ночью на 9-ое июля был доставлен Горемыкину пакет из Царского Села, в котором было «небольшое письмо от государя с приказанием подождать с приведением в исполнение подписанного им указа о роспуске Думы». Если это верно, — а оно вполне правдоподобно, — то, значит, борьба противников роспуска не прекращалась до самого опубликования указа утром 9 июля. Глухие сведения об этом могли дойти до редакции «Речи», чем и объясняется

приведенная фраза моей передовицы.

Что касается другого проявления моей «недальновидности», оно у меня общее со всеми членами Думы. Оно основывается на прямом обмане Столыпина, которому мы благодушно поверили. А именно, чтобы застать Думу врасплох и предупредить в корне всякую возможность сопротивления, Столыпин просил Муромцева назначить заседание Думы для его личного выступления на понедельник 10 июля. Именно в ожидании понедельничного заседания мы и ушли из Думы в субботу «успокоенные», по воспоминанию М. М. Винавера. Вот почему в ночь на воскресенье, сидя в редакции «Речи», я по самым последним сведениям мог уверять И. В. Гессена, что он может спокойно ехать на дачу в Сестрорецк, потому что в воскресенье ничего не будет. Но, значит, вопрос стоял на острие, если можно было в эти минуты говорить только об отсрочке решения на день!

13. РОСПУСК И ВЫБОРГСКИЙ МАНИФЕСТ

Я ушел из редакции «Речи» на рассвете, поручив позвонить мне, если будет что-нибудь новое. Я не успел заснуть, как из редакции позвонили и сообщили, что манифест о роспуске Думы уже печатается в **{402}** типографии. Потом стало известно, что он был этой же ночью составлен в совещании с участием Крыжановского. Я сел на велосипед и около 7 часов утра объехал квартиры членов Центрального комитета, пригласив их собраться немедленно у Петрункевича. Когда, около 8 часов, они начали собираться, текст манифеста уже был нам известен от типографщиков, и мы знали, что на дверях Думы повешен замок. Все мечтания о том, как, по примеру римского сената, мы останемся «сидеть» и добровольно не уйдем из Думы, сами собою разлетались в прах.

Надо было придумывать наскоро другой способ противодействия. Еще в мае, по поводу слухов о роспуске Думы «на каникулы», фракция поручила мне написать «манифест к населению». М. М. Винавер вспоминает, правда, что тогда я находил такой каникулярный отпуск вполне законным и реагировать на него считал ненужным. Теперь дело стояло иначе.

Ф. Ф. Кокошкин, наш главный эксперт по конституционным вопросам, был того мнения, что имеются все основания признать роспуск нарушением конституции. Главным его мотивом было то, что в манифесте не назначен срок выборов в новую Думу. Основываясь на недавнем примере Венгрии, — он находил вполне конституционным построить наш протест на принципе пассивного сопротивления: то есть на отказе платить налоги и давать рекрутов правительству.

Поручение составить проект манифеста на этой основе было возложено на меня. Ради предосторожности, меня изолировали для выполнения этого поручения в соседней квартире брата И. И. Петрункевича, Михаила Ильича. Как сейчас помню, там, в пустой комнате, стоя у рояля, я набросал на пыльной крышке карандашом свой черновик. Вернувшись в заседание Ц. К., я застал там уже около двадцати собравшихся членов. Я прочел свой текст, выслушал замечания и внес соответствующие поправки. Но основная идея Петрункевича и Кокошкина о пассивном сопротивлении никаких возражений не встретила. На ней сразу сошлись, как на минимальной форме необходимого протеста. Мое положение, как не члена Думы, оказывалось странным: я призывал к действию, которое вело за собой уголовные последствия, не участвуя в нем сам. И я попробовал возражать.

Я спросил присутствующих, понимают ли они, что **{403}** предпринимаемый ими шаг может иметь нежелательные политические последствия. Я напоминал добровольное решение членов Учредительного Собрания первой французской революции отказаться от выборов в следующее, законодательное собрание. Я указывал, что этот акт самопожертвования понизил уровень народного представительства, лишив его ряда выдающихся политических деятелей. Дают ли себе отчет наши депутаты, что, в случае неуспеха воззвания, никто из них уже поневоле в Думу не вернется? Если не имеется этой готовности к политическому харакири, то и задуманного шага делать не следует. М. М. Винавер вспоминает ответ И. И. Петрункевича, поддержанный всеми присутствовавшими депутатами. «Эта сторона дела всем ясна и ни в ком сомнений не вызывает».

Мой проект манифеста Винавер нашел слишком слабым. В нем не было «стихийной негодующей силы». Нужно было, чтобы «крик возмущения прозвучал, как блеск молнии, освещающий населению истинный смысл совершившегося». Поэтому, полагал Винавер, и заключительный призыв к неповиновению населения «не привлекал к себе внимания». Весь шаг казался «жалким минимумом действия, остающегося в нашем распоряжении». Критика Винавера была, конечно, справедлива, — больше даже, чем он думал: по существу дела нельзя было написать документа желательной для него силы. У нас не было языка, которым мы могли бы поднять народ, потому что и «истинный смысл совершившегося» был ему мало доступен. Наш шаг, нуждавшийся в ученом комментарии Кокошкина,

действительно, не «звучал», ибо был заранее осужден не дойти до понимания «народа». Вероятно, и Винавер сознавал это, потому что, на предложение Петрункевича — написать тут же другое воззвание в его стиле, он, «после минутного колебания», ответил отказом. Для окончательной установки текста мы опять перешли в квартиру М. И. Петрункевича. Воззвание было переписано, под диктовку, в нескольких экземплярах, а мой черновик из предосторожности тут же был уничтожен.

Проект партии был готов. Оставалось превратить его в решение Думы. Но собраться для этого в Петербурге было невозможно. Не только помещение Думы, но и наш клуб на Потемкинской улице были оцеплены **{404}** войсками и полицией. Не даром Думу из предосторожности поместили в районе казарм. Было принято тогда, не помню кем сделанное, предложение всем ехать в Выборг. Трудовики не возражали ни против воззвания, ни против поездки: они, видимо, ничего другого, более сильного, и сами не могли придумать. Потом присоединились и социалисты, резервировав для себя, как свой отдельный шаг — попытку вооруженного восстания. В нашей инициативе они поняли и оценили возможность объединить голос всей Думы. Это тогда Жилкин сказал Винаверу: «Ведите нас»,

М. М. Винавер дал яркую картину нашего пребывания в Выборге. Моя личная роль там стушевалась. Я не был депутатом и не имел ни формального, ни даже морального права участвовать в обсуждении и в принятии решительного шага. Лидеры других политических партий тоже оставались в стороне, участвуя лишь в подготовительных совещаниях своих фракций. В общий зал никого, кроме депутатов, не допускали.

Общие совещания депутатов в этом зале начались уже с вечера. Я приехал к ночи и кое-как переночевал где-то на полу, вповалку с другими. «Посторонние», т. е. партийцы, не бывшие членами Думы, были допущены в общую залу только на следующий день, в полуденный перерыв. Раньше — до нас доходили лишь слухи о том, что там происходит.

Конечно, неверен был слух, будто Муромцев открыл совещание сакраментальными словами: «Заседание (Думы) продолжается». В этой обстановке председатель Думы чувствовал себя вообще очень неловко. Переход от ожидания быть «призванным» монархом на пост премьера к заседанию с определенно-революционным оттенком не мог ему улыбаться. Но он, всё же, не мог не принять председательствования в заседании: это разумелось само собою: отказ противоречил бы установившейся за ним репутации.

Вначале настроение собрания оставалось очень повышенным. Но мало-помалу рассудок вступал в свои права. «Минимум» кадетского манифеста, конечно, далеко не отвечал левому «максимализму». Но нетрудно было понять, лицом к лицу с действительностью, что жизнь не может выдержать и этого словесного **{405}** рекорда. К тому же, все сознавали, что важно иметь общее решение всей Думы. Левые могли, сколько угодно, идти дальше отдельно; но уже и кадетский проект требовал не слов, а действий. И, придя в общую залу, я нашел настроение нашей фракции, в результате этих соображений, значительно пониженным. Если первая половина нашего проекта — и после ночных переделок Винавера и Кокошкина — продолжала все-таки казаться недостаточно яркой, то вторая, заключавшая призыв к пассивному сопротивлению, уже вызвала ряд возражений отнюдь не принципиального, а практического, свойства — и тем более серьезных. Не давать рекрутов, , не платить податей? Но рекрутский набор будет только в ноябре, т. е. через четыре месяца, а прямые налоги составляют ничтожную часть бюджета! Винавер еще прибавил к этой части предложение не платить процентов по займам и поднять вопрос о политической забастовке. Но неплатеж по займам звучал пустой фразой. Политическая забастовка была отвергнута единогласно.

Оставалась одна центральная идея манифеста: призыв к организованному действию народа, но без насильственных мер. А если «народ не готов»? Если откинуть и это возражение, то воззвание сохраняло лишь один смысл: тактического шага, неизбежного для данной минуты, чтобы найти наименее рискованный выход для общей потребности — протестовать против правительственного насилия. С этой только точки зрения и приходилось его защищать. В худшем случае, это было предостережение правительству против дальнейших насильственных шагов. Оно, по моему мнению, и оказало это действие (см. ниже). Надо прибавить, что высказанные здесь соображения в ту минуту скорее подразумевались, нежели высказывались открыто.

Для обработки окончательно согласованного текста воззвания была выбрана от трех партийных групп шестичленная комиссия. Она проработала целую ночь. А утром третьего и последнего дня внутри нашей фракции разгорелись еще более острые прения о том, приемлемо ли вообще воззвание по существу. Критика грозила убить последние остатки героических настроений. Большинством двух голосов вся вторая, практическая часть воззвания была отвергнута. Даже такие **{406}** сдержанные и политически подготовленные члены фракции, как Герценштейн и Иоллос, теряли спокойствие и в

открывшееся затем общее собрание внесли голос страсти. Когда в полуденный перерыв были опять допущены в общую залу партийцы не члены Думы, я решился выступить в защиту воззвания, как оно было. Я был взволнован колебаниями фракции, ее переходом в минорный тон, и говорил резко, забыв даже, что я не нес личной ответственности за общее решение. Я находил, что теперь отступать уже поздно и что в такую минуту голос всей Думы должен прозвучать дружно. Иначе наша инициатива, принятая другими, лишалась даже и смысла тактического шага.

Не знаю, какое состоялось бы окончательное решение, если бы на сцену не выступил, неожиданно для всех, новый фактор. До Петербурга дошли, наконец, сведения о наших совещаниях в гостинице Бельведер, и оттуда был прислан приказ выборгскому губернатору — распустить собрание. Смущенные финляндцы вызвали Муромцева из залы для переговоров. Мы теперь подвели бы своих финляндских друзей, если бы продолжали упорствовать. И Муромцев обещал губернатору закрыть собрание. Он это и сделал и, надев перчатки, удалился. Среди общего волнения Петрункевич предложил, прекратив прения, подписать воззвание, «как оно есть». Продолжать споры было, действительно, уже некогда. Притом же, новый акт насилия из Петербурга заставил вспыхнуть потухавшее пламя и сразу всех объединил. Предложили председательствовать кн. П. Долгорукову. Герценштейн и Иоллос подписали манифест первые... Подписанный членами, он был тут же напечатан и ввезен в Петербург контрабандой.

Наше возвращение в Петербург обошлось не без инцидентов. Друзья и родные опасались, что в самый момент возвращения мы все будем арестованы на вокзале. Этого не случилось; вопрос о привлечении к суду членов Думы, подписавших манифест, требовал предварительной подготовки, политической и юридической. Надо было не только определить состав преступления, но и решиться наложить руки на избранников народа. В ожидании всего этого, более серьезной представлялась возможность расправы с нами черносотенцев.

По **{407}** дороге мы узнали, что уже в пути на нас готовилось покушение. В списке обреченных стояли, кроме Герценштейна и Иоллоса, Винавер и я. Все это объясняло, почему при выходе из вагона на Финляндском вокзале нас с тревогой ждали близкие люди. Одна преданная кадетка энергично втолкнула меня в пролетку, заготовленную к приходу поезда.

Первая Государственная Дума отошла в историю. История не сказала о ней последнего слова: слишком были различны интересы и идеи, с нею связанные. Но, может быть, не лишено интереса сопоставить, в заключение, два суждения о Думе с двух противоположных сторон. Одно из них заключало в себе резкую оценку и мрачный прогноз. Оно принадлежит Крыжановскому и высказано под впечатлением первой встречи царя с Думой на приеме в Зимнем Дворце 27 апреля. Другое суждение принадлежит проф. Ключевскому; оно высказано уже во время заседаний Думы. Если это и не суд истории, то, во всяком случае, мнение самого талантливого и вдумчивого из русских историков.

С. Е. Крыжановский вспоминает, что царский выход был «обставлен всею пышностью придворного этикета и сильно резал непривычный к этому русский глаз». Но глаз верного слуги старого режима резала также, на этом фоне царского блеска, неподходящая к месту «толпа депутатов в пиджаках и косоворотках, в поддевках, нестриженных и даже немытых». Умный чиновник сразу заключил из этого, богатого смыслом, сопоставления, что «между старой и новой Россией перебросить мост едва ли удастся». И свои чувства он выразил восклицанием: «ужас!.. Это было собрание дикарей»...

В. О. Ключевский давая свой отзыв о деятельности Думы в письме к А. Ф. Кони, говорил: «я вынужден признать два факта, которых не ожидал. Это — быстрота, с какой сложился в народе взгляд на Думу, как на самый надежный орган законодательной власти, и потом — бесспорная умеренность господствующего настроения, ею проявленного. Это настроение авторитетного в народе учреждения умереннее той революционной волны, которая начинает нас заливать, и существование Думы — это самая меньшая цена, какою может быть достигнуто бескровное успокоение страны».

{408} Если угодно, в Первой Думе было всё. Были и «дикари», вытащенные из русской глуши, однако, самим же правительством по закону 11 декабря. Была и «революционная волна», продолжавшая заливать Россию. Была, наконец, и проявленная наиболее культурной частью России «умеренность», подававшая надежду на «успокоение страны» — при условии, конечно, длительного существования Думы. В общем, это был сложный и дорогой инструмент, единственный, какой могла создать в тогдашней России интеллигентская традиция и едва пробудившаяся народная воля. Но для того, чтобы управлять этим инструментом, нужно было понимание положения — и умелое руководство. Когда Родичев сравнивал этот редкий орган с иконой, разбить которую у власти не поднимется рука, он жестоко ошибался. Его разбила рука подлинных «дикарей» сверху. «Революционная волна», как будто,

отхлынула перед грубым насилием. Но это была только отсрочка, данная власти, — и уже последняя. И тот же В. О. Ключевский — даже вопреки своим настроениям — сделал из случившегося пророческий вывод: «Династия прекратится; Алексей царствовать не будет». Трудно было тогда поверить правильности провидения историка. А так оно и случилось, всего спустя 11-12 лет после описанных событий.

{409}

14. ПОТУХАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ (1906-1907)

Роспуск Первой Государственной Думы провел резкую черту между течением политической жизни России раньше — и тем, что затем последовало. Первым симптомом этого перелома был все ускорявшийся процесс потухания революции. Высшей точкой революционного взрыва, в моем представлении, было вооруженное восстание в Москве, в декабре 1905 г., — и его неизбежный провал. Дальше революционная кривая пошла быстро вниз, и, несмотря на отживавшие черты революционных явлений, эта линия процесса представлялась мне совершенно ясной и бесспорной. Как далеко отошла в прошлое та моя «примирительная миссия», с которой я возвращался в Россию! Лагерь «друзей — врагов», на путь которых я рассчитывал направить русскую революцию и поддержкой которых обусловливал наш общий успех, теперь сам разбился на кучки, непримиримо боровшиеся с нашими методами борьбы.

С их голоса французские журналисты сравнивали меня теперь с Тьером — не с Тьером, министром Луи-Филиппа, а с Тьером, президентом республики, с Тьером Версаля, расстрелявшим Парижскую коммуну. Политическая репутация моих старых друзей, с. - р., быстро падала, по мере того, как политический террор переходил от них в руки новоявленных одиночек — «максималистов» и становился просто способом добывания денег путем «эксов» (экспроприации), сухих или мокрых. Традиционной средой действия старых с. - р. было крестьянство; но организовать эту громадную, бесформенную политически массу было явно невозможно, и первые попытки создать **{410}** «крестьянские союзы» оказывались более или менее фиктивными. Единственным проявлением крестьянского недовольства были аграрные волнения, вспыхивавшие по разным поводам то там, то здесь, иногда охватывавшие даже целые губернии, — но хаотические, беспрограммные и бессильные; их политическим результатом было только отбрасывание помещичьего класса в реакционный лагерь и сплочение дворянских организаций. Наш план мирной крестьянской реформы оставался красной тряпкой для дворянских зубров и мишенью для правительственных атак; самих крестьян наши «друзья — враги» настраивали против нас, обещая черный передел, социализацию, национализацию, муниципализацию земли (Автор вероятно имеет в виду социалистические круги вообще, т. к. с. - р. не предлагали ни «национализации» (которую они отличали от «социализации»), ни «муниципализации» земли. (Примеч. ред.).), что угодно, только не мирный компромисс с участием государства и «по справедливой оценке».

В другом лагере русского социализма, у социал-демократов, положение было благоприятнее, но и сложнее. Главный раскол шел у них по линии большевизма и меньшевизма, и мы видели, что более благоразумное течение меньшевиков оценивало положение довольно сходно с нашей оценкой — и делало отсюда тактические выводы, настолько близкие с нашими, что, казалось, было возможно совместное действие с ними. Но это только казалось, так как каждый случай такого сотрудничества становился поводом для внутренних обличений, провинившиеся в сближении с «буржуазией» партийцы призывались к порядку и быстро отступали на ортодоксальную линию.

Большевики, с своей стороны, этой линии вовсе не держались; их революционная линия была непримиримо-крайняя, «бланкистская», по заграничному жаргону, — линия «перманентной» революции, по Троцкому, рассчитанная не столько на победы в настоящем, сколько на рекорды для будущего, а в данный момент на сохранение «белизны риз». Эти люди **{411}** усердно гасили русскую революцию слева, как крайние реакционеры гасили ее справа; но последние, по крайней мере, понимали, что делали, и стремились к достижению цели, т. е. к полной реставрации, сознательно, тогда как первые, упорно преследуя то, что тогда казалось утопией, так же усердно расчищали им путь. Между этими двумя крайностями и состоялся губительный для мирного исхода фактический контакт.

Было еще течение, так сказать, полусоциализма, — наших прежних союзников из левого крыла Союза Освобождения. Их социальная база была реальнее, нежели крестьянство с. - р., но менее реальна, нежели рабочий класс с. - д. Они опирались на «кооператоров» деревни, на мелких служащих («третий

элемент») земства, на часть радикальной интеллигенции. Но это была связь идейная; организовать их было трудно, а вывести на улицы невозможно. Часть этих элементов переливалась и в нашу среду. Разделяя, более или менее, наши социальные стремления, они расходились в политических и непримиримо отрицали нашу тактику. Понимая (как и меньшевики), что исход революции в ближайшей стадии может быть только буржуазным, они в конце концов сердились на нас, что в нашей тактике мы были недостаточно умеренны для данной минуты, а в нашей программе чересчур радикальны. Эту позицию я как-то формулировал в тогдашней печати: «станьте, наконец, октябристами, чтобы мы могли стать кадетами». Противоречие между нашей (исходной) программой и (партийной) тактикой, конечно, существовало; но это было противоречие, от которого страдала вся Россия и разрешить которое в мирном порядке оказалось невозможно. Поэтому стал возможен, в конце концов, и большевистский исход.

Как поступало правительство, только что одержавшее, в лице Столыпина, почти бескровную победу? Его положение было тоже довольно сложно. Дело было в том, что свою победу оно одержало не для себя; я разумею, не для государственных целей, даже в том смысле, как **{412}** оно само их понимало. За ним стояли другие силы, которые и толкали его неудержимо по пути, не им самим выбранному. Это были, во-первых, дворянство, во-вторых, «черная сотня».

Дворянство почувствовало опасность, как только царь манифестом 18 февраля 1905 г. объявил о созыве «достойнейших», и тогда же поставило вопрос о собственных выборах в их состав. Вначале это была идиллия либеральных предводителей дворянства — типа кн. П. Н. Трубецкого, старшего брата Сергея и Евгения; они хотели представительства «имущественных классов», несколько расширенного. Но за ними стояло всё «сословие», которое спешило организоваться и выставило своих застрельщиков в комиссии о Булыгинской Думе и «во дворце». Выступления кн. С. Н. Трубецкого в июньской депутации и слова В. О. Ключевского в петергофском совещании о «призраке сословного царя» настроили Николая II против дворянско-сословного принципа (вообще, в Петергофе дворянство было тогда заподозрено в либерализме). Закон 6 августа прошел, вместо гарантированного «дворянского» представительства, по своеобразному недоразумению, с гарантированным крестьянским.

Но когда, после манифеста 17 октября, появился Витте, и несколько расширил избирательное право законом 11 декабря и заказал Н. Н. Кутлеру проект аграрной реформы с «принудительным отчуждением», то подлинное дворянство всполошилось всерьез и принялось организовать свои «съезды объединенных дворянских обществ». Тогда же Кутлер получил отставку, а провал ставки на крестьянство на выборах в Первую Думу положил конец и самому Витте. «Постоянный совет» дворянских съездов вошел в силу, сыграл свою роль в роспуске Государственной Думы и помешал осуществить план Столыпина о создании «министерства роспуска» из умеренных политических деятелей. Однако, хлопоты дворян о немедленной перемене избирательного закона не увенчались успехом: избирательный закон остался прежний. Действовало ли тут нежелание царя нарушить им же санкционированные основные законы, или же **{413}** сопротивление либеральных сановников, или остатки Столыпинского «либерализма», или, наконец, страх перед непобежденными еще в стране революционными настроениями, или все это вместе, — как бы то ни было, государственного «переворота» за роспуском Первой Думы не последовало.

Однако же, имелась налицо и другая сила, созданная не только при участии того же «объединенного» дворянства, но и под высоким покровительством «Двора».

Мы называли ее тогда «черной сотней». История ее восходит к царствованию Александра III, когда, для борьбы с революцией, организована была высокопоставленными лицами известная «Священная Дружина», предполагавшая действовать террором. Тогда из этого начинания придворных белоручек ничего не вышло. Но теперь явились новые организаторы «белых» террористов, спустившиеся до рядов, где можно нанять и купить. Сильные непосредственной поддержкой сверху, организаторы заявляли открыто в тогдашней печати, что их организациям принадлежит «высшая власть в России»; они «не просили, а требовали», и устами своих «фютюр-диктаторов» заявляли, что «никакие разоблачения им не повредят».

Появилось в печати даже интервью с таким анонимным «фютюр-диктатором», который заявлял, *что съезд депутаций «союза» составит в Петербурге «настоящее народное представительство», а в дальнейшем, после «решения на местах (погромами) еврейского вопроса», «бюрократическое министерство будет заменено общественными деятелями» этого типа, и оно будет действовать «решительнее и успешнее — не только революционных штурмов, но и пресловутой кадетской «осады»* (см. ниже).

Все это могло бы казаться какой-то мистификацией, если бы не было налицо вождей (д-р Дубровин, Пуришкевич) и печатных органов («Русское знамя»), действовавших в том же направлении открыто, вооружавших свой «народ» для убийств (судьба Герценштейна и Иоллоса) и имевших несомненное влияние через голову самого Столыпина.
{414} Как действовал, при таком положении, сам Столыпин, вооруженный не только всей мощью администрации, но и властью законодателя по пресловутой статье 87-ой русской «конституции», уполномочивавшей его, в отсутствии Государственной Думы, издавать меры законодательного характера, с условием предъявить их будущей Думе в течение первых двух месяцев ее существования?

С «революционным штурмом» он и сам поступил чрезвычайно решительно. В наиболее беспокойные части России были разосланы так называемые «карательные экспедиции», заливавшие кровью бессудных расстрелов свой путь и оставившие по себе самую тяжелую память.
12 августа этого (1906) года Столыпин сделался предметом покушения: он уцелел, — но бомба разрушила часть его виллы на Аптекарском острове, ранила его дочь и убила до 30 жертв. Ответом был изданный через неделю в порядке 87-ой статьи закон об учреждении «военно-полевых» судов, ставших другой неотъемлемой чертой между-думского режима.

Но главной задачей Столыпина сделалась борьба с остатками разогнанной Думы и забота о том, чтобы история этой Думы не повторилась. Административные мероприятия посыпались, прежде всего, на личный состав бывших думских депутатов — и особенно спешно против левого крыла Думы.

При самом разъезде их по домам на ближайшей станции к месту жительства их ожидала полиция. А таких видных, как Аладьин, стерегла целая полурота солдат. Аладьин, конечно, ускользнул. Но депутатам-крестьянам этот исход был недоступен. Их дома окружала полиция; дать отчет избирателям о деятельности в Думе было абсолютно невозможно; попытки прорвать эту блокаду кончались стрельбой, высылкой и тюрьмой. Конечно, в результате население само сделало вывод, кого и за что преследует правительство. С небольшим опозданием, Столыпин решился наложить руки и на депутатов, подписавших выборгское воззвание. Начато было дело о «распространении» путем **{415}** «составления» (При всей неуклюжести этой формулировки, она верно передает положение, как оно было создано правительством Столыпина, применившим в этом деле нажим на закон и давление на суд. Не говоря о том, что составление и подписание Выборгского воззвания имели место на территории Финляндии и потому дело о нем было подсудно финскому суду, — что может быть оспариваемо, — существенно и бесспорно, что действовавший тогда закон строго различал между составлением преступного воззвания (ст. 132 уголовного уложения) и его распространением (ст. 129). Из этих двух статей закона, уже самое привлечение к судебной ответственности по ст. 129 имело следствием лишение избирательного права; ст. 132 этого последствия не устанавливала. Но факт распространения Выборгского воззвания членами Думы, подписавшими его, не был установлен следственными властями, и потому они могли быть привлечены к ответственности только по ст. 132. Однако правительство Столыпина поставило себе задачею именно устранение руководящих деятелей к. д. партии от участия в выборах в Гос. Думу. Поэтому привлечение подписавших воззвание к ответственности и, затем, осуждение их состоялось по ст. 129, — то есть они были осуждены за «распространение» путем «составления». (Примеч. ред.).), и 169 возможных кандидатов во Вторую Думу, в том числе около 120 членов партии к. д., одним этим привлечением были автоматически изъяты из участия в выборах.

Тех нежелательных, которых нельзя было устранить по закону, устраняли путем «разъяснений» закона Сенатом. В том числе «разъяснили» и меня. Моему квартирному цензу, правда, не исполнилось еще законного года; но друзья попытались устроить мне служебный ценз при обществе, печатавшем мои книги. Справиться с моим импровизированным поступлением в «приказчики» было, конечно, нетрудно. После всех этих изъятий и «разъяснений» министр внутренних дел мог торжествовать: «Дума будет безголовая!» Это казалось высшим пределом успеха...

Но мало было убрать из будущей Думы одних. Надо было провести в нее других, желательных. Вскоре после роспуска, в августе, состоялось совещание между Столыпиным и А. И. Гучковым относительно создания правительственного большинства. Естественно, на первое место выдвигались тут «октябристы», и им была **{416}** обещана поддержка на выборах. Но одних «октябристов» было слишком мало, — как показали уже выборы в Первую Думу. Надо было мобилизовать массы; создать хотя бы их видимость, если их не было налицо. И тут вызвана была на политическую сцену та вторая сила, о которой я говорил, помимо дворянства, — искусственный подбор из среды темного городского мещанства.

Появились «союзы» Михаила Архангела, «русского народа» и т. д. Гучков нашел и лозунг, объединивший представителей «130.000» помещиков с этой «черной сотней»: «пламенный патриотизм». Водружено было, в качестве общего политического девиза, «национальное» знамя. Однако, у «масс» были свои пути ко «дворцу», свои «тайные советники» и посредники при царе, и свое сознание политической независимости от дворянства.

Это было время, когда Николай II принимал значки от мнимого «русского народа» и даже поощрял депутатов от извозчиков: всероссийские извозчики (или дворники?), объединяйтесь!

Так складывалось политическое положение тотчас после роспуска Первой Государственной Думы. Как должна была повести себя при таком положении партия Народной свободы? Какой вывод она должна была сделать из своих неудавшихся попыток действовать в соглашении с левыми партиями? Как должно было определиться ее отношение к правительству роспуска Думы? Напомню, что летом 1906 г. еще не выяснились окончательно ни отношение правительства к партии, ни условия созыва следующей Думы. Партия была в известной степени связана актом Выборгского манифеста. Но вступление его в силу было всё же обусловлено: формально — неназначением срока следующих выборов, а фактически — степенью активного участия народа в тех санкциях, которыми предлагалось опротестовать правительственные правонарушения. Затем, манифест был принят только парламентской фракцией партии, и отношение к нему всей партии еще оставалось формально открытым. С этим последним всплеском революционной волны, так быстро откатившейся в **{417}** прошлое, нужно было теперь прежде всего рассчитаться, чтобы развязать руки партии для ближайшего будущего.

На летнее время я с семьей поселился на даче возле Териок, за границей Белоострова. Там же поблизости поселился член Первой Думы Герасимов. Выбор места был сделан с умыслом. Собраться в Петербурге членам партии было невозможно; местом наших политических сборищ, более или менее конспиративных, сделалась с этих пор Финляндия. Собрать полный съезд также было нельзя; мы собрали в Териоках партийное совещание, на которое членам полагалось приезжать и приходить по одиночке. Фотография того времени рисует довольно многочисленное наше собрание во время совещания в сосновой роще, возле одного из наших дачных помещений. Здесь мы прежде всего опросили приезжих из разных частей России, насколько можно считать население подготовленным к осуществлению предположенных в манифесте форм пассивного сопротивления.
Только один кн. Петр Долгоруков ответил на этот вопрос положительно: он знает настроение крестьян своего уезда (Суджанского) и они «готовы». Все другие отвечали уклончиво или прямо отрицательно. Мы установили затем, что «конституционный» повод к пассивному сопротивлению надо считать формально отпавшим с назначением выборов во Вторую Думу. Вывод вытекал сам собою. И формально, и фактически Выборгское воззвание теряло свою силу и должно было считаться отмененным.

Предстояло, затем, решить, с чем пойдет партия на выборы во Вторую Думу. Собрать для этого сокращенное совещание, вроде Териоковского, было недостаточно. Нужно было созвать новый съезд. Сделать это в пределах русской территории было явно невозможно. Оставалась та же Финляндия. Центральный комитет остановился на Гельсингфорсе. Гостеприимные к нам финляндцы дали для наших собраний обширное помещение Societetshuset.

Члены партии собрались в значительном количестве, и съезд имел обычный характер. Я, к сожалению, не удержал в памяти даты **{418}** съезда (Съезд состоялся 24-28 сентября 1906 г. (Примеч. ред.).); протоколы съезда не могли быть напечатаны, так как съезд имел полуконспиративный характер, и я только по воспоминаниям и по позднейшим намекам могу восстановить политическое значение решений съезда. Помню только, что на нем проявила себя вновь довольно значительная «левая» оппозиция; особенно горячи были речи Мандельштама. Но общая линия тактики партии была установлена еще на съезде (III-м), предшествовавшем открытию Первой Думы: его решения мы считали выполненными в этой Думе, насколько позволяла обстановка. Однако, теперь эта обстановка глубоко изменилась, и тем, кто хотел продолжать линию строго-парламентской деятельности в будущей Думе, предстояло идти дальше по пути приспособления к новым условиям. Позиция была тем более невыгодная, что позади стояла наша партийная святыня, принятая Думой и ставшая национальной: адрес Первой Думы, нами проведенный и содержавший все наши прежние desiderata.

С другой стороны, вновь выдвинулся в Первой Думе и приобрел известную реальность коренной вопрос и основная предпосылка парламентской деятельности в нашем смысле: создание ответственного министерства, опирающегося на прочное большинство Думы. Наконец, мы должны были считаться с нашими законопроектами, рассчитанными на законодательное осуществление нашей политической и социальной программы. А революция быстро шла на убыль, как бы ни старались мы держать высоко наше знамя. При условии этого убывания результат будущих выборов и имеющая сложиться во Второй Думе обстановка парламентской деятельности представлялись мне в довольно мрачном свете. Никакой надежды на продолжение работы хотя бы в прежнем виде у меня не было. Но надежды эти сохранялись в нашем левом крыле. Не помню, к этому ли Гельсингфорскому съезду относилось шутливое замечание

Винавера, что от «крыльев» у партии остались только «перья». Помню только, что прения на съезде, приведшие к этой неизбежной операции над «крыльями», были очень **{419}** бурные, операция была болезненная, и производить ее — и нести одиум за нее — пришлось, главным образом, мне.

В несколько затушеванной форме мы провели основной принцип общего изменения тактики: «не штурм, а правильная осада» Собственно, это было даже не изменение, — а только более последовательное применение того, что мы делали и в Первой Думе. Но сказать это, сделать откровенный вывод из «конфликтов» в Первой Думе, было груднее, чем создавать отдельные факты, сложившиеся в этот общий итог. И, раз высказанный, принцип отказ от «штурма» обязывал. Прежде всего, он обязывал положить, наконец, окончательную грань между нашей тактикой — и тактикой левых. И это было второе решение, обрисовавшееся, сколько помню, уже в Гельсингфорсе. На выборах в Первую Думу, при бойкоте Думы слева, нас поддерживали левые голоса и левые настроения. Теперь, как легко было предвидеть, бойкот будет снят, левые придут в Думу сами и будут действовать от собственного имени. И партия Народной свободы должна была уже на выборах выступить также с собственным лицом, не опасаясь ударов критики и всевозможных извращений, не перестававших сыпаться на нее и слева, и справа.

Я не помню, какие дальнейшие выводы были уже на этом съезде сделаны из этих общих положений. Выборы были отсрочены до начала нового года, и конкретизировать задай партии пришлось лишь по мере накопления материала, уже в осенние месяцы этого года. В ноябре (октябре) Центральный комитет созвал в Москву представителей губернских комитетов партии, которые пересмотрели прежние тактические директивы. Здесь повторены были основные директивы гельсингфорского съезда, к было подчеркнуто, что предварительным условием для их осуществления является наличность прочного большинства в Государственной Думе. Не принимая на себя, таким образом, никаких обязательств до выяснения исхода выборов, партия, однако, установила наперед свои правила «осады» власти **{420}** при худших условиях. Мириться с министерством роспуска Думы она никоим образом не предполагала, но, в интересах «бережения» Думы в целях «осады», устанавливала допустимые приемы временного мирного сожительства. Сюда относилось устранение прямых конфликтов, отказ от выражения прямого недоверия министерству, — что влекло бы за собой законный роспуск, — создание свободной от «штурмов» атмосферы для спокойной законодательной работы, выбор на первую очередь проектов, совпадающих по темам с министерскими законопроектами, участие в обсуждении этих проектов и бюджета, со внесением отдельных поправок, строгий контроль при внесении запросов и т. д. Что касается собственных проектов партии, вносимых в порядке ограниченных законодательных прав Думы, московская программа решила пересмотреть их, чтобы сделать их осуществимыми не в будущем, а в настоящем. В этом ряду на первой очереди стоял аграрный законопроект, внесенный в Первую Думу лишь от имени группы членов партии. Чтобы закрепить свою победу над народным представительством, Столыпин прибег тут также к параграфу 87 основных законов. С. Е. Крыжановский в своих воспоминаниях открыл секрет, что в мероприятиях Столыпина не было ничего оригинального: он просто принимал и осуществлял предложения дворянства. Прикрытием, как бы либеральным, служило при этом намерение окончательно уравнять крестьян в правах с другими сословиями. Это было, конечно, приемлемо. Но действительной целью было при этом — уничтожить крестьянское отдельное общинное землевладение и, путем мобилизации неприкосновенных до тех пор крестьянских наделов, отвлечь внимание крестьянства от «принудительного отчуждения» дворянских земель.

Чтобы противопоставить этому покушению на благосостояние всей крестьянской массы в интересах одного зажиточного слоя, партия решила представить свой проект в наиболее приемлемом виде. Она устранила из перводумского проекта «социалистический» привкус, заключавшийся в создании постоянного «земельного **{421}** фонда», из которого земля раздавалась бы не в собственность, а в пользование. Это вызывало громы и молнии по поводу покушения партии на священные права собственности. Центральный комитет собрал своих лучших специалистов (включая Н. Н. Кутлера), устраивал областные совещания для выяснения местных условий крестьянского землевладения, отпечатал ряд докладов их; работа длилась всю зиму, и партия готовилась внести в Думу детально разработанный проект по самому капитальному из спорных вопросов между населением и властью. Пересмотрены были и другие законопроекты, приготовленные для Первой Думы нашими московскими законоведами.

Мы видели, что Столыпин готовился к созыву Второй Думы по-своему. К концу года и его приготовления стали энергичнее и последовательнее. Для дальнейших мероприятий по выборам все политические партии были разделены на легализованные и нелегализованные: к первым были

причислены Союз русского народа, октябристы и — после некоторых колебаний — те «мирно-обновленцы», которые отказались быть соучастниками Столыпина в его министерстве. Партия Народной свободы была объявлена нелегальной.

Это значило, что все формальные проявления ее участия в выборах были ей запрещены. Чиновникам и «служащим» (в самом широком» смысле) было запрещено в ней участвовать. Напротив, духовенство указом Синода 12 декабря было «призвано к деятельному участию» и обязывалось «непременно явиться». Круг избирателей всячески суживался. Изданная к самому моменту выборов инструкция указывала ряд дальнейших уловок, чтобы удалить от урн нежелательные элементы и сосредоточить покровительствуемые властью, а также устранить газетную и устную агитацию оппозиции. Но всего тут не перечислишь.

Дворянство и черносотенцы приложили с своей стороны все усилия, чтобы провести выборы в своих интересах. Больше всего те и другие опасались того, к **{422}** чему стремились к. д.: спокойной и корректной Думы. Если «не к чему будет придраться», говорилось на экстренном съезде дворянства 24 ноября, то «под защитой авторитета, завоеванного внешней законностью действий, она проведет законы, гибельные для государства». «Таким образом, укрепится в России парламентаризм, и дума станет постоянным учреждением». Отсюда директива, данная Пуришкевичем: где нельзя будет выбрать правых, выбирать «крайних левых». «Так решает Союз русского народа»!
Словом, без изменения избирательного закона, дальше идти было некуда. Что же получилось в результате?

Приведу сравнительную таблицу партийного состава Первой и Второй Думы:

1. Крайне правых	?	63
2. Умеренных правых (октябристы, умеренные)	38 (8%)	34 (7%)
3. Беспартийных (большей частью скрытых реакционеров)	112	22
4. Кадетов	184 (38%)	123 (24%)
5. Польских депутатов . .	32	39
6. Трудовиков и вообще «левее к. д.»	85 (18%)	97 (20%)
7. Социалистов (с. - д., с. - р. и народн. соц.)	26 (5%)	83 (17%)

Правительству удалось обессилить Думу, лишив ее прочного большинства. Но ему не удалось сделать Думу своею. Мало того, маленький избирательный бюллетень, несмотря на все попытки искажения выборов, сделал свое дело: он показал действительное настроение громадного большинства русского населения. Вторая Дума вышла гораздо левее Первой. Кадетские голоса лишь перешли частью к левым и к социалистам, впервые выступившим от своего имени. Правительство получило всего пятую часть состава Думы. Это была блестящая победа оппозиции и неожиданный по глубине и серьезности провал правительственной политики.

{423} Таково было первое впечатление. Но по существу дело стояло иначе. Крайние правые достигли своей цели. Дума делилась не на две, а на три части.

Правая и левая, черносотенцы и социалисты, одинаково стояли на почве внепарламентской борьбы, — на точке зрения насильственного государственного переворота. Строго «конституционным» оставался один кадетский центр. Правда, в первый же месяц к нему в голосованиях примкнули национальные и профессиональные группы: поляки, мусульмане, казаки. Вместе они составляли 180-190 чел. Но это еще не было большинство, и элемента прочности в себе не заключало. Ехидные голосования правых с левыми всегда могли его майоризировать.

Самый состав фракции к.д. значительно изменился. Выбыли из строя «выборжцы» — и вместе с ними отошел от практической политики целый слой сколько-нибудь искушенных в политической борьбе русских граждан. Это были, в основе своей, земцы-конституционалисты, закаленные в борьбе земства с режимом Плеве. На их место пришли люди, достойно представлявшие русскую интеллигенцию, но вышедшие из рядов, мало связанных с политической деятельностью.

Во главе шли идеологи (Струве, Новгородцев), ученые (Кизеветтер), профессиональные юристы (В. А. Маклаков, Н. В. Тесленко, Вл. Гессен), специалисты разных отраслей (Н. Н. Кутлер, Герасимов) и т. д. По высоте культурного уровня фракция продолжала стоять на первом плане; ее техническая работа также доминировала над другими. Но политической инициативы в ее среде не было; она нуждалась в руководстве извне и следовала решениям партии и ее установившейся традиции.

У меня лично уже не оставалось в среде фракции таких тесных связей, которые соединяли меня с вождями Первой Думы. Не оставалось и тех надежд, которые заставляли прочно запречься в ее колесницу. В сознании потухания революции, я не мог верить ни в ее прочность, ни в возможность для нее проявить тот напор, который составлял моральную силу Первой Думы. Не стоя уже на гребне волны, фракция брала своей **{424}** работоспособностью, своими знаниями, своей готовностью к самопожертвованию. За малыми исключениями, она была хорошо дисциплинирована и идейно сплочена. Свою неблагодарную задачу спасать идею народного представительства и парламентарной тактики она выполняла стоически.

Я, однако, не отходил от раз занятой и признанной за мною позиции главного рупора и толкователя деятельности фракции. Второй сборник моих статей в «Речи» за сто дней существования этой Думы свидетельствует о внимательном наблюдении за деятельностью фракции и о постоянном подчеркивании — иногда и критике — политического смысла ее поведения. Отдана здесь дань и моему пессимизму относительно окончательного исхода, — пессимизму, который, впрочем, широко разделялся не в одних только наших рядах. Это настроение набрасывало какой-то флер на всю нашу работу.

Но хотя надежда убывала, уныния у нас не было. Мы честно делали свое дело, не уступая ни нападкам слева на наше бессилие, ни уговариваниям и намекам из правящих сфер на возможность компромисса, ни издевательствам и злорадству правых по поводу нашей неприступности. Мы были довольны тем, что добросовестным заблуждениям и извращениям нашей роли на этот раз не было места. Мы шли своим путем, делали свое дело и оставляли свой урок — если не для настоящего, то для будущего.

15. КАДЕТЫ ВО ВТОРОЙ ДУМЕ

«Давно жданный день пришел, и кончился семимесячный кошмар бездумья. Сегодня представители русского народа вернутся на опустевшие кресла Таврического дворца... Надолго ли? Вот общая задача, вот черная мысль, которая мрачит великую радость этой минуты. 27 апреля прошлого года представитель народа самоуверенным юношей входил в этот дворец, и ему казалось, что силам его нет конца и краю, что всё и вся склонится перед его пламенным желанием... и в его руках будет заветная цель! Зрелым, испытанным мужем {425} возвращается теперь народный представитель в Таврический дворец. Его поступь не так эластична, не так уверенна, как прежде. Но он идет вперед твердой, спокойной стопой. Он узнал теперь свои силы и научился ими управлять и распоряжаться... Он знает: путь долог, и силы надо беречь... Но он знает свой маршрут и знает, что завтра он будет ближе к цели, чем вчера».

Этими словами я встретил в «Речи» открытие Второй Думы 20 февраля 1907 года. Доля оптимизма, которая в них сказалась, должна быть всецело отнесена на долю настроения, созданного кадетами и ставшего общим для других частей оппозиции во время выборов. Оно выразилось в лозунге «берегите Думу», объединившем в первые дни и недели Думы все оппозиционные ряды. Это сказалось уже на выборе в председатели Думы кадетского кандидата, Ф. А. Головина, 350-ю голосами против 100 за кандидатов правых. То же сказалось и на общем решении оберечь Думу от острых конфликтов вступительной стадии Первой Думы. Никакого ожидания «тронной речи» и никакого ответного «адреса» царю. Никакого вотума недоверия: полное молчание в ответ на первое программное выступление министерства. Но уже при последнем случае выделились большевистская группа в 12 человек, с одной стороны, и крайние правые, с другой. Дума оказалась разделенной не на две, а на три группы, из которых каждая вела свою политику.

Над ними велась четвертая линия — министерская, колебавшаяся в это первое время между правыми и кадетским центром. Тут не совсем была потеряна надежда на сотрудничество большинства этого рода. В своей программной речи Столыпин, хотя и высказался принципиально против права Думы высказывать «доверие» министерству, но резко разделил центр от левых, предоставив первому свободу высказывать свои мнения, хотя бы и противоположные, и вносить поправки, правда, только частичные, к правительственному законодательству. Левым же он ответил, формулировав их позицию словами «руки вверх», решительной фразой: «не запугаете».

Эту же демонстрацию он повторил, присоединившись «всецело и всемерно к **{426}** депутату Родичеву», когда кадетский оратор отказался нарушить полномочия Думы, перенесением работы по продовольственному вопросу из думской комиссии в провинциальные «комитеты» с целью творить на местах «новое право», по выражению оратора большевиков Алексинского. Партия к. д. осталась последовательной, несмотря на то, что слева ее подозревали в погоне за «портфелями», не отказала суммарно в принятии бюджета, как сделали левые, а вошла в его обсуждение и передала в комиссию, серьезно мотивировала свой взгляд на аграрный вопрос — и тем принудила Столыпина признать даже, в принципе, право государства на «принудительное отчуждение», и т. д.

Словопрения левых с правыми были ограничены новым, более строгим наказом, составленным кадетом В. А. Маклаковым; были назначены для мелких законопроектов и запросов два специальные вечера в неделю, было организовано полтора десятка комиссий, в которых компетентные члены обсуждали свои и правительственные законопроекты. Словом, Дума показала себя не только сдержанной, но и работоспособной, нисколько не связывая себя при этом никакими обязательными отношениями к министерству. Именно этого, как мы видели, и боялись правые. Но, как оказалось, того же самого не хотели и левые. И «правильная осада» началась в Государственной Думе не против правительства, а против единственной строго-конституционной партии, получившей фактически, по самому существу дела, руководящее положение в Думе.

Я начну с левых. К концу первого же месяца они не вытерпели сравнительно спокойного течения дел в Думе. К серьезной комиссионной работе они не были подготовлены. В Думе стало скучно. Нет драматических сцен, нет захватывающих эффектов.

Самое трагическое событие в Думе — провалился потолок перед выступлением Столыпина. Забыта главная роль Думы. Дума должна быть трибуной, резонатором народных чувств, мультипликатором ее воли. А она превратилась в «департамент министерства внутренних дел». Не Дума «осадила **{427}** Столыпина», а Столыпин «осадил» Думу и окружил ее «тесной блокадой». Для того ли стоило «беречь Думу» — лозунг, который теперь объявляется чисто «кадетским». В результате

поднялся тон выступлений левых, особенно крайних, усилились и участились антиконституционные намеки, а на местах начались попытки организовать из Думы и при участии левых депутатов «народные силы». В 1912 году, правительство подкинуло думским большевикам шпиона и провокатора Малиновского, и «охранка» сочиняла для него его революционные речи.

Мне пришлось открыть в «Речи» кампанию против левых. Напрасно я убеждал их, что они «каждую минуту подвергают опасности Думу», что они «рискуют не только этой Думой, но и избирательным законом»; предупреждал их, что «Третья Дума не соберется в этом составе» и что «то, что они потеряют теперь, наверстать нелегко». Одни отвечали что Думу, всё равно, не спасешь «береженьем», другие даже принимались убеждать к. д., чтобы они уже шли до конца, превратились в октябристов, провели бы хоть малюсенький министерский законопроект, словом, «хоть бы хвостик дали», а то «что они там волынку тянут»! А мы — продолжали стоять на своем месте и вносили в спектакль будничную прозу. Я отвечал в «Речи»: «мы не предлагаем из героического периода нашей парламентской жизни непосредственно перешагнуть в период просто житейский. Но — не надо себя обманывать — настоящее развитие и укрепление народного представительства пойдет по этой дороге. День, когда дебаты в Таврическом дворце будут казаться такой же неизбежной принадлежностью дня, как обед днем и театр вечером, когда программа дня будет интересовать не всех вместе, а тех или других специально, когда дебаты об общей политике станут исключением, а упражнения в беспредметном красноречии сделаются фактически невозможны вследствие отсутствия слушателей, — этот день можно будет приветствовать, как день окончательного торжества представительного правления в России». Увы, до этого подобия Вестминстера в **{428}** Петербурге было так далеко! И наша осторожность, то «бережение», которое теперь становилось, действительно, только нашим, «кадетским», всё более становилось бесцельным. Ибо, кроме нас и левых, были еще в Думе и вне ее правые, которые и выступили на сцену — победителями в нашей распре...

28 февраля (то есть уже через неделю после открытия Думы) депутат Пуришкевич, трагический клоун Второй Думы (роль комического клоуна исполнял Павел Крупенский), разослал по отделам Союза русского народа секретный циркуляр (я его напечатал, разоблачив всю затею). В нем «предписывалось» отделам (Пуришкевич насчитывал их «тысячу»), как только появится знак креста в органе союза «Русском знамени», «тотчас же начать обращаться настойчивыми телеграммами к государю императору и к председателю Совета министров Столыпину и в телеграммах настойчиво просить и даже требовать:

а) немедленного роспуска думы... и

б) изменения во что бы то ни стало избирательного закона»...

В день роспуска приказывалось «устроить патриотическую манифестацию после молебна с хоругвями», чтобы показать «крестьянству и войскам, что они не одни».

Черный крест действительно появился 16 марта — и в тот же день был убит из подворотни известный сотрудник «Русских ведомостей»,

Г. Б. Иоллос, разделивший участь своего друга Герценштейна.

Циркуляр пугал тем, что «более 250 террористов» Думы разъедутся на летние каникулы и «подготовят восстание к осени». На мое печатное обвинение, что эта партия «насильственного переворота признана главной опорой русского правительства», официоз ограничился двусмысленным опровержением. Забегая вперед, напомню, что тот же Пуришкевич заявил в печати в конце мая, что задание официозных переворотчиков исполнено. «Если не через десять дней, то через две недели Дума будет распущена» (она была распущена через три дня).

Таким образом правительство подчинилось «требованию» дворянства и черной сотни. Линия Столыпина, которую я назвал «четвертой», круто спустилась вниз по очевидному решению свыше.

{429} На этом повороте линии стоит остановиться, так как вообще не замечают, что раньше Столыпин пытался вести ее иначе и сохранить известную независимость от «требований» заговорщиков. Для этого он настойчиво добивался, чтобы Дума произнесла «слово», которое сняло бы с нее огульное обвинение в соучастии или хотя бы сочувствии с убийствами слева. На это «слово» он думал опереться для оправдания собственной политики относительно Думы.

Начались его усилия с середины марта, в связи с поставленным на очередь думского обсуждения вопросом об отмене военно-полевых судов, созданных им же в порядке 87-й статьи. Собственно, этот продукт междудумского законодательства падал сам собой в конце двухмесячного срока со времени открытия Думы; и правительство, по-видимому, намеренно не вносило его. Прения в Думе по этому

вопросу приняли очень острый характер.

От имени к. д. В. А. Маклаков блестяще развил мысль, что военно-полевые суды бьют по самой идее государства, по идее права и закона, разрушают основы общежития и грозят поставить озверелое стадо на место цивилизованного общества. Но как раз тут Столыпин уперся. Он стал доказывать право правительства принимать чрезвычайные меры ввиду непрекратившейся революции, что доказывается партийными постановлениями с. - д. и с. - р. Довольно прозрачно здесь было поставлено условие: начните первые. Притом, поставлено не одним инкриминированным партиям, а всей Думе в целом.

В дальнейшем это условие ставилось все более открыто, как Conditio sine qia non сохранения Думы (Непременное условие.). Выразите «глубокое порицание и негодование всем революционным убийствам и насилиям». «Тогда вы снимете с Государственной Думы обвинение в том, что она покровительствует революционному террору, поощряет бомбометателей и старается им предоставить возможно большую безнаказанность».

Так говорили в самой Думе выразители намерений власти. Ясно, откуда шло это **{430}** огульное обвинение; ясно, что требование было поставлено безусловное и что для Столыпина оно сделалось тоже условием продолжения его собственной политики. Чтобы окончательно поставить и Думу, и Столыпина перед необходимостью выборов, правые внесли предложение об осуждении политических убийств. «Пробаллотируйте эту формулу; чего вам это стоит? Ведь очевидно же, что к.д. не могут одобрять убийств». Так советовали нам посредники со стороны.

Завязался узел, развязать который было чрезвычайно трудно, а разрубить можно было только, свалив справа министерство или заставив его исполнить правый план роспуска Думы. Теперь, задним числом, я так понимаю смысл неожиданного приглашения меня Столыпиным для доверительной беседы. Я принял приглашение и приехал в назначенное время в Зимний Дворец. В нижнем этаже принял меня Крыжановский и, не говоря прямо о цели визита, подчеркивал важность предстоявшей беседы и необходимость сговориться с премьером.

Затем меня подняли в верхний этаж и ввели в кабинет Столыпина. Он был, видимо, очень нервен, и глаза его загорались, как в моменты обострений споров в Думе.

Резкие жесты его сломанной руки выдавали его волнение. Он прямо поставил условие: если Дума осудит революционные убийства, то он готов легализировать партию Народной свободы. Подход был неожиданный, и я несколько опешил. Я стал объяснять, что не могу распоряжаться партией и что для нее это есть вопрос политической тактики, а не существа дела. В момент борьбы она не может отступить от занятой позиции и стать на позицию своих противников, которые притом сами оперируют политическими убийствами.

Столыпин тогда поставил вопрос иначе, обратившись ко мне уже не как к предполагаемому руководителю Думы, а как к автору политических статей в органе партии, «Речи». «Напишите статью, осуждающую убийства; я удовлетворюсь этим». Должен признать, что тут я поколебался. Личная жертва, не противоречащая собственному убеждению, и взамен — прекращение преследований против партии, — может быть **{431}** спасение Думы! Я поставил одно условие: чтобы статья была без моей подписи.

Столыпин согласился и на это, говоря, что характер моих статей известен, Я сказал тогда, что принимаю предложение условно, ибо должен поделиться с руководящими членами партии, без согласия которых такая статья не могла бы появиться в партийном органе. Столыпин пошел и на это, и мы условились: если статья появится, то условие Столыпина будет исполнено, если нет — то нет. Вспоминая этот эпизод теперь, я понимаю, почему Столыпин был так сговорчив — и так откровенно циничен. Ему нужна была какая-нибудь бумажка или какой-нибудь жест руководящей партии, чтобы укрепить, а может быть и спасти собственное положение. Иначе — предстояла сдача напору справа. И это были последние минуты перед выбором решения. Тогда я не понимал всего смысла этой комбинации, которая теперь мне кажется более чем вероятной. Тогда еще не развернулись до конца и последовавшие события. Тогда я думал только об укреплении партии, и моя жертва казалась мне возможной. Прямо от Столыпина я поехал к Петрункевичу. Выслушав мой рассказ, старый наш вождь, уже отходивший тогда постепенно от руководства партией, страшно взволновался; «Никоим образом! Как вы могли пойти на эту уступку хотя бы условно? Вы губите собственную репутацию, а за собой потянете и всю партию. Как бы осторожно вы ни выразили требуемую мысль, шила в мешке не утаишь, и официозы немедленно ее расшифруют. Нет, никогда! Лучше жертва партией, нежели ее моральная гибель»...

Статья, конечно, не была после этого написана. И Столыпин сделал из этого надлежащий для себя вывод: повторяю, я только теперь понимаю, какой. И в сборнике моих статей из «Речи» читатель

может прочесть, с какой настойчивостью я продолжал аргументировать не фракционную только, а и мою собственную точку зрения на невозможность для партии сделать необходимый для Столыпина жест, произнеся сакраментальное «слово»... Но и тогда я не мог не видеть, что на этом вопросе решается судьба Думы. И я с особым усердием **{432}** принялся обличать «заговорщиков справа», трактуя их, как действительных виновников предстоявшего роспуска и противополагая официозно терпимых убийц тем, для которых добивались от нас осуждения Думы.

С своей стороны, и правые террористы обратили на меня свое специальное внимание. В один прекрасный день на моем пути в редакцию газеты на Жуковской улице нагнал меня на Литейном проспекте молодой парень и нанес мне сзади два сильных удара по шее, сбив с меня котелок и разбив пенснэ.

Я спокойно наклонился, чтобы поднять то и другое, и потом обернулся: передо мной с растопыренными руками и с растерянным видом стоял плотный молодец мещанского типа. Кругом собиралась толпа, предлагавшая вести его в участок и вызывавшаяся записаться в свидетели. Я тотчас заподозрил политическую подкладку, но, не желая огласки, спросил моего покусителя, явно хватившего водки для храбрости и раскрасневшегося, знает ли он, кого он ударил. Заплетающимся языком он ответил, что не знает. Тогда я его отпустил и, придя в редакцию, ничего не сказал о случившемся. Каково же было мое удивление, когда уже к вечеру того же дня мне сообщили со стороны нашей разведки, что на меня было произведено покушение, что покусившийся был нанят доктором Дубровиным с поручением нанести удар, после которого я не встану, и что когда он пришел к заказчику, не исполнив поручения, то был обруган Дубровиным, который дал ему только малую часть обещанного.

С этого времени друзья стали замечать несомненные признаки слежки за мной. В противоположном моему кабинету окне дома в Эртелевом переулке производились какие-то таинственные приготовления, которые приятели объясняли, как установку огнестрельного оружия для выстрела в меня. Наконец, появилось в печати телеграфное сообщение из Эйдкунена, что на границе задержан некий фельдшер Смирнов, известный нам, как участник черных боевиков, ехавший с поручением убить Милюкова, Гессена (обоих редакторов «Речи»), Грузенберга (нашего блестящего защитника в политических процессах) и Слиозберга. Не помню, в связи **{433}** ли с этим сообщением и по чьему почину ко мне явились несколько агентов, посланных правительством для охраны моей личности. Несколько времени они аккуратно высиживали у меня на кухне, пока, наконец, я не попросил освободить их от этой неблагодарной обязанности.

Наступали пасхальные каникулы, и я решил дать себе отдых от всех этих треволнений в заграничной поездке. Я уже выправил себе билет и паспортную отметку для отъезда. Я собирался на этот раз посетить Швецию, где до тех пор не бывал. Накануне самого отъезда пришла одна из моих бывших учениц четвертой гимназии, участница нашего трио, занимавшаяся по окончании курса у меня на дому и близко сошедшаяся с нашей семьей. Взволнованная, в слезах, она рассказала мне, что случайно попала в кружок черносотенцев и услышала там, что о моем визированном паспорте и об отъезде завтра утром (о чем она сама совершенно не знала) уже известно через полицию и что на вокзале на меня будет произведено покушение. Приходилось верить сведению, дошедшему таким странным путем и несомненно достоверному.

Я успокоил мою верную приятельницу, сказав ей, что найду способ уехать другим путем, чем тот, на котором меня ожидают. Я действительно решил не появляться на Финляндском вокзале, а нанять извозчика до станции Удельной, переночевать у нашего друга, директора больницы Тимофеева, а рано утром отправиться от него — тоже на лошади — на ближайшую станцию, с которой уже сесть в ранний поезд в Обо, чтобы оттуда на пароходе переехать в Стокгольм. Телеграмма о моем приезде, неизвестно кем посланная, появилась следующим утром в местных газетах.

Я не думал, однако, что за мной гонятся мои преследователи; я был за пределами их темного горизонта. Я вообще хотел отдохнуть от сизифовой работы своей политики на красотах природы. Переезд по шхерам в живописную столицу Швеции был только началом. Я побывал в прелестных окрестностях города, в, Salt-sjô, в Djurgârolen'e и составил себе длинный маршрут для **{434}** дальнейшей поездки — чересчур длинный для короткого каникулярного времени. Но я решил нигде не останавливаться, а только смотреть и наслаждаться, выбирая непосещенные до тех пор местности Европы. Тогда по Европе можно было совершить такую фантастическую прогулку.

Из Стокгольма я пересек Швецию на Гетеборг, откуда мне хотелось посетить знаменитый водопад Trollhaettan на р. Эльф. Я был вознагражден выбором: даже после Ниагары эта громадная струя воды, несущаяся с огромной силой вниз по покатой плоскости, производит сильное впечатление.

Оттуда я спустился до Мальме, переехал пролив до Копенгагена на поезде, который в полном составе становится на ferry (Паром.), и, не останавливаясь в Дании, проехал в интересовавший меня гигантский порт Гамбурга. Далее я решил заехать в Париж, где как раз выходил в свет перевод моей английской книги, под заглавием "La crise russe", с любезным предисловием Эрра и с моей дополнительной статьей, доводившей события до 1907 года. В Париже я спешно повидал Эрра и мою переводчицу и предложил ей проделать со мной часть моего обратного маршрута. Она с удовольствием согласилась под одним условием, чтобы заехать в Венецию, где она никогда еще не была.

Одни сутки мы посвятили на это — достаточно, чтобы увезти с собой картину города на лагуне и вечерние серенады на расцвеченных огнями разноцветных фонариков гондолах. Затем, вернувшись на озеро Комо и прокатившись по его глади из Белладжо в Менаджо, мы взяли почтовый омнибус, который через Юлийские Альпы поднял нас долиной р. Брегальи, в обход массива Бернины, до местечка Малойи: такие два имени, звучащие доисторической славянщиной! От Малойи открывалась громадная щель верхнего Энгадина, с его несравненной перспективой озер и замыкавших их гор. От Сильса мы проехали до Сен-Морица и в «лесном домике» (Waldhaus) остановились на суточный отдых. Поездка на лошадях и быстрая смена **{435}** впечатлений порядочно утомили мою спутницу, да и пора было расставаться. Мы проехали по железной дороге до Хура, *(на востоке Швейцарии – ldn-knigi)* откуда она вернулась в Париж, а я еще имел время на обратном пути остановиться в Мюнхене, чтобы хоть одним глазом взглянуть на Пинакотеку.

Я немного опоздал к открытию послепасхальной сессии Думы. По видимости, все там было благополучно, и кадетская тактика даже достигла удовлетворительных результатов. Словоговорение и выходки левых были введены в рамки строгими правилами нового наказа. Для чисто деловых вопросов было определено особое время. В пятнадцати комиссиях работоспособные члены Думы энергично готовили законопроекты для внесения в общие заседания, — в том числе и проекты, внесенные в порядке министерской инициативы, и проекты партии Народной свободы. Там проходило и обсуждение бюджета, и аграрный законопроект, и проект о реформе суда и местного самоуправления; туда передавались и законопроекты о продовольственном деле, о смертной казни, об амнистии и т.д. Налаживался даже какой-то modus vivendi (Буквально — способ жизни. Подразумевается приемлемый для обеих договаривающихся сторон.) с министерством, и слева уже окончательно осудили к. д., как «министерскую партию».

В действительности, положение сложилось совершенно иначе. Если в первый месяц существования Второй Думы громадное большинство ее подчинялось тактике «бережения Думы», если во втором месяце левые восстали против этой тактики, объявленной «кадетской», а правительство силилось добиться от к.д. осуждения революционных убийств, чтобы тем укрепить себя и против левых, и против правых, то теперь, на третьем и последнем месяце картина сложилась совершенно иначе. Вопрос об осуждении убийств, зашедший в тупик вследствие сопротивления к. д., видимо, перестал интересовать правительство, и не на нем строилось теперь отношение правительства к Думе. В Думе этот вопрос был **{436}** как-то незаметно ликвидирован простым переходом к очередным делам.

Но это вовсе не значило, что этим решен поставленный правительством вопрос об «успокоении». Правительственная «Россия» вместе с «Новым временем» Суворина, где писал брат премьера, А. Столыпин, стали доказывать, что уступки кадетам вообще бесполезны, так как у них нет никакого «нравственного авторитета» над левыми, а «народные желания» отнюдь не совпадают с желаниями кадетов. Сдача им была бы, таким образом, сдачей социалистам. Это уже означало, что между «сдачей кадетам» и сдачей дворянству и черной сотне выбор сделан окончательно. Характерным образом, в самом конце мая в один день появились два документа, исходивших от столь различных сторон, как Пуришкевич и Витте. Первый обвинял председателя Думы, что он допустил заявление левого депутата, что «самодержавия в России больше не существует», и сам признал Россию «государством конституционным».

А наш политический Протей, гр. Витте, печатно признал «единственным судьей своей государственной деятельности русского самодержавного Государя Императора, коему он всегда был, есть и до гроба будет верноподданным слугой». Очевидно, и Витте ставил свою кандидатуру на руководительство государственным переворотом.

Теперь мы знаем, что приоритет остался за П. А. Столыпиным, и в тайниках министерства уже заканчивалась обработка избирательного закона, которого добивались правые переворотчики. 26 мая я озаглавил свою передовицу словами: «Уже поздно» и разбирал колебания «сфер» между тремя лозунгами: 1) разогнать Думу немедленно, 2) «Дума сгниет на корню» и 3) самый опасный для «130.000» помещиков: «надо дать время Думе пустить здоровый корень». — Только не это! Разгон Думы был, в

сущности, решен после грубой речи деп. Зурабова против армии, произнесенной во время моего отсутствия.

И Столыпин, бросив свои расчеты на «центр», выдвинул для разгона свой лозунг, обращенный к левым: «не запугаете». Провокаторам и шпионам нетрудно было **{437}** найти в тактике социалистов криминал, против которого спорить было невозможно: их деятельность в стране и в армии по организации революции. Был подготовлен обыск у депутата Озола; найдено — настоящее или поддельное — обращение солдат к социалистической фракции, — и Столыпин предъявил Думе требование — лишить депутатских полномочий всю с. - д. фракцию за антиправительственный характер ее деятельности. Такое суммарное требование, затрагивавшее капитальный вопрос о неприкосновенности депутатского звания, не могло быть удовлетворено без разбора данных относительно каждого отдельного депутата, и озабоченная фракция к.д. настояла на передаче требования в комиссию, назначив кратчайший срок для ее решения. Но текст нового избирательного закона был уже готов, и прикрываться избранным предлогом не было надобности. Не дожидаясь решения комиссии, Столыпин распустил Думу и опубликовал, в порядке coup d'état (Государственный переворот.) — и не скрывая этого — избирательное «положение» 3 июня.

Единственное, что могли сделать к.д., — это провести до конца свою тактику, посвятить последнее заседание спокойному обсуждению закона (В последнем заседании Второй Думы обсуждался законопроект о местном суде. (Примеч. ред.).) и не допустить предложения левых — превратить в последнюю минуту Думу в трибуну, отвергнув декларативно бюджет и отменив в том же «явочном» порядке аграрное законодательство по ст. 87-й. Я мог лишь, в последних передовицах, разобрать незаконность и немотивированность требования Столыпина и подчеркнуть его нежелание — дождаться решения Думы.

Трое умеренных к.д., Маклаков, Струве и Челноков (одно время московский городской голова) попробовали было упросить Столыпина в частной беседе — не распускать Думу. Это было чересчур наивно, — и Столыпину было нетрудно парировать их возражения, поставив им встречное ироническое предложение — **{438}** гарантировать его от антигосударственной тактики левых.

Они не понимали, очевидно, что сам Столыпин был захвачен зубцами сложного и сильного механизма, приводной ремень которого находился в распоряжении силы, двигавшей этот механизм с неуклонностью слепой природы — к той самой бездне, которой хотели избежать.

Конец I тома

ОГЛАВЛЕНИЕ I ТОМА:

Предисловие 3
В защиту автора 7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
От детства к юности (1859-1873)

1. Раннее детство 9
2. Ранние впечатления 13
3. Дом Арбузова 16
4. Семья и родные 18
5. Учение и школа 27
6. Дома, в Церкви, на улице, на дворе и на задворках 33
7. Дача в Пушкине 42

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Последние годы гимназии Поездки (1873-1877)

1. Мои учителя 48
2. Мой «классицизм» 54
3. Наш гимназический кружок 58
4. Из Москвы в Кострому 65
5. Война Кавказ 67

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Студенческие годы (1877-1882)

1. Первые два года 77
2. Семейные дела «Кондиции» и моя «философия» 82
3. Мои учителя истории 89
4. Политика общая и университетская (1879-1881) 94
5. Ближайшие последствия моей «политики» 100
6. Путешествие по Италии 105
7. Последний год в университете (1881-1882) 116

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
От студента к учителю и к ученому (1882-1894)

1. Настроение 121
2. Учительство 122
3. Магистерский экзамен 125
4. Женитьба 128
5. Новые знакомства и связи 133
6. Университетские лекции 135
7. Моя диссертация 138
8. Петербург и заграница 142
9. Семейные дела «Русская мысль» и «Русские ведомости» 148
10. Просветительная деятельность. Лекции.
Идеи «Очерков» 156
11. Политика и изгнание из Москвы 161

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Годы скитаний (1895-1905)

1. Рязанская ссылка (1895-97) 166
2. Болгария и Македония (1897-1899) 171
3. Петербургское интермеццо 188
4. Преступление и наказание 193
5. В новой ссылке 197
6. Вторая отсидка и освобождение 201
7. Первая поездка в Америку (1903) 204
8. Зимовка в Англии 216
9. Аббация и смерть Плеве (1904) 223
10. Поездка по западным Балканам 225
11. Мои первые политические шаги «Освобождение» 234
12. Между царем и революцией Париж 241
13. Вторая поездка в Америку (1904-1905) 247

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Революция и кадеты (1905-1907)

1. Возвращение домой 253
2. Что я нашел в России 262
3. Мои первые шаги с примирительной миссией 276
4. От слов к делу 284
5. Булыгинская Дума и тюрьма 298
6. От Булыгина до Витте (Образование партии) 303
7. Витте и кадеты 314
8. Кадеты и левые 335
9. Наша сомнительная победа (Первая Дума) 350
10. Конфликты между депутатами в Думе 363
11. Конфликт между министрами вне Думы («Министерство доверия» или роспуск?) 371
12. Развязка двух конфликтов (Роспуск Первой Думы) 387
13. Роспуск и Выборгский манифест 401
14. Потухание революции (1906-1907) 409
15. Кадеты во Второй Думе 424